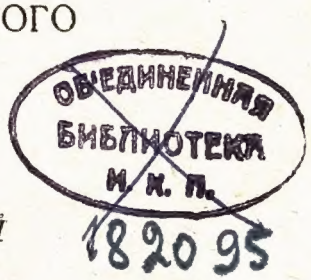
ТРУДЫ ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ

ДБ
10
Р89

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КЛАССОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
И ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. Н. ПОКРОВСКОГО



ТОМ ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА ★ 1927

Госуд. публичная
историческая
библиотека РСФСР
182095 м

И
К
А

Главлит № 80.828. Тираж 3

27-я тип. „Красная Печать“ при Изд-ве Комм. Академ. Остоженка,

ПРЕДИСЛОВИЕ

У нас давно привыкли к тому, что некоторые общественные науки—политическая экономия, юриспруденция—представляют собою не что иное, как приведенное в систему отражение классовых интересов и классовой борьбы. Что так называемая «вульгарная политическая экономия» есть не что иное, как очень грубая попытка «научно» (по существу, псевдо-научно) обосновать интересы класса предпринимателей, что «австрийская школа» есть «политическая экономия рантье», что римское право есть юридическая формулировка нравов и обычаев отчасти «простого товарного хозяйства», отчасти торгового капитализма—это все знают и об этом не спорят. Словом, что науки абстрактные и научные абстракции отражают собою классовые интересы, к этому более или менее привыкли. Но когда на сцену выступает наука конкретная (такова история), четкость понимания тотчас же теряется. Кто из нас на вопрос: «как мне познакомиться с политической экономией?», ответит: «да читайте Бем-Баверка!» И кто на вопрос: «как мне познакомиться с русской историей!» не ответит: «да читайте Ключевского!» Что «Ключевский» есть такой же сгусток классовой идеологии, как и «Бем-Баверк», только иначе, на ином материале, изложенной, это у нас усвоили еще далеко не все,—я едва ли ошибусь, сказав: это усвоили пока очень немногие. Большинству кажется, что история—это все равно история. Ну, конечно, факты немножко иначе «освещены»; но, ведь, это факты—все равно, кто бы их ни обрабатывал, они останутся фактами.

Но, ведь, в основе и у Бем-Баверка и у Брентано лежат тоже факты—факты повседневной экономической действительности: ведь не роман же все они писали? И, поскольку это факты, непосредственно наблюдаемые, это более фактические факты, если можно так выразиться, чем все, что мы находим в исторических книжках. Ибо факты, которые мы находим у того или другого историка, по крайней мере, на 75% суть комбинация некоторого сырого материала, который был в руках у этого историка. Излагать непосредствен-

Но этого мало. Несомненно, что «классиков» нашей исторической литературы—Соловьева, Костомарова, Ключевского—будут еще долго читать и в школе, и вне школы. Старик Макиавелли — один из предшественников исторического материализма—правильно говорил, что история тогда лишь интересна, когда она подробна. Короткие изложения марксистских курсов с этой стороны никогда не удовлетворят читателя: а повторить работу Солевьева—какой же марксист за это возьмется, раз перед ним есть несравненно более интересные, еще не тронутые историческим анализом об'екты изучения? Это мотив, конечно, преходящий: лет через пятнадцать-двадцать читать Соловьева и Ключевского перестанут, как теперь никто не читает уже Карамзина. Но если их будут читать еще хоть пять лет, дать читателю путеводитель по их сочинениям все же необходимо.

Я не останавливаюсь на большом методологическом мотиве—необходимости дать картину развития исторической идеологии, как части развития идеологии вообще. Это требует уже ряда чисто-исследовательских работ. То, что предлагается теперь читателю, это еще не исследования в настоящем смысле этого слова. Это—монографии научно-популярного характера, предназначенные для широких кругов студентов и преподавателей, а не для специалистов. Специалист едва ли найдет здесь что-нибудь для себя абсолютно новое. Но это уже и не тот чрезвычайно-популярный очерк, какой был дан пишущим эти строки в 1923 году под названием «Классовая борьба и русская историческая литература». Тот имел в виду не только студентов ВУЗ'ов, но и рабфаковцев и совпартшкольцев. Круг распространения его был, поэтому, довольно широк, и от 10.000 выпущенных тогда экземпляров давно уже ничего не осталось в продаже. Наша книга предназначается не для столь широкой публики, но и она, разумеется стремится быть возможно менее академической и доступной возможно более широким кругам.

Главным образом практическими задачами определился и хронологический захват нашей книги. Мы оставили вне поля зрения всю историческую литературу периода крепостного хозяйства в его чистом виде,—хотя там есть очень любопытные фигуры, как Татищев, Щербатов и Болтин, и есть одна фигура очень крупная: Карамзин. Сказать, что историки этого периода не имели никакого влияния на воспитание нашего поколения, конечно, нельзя. Казенные учебники царского времени, с Иловайским во главе, шли, по существу дела, от карамзинской схемы. Торговому капиталу, дирижировавшему из-за

кулис крепостным хозяйством XVIII—XIX века, важно было, в первую голову, образование громадной государственной территории: не даром в первом большом государстве торгового капитала, какое видел свет в новое время, в империи Карла V (16-го века) «никогда не заходило солнце». Империя Романовых была последним образцом того же типа. Вот отчего образование территории, «собирание Руси», играло такую, вне всякой пропорции с действительностью, колоссальную роль в историческом процессе у Карамзина—и у Иловайского. Налет «патриотизма» и «национализма» был здесь данью «Европе», вместе с дамскими модами, фраком, тротуарами и камином французского образца: «Европа» перешла уже в следующую ступень развития исторической идеологии, в ней исторический процесс строили, отправляясь от интересов промышленного, а не торгового, капитализма—а в эти интересы входило и понятие «нации», как мы сейчас увидим. В империи Карла V, об'единявшего под своим «скипетром» испанцев, голландцев, немцев, итальянцев и американских краснокожих, как и в империи Романовых, считавшей своими подданными финляндца и грузина, поляка и киргиза, националистическому патриотизму места еще не было. Место «нации» в государстве этого типа занимал правящий слой, полу-дворянский, полукупеческий и вполне чиновничий, потому что каждый порядочный дворянин и каждый «выбившийся в люди» купец имели свое место в чиновной иерархии и по праздникам облекались в чиновничий мундир. У нас люди этого времени любили помечтать на патриотические темы по-французски—устно или с пером в руках, как это делал Карамзин в своем знаменитом предисловии к «Истории Государства Российского»: но к настоящему буржуазному национализму и патриотизму это имело такое же отношение, как цитаты из Плутарха и Ливия в устах ораторов французской революции к реальной борьбе между собою революционных партий и фракций. И там, и тут это была м о д а, не более.

Через школьный учебник эта идеология засорила довольно прочно мозги нашего—и, пожалуй, даже непосредственно следовавшего за нашим—поколения. Воздыхания о «единой, неделимой», которые слышались еще в период гражданской войны, несомненно, являлись отголоском уроков о «собирании Руси»: ибо одно дело лозунг «единой, неделимой» в почти однородной по национальному составу Франции, совсем другое в «Российской империи», где даже Витте насчитывал более 40% «инородцев», а еще он зачислял без сколичностей в «русские» и белоруссов и украинцев. Но, как ни свежо предание, все же это—предание

Ныне вступающие в жизнь поколение—а для него пишутся все книжки—не знает Иловайского и никогда не читало Карамзина, даже в хрестоматийных отрывках: нужно только принять все меры, чтобы, под видом восстановления истории в ее гражданских правах, эти почтенные люди снова не забрались в наши школьные учебники. Пока этой беды не случилось, трактовать об этой «истории в чистом виде» в книжке, преследующей, в первую очередь, практические цели, едва ли стоило.

Мы начинаем поэтому с концепции не крепостнической, мы начинаем прямо с концепции буржуазной. Эта концепция господствовала в нашей академической литературе сплошь и без всяких из'ятий всю вторую половину XIX столетия и из академической русской литературы забралась в весьма неакадемическую, марксистскую литературу, забралась на страницы таких авторов, как Плеханов, как Троцкий и т. д. Эта концепция чрезвычайно четко отразила в себе тот момент в развитии русской буржуазии, который совпадает как раз с серединой XIX века, момент возникновения и окончательного оформления у нас промышленного капитала.

Промышленный капитализм имеет перед собой первую задачу, основную, без чего он не может просто стать, не может возникнуть,—это отбиться от своих конкурентов, от других промышленных капитализмов. В странах, где промышленный капитализм родился раньше, чем где бы то ни было в другом месте, например, в Англии, это выявляется, главным образом, в агрессивных действиях растущего промышленного капитализма против других стран. Англия была первой страной промышленной революции, а непосредственно после этого, в течение, примерно, столетия, если не больше, она воевала с Францией. Эти англо-французские войны отразили как раз наступление английского промышленного капитала на континент. Окончились они блестящей победой английского промышленного капитала, овладением европейским рынком и фактической монополией английской крупной индустрии на этом рынке, которая держалась до конца XIX века.

Что касается стран, которые позже Англии вступили на этот путь, то они естественным образом должны были не только наступать,—они наступали тоже, обыкновенно на восток,—они должны были и обороняться. И та же самая Франция создала в начале XIX века самую грандиозную систему обороны своего промышленного капитала—континентальную блокаду. Совершенно в такое же оборонительное положение попадали после этого и все другие европейские страны, где усиленно развивался промышленный капитализм; попала после Франции

Германия, которой пришлось отбиваться уже от Франции, попала Италия, которой пришлось отбиваться от Австрии и т. д., и т. д. В конце концов в такое же положение должна была попасть и попала Россия. Как раз в начале характеризуемого мною периода—в 1822—23 г.—мы имеем первую жесткую протекционистскую программу, какая была проведена у нас. Мы имеем первое возведение таможенной стены, которая отделила Россию от западных стран и которая дала возможность развиваться нашему промышленному капитализму, которая эмансипировала его от засилья Запада, главным образом, засилья англичан, но, конечно, и французов, и немцев, и всяких других «насильников» и «нападателей» на невинную русскую промышленность.

Этот процесс развития национальной промышленности лежит в основе всего идеологического движения буржуазии в то время. Представляясь нам тривиальным, материальным процессом, делом кошелька и пятачка, он ведь мог сублимироваться, как сублимируется все на свете,—нет такой вещи, которую сублимировать было бы нельзя,—и, сублимируясь, он вырастает в те роскошные националистические движения, которые знают массу героических эпизодов в истории Италии, в истории Франции, в истории Германии. «Марсельеза»—не только революционная песня, но и великая националистическая песня. Этот ореол национализма, этот пафос национализма, в основе которого лежал в сущности тривиальный факт образования внутреннего рынка, этот пафос проникает собою всю соответствующую литературу и, между прочим, литературу историческую, которая дает нам целый ряд ярких националистических произведений. В особенности это отразилось на германской исторической школе Ранке, основной националистической школе XIX в., и соответственной параллелью к этому является наша русская историческая литература середины XIX в., историческая литература, связанная с именем Соловьева, Чичерина, Кавелина и др.

Эта русская литература, как и вся русская классическая литература, насквозь великодержавна. И великодержавие ее чрезвычайно характерно для националистической политики. Для всех этих историков русская история есть история великорусского племени. И это чрезвычайно характерно, потому что главным агентом того исторического процесса, который я характеризую, является именно великорусская народность. Русский промышленный капитализм складывался около Москвы—великорусского центра, и московский отпечаток чрезвычайно резко лежит на всей его политике. Отсюда прежде всего великодержавность этой литературы, то, что она смотрит с московской ко-

локольни. Министр финансов Александра II Грейг сказал в одной своей речи, что он смотрит на Россию с высоты Кремля. Один остряк прибавил: «Потому он и видит только Замоскворечье». Вот такую позицию занимала и наша националистическая историческая литература. Это— одна из ее черт.

Другая ее черта, еще более характерная для нее, черта, тоже роднящая ее со всякой подобной литературой, в том числе и с германской и французской соответствующего периода, это то, что для создания внутреннего рынка нужно было прежде всего сильною рукою сломать всякие внутренние перегородки, об'единить страну. Притом, чем больше этих перегородок было сломано, чем шире был рынок, тем было лучше. Во Франции пришлось это делать довольно решительным путем, поскольку во французской революции промышленный капитал столкнулся еще с живыми феодальными перегородками, с живыми местными властями и т. д. У нас это все было попроще, не было такой борьбы. Но перегородки и у нас были. Главной перегородкой было, конечно, крепостное право, которое являлось помехой на пути развития промышленного капитализма. Отсюда наш пафос сосредоточивается на борьбе с крепостным правом. Так или иначе, внутри нужна была очень сильная, крепкая государственная власть, которая сломила бы эти перегородки, какого бы вида они ни были, и создала единый внутренний рынок со свободным передвижением рабочих рук, с резервной армией этих рабочих рук и т. д., со всем, что необходимо для развития промышленного капитализма.

Отсюда вопрос о государстве и происхождении государства занимает громадное место в наших исторических идеологиях середины XIX в. Все они ставят вопрос, как возникло государство, в чем его сущность. Государство играло во всех их построениях, как и во всей практической системе промышленного капитализма, колоссальную роль. Без государственной власти нельзя было сломать этих перегородок, нельзя было сломать крепостного права, т.-е. его можно было сломать, конечно, и революционным путем, путем взрывов снизу. Но я думаю, нет надобности об'яснять, что такой путь не был путем промышленного капитализма ни в одной стране. Только Франция должна была пойти этим путем, но и то она быстро справилась с этим низовым движением, и уже при Наполеоне там царствовал «полный порядок». Совершенно естественно, что в других местах сломали эту перегородку сверху, путем реформ, и для этого нужна была сильная государственная власть, и для этого нужно было всячески возвеличивать государство.

Отсюда все наши буржуазные историки суть историки-государственники. Прежде всего они выдвигают теорию, которую они выдают за особенность русского исторического процесса, но которая на самом деле отражала особенность об'ективного положения их класса в России, теорию, которая гласила, что само русское общество создано государством. Нигде до такой степени известная гегелевская фраза, что государство есть своего рода бог, не оправдалась так, как именно в русской исторической литературе, которая считала, что все общество со всеми его сословиями создано государством. До этого договорилась только одна русская историческая литература, и никакая другая так далеко в своем преклонении перед государственной властью, в своем возвеличивании государственной власти не шла. Это было совершенно естественно, потому что сильная государственная власть нужна была той основной производственной силе, которая в это время росла,—промышленному капитализму. При помощи этой государственной власти был пробит барьер крепостного права в 1861 г., были открыты пути для более или менее беспрепятственного развития промышленного капитализма в будущем. Совершенно ясно, на кого опиралась эта идеология. Это для нас служит иллюстрацией того, кто командовал в это время русским общественным мнением. Командовал фактически промышленный капитал. Тут совершенно не приходится стесняться тем, что ни у Чичерина, ни у Кавелина, ни у Соловьева, ни у кого другого из историков-государственников не было никаких фабрик. Тут применимо то, что говорит Маркс о мелкобуржуазной идеологии, о мелкобуржуазных идеологах: не обязательно, чтобы у них была лавка, но их кругозор не выходит за пределы кругозора лавочника. Точно так же для наших историков-государственников не обязательно было, чтобы они были фабрикантами, но их кругозор был кругозором крупных предпринимателей, кругозором буржуазии, которой были нужны определенного рода государственные учреждения.

И вот почему те общественные классы, которые при этом развитии промышленного капитализма являлись не суб'ектом, а об'ектом, которых этот развивающийся промышленный капитализм мял и трепал, естественно, должны были занять противоположную позицию. И прежде всего такую позицию заняли славянофилы, т.-е. помещики. Что для помещиков означал рост промышленного капитализма? Он означал прежде всего колоссальные таможенные пошлины, которые били по карману помещиков потому, что в каждом аршине и в каждом фунте того, что они покупали, сидели эти самые таможенные пошлины. И вот, на

почве этой противоположности интересов промышленного капитализма и помещиков возникла славянофильская теория, которая отрицала государство и которая договаривается местами до демократических и даже анархических положений. Я не хочу отрицать того, что славянофильская теория многогранна, что в ней, кроме отрицательного отношения к государству, как двигателю промышленно-капиталистического развития, а таковым, несомненно, была империя Николая I, что, кроме этого, сюда примешивалась еще и борьба с революционным движением снизу, и что для славянофилов момент страховки от возможности социальной революции играл также очень большую роль. Это совершенно верно; никто не станет отрицать того, что их историческая теория многогранна, и никакую историческую теорию вы не исчерпаете одним положением и тезисом. Но все-таки основным моментом в славянофильстве было отрицательное отношение к государству, как носителю, как возглавлению, как политическому орудию того промышленного капитализма, от которого больно приходилось помещикам, от которого помещики экономически страдали, в особенности страдали в тот период, когда был аграрный кризис, и тогда помещикам и без того приходилось туго. А тут фабрики росли, и оттуда раздавались голоса, что крепостное право нужно отменить и т. д., и т. д. Все это вместе создало известное настроение славянофильства, и этим об'ясняется его отрицательное отношение к государству, то, что оно государство выдвигало за скобки, как чужую силу, как насильника, как что-то наносное в русской истории, с чем народные массы вовсе не желают считаться.

Но в этом хоре не звучал голос того класса, на котором сидела вся эта пирамида, сидел помещик, сидел фабрикант, сидел чиновник, сидел и царь. В нашем обычном классическом изображении русской историографии средины XIX века крестьянин совершенно отсутствует, его не было, его голоса не было слышно. Это довольно естественно. Этот безграмотный крестьянин,—по подсчетам Щапова, в России на 65 миллионов населения всего было 4 млн. грамотных, при чем большая часть неграмотных падала, разумеется, на крестьян, это было до возникновения даже земских школ, которые возникли позднее,—этот безграмотный крестьянин, казалось бы, не мог никак проявить себя в исторической литературе. И однако, проявил. И интерес Щапова, суть его классовой позиции заключается в том, что он учитывает весь этот процесс, о котором я говорю, чувствуя его на себе, и представлял идеологические интересы именно этого якобы молчавшего класса. Щапов—типичный крестьянский историк.

Сохранился любопытный анекдот о том, как Щапов спорил с Чернышевским. Этот анекдот рассказывает, между прочим, Плеханов в своей статье о Щапове,—как они спорили очень долго, целый вечер, и как Щапов ушел, не убежденный Чернышевским. И, чрезвычайно метко схватывая разницу между ними, Плеханов говорит: «Тут спорили демократ с социал-демократом». Чернышевский был уже зародышем социал-демократии, т.-е. представителем городского рабочего движения. Щапов и тут остается настоящим мужичком,—он стоял на своей мужицкой позиции. И вот, столкнувшись с социал-демократом горожанином, Щапов своих позиций не сдал. Чернышевский отличался могучей диалектикой, но эта могучая диалектика не победила Щапова. Он, как пришел мужичком к Чернышевскому, так и ушел.

Вот те три основные концепции русского исторического процесса, которые боролись в середине XIX века. Мы начинаем их характеристику с самого раннего представителя диалектики—а до-марксистская, идеалистическая диалектика отражала развитие именно промышленного капитализма,—какого мы имеем в русской исторической литературе: с Эверса. Для широких читательских кругов это имя, наверное, не знакомо, но его надо знать и помнить: это учитель наших учителей, Соловьева, а через Соловьева и Ключевского, хотя ссылаться на этого «немца» наши учителя не любили. А в конце галлереи, вслед за Щаповым, мы ставим Лаврова. Он не специалист-историк,—но на специалистов-историков он несомненно влиял, и без Лаврова не было бы многих страниц Ключевского. В то же время этот создатель типичнейшей мелко-буржуазной философии истории, какого только знает русская литература, уже знал и читал Маркса,—понимая его по-своему. Позже идут уже полумарксистские схемы, хромающие и отступающие или в сторону Гегеля, что роднит их с классическими схемами русской истории—и они от этого родства не отрекаются,—или в сторону Щапова, что роднит их с классическим веком русского «просвещения», с 60-ми годами. Это схемы Плеханова и Рожкова.

Смерть Н. А. Рожкова сделала то, что из живущих еще на свете русских историков в книге говорится только обо одном Милюкове. Научная карьера этого крупнейшего представителя «школы Ключевского» представляет собою почти замкнутую кривую. Начав с попытки примирить абсолютно непримиримое: «государственную» схему русской истории со Щаповым, Милюков возвращается в наши дни почти к чистой «щаповщине». Но как не похожа щаповщина 1920-х годов на ее прототип 1860-х! Подлинный Щапов на крестьянстве и его труде базиро-

вал все будущее России. Его крестьянин смотрел вперед—вот в чем было его право на красный угол в русской истории. Для Милюкова последнего извода крестьянин тоже герой всей русской истории—но ничего красного у него не осталось. Воображаемый Милюковым русский крестьянин—своего рода белый дворник русской истории, предтеча и помощник того городового «с медалями, крестами на груди», который «огласил всю Русь мотучим криком: куда прешь? подайся! осади!». Этого городового ждет—не дождется русская эмиграция. Но не дождется ни его, ни его предтечи. Настоящий крестьянин советской страны не имеет ничего общего с печальным героем, которого сочинил себе Милюков в припадке последнего отчаяния. И от его новейшей исторической теории остается одно: констатирование того несомненного факта, что «государственная» концепция Чичерина—Соловьева—Ключевского присоединилась в царстве теней к концепции Карамзина.

А переход в целом ряде случаев на чисто марксистские позиции покойного Рожкова, в его пореволюционных книжках, не меньше, чем щаповские реминисценции Милюкова, свидетельствует, что и просветительству 60-х годов в нашей исторической литературе тоже пришел конец. Марксистская схема, изгой 90-х годов, чрезвычайно неприятная «втируша» первых десятилетий нашего века—но которую уже нельзя было выгнать за дверь, которую можно было только «не замечать»—эта марксистская схема занимает теперь в русской исторической литературе то же место, какое занимала схема «государственная» в средине прошлого века. Дальнейшее развитие идет в порядке дифференцирования, очищения и уточнения этой схемы. Но этот процесс еще не принадлежит истории. Это еще наше настоящее. Вот почему характеристика различных оттенков этой схемы еще не дается в этой книге. Писавшие ее сами принадлежат к школе историков-марксистов. А дать об'ективную характеристику самим себе всего труднее—не говоря о том, что трудно дать законченную характеристику тому, что еще живет и развивается, что само еще не закончено. Пусть этим займутся читатели этой книжки, когда они сами сделаются вполне зрелыми историками. И если нам удалось хотя немного облегчить их путь к этой цели, наша задача выполнена.

В настоящем первом томе мы даем «классиков» основных направлений русской историографии середины XIX века: Соловьева, Чичерина и Щапова. Мы присоединяем к ним, по изложенным уже выше соображениям, в качестве «введения», Эверса. И мы даем, параллельно с ними, славянофилов. Славянофилы могли бы казаться совер-

шенно устаревшими, почти настолько же, насколько устарел Карамзин,—если бы Милюков самой последней формации не попытался их оживить, почти целиком усвоив их схему государства, «насевшего» сверху на народную массу. Если прибавить к этому, что славянофильские отзвуки отчетливо слышатся в исторических концепциях народничества и что славянофилы нанесли первые и меткие удары «государственной» теории в пору ее наивысшего расцвета, то, думается, славянофилы будут отнюдь не лишними в нашей коллекции.

Чтобы не впасть в грех «великодержавности», которою так была заражена «государственная» школа, мы должны по крайней мере попытаться дать и наших историков-«федералистов», начиная с Костомарова. Имея не очень большое чисто научное значение, Костомаров имел громадное влияние общественное: для наших отцов, а отчасти и еще для нас самих в дни нашей молодости, это была единственная отдушина, через которую к нам шла свежая струя, независимая от «государственного» понимания русского исторического процесса. Что в древней Руси были не только князья и бояре, но была и народная масса, было что-то вроде республик, что «русскую историю» делали не только великороссы, но и украинцы,—это мы впервые узнавали от Костомарова. Если прибавить, что при малом удельном весе его писаний в чисто-научном отношении иные его теории, как, напр., его об'яснение возникновения московского государства, как продукта тесного союза Москвы и Орды, остаются верными и доселе, и что мы отнюдь не ставим своей задачей изображать только вершины русского исторического Олимпа, присутствие в наших очерках Костомарова не будет нуждаться в дальнейших доказательствах. Но нам хотелось бы и продолжить ознакомление наших читателей с этим «федералистическим» направлением, дав характеристику и новейшей украинской исторической литературы, начав в первую очередь с М. С. Грушевского. Украинская параллель Милюкову—не в политическом, конечно, отношении,—притом параллель более яркая, поскольку Грушевский, как историк, талантливее и значительнее своего великорусского ровесника, не может быть устранена из обзора концепции русского исторического процесса, поскольку, при всем своеобразии украинской культуры и украинской истории, построить ее схему, не затронув так или иначе схемы русской истории, совершенно невозможно.

Удастся ли ввести «федералистов» во второй том, это, конечно, зависит от размеров, какие примут основные статьи этого тома. Во второй том обязательно должны войти Ключевский, Милюков, Плеха-

нов и Рожков. Костомаров и Грушевский, быть может, составили бы третий том—или выпуск—настоящего сборника. Во всяком случае, в наш план, и план всякого подобного издания, они должны войти.

В заключение несколько слов о происхождении этой книжки и связанных с этим особенностях ее изложения. Печатаемые статьи возникли из докладов, читавшихся в семинарии по русской истории Института Красной Профессуры. Их авторы—за исключением М. В. Нечкиной, научной сотрудницы первого разряда Московского института истории—студенты Института Красной Профессуры I курса. Их задачей было дать возможно более полное представление о том или другом историке, избавляя нашего читателя от труда знакомиться с этим историком непосредственно. Отсюда изобилие цитат, которые делают чтение нашей книги, может быть, менее «занимательным», чем если бы изложение было дано в форме обычной журнальной статьи. Мы считали, что для р у к о в о д с т в а,—а книга является и таковым,—занимательность и легкость изложения должны отступать на второй план перед его содержательностью.

М. НЕЧКИНА

ГУСТАВ ЭВЕРС

„Новообразовавшиеся державы, как и все, производимое натурою, носили в недре своем при начале явления своего зародыш разрушения"...

Г. Эверс. Древнейшее русское право.

Первый диалектик русской историографии теперь почти забыт. Это—немец, изучавший русскую историю, Иоганн Филипп Густав Эверс. В текущем 1926 году исполняется ровно сто лет со дня выхода первого последовательно-диалектического произведения русской историографии—«Древнейшего права руссов». Это—столетний юбилей замалчивания Эверса. Его имя широким массам, интересующимся русской историей, совсем незнакомо, оно известно лишь в кругу специалистов, но и тут дело обстоит не совсем благополучно.

Никто из работников над историей русской истории не обходится без упоминания об Эверсе. Обычно о нем говорят—и с большим уважением—перед тем, как перейти к С. Соловьеву и к школе родового быта.

Конечно, авторы прежних историографических обзоров были вынуждены упоминать об Эверсе—ведь он был основателем крупнейшей школы русских историков XIX века, так называемой «историко-юридической школы». К ней принадлежат такие значительные русские историки, как С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, К. Кавелин. Но об Эверсе обычно лишь бегло упоминается, и его работы не подвергаются разбору. П. Милюков, написавший специальную статью «Юридическая школа в русской историографии», кажется, был бы должен на них остановиться, но он обронил об Эверсе единственную фразу, что был-де Эверс, выдвинувший новую теорию, и все [1]).

Литературы об Эверсе, в сущности, нет. Все, что мы имеем о нем,—это несколько статей в различных словарях, из которых самая большая принадлежит проф. Дьяконову [2]), краткие упоминания об Эверсе, как о ректоре, в работах о Дерптском Университете—вот и

---

[1]) Русская Мысль. 1886, кн. VI, стр. 83.

[2]) Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Юрьевского, бывш. Дерптского, Университета за сто лет его существования (1802 — 1902), под ред. Г. В. Левицкого. Юрьев 1903, т. II, стр. 510—536. Остальная словарная литература — см. приложенный список использованной литературы.

все. Прибавим к этому, что из двадцати шести работ Г. Эверса на русский язык полностью переведены лишь три [1]) и что крупнейшая его историческая работа «Geschichte der Russen»—большой том в пятьсот слишком страниц, доводящий изложение с Рюрика до Петра I и вышедший р а н е е «Истории» Карамзина (в 1816 г.), уже больше ста лет остается непереведенным, в единственном издании. Такова общая картина нашего знакомства с первым диалектиком русской историографии, основателем юридической школы, не изжитой и доселе русской исторической наукой, первого историка русского права и первого историка, твердо установившего, что в истории нас интересуют не цари и придворные сплетни, а внутреннее развитие общества.

Настоящая работа пытается частично восполнить этот пробел. Ее цель — бегло обрисовать Эверса, как социолога-диалектика, дать общий очерк его исторической теории и ее постепенного развития и поставить ее в связь с окружавшим Эверса «бытием», с классовой сущностью того социального слоя, с которым он был спаян. Детальное изучение того, что нового дал Эверс русской истории в разработке отдельных проблем, например, в варяжском вопросе, в эту тему не входит. Заманчивый вопрос о связи Эверса со школой юридического быта и особенно с С. Соловьевым, о влиянии его на последующих историков, по необходимости, очерчен здесь лишь бегло. Эверс, как историк, вырос не на русской, а на германской почве. Его воспитала западная наука, поставившая перед ним основные проблемы диалектики государства, которые он внес в изучение русской истории. Начавшийся процесс об'единения Германии сделал необычайно острым вопрос о г о с у д а р с т в е н н о й форме этого об'единения и выдвинул политические вопросы на первый план исторического изучения. Гегель и Гердер. Нибур и Ранке, Савиньи и Эйхгорн отражали и осознавали этот вопрос в темах и методах своих работ. Эверс принадлежал, в сущности, к тому же поколению. Его биография об'ясняет многое в его научном творчестве. Необходимо поэтому остановиться на ней и остановиться более внимательно, чем по отношению к другим историкам, так как она чрезвычайно мало известна.

---

[1]) Переведены: 1) „Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der Russen“ I-es и II-es Buch. Dorpat 1814 (в переводе—„Предварительные критические исследования Густава Эверса для российской истории“, книги I и II, Москва 1825—1826); 2) „Ueber die Wohnsitze der aeltesten Russen“, Sendschreibe von Staatsrath G. Ewers. Dorpat 1824 (перевод Погодина: „О жилищах древнейших руссов“. Сочинение г. N. и критический разбор оного. Москва 1826; 3) Das aelteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung. Dorpat, 1826 (перевод И. Платонова „Древнейшее русское право в историческом его раскрытии“. СПБ 1835).

Г. Эверс был сыном зажиточного вестфальского крестьянина. Некоторые исследователи называют его отца «состоятельным местным хозяином». Родился Эверс в деревушке Амелунксене на Везере 22 июня (3 июля) 1781 г. К сожалению, подробности о материальном положении отца и о детстве маленького Эверса неизвестны. Очевидно, первое было не из плохих уже потому, что Эверс смог получить университетское образование. Вероятно, отец Эверса принадлежал к тонкому слою самостоятельных мелких фермеров, немногочисленному среди общей массы крепостного крестьянства Германии. Мальчик обладал недюжинными способностями. Сначала он три года обучался у местного пастора Шпора, готовившего его в монастырскую школу, затем поступил в последнюю в Гольцминдене Брауншвейгской провинции. В этой школе Эверс занимался, главным образом, греческим, латинским и испанским языками. В 1799 г. он уже студент Гёттингенского университета по богословскому факультету. Под влиянием научных занятий первоначальное намерение Эверса быть проповедником сменилось решением специально заняться научной работой в области государственных наук. Руководителем его в истории был Геерен, некоторое влияние оказал и А. Шлецер, профессорствовавший в то время в Геттингенском университете. Оба эти учителя Эверса чрезвычайно интересны. Геерен был близок к типу исследователя-социолога, одной из его любимых идей была необходимость изучения торговых сношений древних народов, облегчающая понимание их политической истории. Как видим, и тут политика находилась в центре внимания историка. Шлецер же повлиял на Эверса со стороны строгого критического метода изучения источника, научил его критике текста. С этой стороны Эверс на всю жизнь остался его учеником. Когда четвертый год пребывания в университете пришел к концу, надо было думать о самостоятельном заработке. Эверсу представились три возможности: быть домашним учителем у генерала Янсена, голландского губернатора, в Париже у m-me de Staël или в России, у лифляндского ландрата фон-Рихтера. По совету Шлецера Эверс остановился на последнем. Можно с большой долей вероятности предположить, что этот совет был дан и принят в силу соображений карьеры. Россия представлялась молодому и способному немцу местом, где можно легко выдвинуться и блистать, где можно хорошо заработать. Позже, поссорившись со Шлецером за опубликование личных писем, адресованных к нему Эверсом, последний написал едкую брошюрку «Unangenehme Erinnerung an August Ludwig Schlözer» («Неприятное воспоминание об Августе Лудвите Шлецере» [1]), где волей-неволей дал

[1]) Dorpat, 1810.

много материала для характеристики такого взгляда на Россию. Так или иначе, летом 1803 года Эверс оказался в прекрасном имении Ваймель, в 60 верстах от Дерпта.

Здесь Эверса сразу охватила обстановка интересного исторического момента, в который он попал в Лифляндию: то было время бурных обсуждений в ландтагах вопроса об «улучшении быта крепостных».

Под таким названием скрывался вопрос об освобождении крестьян, о создании батрака для помещичьих латифундий.

Прибалтийский край России, ее остзейские провинции, представляли собою своеобразное экономическое целое. Темп хозяйственного развития этого края был значительно быстрее остальной России. Ни в какой ее части помещичье дворянское имение не превращалось так быстро в хлебную фабрику, работавшую на Европу, как там. Правящим классом края было дворянство, совершенно захватившее в свои руки местную власть, имевшее в своей вотчине (аллодии) все права управления, до суда включительно. Петр I, усиленно и успешно вбивавший клин между остзейскими помещиками и шведским правительством, их вчерашним господином, дал остзейскому дворянству в марте 1712 года жалованную грамоту, поддерживающие его привилегии, опередив на полвека политику Екатерины II по отношению к русскому дворянству. По заключении Ништадского мира, были образованы т. н. р е с т и т у ц и о н н ы е к о м и с с и и, вернувшие дворянам их прежние имения, и после этого власть помещика над крестьянами безгранично растет. Даже Екатерина II, давшая устав рижской коммерции, обратила внимание во время своей поездки по Прибалтийскому краю, что крестьяне от произвола помещика ничем не ограждены. Превращение в 1783 г. всех маленьких имений (поместий) в аллодии (вотчины) сделало дворян окончательными хозяевами остзейского края. Барщина усилилась до невероятных размеров и все-таки не удовлетворяла требования рынка в хлебе: работа крепостного из-под палки с примитивными орудиями труда и заморенной лошадью не давала возможности повышать производительность помещичьих полей в нужной мере. - 1803 год и был годом бурных прений по крестьянскому вопросу в ландтагах. Вопрос об «улучшении» положения крестьян вылился в следующие постановления: 1) признать политическое существование крестьян, 2) утвердить за ними благоприобретенную собственность, 3) оградить их от произвола через точное определение повинностей. Но когда дошло до проведения этих постановлений в жизнь, распри дворянских партий достигли таких размеров, что по высочайшему повелению в 1803 году вопрос был снят с ландтагов и передан особой комиссии в Петербурге. В 1804 году комис-

сия кончила свои занятия, выработав Положение об остзейских крестьянах. Вся земля по этому «Положению» сочтена собственностью помещика, а повинности крестьян устанавливались по шведским оценочным правилам 1680 г. и заносились в особые «вакенбухи» для каждого имения. Таким образом, крестьяне были прикреплены к неизменным барщинным повинностям. Ясно, что такое положение не удовлетворило остзейских баронов: они первые возбудили ходатайство об освобождении крестьян, что и произошло в Эстляндии с 1811 года, в других провинциях несколько позже. Крестьяне были освобождены без земли, — вольнонаемный сельскохозяйственный батрак был создан, прусский тип капиталистической эволюции помещичьего имения был прочно утвержден.

Эверс попал не больше, не меньше, как в имение самого ландрата—центра группировки прогрессивных дворянских партий. В 1804 г. он выступил с критикой «Положения об эстляндских крестьянах», которое было не столь прогрессивно, как Положение о лифляндских. По этому поводу между ним и гр. Коцебу разразилась большая литературная полемика, в которой Эверс резко стоял на стороне прогрессивного дворянства [1]). Статьи Эверса и все его выступление понравилось русскому правительству, и влиятельные лица дали понять это молодому немцу. Об этом есть документальное свидетельство — письмо Эверса к Шлецеру от 1 декабря 1808 г. Он глухо говорит об этом: «Известный человек, имя которого я не могу доверить письму, несколько дней тому назад писал мне из С.-Петербурга: «Позавчера я имел неожиданное счастье принести ваши писания о положении крестьян и т. д. туда, где единственно они и могут принести плод, и можно надеяться, что вы увидите успешные результаты через несколько месяцев». Теперь вы знаете, как быстро сбылось это предсказание. Dum spiro spero. Император справедлив» [2]). Эверс был замечен Александром I и сделал впоследствии блестящую карьеру.

Эта любопытная страничка в жизни Эверса показывает ясно, что двадцатитрехлетний юноша был уже личностью политически зрелой, ясно сознававшей интересы передового слоя крупных помещиков.

Ряд проявлений капитализации сельского хозяйства Эверс уже наблюдал в Германии. Вероятно, этому не было чуждо и хозяйство его

---

[1]) Эта полемика разразилась на страницах Intelligenzblatt der Jenaschen allgemeinen Literaturzeitung vom 4 Jun. 1806, № 46. Мне, к сожалению, ее не удалось отыскать в Москве, поэтому деталей о полемике Эверса и точных формулировок его взгляда на крестьянский вопрос я не могу дать.

[2]) „Unangenehme Erinnerung an A. L. Schlözer". Dorpat 1810, стр. 45.

отца. Правда, мы не знаем, насколько в этом хозяйстве участвовал и сам Густав Эверс. Будучи студентом, он переживал другую сторону этого процесса — осознание ломающихся хозяйственных отношений в идеологических системах. А Гёттингенский университет, один из древнейших идеологических центров, мог дать своему способному и вдумчивому ученику достаточный запас обобщений и выводов, характерных для переходной эпохи.

Французская просветительная философия со своим резким протестом против феодального строя, беспощадной критикой отживающих форм и идеями прогресса и связного развития имела огромное влияние на Германию, болевшую теми же процессами разложения феодального хозяйства. Но германское экономическое развитие отстало от французского: не было развитого и сплоченного «третьего сословия». Тяжкие экономические последствия тридцатилетней войны усиливались еще упадком таких крупных торговых и производственных центров, как Кельн, Ульм, Аугсбург, Нюренберг: торговые пути передвинулись с открытием морского пути в Индию и Нового Света. Об'единению «третьего сословия» препятствовала и политическая раздробленность Германии, разделявшая интересы промышленных групп таможенными перегородками и сильно варьировавшая местные требования.

Идеологическая жизнь Германии кипела, но была лишена подлинной революционности, свойственной тогдашней французской науке. Германская идеология не вела к непосредственному революционному действию, но с тем большим ожесточением нападала на более безобидные Бастилии схоластики, непроверенных богословских выводов, на застылость исторического процесса у старых историков. Фихте и Гердер требовали изучения именно исторического процесса и ставили в центре изучения «народ», а не царей. Диалектика пронизывала их исторические построения, к тому же крупнейший диалектик новой философии уже начал свои первые работы: Гегель уже обдумывал свою «Феноменологию духа». Идеологический перелом был налицо. Вопрос политического об'единения Германии, создания единого германского государства стоял в центре политической жизни страны. Это не смогло не сказаться на схемах исторического изучения: на первом месте стоят политические явления и изучение постепенного процесса образования государств. Все эти научные и литературные явления, конечно, так или иначе охватывались сознанием молодого Эверса и были для него новинками сегодняшнего дня. Он усвоил понятие об истории, как о непрерывно развивающемся процессе, полном противо-

речий. Острый интерес Эверса к вопросам политики и истории государств — еще один признак влияния эпохи. Но подчеркнем, что по существу Эверс не был философом: нельзя отметить у него большого интереса к абстрактным построениям; Эверс в первую голову — любитель всего конкретного, историк, статистик, зоркий и умный наблюдатель лифляндских и эстляндских крестьян, практик-организатор и юрист. Он впервые почувствовал себя в своей сфере, напав на вопросы истории в обязательном для него богословии.

Эти научные интересы сейчас же нашли себе пищу в Лифляндии: имение Ваймель находилось в 60 верстах от Дерпта, поэтому оказалось возможным брать книги из университетской библиотеки — внешние условия для научной работы были налицо. Во внутренних тоже не было недостатка: широкая образованность, знание языков, наличие общих точек зрения, богословская вышколенность в изучении текста, усиленная в исторической области ученичеством у Шлецера, неимоверная трудоспособность, немецкая аккуратность, организаторские наклонности и трезвая практическая сметка немецкого крестьянина. И действительно, горячо полемизируя о крепостных с Коцебу и работая над Временным Положением об эстляндских крестьянах, Эверс уже обдумывал первую научную работу. В 1807 г. он закончил книгу «Vom Ursprunge des russischen Staates. Ein Versuch, die Geschichte desselben aus den Quellen zu erforschen» (О происхождении русского государства. Опыт изучения его истории по источникам).

У этой книги—эпиграф из работ Шлецера: «Никогда не надо ни одному автору,—носит ли он прославленное или неизвестное имя, называется ли он Кромером или Шлецером, или Мавро-Орбино, — в чем-либо верить на слово, но надо только и единственно взвешивать его основания» [1]. Он сразу вводит нас в основной замысел работы: это детальное, самостоятельное исследование текста источников для освещения вопроса—откуда пришли основатели русского государства.

Работа Эверса направлена целиком против норманнской теории Байера и Шлецера, полагавшей, что основатели русского государства пришли с Балтийского моря. Эверс доказывает их черноморское происхождение. Несмотря на резкое расхождение со Шлецером в выводах, Эверс остается его верным учеником в строгих методах исследования и в цели исследования.

---

[1]) „Man muss durchaus keinem Auctor, er füre einen berümten oder unberümten Namen, er heisse Cromer oder Schlözer, Diocleas oder Mauro-Orbino, etwas auf sein Wort glauben, sondern einzig und allein seine Gründe wägen".

Теория Эверса была отвергнута большинством тогдашних ученых. Важно отметить глубокий критицизм Эверса, дерзнувшего, несмотря на неизвестность и молодость, пойти против теории известнейшего Шлецера во всеоружии того же критического метода. Важна и тема работы, для того времени самая боевая: вопрос о происхождении государств живо интересовал тогда историческое изыскание и Франции, и Германии, и России. Уже упоминалось, как злободневна для Германии была тема о государстве. Кроме того, раз историки нового направления смотрели на историю, как на процесс, им необходимо было изучить начало развития государства. Без этого современное государство не могло быть ими понято. А найти государство в самом начале исторического процесса в прошлом, — не значило ли это утвердить его мощь, доказать неизбежность и необходимость его существования в настоящем? Книга Эверса написана легко и живо, с задором первого юного убеждения, в котором звучит гордость самостоятельной работы. Диалектические задатки его здесь только намечаются, — позднейшие работы выявят их гораздо полнее. Шлецер начинал существование русского государства Рюриком — это не удовлетворяет Эверса: русское государство существовало раньше: «Русское государство на Озере Ильмене и по имени и по факту существовало до Рюрикова самодержавия, которым Шлецер (II, 205) начинает русскую историю. Призванные князья уже застали государство; потому что, как же иначе можно назвать союз, в котором жили только что названные племена, раз они после изгнания варягов сами собою управляли?.. По какому праву оно (прибытие варягов. *М. Н.)* и восстание новгородцев при Вадиме сослано издателем Нестора в доисторические времена? Разве необходимо надо начинать русское государство каким-нибудь монархом? Почему не триумвиратом? Кто начинает Эгбертом английскую историю?» [1]). Характерно убеждение, что вне государства и союза никакого не может быть, — как же его иначе назвать, как не государством?

В 1808 году совершилось еще одно важное событие в жизни Эверса. Он в первый раз оказался в Москве (сопровождал своих учеников) и познакомился здесь с Карамзиным. Он знал о Карамзине и раньше. При первом известии о назначении его российским историографом он высказал в письме к Шлецеру глубоко-правильное замечание, что едва ли Карамзин будет иметь успех, как историк, так как

---

[1]) Там же, стр. 186—187. Цифры в скобках указывают том и страницу произведения Шлецера „Нестор". Первый курсив мой, второй Эверса. *М. Н.*

иных достоинств, кроме изящного стиля, у него нет [1]). Позже Эверс старался всех уверить в своей глубокой преданности российскому историографу, но можно подозревать, что внутреннее его убеждение осталось тем же.

Никакой «филиации идей» между Эверсом и Карамзиным нет. Эверс сумел завоевать себе научную репутацию своими историческими работами гораздо раньше выхода в свет «Истории» Карамзина. Но внешне Эверс был к Карамзину чрезвычайно почтителен и не упускал случая выразить глубочайшее уважение к российскому историографу. Возможно, что Карамзин содействовал избранию Эверса в члены Общества Истории и Древностей при Московском университете (Эверс и посвятил этому Обществу «Vom Ursprunge des russischen Staats») и дал ему возможность познакомиться с подлинниками многих важнейших русских источников: Эверс просмотрел начальную летопись по списку графа А. И. Мусина-Пушкина, снял копию с Русской правды по синодальному пергаментному сборнику. Прием, оказанный Эверсу Карамзиным, был чрезвычайно ласков: вероятно, в скромном молодом немце, домашнем учителе, Карамзин не чувствовал будущего соперника.

«Я почти ежедневно бываю у него,—пишет Эверс Шлецеру в письме от 1 декабря 1808 г.,—и работаю вместе с ним в одной комнате, от которой он передает мне ключ, когда его самого нет дома. Его отношения ко мне столь же поучительны, сколько и лестны для меня и, с его помощью, я надеюсь в течение этого года завершить издание древнейших русских законов, которое должно заслужить Ваше одобрение» [2]).

Во время пребывания Эверса в Москве его выбрали на кафедру истории, статистики и географии России в Дерптском Университете. Эверс начал свою преподавательскую деятельность с 1 января 1810 г. и продолжал ее непрерывно на филологическом факультете до 1820 г., когда перешел профессором на юридический факультет того же университета. Им читались курсы древней и новой русской истории, последний иногда доводился до царствования Павла I; читал Эверс еще специальный курс критического введения в изучение древнейшей русской истории, курс статистики России, курс государственного устройства и управления России, и топографии России. Будучи историком широкого образования—в этом он сходен с С. Соловьевым, Эверс не раз читал курсы средней и новой всеобщей истории, курсы по современному положению и государственному устройству и управлению европейских

[1]) Unangenehme Erinnerung an A. L. Schlözer. Dorpat, 1810, стр. 9.
[2]) Там же, стр. 6.

государств (например, Великобритании и Франции) и курсы статистики этих государств. В 1816 году Эверсу предложили ординатуру по кафедре государственного хозяйства в Берлинском Университете, но он отказался, его уже привязывали к местному краю родственные связи: в 1812 году он женился на племяннице ландрата фон-Рихтера, в имении которого сначала был домашним учителем. Этой женитьбой Эверс значительно улучшил свое материальное положение и окончательно, уже имущественно, примкнул к тому социальному слою крупного балтийского дворянства, интересы которого ранее столь горячо защищал.

Вообще 1816 год был богат событиями в жизни Эверса. Его вторично избрали в деканы филологического факультета (в первый раз избрали в 1810 г.), предложили кафедру в Берлинском Университете, в том же году вышла в свет его большая и прекрасная работа «Geschichte der Russen» («История России», I т.—она так и осталась неоконченной), и тогда же Эверс был избран советом в проректоры для разбора щекотливого университетского дела о незаконном присуждении докторских дипломов [1]). Он провел дело жестоко и быстро, как требовало этого русское правительство. В карьере Эверса это сыграло большую роль: по «высочайшей» резолюции был уволен прежний ректор, и через некоторое время редактором оказался Эверс.

Это произошло 15 мая 1818 г. и неизменно повторялось в течение 12 лет. Тринадцатый раз Эверс был избран ректором, когда уже лежал на смертном одре—за неделю до смерти.

Но вернемся к «Geschichte der Russen», первая часть которой вышла в 1816, за два года до избрания Эверса ректором. Этот большой том занимает свыше пятисот страниц и доводит изложение до Петра I. Видимо, надворный советник и ординарный профессор Дерптского Университета Иоганн-Филипп-Густав Эверс [2]) чувствовал некоторую неловкость своего дерзания—издать общий очерк русской истории в то время, когда все ожидали появления труда на ту же тему самого российского историографа.

Естественно, что этому обстоятельству посвящено в предисловии несколько прочувствованных строк: «Долго надеялся я, что труд Карамзина послужит мне образцом, но появление его, теперь уже близкое, задержалось, к выигрышу науки, дальше, чем я предполагал.

---

[1]) Об этом деле см. у Левицкого (519—520) и Hugo Semel'я в книге „Die Universität Dorpat", Dorpat, 1918, стр. 19—20.

[2]) Его чин подписан под именем на титульном листе книги.

Многолетние изыскания русского, соединяющего с дарованием и познанием любовь к истине, должны ярко осветить отечественное прошлое, и я с радостью воздам должное их влиянию на исправление моих суждений в дополнение ко второму тому предлежащей работы» [1]).

Второй том не вышел к несчастью для нас, но, вероятно, к счастью для Карамзина: Эверсу было бы чрезвычайно трудно признать несуществующее влияньe Карамзина на его выводы, а ссориться с российским историографом было бы невыгодно. Первые восемь томов «История Государства Российского» вышли лишь через два года—в 1818 г. Сам, вероятно, того не подозревая, Эверс в том же предисловии ясно и без оговорок излагает самую передовую для историка точку зрения, до которой далеко было Карамзину и которая получила всеобщее признание в русской историографии лишь через несколько десятков лет. «Иные историки весьма пространно описывают государей и их походы. Я не хотел бы им подражать. Их книги несносны для каждого, кто не считает себя обладателем полной меры благополучия, если он может польстить себя проникновением в слабости властителя и в ход придворных интриг и знает, кто предводительствовал войском и побило ли оно или было побито. Лучше, если он утверждает, что истории принадлежит лишь публичная сторона жизни государя, характер последнего должны выражать единственно деяния и законы; обыкновенная война достойна обстоятельного рассказа лишь в случае особого военного искусства; где в битве действует лишь грубая храбрость, там достаточно осведомиться лишь о причинах и следствиях битвы.

«Я должен был для моей цели подолгу задерживаться на законах и учреждениях, на первых—ибо они являются главными источниками знания о внутреннем состоянии народов, на вторых—ибо они внешним образом свидетельствуют о внутренних основаниях народной деятельности» [2]).

Эта книга—новый этап в научном развитии Эверса. В ней уже нет юного задора работы «О происхождении русского государства». Чувствуется остепенившийся профессор и надворный советник. Но сохранилась чудесная ясность мысли, легкость изложения, всегда конкретного, и, главное, сильно развились социологические требования. Это—первая книга по русской истории, огромное внимание уделяющая внутреннему состоянию страны и вопросам народного быта. Вся

---

[1]) „Geschichte der Russen...," erster Theil. Von den aeltesten Zeiten bis zur Alleinherrschaft Peters des Grossen. Dorpat, 1816, auf Kosten des Verfassers. Vorrede, стр. 3 (не нумерована).

[2]) Geschichte der Russen... Предисловие.

история, захваченная хронологически Эверсом, делится на четыре периода, близких к Шлецерову делению: первый период—с 532 по 1015 (у Шлецера с 862 по 1019), второй—с 1016 по 1224 (у Шлецера с 1019 по 1240, «от Ярослава до Монголов»), третий—с 1224 по 1533 (у Шлецера—с 1240 по 1462, «Россия Угнетенная», от Батыя до Иоанна III) и четвертый с 1534 по 1689 (у Шлецера с 1462 по 1682, «Россия Победоносная», от Иоанна III до Петра I). Оснований отличий своей периодизации от Шлецеровой Эверс не дает.

Каждый период кончается четырьмя одинаковыми главами: 1) городское положение, 2) городское управление, 3) ремесла и городское население, 4) нравы и религия. Последние три периода имеют еще главы «Законы» и «Искусства и Науки», а глава «Нравы и религия» превращается в главу «Нравы и обычаи». Для того времени внутреннее положение государства изучено чрезвычайно детально, — до приведения рыночных цен на товары, иногда сравнительных, для разных мест, что так редко для старых книг по русской истории [1]). Вопросам хозяйства уделяется много внимания—Эверса интересуют и техническая его сторона и потребление.

Через десять лет, в 1826 г., Эверс предстанет перед нами во всеоружии своей диалектики—в классическом произведении «Древнейшее право руссов». Но и в «Geschichte der Russen» уже налицо его основные диалектические особенности. Правда, процесс исторического развития здесь не подчеркнут так ярко, как в «Древнейшем праве», но сознание его уже налицо: часто отмечаются своеобразие древнего права по сравнению с современным и разница в ступенях исторического развития [2]). План юридического исследования продиктовала Эверсу окружавшая его юридическая действительность: он ищет в древности юридических категорий своего времени, ищет главного властителя и подчиненных ему, хочет восстановить в истории ту чиновничью субординацию, с которой ему ежедневно приходилось сталкиваться: «Местные власти (тогда) отсутствовали», замечает он, изучая управление Рюрика и Олега [3]). Описывая в другом месте княжеские распри, Эверс замечает, что единство России было уничтожено даже в идее [4]). Эта особенность, свойственная всем буржуазным диалектикам, разовьется и выльется в любопытную форму в «Древнейшем праве руссов».

---

[1]) Там же, например, стр. 494.
[2]) Напр., там же, стр. 26.
[3]) Там же, стр. 27.
[4]) Там же, стр. 98.

Редкая книга читается так легко, как Эверсова «Geschichte der Russen»: фраза изящна и коротка, мысль чрезвычайно прозрачна и конкретна. Почему книга не была своевременно переведена на русский язык? Материальная возможность этого у Эверса, несомненно, была, были связи, была заинтересованность в его труде и интеллигентных и оффициальных сфер. Играло ли здесь роль нежелание соперничать с российским историографом? В 1825 г. Карамзин спрашивал попечителя Дерптского Университета графа Ливена [1]), когда кончит Эверс вторую часть своей русской истории, о переводе же первой части на русский язык Карамзин не спросил. О вопросе Карамзина граф Ливен сообщил Эверсу письмом, а Карамзину дал ответ, что как раз он, Ливен, мешает Эверсу закончить работу, удерживая его в должности ректора. В том же разговоре князь Ливен формулировал основную драму Эверсовой жизни, проводившую его до могилы: «Das Rectoramt vertrage sich mit der Autorschaft durchaus nicht» («Ректорство никак не совмещается с авторством»). Эту фразу часто повторяют немногочисленные биографы Эверса.

Действительно, надо только удивляться колоссальной трудоспособности бессменного ректора и его организационным навыкам. В начале его деятельности хозяйство университета было разрушено, лаборатории плохо отапливались, клиники за отсутствием денег были закрыты. Но попечитель университета и личный друг Эверса граф Ливен умел пользоваться своими связями при дворе для выхлопатывания нужных кредитов, общее хозяйство страны поправлялось, а Эверс, верный помощник графа Ливена, был расчетливым и дальнозорким хозяином. В период ректорства Эверса были отпущены большие суммы на расширение библиотеки, обсерватории, клиник, кабинетов, ботанического сада, на ученые путешествия, ученые издания и новые постройки; кроме того, были основаны разные новые учреждения, например, медицинский институт, профессорский институт, новые семинарии [2]). Эверс был завален делами и буквально не имел ни минуты покоя. Вот характерные цифры: за весь период своего ректорста он рассмотрел 55.088 дел,—в среднем тринадцать дел ежедневно, а среди них были огромные по размерам. Достаточно взглянуть на роскошное издание под редакцией Эверса «Die Kaiserliche Universität

---

[1]) Граф, а с 1826 г. князь—Карл Андреевич Ливен—сын известной Екатерининской фрейлины гр. Ливен, воспитательницы Александра и Константина Павловичей.

[2]) Левицкий. Биограф. словарь, стр. 524—525.

zu Dorpat fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Gründung» (Dorpat MDCCCXXVII), чтобы почувствовать огромную работу, выполненную этим неутомимым ректором,—к тому времени уже бывшим Staatsrath und Ritter (статским советником и кавалером)—так подписал он разрешение на это издание. Здесь помещено детальнейшее описание университета, его многочисленных вспомогательных учреждений и их развития за время ректорства Эверса; описания по-немецки тщательны и аккуратны, к ним приложена масса рисунков и планов. Эта книга издана на следующий год после классического труда Эверса «Das aelteste Recht der Russen».

Вся обстановка жизни Эверса, в которой протекло его ректорство, сложилась так, что из него вышел действительно подлинный «статский советник и кавалер». Это подготовлено всем предыдущим развитием, личными связями с остзейским дворянством, имущественным положением. Годы феодальной реакции, Священного Союза и реакционного мистицизма положили свою печать и на деятельность Эверса. Понять этот оттенок нельзя без характеристики попечителя Дерптского Университета графа Ливена. Граф Ливен был с ним в отношениях теснейшей дружбы. Биограф Ливена даже называет его архитектором, а Эверса—орудием возведения всего того идеологического целого, которое представлял собою Дерптский Университет. Эверс и граф Ливен чрезвычайно часто видались и еще чаще, почти ежедневно, переписывались [1]).

Князь Карл Андреевич Ливен, человек по характеру мягкий и добрый,—фигура феодальной реакции. Воспринятая им эта реакция была прежде всего со своей мистической стороны.

Христианнейшая политика Ливена прежде всего направлялась на рационалистическое направление богословского факультета и произвела там профессорскую «чистку». При выборах новых профессоров главное внимание обращалось не на их научную подготовку, а на религиозность: ведь целью университета было воспитание лояльных, монархически-консервативных обывателей и верующих христиан [2]). это было особо важно для пограничных окраин.

Почти анекдот произошел по этому поводу, когда приискивался достойный претендент на кафедру истории. Выставлен кандидатом был

---

[1]) Ответные письма графа помещены в книге Dr'a Friedrich'a Busch'a. „Der Fürst Karl Lieven und die Kaiserliche Universität Dorpat unter seiner Oberleitung. Aus der Errinerung und nach seinen Briefen und amtlichen Erlassen"- Dorpat und Leipzig, 1846. Стр. 140—178, Briefe an den Rector Ewers".

[2]) Hugo Semel. „Die Universität Dorpat", стр. 23.

не больше, не меньше, как сам Ранке, но... Ливен усумнился в его набожности. По этому случаю между ним и Эверсом произошла почти ссора. Князь разразился в ответ горькими упреками, что для Эверса ученость вместе с гениальностью значит больше, чем христианство [1]). Ранке был отвергнут.

Напрашивается об'яснение тринадцатикратного избрания Эверса ректором. Едва ли строгий и исполнительный статский советник, не щадивший ни здоровья, ни сил в проведении замыслов князя Ливена, был так единодушно желателен Дерптской профессуре. Документы показывают, что выборы происходили под сильным давлением графа, не желавшего лишиться своего незаменимого сотрудника. От административных способностей, строгости и неутомимости Эверса Ливен был в восторге и не скупился в письмах на похвалы [2]).

Эверс умер сравнительно молодым—в 1830 году, когда ему было лишь 48 лет. Напряженная деятельность, отсутствие отдыха и постоянные беспокойства рано свели его в могилу. Он рвался к научной работе, но административная деятельность отнимала у него все время. Он тяжело страдал от раз'едавшей его жизнь истины, выраженной словами графа Ливена: «Ректорство никак не совместимо с авторством». Он очень тяготился своей должностью, не раз просил освободить его от нее, но каждый раз наталкивался на сопротивление Ливена. «Всем для вас святым прошу и заклинаю вас, оставьте эту мысль», писал ему граф в 1824 году, когда Эверс хотел найти себе новое место [3]). Ко всем его ректорским обязанностям иногда прибавлялись и новые—то по настоянию попечителя, то по настоянию генерал-губернатора. С 1822 г. Эверс—цензор выходящих в Дерпте политических изданий и газет, а с 1826 г.—председатель цензурного комитета в Дерпте—любопытнейший штрих в его политическом облике. По уставу Дерптский Университет имел право собственной цензуры выходящих из его стен научных работ—и, по уставу же, председателем цензурного университетского комитета был ректор [4]). Вероятно. Эверс хорошо зарекомендовал себя перед правительством, как цензор...

---

[1]) См. переписку гр. Ливена с Эверсом в книге Busch'a стр. 163, письмо от 12/VI—1823 г.

[2]) Там же, стр. 523. Об административных способностях Эверса рассказано в редком теперь издании D-r Bertram'a „Dorpats Grössen und Typen vor vierzig Jahren" 1868, Dorpat.—Здесь приведено несколько случаев из жизни Эверса, ярко его характеризующих.

[3]) Левицкий. Биограф. словарь, стр. 522.

[4]) „Die Kaiserliche Universität zu Dorpat 25 Jahre nach ihrer Gründung". Dorpat, 1827, стр. 56.

Остается только удивляться, как смог Эверс написать и то, что он успел написать.

А он не только писал ученые труды, но и занимался изданием документов и составлением учебников, например, «Erstes Schulbuch für die deutsche Jugend», одобренную и рекомендованную учебным комитетом главного училищного правления. В 1828 году Эверс издал отдельно переработанную главу этой книги: «Martin Luther's kleiner Katechismus mit Eläuterungen und biblischen Beweisstellen» — такой любопытный штрих: старая богословская выучка Гёттингенского студента пригодилась...

Что же касается источников, то Эверс, как уже было упомянуто, начал ими заниматься с первых же лет своих ученых занятий. В 1908 году он издал любопытную работу: «Об источниках Ярославовой Правды; в 1814 году вышли его «Предварительные критические исследования по русской истории» (1-я и 2-я книги; переведены на русский язык в 1825—1826 г.г.); в 1816—1818 г.г. появляется большое издание памятников русской истории Эверса совместно с М. Энгельгардтом (десятый том известного Миллеровского издания собрания источников), где напечатаны записки Павла Юста, Таубе, Крауза-де-Родеса, Русская Правда, Смоленский договор с немцами и Судебник 1550 г. (все в переводе на немецкий язык).

В 1825 г. Эверс все еще работал над своей классической книгой «Древнейшее русское право в историческом его развитии», переведенной на русский язык И. Платоновым под заглавием «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» лишь через девять лет после издания немецкого подлинника. Эверс ходатайствовал перед университетом о напечатании его книги на казенный счет. Согласие министра последовало. Перегруженный работой, Эверс писал постепенно, сдавая в печать написанные листы. Первые экземпляры были поднесены попечителю, министру и «его императорскому величеству». Последний изволил за это пожаловать автору две тысячи рублей. Издание разошлось быстро и окупило себя через год. Благодаря этой книге Эверса выбрали почетным членом Академии Наук, Московского и Петербургского Университетов и нескольких заграничных обществ.

Этот труд—наиболее зрелый плод научных занятий Эверса. Если сравнить ее с предыдущими работами, ясно развитие его, как ученого. Об'емистый том свыше трехсот страниц захватывает эволюцию русского права с древнейших времен до Ярослава. Диалектика Эверса предстает перед нами во всей полноте. Самое название труда—

в удачном переводе И. Платонова «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» (курсив мой. *М. Н.)* уже наводит нас на мысль о ней.

Этот труд Эверса—типичнейший плод немецкой научной мысли его времени. Три имени дадут нам возможность вспомнить атмосферу научного творчества той эпохи: Нибур, Ранке, Савиньи. Они скорее современники, чем учителя Эверса,—первый труд Ранке, например, выходит лишь за 2 года до издания «Древнейшего русского права». Влияние их на Эверса не приходится отрицать, но оно не лишает его самостоятельной роли выразителя тех же научных тенденций и политических настроений. Их всех об'единяют, кроме того, научно-критический метод, пристальное внимание к архиву и историческому источнику, тонкий анализ текста. Все четверо—сознательные политические деятели своего времени. Эпоха освободительной войны против Наполеона—первый шаг к началу германского об'единения. Вопрос об его форме, о государстве приобретает чрезвычайную остроту. Политика отражается в темах и методах научной работы: преобладает интерес к политическим явлениям и к вопросам истории государства. Знаменитый автор «Римской истории» Б. Г. Нибур говорит об этом прямо: «Несчастная пора унижения Пруссии причастна к возникновению моей истории. Мы ничего иного не могли сделать, как томительно надеяться на лучшие дни и подготовлять их. Что было делать в этот промежуток?.. Я ушел к великой, но давно исчезнувшей нации, чтобы подкрепить дух мой и моих слушателей». Нибур оказал большое влияние и на Ранке и на Савиньи. Их политические тенденции связаны с особенностями момента. Все трое далеки от революционных настроений. Революционная сторона диалектики отразилась не у них. Все трое консерваторы. Вся карьера Савиньи сделана на его протесте против идей Тибо, желавшего создания обще-гражданского уложения Германии, чтобы сплотить общественные силы для борьбы с «султанизмом» отдельных правительств. Савиньи пишет в ответ памфлет «О призвании нашего времени к законодательству и правовому изучению», где выдвигает основные положения исторической школы в праве: право развивается медленно, органическим процессом, оно не может быть создано, требуется внимательное изучение местных прав, их источник—обычай, идея кодекса преждевременна, он может вырасти органически, но создать его нельзя. Воззрения Ранке во многом близки к Савиньи. В своем стремлении изучать все, wie es eigentlich gewesen» (как это действительно было), он—фанатик исторического процесса и постепенности образования исторических форм. Позже он начинает вместе с Савиньи

издавать историко-политический журнал (с 1832 г.). Ранее, совместно с Эйхгорном, Савиньи приступает к изданию другого журнала «Zeitschrift für geschichtliche Rechts-Wissenschaft» (с 1815 г.). Идея исторического изучения права носилась в воздухе. Создавая свой труд «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии», Эверс был на вершине научной мысли своего времени. И две характерные черты научной атмосферы эпохи отличают этот труд: идея постепенности исторического процесса и государство, как завершающий его этап, заранее предопределенное и незыблемое абсолютное государство.

Прежде всего, для Эверса нет отдельных разрозненных фактов, оторванных друг от друга явлений. Он воспринимает все в целом, во взаимной связи. У него есть определенная точка зрения, определенная система, ясный социологический критерий, при помощи которого он отбирает явления для изучения. Ив. Платонов, к сожалению, не перевел Эверсова предисловия к работе, заменив его своим, которому предшествует всенижайшее посвящение перевода «его превосходительству тайному советнику Сергею Семеновичу Уварову». «Верный моему плану, я имею в виду также и теперь культурную историю руссов» [1],— пишет в нем Эверс и далее указывает, что пришел к важным выводам о постепенном прогрессирующем развитии различных правовых институтов [2]). Задание перед Эверсом стоит четко, ясно—и дано в социологической, обобщающей формулировке: «... Я намерен показать на основании истории России постепенный ход права, возникшего из так называемого патриархального состояния гражданского общества» [3]). Этот социологизм отпечатывается на всем произведении Эверса, между прочим выражается в большом количестве исторических афоризмов, общих заключений. Вопрос о сравнении развития России с развитием других государств все время стоит перед Эверсом. У рода все имущество считалось общим семейным достоянием, и этот взгляд распространяется и на княжескую семью. «История раскрытия других государств представляет подобное же явление... их во многих отношениях можно приложить ко внутреннему состоянию России...» [4]). Не может быть, чтобы Владимир совершенно отменил веру и вместо нее ввел казнь: «Это противоречит всем нашим сведениям

---

[1]) J. P. G. Ewers. „Das aelteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung“ Dorpat – Hamburg, 1826, стр. VII.

[2]) Ibid., стр. IX.

[3]) „Древнейшее русское право в историческом его раскрытии“. Пер. И. Платонова, СПБ, 1835, стр. 14.

[4]) Там же, стр. 239, прим. 4.

нравственном и законном состоянии России того времени, равно как и аналогии всех древних прав...»[1]). Ясен Эверсу и феодальный строй древней Руси—«Раздел областей... подчиненных правителей самих делал маленькими князьями, сильными вассалами..., подданными только на словах»[2]). Феодальный институт jus primae noctis находится Эверсом в древней Руси[3]). Исследование связи явлений, их причинной зависимости зачастую приводит Эверса к уяснению экономического основания событий: подчеркивается связь княжеской власти со сбором дани, указывается на важность Новгорода, как узла торговых путей, на древнюю Киевскую работорговлю и связь ее с бесчисленными междоусобными войнами, на развитие «купеческой промышленности», ясной из договоров «руссов с греками»; разбирается вопрос, был ли обмен товарами «натуральный» или «платежный», существовал ли кредит; очень трезво об'ясняется, почему в древних торговых договорах с греками рассматривается такая возможность, как смерть купца на чужбине: «Известно, что властители имели тогда большую склонность присвоять себе имущество чужестранцев после их смерти...»[4]). Почему купцы отправлялись в путь большими обществами? «... Купцы в сие время везде считались чужими людьми, нимало не принадлежащими к составу государства, а потому не пользовались его защитою. По сей-то причине они тогда отправлялись в путь так, как это бывает и ныне в подобных обстоятельствах, большими обществами, товариществами...»[5]). От пришедшей позже в русскую историографию мысли, что парящая в воздухе идея может сотворить учреждение, Эверс далек: «Первые учреждения, относящиеся к управлению, всегда основываются на каких-нибудь местных особенных обстоятельствах...»[6]). Внутреннее основание всего исследования—стремление к беспристрастию, к установлению истины, к Ранковскому «wie es eigentlich gewesen». Вот здесь у Нестора темное место, указывает Эверс. Что хотел летописец этим сказать? Очевидно, его слова «относятся к такому порядку вещей, которого мы не знаем и о котором мы не в праве гадать по своему произволу, если только не хотим подвергнуть себя опасности исказить истину»[7]).

---

[1]) „Древнейшее русское право в историческом его раскрытии". Пер. Платонова. СПБ, 1835.

[2]) Там же, стр. 37.

[3]) Там же, стр. 79 и след.

[4]) Там же, стр. стр. 104, 105, 184—185, 187, 188.

[5]) Там же, стр. 189.

[6]) Там же, стр. 72.

[7]) Там же, стр. 252.

И не только все явления связаны между собой: одно из них переходит в другое, изменяется, течет, предстает перед нами в последовательных, различных формах. И через это вскрывается приспособление одного явления к другим, к окружающим обстоятельствам. Говорят, что С. Соловьев на лекциях любил повторять выражение «естественно и необходимо» [1] — у Эверса всюду присутствует эта мысль: дается, например, об'яснение отношения Ярослава к Новгороду, прежним историкам непонятного — и сейчас же указывается: «При таком об'яснении исчезает вся странность и непонятность в происшествиях. Все является в строгой взаимной связи; одно происшествие естественно привязуется к другому...». Развитие человеческого рода совершается весьма медленно: «.. Естественная нужда во взаимной защите приводит семейства, происходящие от одного общего родоначальника, к общему союзу» [2]. И нам, находящимся на большем отдалении от древности, чем летописец, удобнее познавать эту внутреннюю последовательность и связь, как людям, находящимся в более позднем этапе развития. «... Россия того времени, подобно всякой другой, только еще рождающейся державе, представляет совершенно отличный мир в рассуждении внутреннего устройства, законности действий и нередко самой политики. Летописец, конечно, не может изображать нам сего различия, потому что он знает только свое время, а не наше» [3]. Одно состояние постепенно переходит в другое: «Люди, у которых месть во всей силе, кои еще недавно приносили в жертву богам подобных себе не могут быть вдруг претворены в народ образованный» [4]. Любопытна мысль Эверса... о женской ревности: он видит в ней продукт определенных исторических обстоятельств: «Ревность... делается сподствующей страстью женского пола только тогда, когда единобрачество становится обычаем или законом, что и было у всех народов с течением введения христианской религии; но где несколько жен разделяют любовь одного мужа, там ревность еще не имеет такой силы, по коей бы она могла сделаться причиной отвратительных преступлений» [5]. Все историческое сознание Эверса пронизывает мысль о том, что связь явлений, борьба противоречий свойственна «Натуре»; совершенно по-гегелевски звучит такая формулировка: «... новообразо-

---

[1]) В. О. Ключевский. Очерки и речи.
[2]) „Древнейшее русское право“, стр. 97.
[3]) Там же, стр. 113—114.
[4]) Там же, стр. 249.
[5]) Там же, стр. 125.

вшиеся державы, как и все, производимое натурой, носили в недре оем при наличии явления своего зародыш разрушения...» [1]).

Соблюдение исторической перспективы—одно из первых правил ерса. Он не устает повторять о нем и все время указывает на асность применить к давно прошедшим временам масштаб современности, перенести наши взгляды в прошлое. Ему самому это не всегда авалось, но ошибался он всегда бессознательно—ниже мы увидим, почему. «Почему бы князь во всякое время не мог отнять у своего любимца то, что он некогда дал ему на содержание? Мы, конечно, привыкли к ому порядку дел, по коему места, доходы и владения жалуются навсегда и по смерть; но наши обычаи не суть обычаи тех времен». И толковать текст всегда надо именно в духе тех времен—здесь чувствуется ученик Шлецера. Вот известие, как Ольга была в Киеве с сыном оим святославом и его кормильцем Асмудом: «...и воевода бе Свельд, тоже отец Мстишин». «Известие очень краткое, но довольно ное для того, что умеет истолковать его в духе тех времен» [2]). Вот ычай «первой ночи». «Это право так сильно оскорбляет наше вство, что мы охотно желали бы признать его басню, но чувство лужит самым обманчивым масштабом при суждении об исторических фактах» [3]). Святополково ияжение «представляет нам верную картину древних грубых времен, гда кровавые дела, порожденные частым самовластием, считались делами, согласными с справедливостью; времен, которые столь же отичны от нашего века, как пирушка американских дикарей от приворного бала в Петербурге» [4]). Это же требование исторической перпективы и желание понимать каждое явление, как следствие окружающих условий, привело Эверса к критике одного утверждения Шлецера, играющего большую роль в его исторической схеме. Строгий монархист и поклонник самодержавия, Шлецер с ужасом узрел, ак Святослав осмелился, презрев монархические принципы, положить начало раздроблению Руси. Все последующие беды России вытекли из той роковой ошибки, и вся последующая русская история есть лишь остепенное ее исправление. «Итак, на Святослава должно пасть проклятие России», говорит Шлецер (Нестор, III, стр. 526): «Он первый подал несчастный пример разделений, которые в течение полутысячи лет содержали Россию в расстройстве, бедствии и тесноте». Суждения Эверса о том же предмете прекрасно характеризуют его тонкость

[1]) Там же. стр. 98.
[2]) „Древнейшее русское право", стр. 51.
[3]) Там же, стр. 80, 108, 155—153. Курсив мой. *М. Н.*
[4]) Там же, стр. 282.

и историческое чутье, но мало разнятся по существу от мыслей Шлецера: Эверс признает раздел Руси глубоким злом и стремится лишь оправдать Святослава, как личность. «С первого взгляда укоризна сия может показаться весьма основательной, если станем судить о Святославе и его времени по понятиям настоящего века. Но сии понятия едва ли могут служить для нас правильным мерилом; по моему мнению, прежде всего надобно обратить внимание на то, имели ли древние наши понятия, могли ли они иметь их или, напротив, еще не должны ли они были по самому свойству развития человеческого духа притти к началам совершенно противоположным. Такой образ воззрения заставляет нас отдать Святославу более справедливости, и тотчас показывает нам, как несправедливо поступаем мы, произнося суд о сем князе. Не его вина, что первый пример разделения, о каком упоминает История, случайно падает на его княжение, не заслуга других, что не встретилось при них подобного примера. В равных обстоятельствах... они поступили бы точно так же, как поступил Святослав... Но нельзя порицать и века, не поставляя в укоризну человеку того, что проистекает из естественного хода развития рода человеческого. Ибо сие-то развитие и произвело разделы, которые мы признаем вредными» [1]).

Диалектика Эверса всю силу своей убедительности направляет на основную тему — на «постепенное раскрытие» русского права, а право теснейшим и неразрывным образом—по Эверсу—связано с государством. Таким образом, основной сюжет Эверса—постепенное развитие государства, естественный переход в него рода, большой кровной семьи.

После того, как для нас выяснилась классовая физиономия Эверса, понятно, что государство было его фетишем. Кому, как ему, связавшему себя с крупным дворянством, расцветавшим на огромном хлебном сбыте, интенсификации барщинного труда и требовавшим свободного рабочего, с одной стороны—и талантливому чиновнику, стоявшему на очень ответственной должности на службе у того же государства, с другой—оценить его роль? Тонкое историческое чутье привело его к утверждению постепенного развития государства, а современная действительность и классовые связи привели к апологетике государства и, незаметно для него самого, проецировали в прошлое симпатии настоящего.

Государство, по Эверсу, развивается из родовых отношений,— первичная же ячейка рода—семья. «Первоначально существует каждое семейство само по себе; отец есть естественный начальник всех

---

[1]) „Древнейшее русское право", стр. 94—95.

лиц, от него происшедших. Сии лица образуют новые семейства; эти семейства живут вместе, дабы защищать себя общими силами против нападения внешних неприятелей и, таким образом, происходит род. Род об'емлет собою многие семейства; в каждом из них отец есть господин; но глава целого рода есть тот, кто стоит всех ближе к общему родоначальнику, следовательно, старший сын первого родоначальника. Из родов образуются племена, и главою племени становится тот же, кто был родоначальником, старший сын от старшего сына, основателя племени и т. д. Сперва начальник рода имеет весьма ограниченную власть, каждый отец владычествует почти независимо в своем семействе, и связь подчиненности бывает слаба. Но с возрастанием родов и племен возрастает и власть их начальника; он приобретает славу и обогащается от добычи, в его распоряжении состоит все, в чем нуждается, чем владеет целый союз. Начальник племени, если он бывает счастливым воином, делается мало-помалу владыкою над известным пространством земли, могущественным князем. Но первоначальное семейственное отношение, основанное на самой природе, долго еще сохраняет свою силу и в новообразованном государстве» [1]). Вот классическая формулировка теории Эверса, необычайно простая и прозрачная по изложению. Здесь налицо все важнейшие элементы теории, о которых Эверс подробно говорит при разборе каждого этапа развития древне-русского права.

Прежде всего—жизнь семьей, родом, по Эверсу,—наиболее естественное состояние, свойственное самой человеческой природе. Об этом говорят уже подчеркнутые места в только что приведенной цитате. А раз это так, то государство, порожденное развитием рода,—*тоже естественно, непоколебимо и свойственно природе человека. Как действует домоначальник в кругу своего семейства, так князь в государстве*» [2]). «Как патриарх совещается со своими ближайшими родственниками, так князь с своею дружиной, но решительную силу имеет здесь не только мнение князя, как там мнение патриарха» [3]). А «семейственное устройство ее основывается на природе человека» [4]). Это утверждение—первая аксиома Эверса. Вторая же, выраженная не менее просто и ясно, такова: «Государство в первобытном своем виде есть не что иное, как великое семейство». [5]). Спраши-

---

[1]) „Древнейшее русское право", стр. 95—96. Курсив мой. *М. Н.*
[2]) Там же, стр. 49.
[3]) Там же, стр. 242.
[4]) Там же, стр. 338.
[5]) Там же, стр. 253

вается, можно ли после этого протестовать против «естественности» государства? Классовый смысл этого построения ясен.

Эти истины повторяются Эверсом безустанно, каждый раз со свойственной ему четкостью. «То, что имеет силу по отношению к главам семейства, может быть приложено в начале государств и ко властителю. Новое государство в первоначальном своем состоянии есть не что иное, как соединение многих великих родов, и новый властитель не что иное, как верховный патриарх» [1]). «Первоначальное семейственное отношение, основанное на самой природе, долго еще сохраняет свою силу и в новообразованном государстве» [2]). Русская Правда—ценнейший памятник, возникший вскоре после основания государства, поэтому в ней «наипаче должно открываться постепенное развитие его из первоначальных семейственных отношений, предшествующих основанию всякого государственного союза» [3]).

Для историка-марксиста схема Эверса—от родового быта к государству, конечно, неприемлема. Древнейшие русские источники—летописи, Русская Правда—не дают основания думать, что тогдашняя форма социальной жизни славян была родовой. Родовые связи в то время ослабли, утерялись, и основанием социальной жизни родственные отношения тогда уже не являлись.

Позднейшие историки, родоначальником которых надо считать Эверса, очевидно, не удовлетворялись уже его построением. Проникнутые конституционными идеалами, они проецировали их в прошлое и особое ударение делали на элементе «общего блага», во имя которого государство существует. Ударения на нем Эверс не делает, но иногда вскользь останавливается. Права отдельных родоначальников долго сохранялись еще и при их об'единении в государственное целое и изменялись лишь в вопросах взаимоотношений, всеобщего блага; вначале «начальники племен все еще удерживали... права свои, какие они имели над своими племенами, и почитали себя обязанными повиноваться общему Верховному Властителю только в таких случаях, которые касались блага всего общества» [4]). Это же общее благо является предпосылкой государственных учреждений. «Взаимное отношение независимых пастушеских семейств и впоследствии племен, обыкновенно предшествующих образованию государства, служило начальным элементом, из коего образовались первые государственные учреждения».

---

[1]) „Древнейшее русское право“, стр. 10.
[2]) Там же, стр. 96.
[3]) Там же, стр. 337.
[4]) Там же, стр. 83.

Этот элемент дает Эверсу критерий для классификации периодов развития государства. Первоначально государство больше похоже на род, общие взаимоотношения не вылились еще в форму государственных учреждений, налицо самоуправство. Это естественно и необходимо: «Начальники племен долго еще удерживали за собой знатную часть прежней своей власти. Семейства все еще продолжали представлять в себе одно независимое целое, судились и рядились между собой, делили сами свои стяжания, и взаимно защищались на основании самоуправства, позволенного законом в первый период всякого государства» [1]).

Первоначальное шатание взаимоотношений, их неоформленность, отсутствие твердых норм и делают раннее государство отличным от современного, которому Эверс и дает характерное название «настоящего»: «Посему такие Государства совсем не похожи на наши настоящие» [2]). Чем дальше растет и развивается это первоначальное, еще не совсем «настоящее» государство, тем более в нем укрепляется «гражданственность». Например,—входит в обычай предварительное об'явление войны: «Это есть следствие гражданственности, появляющейся вместе с укреплением союза государственного, первое основание будущего народного права» [3]).

Особенно любопытен в этой картине, развернутой Эверсом, вопрос о собственности. Она, конечно, исконна и прирождена человеку. Прежде всего, она имеет огромное значение в первоначальном семейственном об'единении, и с разделом ее после смерти владельца связан вопрос о «справедливости». Даже термин «капитал» выплывает во время Владимира: «В его время не было еще обыкновения делить наследство, но все имущество считалось общим семейным капиталом...» [4]).

Ясное, буржуазное сознание права собственности приписывается Эверсом первобытным временам и, оторванное от древней Руси, возводится в степень социологической истины. «За сим следуют узаконения относительно имуществ» — начинает Эверс главу «Из'яснение закона о собственности». «Основным началом оных во всех древних законодательствах служит следующая истина: «Каждый должен довольствоваться тем, что имеет, и каждый может весьма хорошо

---

[1]) „Древнейшее русское право", стр. 2.
[2]) Там же, стр. 8. Курсив мой. *М. Н.*
[3]) Там же, стр. 87.
[4]) Там же, стр. 239.

знать, что принадлежит ему, как собственность...» [1]). И, усиливая классовую целесообразность своего идеала, Эверс скорбит об утере древней простоты и ясности этого понятия в позднейшей истории, упирает опять на его всеобщность: «Простота разделки составляет основание сего закона (о собственности. *М. Н.),* подобно как и всех коренных положений древнего права. Всякий имеет право владеть своей собственностью и защищать ее; никто не в праве взять что-нибудь чужое...» [2])—и далее совершенно точный вывод: «собственность в Государстве получает большую цену, поелику она тут более защищена» [3]). И вся яркая классовая целесообразность этих мыслей достойно увенчана именем Иеремии Бентама, которому, по мнению Эверса, принадлежит «самое лучшее, какое я только знаю, раскрытие права в сем отношении...» [4]). Невольно вспоминаются иронические слова Маркса по поводу свободы и равенства капиталистического рынка: «Сфера обращения или обмена товаров, в рамках которой осуществляется купля и продажа рабочей силы, есть истинный эдем прирожденных прав человека. Здесь господствуют только свобода, равенство, собственность и Бентам» [5]).

Эверс превозносит государство—и именно государство в форме неограниченной монархии. Несмотря на тонкое историческое чутье, Эверс отражает свои собственные идеалы в прошлое. С ним происходит явление, общее всем буржуазным диалектикам: тонко чувствуя постепенность развития и борьбу противоречий для отдаленных времен, они перестают быть диалектиками, когда дело доходит до современных им идеалов.

В одних городах был князь, в других правили наместники, «кои управляли вместо его. Кажется, тот и другой образ управления одинаков, да и, может быть, в сии первоначальные времена их действительно почитали совершенно одинаковыми; но следствия, от них проистекавшие, были весьма различны. Первый порядок устройства вел к разрушению единодержавия, последний, напротив, поддерживал оное...» [6]). А «единодержавие» связано со строгим порядком и спокойствием, которые Эверс, вероятно, ценил и по своему ректорскому опыту: «Для основания и сохранения прочного единства везде необходимо водворение

---

[1]) „Древнейшее русское право", стр. 324.
[2]) Там же, стр. 325—326, 345 и след.
[3]) Там же, стр. 350.
[4]) Там же, стр. 356, сноска 24-ая.
[5]) К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 152. М. 1920.
[6]) „Древнейшее русское право", стр. 36.

и соблюдение строгого порядка... Собственная выгода каждого главы семейства требует не только сохранять всеобщие правила, основанные на свойстве общежития, но и поддерживать те установления, которые введены уже были его предшественниками. Ибо всякая перемена, будучи, с одной стороны, поводом к новым притязаниям и требованиям, с другой—источником неудовольствия и споров, грозит опасностью союзу общественному; как перемена, она в то же время есть разрушение заведенного порядка; как нововведение и произвол, она усиливает в других наклонность к подобному своеволию. Но власть самого Главы семейства преимущественно основывается на понятии, освященном древним обычаем. Сии положения так очевидны, что чистый неомраченный смысл простого естественного человека не может их не понимать» [1]). Эта яркая формулировка теории реакции, боязни разрушений и потрясений, оказывается, свойственна еще «неомраченному» разуму «естественного» человека. Эту истину он утверждал в себе горьким опытом гибели тех государств, где многие боролись за престол, было много претендентов на власть: «... Впоследствии времени горестные события показали гибельные последствия от разделения областей и научили тем истинам, что на государство нельзя смотреть, как на обыкновенное наследство, как на поля, стада, рабов, что для сохранения держав против внешних неприятелей нужна сила нисколько не ослабленная и что посему верховная власть, как нераздельное достояние, должна быть предоставляема одному лицу. Как скоро люди постигли всю справедливость сего коренного начала, то разделы исчезли и явилось наследие престола, основанное на первородстве. Сколько времени может пройти прежде, нежели человек достигнет до сей благотворной истины, тому научает нас История России». Этой апологетической теории самодержавия, как видим, не чужд даже мотив оборончества, которому так посчастливится у позднейших историков. Вполне соответствует этому и взгляд Эверса на территорию государства и необходимость ее расширения войнами. Это понятие настолько в духе его времени, что даже вопроса у него не возникает о необходимости об'яснения: «Малые войны для человечества незначительны, почему память о них скоро исчезает в потомстве... Исторически важны одни те войны, коими Государство увеличивается...» [2]). Переводчик Эверса Ив. Платонов тоже был человеком своего времени и правильно понял дух оригинала,—все слова, до власти относящиеся, начинал с большой буквы: перед читателем все время мелькают: Государство,

[1]) „Древнейшее русское право", стр. 8—9.
[2]) Там же, стр. 4.

Князь, Патриарх, Повелитель, Право, Властитель и т. д. Недаром в немецком заголовке книги под именем автора стоит: «Ritter d. O. H. Wladimir dritter Klasse und d. H. Anna Zweiter Klasse, Staatsrath, ordentlicher Professor» (Кавалер ордена св. Владимира третьего класса и св. Анны второго класса, статский советник, ординарный профессор...).

«Древнейшее русское право» было последней крупной работой Эверса. При жизни он не создал своей школы русских историков. Его работы были слишком передовыми для тогдашней русской науки. Он вырос не на русской, а на германской почве и работал в атмосфере западной историографии. Последующие русские историки целых двадцать лет не могли воспринять Эверса, как социолога и диалектика. Такие историки, как Погодин, Полевой, Каченовский имели дело с частными выводами Эверса, с новыми фактами, выдвинутыми им, но не с указанными его характерными чертами.

Эверс оказал свое огромное влияние на русскую историю лишь тогда, когда назрел вопрос крестьянской реформы. Предреформенная эпоха выдвинула во весь рост вопрос о государстве, единственной силе, которая могла предохранить помещика от «реформы снизу», от революционных массовых волнений, единственной силе, могущей отобрать у крестьянина под видом реформы землю и дать помещику под видом выкупных платежей оборотный капитал. Лишь в это время теория Эверса создает школу. Ее представители—С. Соловьев, Б. Чичерин и К. Кавелин восприняли впервые Эверса, как диалектика и как социолога. Их всех об'единяет понимание русского исторического процесса, как постепенного перехода родовых отношений в государственные; государство с крепкой центральной властью рисуется им идеалом русского исторического развития. Конечно, каждый из упомянутых историков внес в схему Эверса много своего, личного, развил ее и дополнил. Как и чем заполнил,—это тема уже не моей статьи, а последующих работ настоящего сборника. Но бесспорно одно: Эверс с этого времени оказал огромнейшее влияние на русскую историографию. Его роль, как первого сознательного социолога, прекрасно выразил в своих «Записках» С. Соловьев: «Не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов», эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты. Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на м ы с л ь, он заставил меня д у м а т ь над русскою историею» [1]).

---

[1]) Записки С. М. Соловьева. Из-во „Прометей“, стр. 60, разрядка моя. *М. Н.*

ГЛАВНЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ewers G. Vom Ursprunge des russischen Staats. Riga und Leipzig. 1808.

2. Intelligenzblatt der jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung, 1806 № 46 von 4 Juni.

3. Ewers G. Unangenehme Erinnerung an August Ludwig Schlözer. Dorpat. 1810.

4. Ewers I. P. G. Geschichte der Russen Versuch eines Handbuchs, I Theil, Dorpat. 1816.

5. *Ewers I. P. G.* Das aelteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung. *Dorpat-Hamburg. 1826.*

6. Эверс І. Ф. Г. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. *Перевел с немецкого* Иван Платонов. СПБ. 1835.

7. Die Kaiserliche Universität zu Dorpat 25 Jahre nach ihrer Gründung (Под ред. Эверса). Dorpat. MDCCCXXVII.

8. D-r Friedrich Busch. Der Fürst Karl Lieven und die Kaiserliche Universität Dorpat unter seiner Oberleitung. Aus Errinerung und nach seinen Briefen und amtlichen Erlassen. Dorpat und Leipzig. 1846.

9. Hugo Semel. Die Universität Dorpat. Dorpat. 1918.

10. Левицкий. Биографический словарь профессоров и преподавателей Юрьевского университета.

11. D-r Bertram. Dorpats Grössen und Typen vor vierzig Jahren. Dorpat. 1868.

Н. РУБИНШТЕЙН

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ И ЕЕ КЛАССОВЫЕ КОРНИ

Марксистское понимание исторической теории славянофилов затрудняется тем, что сердцевина этой теории, как говорил Герцен, окутана «дымом ладана» и густой оболочкой «иконописных идеалов». Необходимость отделения внешних аксессуаров славянофильского учения от его сущности отчетливо сознавалась еще 60 лет тому назад.

«Клад их,—писал Герцен о славянофилах,—может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была *не в сосуде и не в форме*» [1]). Что же это был за клад, и почему его скрывали в церковных сосудах?

В поисках ответа на этот вопрос мы напрасно бы стали обращаться к исследователям славянофильства. Не потому, конечно, что число исследований о славянофильстве невелико. На отсутствие литературы, трактующей вопросы славянофильской теории, пожаловаться нельзя. Вряд ли какая-нибудь другая эпоха в истории русской общественной мысли освещена с такой полнотой, как 40—60 г.г. прошлого века. Многочисленные работы характеризуют славянофильство с разных сторон — литературной, богословской, философской..., исключая, впрочем одной — к л а с с о в ы е основы исторической теории славянофилов до сих пор не исследованы.

Идеология противников славянофильства — западников—подверглась глубокому марксистскому анализу Плеханова в его блестящих работах о Белинском и Герцене. Плеханов предполагал разработать вопрос о славянофильстве в своей «Истории русской общественной мысли». «Я льщу себя надеждой,—писал он в 1910 г.,—что мне удастся сказать о славянофилах кое-что новое» [2]). По беглым, но чрезвычайно интересным и глубоким замечаниям, разбросанным в журнальных статьях Плеханова, можно судить о том, что надежды его были не безосновательны. Но, к сожалению, глава о славянофилах в «Истории обще-

---

[1]) Герцен. Собр. соч., изд. Павленкова, т. 2, стр. 399.

[2]) Письмо в издательство „Мир“ от 5/I 1910 г. см. сборник „Воинствующий материалист“, т. 1. Москва. 1925, стр. 172.

ственной мысли» остается не написанной, и славянофильство до настоящего времени остается вне поля зрения историков-марксистов.

Между тем разрешение вопроса о классовых корнях исторической теории славянофильства представляется чрезвычайно интересной задачей, и не только потому, что теория эта в продолжение почти полувека занимала видное место среди различных направлений русской исторической науки, но и потому, что с попытками реконструкции ее мы встречаемся и в настоящее время. Некоторые номера «Русской Мысли», редактируемой г. Струве, напоминают «Русскую Беду» 1850 г.г.; а под иными статьями сменовеховцев мог бы свободно подписаться Иван Аксаков. Не будем уж говорить о том, что на пресловутой «самобытности» русского исторического процесса поскользнулся не один марксистский историк и публицист.

В настоящей статье мы почти не касаемся идейных предшественников славянофильства 40—60 г.г.; оно было вызвано совершенно особым поворотом социально-экономических отношений; *поиски* же в области филиации идей, вообще не представляющие собой плодотворного занятия, в данном случае были бы и вовсе неуместны и отвели бы нас в сторону от поставленной темы—анализа славянофильства, как исторической теории.

Значительно большее внимание уделяется эпигонам славянофильства—Данилевскому и Леонтьеву, потому что сравнение их с так называемыми «старыми» славянофилами чрезвычайно ярко показывает зависимость исторических построений этих последних от экономического развития и классовой борьбы в России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ

Ближайшими предшественниками славянофилов обыкновенно считаются представители т. н. теории официальной народности, литературную деятельность которых можно отнести, главным образом, к 30 годам. Теоретики официальной народности в своих исторических работах доказывали, что русский исторический процесс отличается от развития Запада отсутствием классовой борьбы. Безмятежный ход истории России избавляет ее поэтому от революционных потрясений, которые наполняют жизнь Запада. Известная формула Уварова «Православие, самодержавие и народность» определяла те начала, которыми Россия держится в продолжение многих веков и которые она должна укреплять. В этих основных положениях, как мы увидим, заключается много сходного с построениями славянофилов, но по вопросу об

отношениях теории официальной народности и теории славянофильства существуют большие расхождения. Так например, Пыпин и Милюков проводят резкую грань между этими теориями, в то время как Плеханов считает, что «тут были просто оттенки одной и той же мысли» [1]), и что славянофильство и школа официальной народности представляют собой по существу одно и то же учение [2]).

Нам думается, что и те и другие перегнули палку в разные стороны. Нет никакого сомнения в том, что теория официальной народности примыкала к славянофильству, но лишь одной стороной—охранительной, поскольку обе школы можно отнести к «идейной реакции против общественных потрясений, вызванной классовой борьбой в Западной Европе» [3]). Плеханов первый обратил внимание на эту связь, которой не придали большого значения идеалисты Пыпин и Милюков, боявшиеся оскорбить одну из передовых теорий 40 годов—славянофильство—признанием ее родства с официальной идеологией монархии Николая Палкина. Но, в действительности, между школой официальной народности и славянофильством имеется существенное отличие: в то время как первая является только охранительной теорией, во второй заключены также и прогрессивные элементы. Плеханов об'ясняет это отличие тем, что теория славянофилов—теория дворянская, а официальной народности — разночинцев того периода, «когда они совсем еще не имели веры в народную самодеятельность» [4]).

Доводы Плеханова представляются нам неправильными. Ведь в то время, когда один из видных представителей школы официальной народности, Погодин, развивал свою литературную деятельность, разночинцы (кстати сказать, Погодина нельзя считать разночинцем, как это делает Плеханов; Погодин—типичный чиновник-бюрократ, который с мелкой буржуазией имел еще менее общего, чем с дворянством) собирались у Петрашевского и читали произведения Фурье, а разночинец Белинский говорил о своей «маратовской» любви к человечеству. «Охранительная» школа официальной народности отражала интересы высшего дворянства—недаром Погодин и Шевырев пользовались большим благоволением в кругах высшей знати и правительства.

Говоря о кровном родстве между школой официальной народности и славянофильством, не следует забывать, что степень этого

---

[1]) Плеханов. „Очерки по истории русской общественной мысли в XIX веке", ст. „М. П. Погодин и борьба классов," стр. 29.

[2]) Современный мир 1911 г. кн. 4, та же ст., стр. 188.

[3]) „Очерки" стр. 54.

[4]) Там же, стр. 67.

родства была довольно далека. Только с такой оговоркой можно считать Погодина и Шевырева предшественниками славянофилов.

Славянофильская теория сформулирована И. Киреевским, К. Аксаковым, Хомяковым и другими в многочисленных работах по философии, истории, публицистике. Все они оригинально и по-своему трактовали различные вопросы славянофильской теории. Так как нет возможности (это и не входит в задачу статьи) подробно разобрать взгляды каждого автора, то мы постараемся установить лишь основные, более или менее общие положения, которые и составляют сущность «философии истории» славянофильства.

Славянофилы принадлежали к тому кругу образованных людей 40 г.г., которые воспитались на гегелевской философии. Но если большинство русских гегельянцев и позднее осталось верным основным принципам учения Гегеля, а некоторые, как, например, Герцен, ушли влево, к Фейербаху, то славянофилы быстро отказались от увлечения Гегелем, не успев даже стать настоящими гегельянцами.

Еще в 1830 году, когда И. Киреевский, по его собственному признанию, считал себя верным последователем автора «Энциклопедии», ученик Гегеля, Михелет, упрекал Киреевского, к большой досаде последнего, в шеллингизме. «Большая часть наших... споров (с Михелетом *Н. Р.*), — рассказывал Киреевский, — кончалась так: «Ja wohl, Sie können villeicht Recht haben, aber diese Meinung gehört vielmehr zu dem Schellingischen, als zu dem Hegelischen System» [1]). А в 1845 году сам Киреевский печатно высказался против Гегеля. В 1856 г. он же защищал шеллингизм, правда, в несколько измененном виде.

Философия Шеллинга об'ясняла суб'ективное познание и реальную природу действием одного всеобщего принципа, «обусловливающего, охватывающего и порождающего из себя вселенную»—так называемого «Абсолютного», которое представляет собой, по Шеллингу, единство или тожество суб'ективного и об'ективного. «Вселенная — самообнаружение Абсолютного, в котором природа и дух от века тожественны» [2]).

В 1840 г.г. Шеллинг развил эти основные положения в том смысле, что познание Абсолютного не может быть достоянием разума. По словам Энгельса, Шеллинг «исходит из схоластического положения,

---

[1]) „Конечно, вы, может быть, и правы, но это мнение скорее принадлежит к Шеллинговой, нежели к Гегелевой системе". И. Киреевский. Полн. собр. соч. Москва. 1911 г., т. 1., стр. 36.

[2]) Куно Фишер, т. VII, Шеллинг, стр. 484—87.

что в вещах следует различать... содержание их понятий от фактов их существования. Что представляют собой вещи,—этому учит нас разум; что они существуют—это показывает нам опыт... разум в своем чистом мышлении должен иметь своим об'ектом не действительно существующие вещи, а вещи поскольку они возможны, не бытие вещей, а их сущность, и соответственно этому только сущность бога, а не его бытие может явиться его предметом исследования».

Эти положения Энгельс—тогда младо-гегельянец—характеризовал, как «попытку контрабандой ввести в свободную науку, основанную на самостоятельном мышлении, веру в авторитет, мистику чувств и гностические фантазии» [1]).

Главную особенность исторического развития Шеллинг видел в том, что оно соединяет в себе законосообразность и произвол. Историческое развитие есть бесконечный процесс при «отклонениях индивидуального произвола». Сущность этого прогресса—в «постепенном возникновении всемирного правового строя». Несмотря на произвольность сознательных актов, над нашей свободной деятельностью господствует внутренняя необходимость, определяющая результаты всех человеческих поступков. Если не принять этой необходимости, тогда исчезнет какой бы то ни было стимул, толкающий человека к великим справедливым начинаниям, потому что исчезнет уверенность в удаче этих начинаний. «Я требую,—говорит Шеллинг,—абсолютно об'ективного начала, которое совершенно независимо от свободы обеспечивало и гарантировало бы успех деятельности в пользу высшей цели; так как единственно об'ективное в хотении есть бессознательное, то я принужден прибегнуть к понятию бессознательного, которое должно обеспечить внешний успех действий». Под этим «бессознательным» или «*абсолютным*» Шеллинг понимает Бога. История развития мира «есть непрерывное доказательство бытия Бога». «Чем дальше развивается мир, тем... законосообразнее становится свобода, тем больше является порядка в человеческом мире, тем бессильнее и реже бывают нарушения его и отклонения индивидуальной воли» [2]).

Эти положения были восприняты славянофилами. «Все ложные выводы рационального мышления,—писал И. Киреевский,—зависят только от его притязания на высшее и полное познание истины... Если бы оно сознало свою ограниченность... тогда и выводы свои оно представило бы

---

[1]) Энгельс. Шеллинг и откровение. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. II, стр. 136, 137.

[2]) Куно Фишер, стр. 561—564.

как условные и относящиеся единственно к его ограниченной точке зрения, и ожидало бы других, высших и истиннейших выводов от другого, высшего и истиннейшего способа мышления» [1]).

Эту ограниченность установил Шеллинг, но его философия не могла быть воспринята славянофилами целиком, так как он в своем понимании «Божественного Откровения» пытался соединить христианскую религию с древней мифологией. Божественное же откровение славянофилы считали присущим только учению православной церкви. Отголоски шеллингианства заметны и в славянофильском учении об общине—Шеллинг считал, что общинное начало, происходящее из необходимости, ограничивает начало личное, т.-е. свободную деятельность человека.

Наконец шеллингианским является и учение о всемирно-историческом предназначении славянской народности.

В своих исторических построениях славянофилы исходили из нравственного постулата, различавшего как все поступки отдельного человека, так и историю целого народа, в зависимости от того, какому закону они подчинены,—так назыв. «внутреннему» или «внешнему».—«Закон нравственный (внутренний),—писал К. Аксаков,—требует прежде всего, чтобы человек был нравственный и чтоб поступок истекал, как свободное следствие его нравственного достоинства, без чего поступок теряет цену». Этому закону противопоставляется другой: «Закон формальный требует, чтобы п о с т у п о к был нравственный по понятиям закона, вовсе не заботясь, нравственен ли сам человек и откуда истекает его поступок» [2]).

Соответственно двум «законам» для отдельного человека и для народа возможны два пути. Первый—«путь внутренней правды». «Не силой принуждения, но силой самой жизни истребляется все противоречащее истине, дается мера и строй всему»... «Как бы ни падала община, вставшая на этот путь... всегда возможна для нее высокая гармония нравственных сил». Второй путь—«не внутренней, а внешней правды»... «внутренний строй переносится во-вне, и духовная свобода понимается, как у с т р о й с т в о, порядок... Все формулируется.... Такой путь имеет неисчислимые невыгоды. Прежде всего формула как бы то ни было не может обнять жизни; потом, являясь принудительною, она утрачивает самую главную силу, силу внутреннего убеждения..., она усыпляет склонный к лени дух человеческий, легко и без труда

---

[1]) И. Киреевский, Т. I, ст. „О новых началах философии", стр. 257.
[2]) К. Аксаков. Полн. собр. соч. М. 1889. Т. I, стр. 56.

успокаивая его исполнением наложенных формальных требований и избавляя его от необходимости «внутренне» нравственной деятельности...» [1]): «... Преобладание внешнего закона в обществе ослабит нравственное достоинство человека, приучая его быть правым только перед законом (внешним)». Человечество же ставит своей задачей «осуществить нравственный закон на земле» [2]):

По мысли славянофилов часть человечества идет путем внешней правды—это Западная Европа; другая часть—славянство—избрало путь внутреннего закона, нравственного совершенствования. Но различия эти не извечны. Они были обусловлены различными условиями исторического развития вообще, развития религиозных верований и церкви в частности.

Западная церковь унаследовала от древнего языческого мира рационалистический метод мышления. Схоластицизм, инквизиция и иезуитизм, знаменовавшие торжество рационализма над преданием, «*внешней разумности — над внутренним духовным разумом*» [3]), были главным орудием католицизма в борьбе с ересями. Другая церковь Запада—протестантская—также основывалась, главным образом, на доводах формального разума. Именно вследствие своего рационализма, пренебрегая «внутренним разумом», западная церковь прибегнула к организации рыцарства и «образовала... из духовной власти власть светскую» [4]). Светская власть церкви, послужившая основой феодального строя, могла лишь внешним образом упорядочить «общественную жизнь народов», в которых государственное устройство возникло из-за завоевания»» [5]). Определяющее влияние завоевания не было этим устранено». «Ибо,—говорит Киреевский,—непримиримая борьба двух спорящих племен—угнетающего и угнетенного—произвела на все развитие их *истории п о с т о я н н у ю н е н а в и с т ь с о с л о в и й, н е п о д в и ж о д р у г п р о т и в д р у г а с т о я щ и х с о с в о и м и в р а ж д е б н ы м и п р а в а м и; с и с к л ю ч и т е л ь н ы м и п р е и м у щ е с т в а м и о д н о г о, с г л у б о к и м н е д о в о л ь с т в о м и б е с к о н е ч н ы м и ж а л о б а м и д р у г о г о, с у п о р н о й з а в и с т ь ю в о з н и к ш е г о м е ж д у н и м и с р е д н е г о, с о б щ и м и в е ч н о б о л е з н е н н ы м к о л е б а н и е м и х о т н о с и т е л ь н о г о*

---

[1]) К. Аксаков. Полн. собр. соч. М. 1889. Т. I, стр. 12, 13.
[2]) Там же, стр. 56.
[3]) И. Киреевский, т. I, стр. 113.
[4]) Там же, стр. 118.
[5]) Там же, стр. 191.

перевеса»[1]). Эта борьба классов, выражаясь современным языком, обусловила революционность исторического процесса на Западе: «...начавшись насилием,—продолжает Киреевский,—государства европейские должны развиваться переворотами, ибо развитие государства есть не что иное, как раскрытие внутренних начал, на которых оно основано. Потому европейские общества, основанные насилием, связанные формальностью личных отношений, проникнутые духом односторонней рассудочности, должны были развить в себе не общественный дух, но дух личной отдельности, связываемой узлами частных интересов и партий... Переворот был условием всякого прогресса, покуда сам сделался уже не средством к чему-нибудь, но самобытной целью народных стремлений»[2]).

В настоящее время жизнь человека на Западе характеризуется «внутренней пустотой». Люди духовно разобщены и связаны лишь «наружной связью внешних выгод». «Одно осталось серьезное у человека,—говорит Киреевский,—это промышленность, ибо для него уцелела одна действительность бытия, его физическая личность»[3]).

И. Киреевский рисует могущество капитализма на Западе. «Промышленность управляет миром без веры и поэзии. Она в наше время соединяет и разделяет людей, она определяет общество, она обеспечивает сословия, она лежит в основе государственных устройств, она движет народами, она об'являет войны, заключает мир, изменяет нравы, дает направление наукам, характер образованности; ей поклоняются и строят храмы»[4]).

История и нравы славянства, в частности России, представляются славянофилам полной противоположностью по сравнению с Западом. «Россия—земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейские государства и страны»[5]). Корни этой самобытности славянофилы искали в нравственных устоях русского народа. Сохранению в чистоте и неприкосновенности «начал» народности способствовал целый ряд исключительных обстоятельств. Так, например, Киреевский утверждал, что основным фактом, консервировавшим «начала», была православная церковь, которая, будучи свободна от пережитков классического рационализма, не занималась государственной деятельностью и, следовательно, не «обмирщилась», как церковь западная.

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 246. Курсив мой. *Н. Р.*
[2]) Киреевский, т. I, стр. 192.
[3]) Там же, стр. 246.
[4]) Там же. Курсив мой. *Н. Р.*
[5]) К. Аксаков, т. I, стр. 16.

Вместилищем «начал» славянофилы считали древне-русскую общину, которой они придавали исключительное значение. Чрезвычайно важно отметить, что славянофилы, квалифицируя общину как «союз людей, основанный на нравственном начале» [1]), в то же время указывали на экономическое происхождение общины.

Самарин, полемизируя с представителем юридической школы Чичериным, писал: «Автору представляется сельская община и общественное владение только, как учреждение, как результат законов, как творение государственной власти, и он совершенно упускает из виду тесную, неразрывную связь юридического вопроса с экономическими условиями народного быта, забывая, что в основании всех отношений земледельцев к земле лежит пользование землей, и что от способа этого пользования, который определяется свойством почвы и отношением народонаселения к пространству удобных земель, зависит, главным образом, и юридическое развитие всех поземельных отношений» [2]).

Не менее интересна мысль историка славянофила Беляева, который утверждал, что «славянское на Руси семейство было столько же родовым, кровным, сколько и общинным союзом», что семья так же, как и община, принимала в свои ряды пришельцев. Эти замечания были направлены против защитников теории родового быта, которых славянофилы обвиняли в превозношении личного начала. Основываясь на летописных показаниях, на данных сравнительной филологии (в частности на том факте, что в русском языке сохранились слова, обозначающие только семейное родство), славянофилы считали, что «русская земля есть изначала наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная (именно общинная) земля» [3]).

По мнению славянофилов, основной чертой, определившей характер исторического процесса в России было отсутствие факта завоевания и поземельной собственности,—условий, порождающих классовую борьбу.

Каким же образом возникло государство? Чтобы ответить на этот, естественно возникающий, вопрос, К. Аксаков строит довольно сложную по своей конструкции теорию призвания власти общиной.

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 58.

[2]) Ю. Самарин. Несколько слов по поводу исторических трудов т. Чичерина („Русская Беседа", 1857 г., т. I, стр. 108). Курсив мой. *Н. Р.*

[3]) К. Аксаков, т. I, стр. 123.

По его мнению, славянская община, основанная на знакомом уже нам «внутреннем законе», подвергалась нападениям со стороны племен, жизнь которых держалась на «законе внешнем». Для того, чтобы успешно обороняться от этих нападений, община должна была сама частично стать на путь признания «внешнего закона» (подразумевается, что нравственные начала, несмотря на все их превосходство, не оказывали благотворного влияния на нападающих).

Но сделать этот шаг значило бы устранить краеугольный камень общины—пресловутое нравственное начало. Чтобы избегнуть грехопадения, община призвала для своей охраны, так сказать, специалистов по «внешнему закону», т.-е. государственную власть, и с этих пор нравственное начало славянской общины получило возможность свободного развития. «Славяне,—говорит К. Аксаков,—сохраняют свое общинное устройство и находят необходимость призвать к нему государственную защиту» [1]). «Призвание было добровольное. Земля и государство не смешались, а реально стали в союз друг с другом. В призвании добровольном означились уже отношения земли и государства—взаимная доверенность с обеих сторон. Не брань, не вражда, как это было у других народов вследствие завоевания, а мир вследствие добровольного призвания» [2]). «Ни в каком случае,—пишет И. Киреевский,—это пришествие (варягов. *Н. Р.*) не было нашествием чужого племени; ни в каком случае также оно не могло быть завоеванием, ибо, если через полтораста лет так легко можно было выслать их из России или, по крайней мере, значительную их часть, то как же могли бы они так легко завоевать ее прежде, как могли бы так безмятежно держаться в ней против ее воли» [3]).

И после призвания князей право общины распоряжаться своими делами не исчезло. «По крайней мере, в народном представлении, власть князя не уничтожала самодеятельности общины,—говорит Беляев,—...и при князе народ считался вольным» [4]). Больше того, в двоевластии веча и князя славянофилы видели идеал единства личного и общественного начал. «Общинный быт,—писал Самарин,—... основан не на личности и не может быть на ней основан, но он предполагает высший акт личной свободы и сознания—самоотречение. В каждом моменте своего развития он выражается в двух явлениях, идущих параллельно и не-

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 60.

[2]) Там же, стр. 13, 14.

[3]) И. Киреевский, т. I, стр. 204.

[4]) Беляев. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М., 1905 г., стр. 45.

обходимых одно для другого... Вече городовое и князь. Вече земское или дума и царь. Первое служит выражением общего связующего начала, второе—личности» [1]).

Крепостное право не было известно до Петра; «это дело преобразованной (т.-е. послепетровской. *Н. Р.)* России» [2]). Славянофилы не скрывали того обстоятельства, что закрепощение крестьян имело место и в допетровские времена, но они считали это закрепощение результатом злоупотреблений, «одностороннего развития» народной жизни, но ни в коем случае не правовым институтом. Беляев, например, разделял историю крестьянства на три периода: 1) (от начала исторических известий о крестьянстве, до конца XVI века), когда крестьянство располагало свободой перехода; 2) (от конца XVI века до 2 десятилетия XVIII века)—прикрепление крестьян к земле с оставлением за ними свободы во всех иных отношениях; 3)—полное закрепощение личности крестьянина.

Когда же славянофилы обращались к процессу закрепощения крестьян в допетровской Руси, они нередко приходили к правильным об'яснениям. Так, например, Беляев, едва ли не первый, указал на то значение, которое принадлежит в истории процесса закрепощения свободным людям—должникам имущих земледельцев—так называемым «изорникам» и «ролейным закупам». Позднее, в XIV—XV в.в., крестьяне стали в большом количестве селиться на частновладельческих землях, так как... «важным побуждением к поселению... служили льготы и покровительство богатых и сильных землевладельцев» [3]). Из слабой зависимости крестьян от помещиков мало-помалу развилось полное подчинение. «Бремя государственного управления,—писал Самарин,—с каждым днем увеличивавшееся, падало на помещиков и вотчинников, а они, в свою очередь, разлагали его на крестьян, которых труд оплодотворял почву» [4]). Так, например, «помещик и вотчинник,—по словам К. Аксакова,—брал от суда определенные пошлины, в чем состояла его финансовая выгода... Оброк, который платили, и пашня, которую пахали крестьяне на помещика и вотчинника, были взамен разных податей и повинностей, которые платили крестьяне государству, и составляли помещиков доход» [5]).

---

[1]) Самарин, т. I, стр. 52.
[2]) К. Аксаков, т. I, стр. 489.
[3]) Беляев. Крестьяне на Руси. М., 1903, стр. 26.
[4]) Самарин, т. III, стр. 23.
[5]) К. Аксаков, т. I, стр. 486.

С увеличением крестьянских повинностей, с ростом такого явления, как, например, переманивания крестьян помещиками, испытывавшими недостаток «живой силы», распространились частые переходы и побеги крестьян. У правительства было два выхода—или предоставить крестьянам землю или прикрепить их к земле владельцев. И здесь славянофилы верно отмечали роль помещичьего класса. «Но в те времена,—спрашивал Самарин,—имело ли правительство свободу выбора? Это более, чем сомнительно. При столкновении интересов простого народа с интересами служилого сословия, единственного и могучего органа верховной власти, последние неминуемо должны были перетянуть... Крестьяне надолго утратили личную свободу» [1]).

Но правительство, прикрепив крестьян к земле, как бы признало за ними известные права их на эту землю, тем более, что в допетровской Руси вообще не существовало «безусловной» поземельной собственности. По мнению Киреевского, «в устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности—только ее случайное отношение. Общине земля принадлежит потому, что община состоит из семей, состоящих из лиц, могущих землю возделывать. С увеличением числа лиц увеличивается и количество земли, принадлежащее семье, с уменьшением—уменьшается. Право общины над землей ограничивается правом помещика или вотчинника; право помещика уславливается его отношением к государству. Отношение помещика к государству зависит не от поместья его, но его поместье зависит от его личных отношений. Эти личные отношения определяются столько же личными отношениями его отца, сколько и собственными, теряются неспособностью поддерживать их и возрастают решительным перевесом над другими совместными личностями. Одним словом, безусловность поземельной собственности могла явиться в России только как исключение» [2]).

Образование московского государства, по мнению славянофилов, было в интересах общин, которые в удельный период разделялись происходившей борьбой князей (сначала за первенство в роде, потом—за материальное могущество). «... Эта борьба княжеств на общины не простиралась; общины были довольны, когда падали между ними государственные перегородки. Нет ни одного примера, чтобы община заступилась за своего князя» [3]).

---

[1]) Самарин, т. III, стр. 25.
[2]) Киреевский, т. I, стр. 209.
[3]) К. Аксаков, т. I, стр. 51.

Иногда славянофилы подходили к более реальному об'яснению стремления общин и княжеств к единству. Так, например, Самарин указывал на захват владимирскими князьями новгородских торговых путей и на задержку хлебного подвоза в Новгород. Но подобные замечания были лишь блестками на фоне общих рассуждений по поводу того, что «близость центральной силы московской постепенно разлагала общину новгородскую на составные ее элементы» и что «общинное начало в пределах земли новгородской могло спастись не иначе, как разрешившись в другом, более широком круге того же начала—в общине русской» [1]).

Как одно из условий, способствующих об'единению Руси, славянофилы отмечали положительное влияние татарщины. Татары, по мысли Беляева, проводя всеобщие перепись и обложение, тем самым об'единяли дружинников и земщину. Признавая московских князей единственными представителями покоренной Руси, они увеличивали значение княжеской власти.

В московском государстве основой «любовных» отношений между государством и народом был так называемый «совещательный» элемент государственной жизни—земские соборы, заменившие прежнее местное вече.

По утверждению славянофилов, земские соборы не имели ничего общего с представительными учреждениями Запада. В России народ не вмешивался в управление государством, а лишь смиренно высказывал свое мнение. «Спрашивали выборных от всех сословий; они говорили: мысль наша такова, а там как будет угодно государю». «Не личное самолюбие, не гордость западной свободы была здесь, а обоюдное искреннее желание пользы» [2]). «Русская земля... принимала земский собор, как необходимую и должную помощь со стороны земли царю,—говорит Беляев,—когда сам царь найдет для себя нужным обратиться за этой помощью к русской земле» [3]).

Земским соборам славянофилы придавали исключительное значение. Только соборы дали царской власти моральное признание со стороны народа, только в них «земля» сознала свое единство и получила возможность излагать перед правительством свои нужды. На земских же соборах «выявилось гражданское устойство России, отношения

---

[1]) Самарин, т. I, стр. 59.

[2]) К. Аксаков, т. I, стр. 19.

[3]) Беляев. Земские соборы на Руси, стр. 53.

земли и государства между собою—т.-е.: государству—неограниченное право действия и закона, земле—полное право мнения и слова» [1]).

Итак, раз в России не было права поземельной собственности, не было завоевания, то отсутствовали и основания для враждебных столкновений народа и государства. Между ними установились «отношения свободные, разумные, не рабские и потому обеспеченные от всякой революции» [2]).

Эту спокойную жизнь допетровской Руси К. Аксаков рисует в розовых тонах. «Земля, или народ, пахал, промышлял и торговал. Государство он поддерживал деньгами и, в случае нужды, становился под знамена... Государство, или государь, с неограниченной никаким условием властью блюл тихую жизнь земли... Все люди, не пахавшие, не промышлявшие, не торговавшие, составляли так называемую дружину государеву и назывались людьми служилыми... таким образом в России не было ни одного человека, пользующегося даром своими выгодами (а тем более по праву)» [3]).

Правда, Аксаков видит, что нарисованная им картина слишком хороша, и оговаривается, указывая на невозможность полного блаженства. Но он убежден, что в основном его изображение соответствует действительности.

Такое «мирное житие», при полном нежелании русского народа принять участие в государственной власти, гарантировало России, как думали славянофилы, иммунитет от каких бы то ни было бунтов или революций. «У нас не было ни сословной зависимости, ни сословной похотливости к власти,—писал И. Аксаков,—... политических бунтов из-за желания овладеть властью со стороны низших классов у нас никогда не бывало» [4]).

Тем явлениям в русской истории, которые не гармонировали с красками аксаковской пастели, сам И. Аксаков и другие славянофилы давали своеобразное толкование. Так, например, опричнина Иоанна IV об'яснялась желанием царя стать ближе к народу. «Дружина,—говорит К. Аксаков,—была необходима для князей, переносившихся из города в город; она... вредна для единого царя и для всей земли. Становясь между царем и народом, дружина стесняла обоих» [5]). Таким образом,

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 283.

[2]) Там же, стр. 21.

[3]) Там же, стр. 21, 22. Курсив всюду мой. *Н. Р.*

[4]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество. СПБ. 1891. стр. 334.

[5]) К. Аксаков, т. I, стр. 145. В другом месте К. Аксаков об'ясняет опричнину желанием царя разрознить землю и создать идеальное государство.

вводя опричнину, Иоанн только устранял средостение, которое мешало ему приблизиться к «земле».

Смутное время не было восстанием против власти; причина смуты—в том, что народ заподозрил Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Стрелецкий бунт при Петре I—«скорее буйство, чем бунт» [1]). Словом «во все время русской истории народ русский не изменил правительству, не изменил монархии. Если и были смуты, то они состояли в вопросе о личной законности государя» [2]).

Но так безмятежно развивалась Россия только до Петра I. Петровские реформы изменили весь ход русского исторического процесса. Славянофилам иногда приписывается огульное отрицание всех западных новшеств, введенных Петром. В действительности же они осуждали только те нововведения, которые, по их мнению, не соответствовали нравам русского народа: «все, что было истинного в перевороте Петра, было... начато до него. Но Петр был не только продолжателем, а это-то и составляет характеристику его эпохи. Прежде перенимали одно полезное от иностранцев, не заимствуя чуждой жизни, но оставаясь при началах своей жизни... Петр же, напротив, стал перенимать все от иностранцев, не только полезное и общечеловеческое, но частное и национальное. Переломлен был весь строй русской жизни. Таким образом, даже самое полезное, что перенимали в России до Петра, стало не свободным, а рабским подражанием. К этому присоединилось еще другое обстоятельство, именно: насилие, неотъемлемая принадлежность действий Петра [3]). «Петр смотрел на народ, как архитектор на кирпичи».

Петровская реформа внешне приобщила высшие классы русского общества к западно-европейской культуре, разорвав таким образом связь их с низшими классами, существовавшую до тех пор. «Россия разделились на две резкие половины: на преобразованную Петром, или верхние классы, и на Россию, оставшуюся в своем самобытном виде... или простой народ» [4]).

Почему же нравственные начала, эти крепкие основания московской Руси, не устояли перед петровским переворотом? На этот вопрос

---

[1]) Записка К. Аксакова о внутреннем состоянии в России. Историко-литературная библиотека под ред. Грузинского (славянофилы), стр. 87.

[2]) К. Аксаков, т. I, стр. 20.

[3]) К. Аксаков, там же, стр. 46. Курсив мой. *Н. Р.*

[4]) Там же, стр. 48.

славянофилы давали разнообразные ответы. Так, например, Киреевский видел виновника податливости «начал» в церковном расколе XVIII века. «Как скоро,—говорил он,—ересь явилась в церкви, так раздор должен был явиться в жизни... Партия нововведения одолела партию старины именно потому, что старина была разорвана разномыслием (т.-е. церковным разногласием. *Н. Р.*). Откуда, при разрушении связи духовной, внутренней, явилась необходимость связи вещественно-формальной... Оттого Петр, как начальник партии в государстве, образует общество в обществе [1]). Самарин об'яснял неизбежность петровских реформ католическим влиянием на русскую церковь конца XVII и начала XVIII века, которое «получило характер политический, воздвигнув в духовенстве партию, враждебную государству». Противодействие государства новому направлению церкви, ставшее «односторонним» вследствие личности Петра, и составило содержание реформы.

Об'яснение Хомякова в основном сходилось с предположением Самарина, с той только разницей, что по мысли первого борьба шла между началами исключительной враждебности народной стихии ко всему иноземному, с одной стороны, и европеизмом Петра, уклонившимся в противоположную крайность—с другой. Хомяков так же, как и Самарин, видит причины нетерпимости русского народа в «латинском» влиянии.

Реформы принесли отрицательные результаты. Крестьяне окончательно утратили свободу, после того как первая ревизия уничтожила разницу между крестьянином и кабальным холопом. Положение крестьян ухудшилось по сравнению с допетровскими временами. Беляев замечает, что «ни один помещичий приказ прежнего времени, даже самый строгий, нельзя и сравнивать с экономическими записками Татищева» [3]). Земское начало отступило на задний план. Нарушилось единство царя с высшими классами населения. Так, например, по словам К. Аксакова, «в классах, оторванных от народного быта, преимущественно в дворянстве... обнаруживалось стремление к государственной власти, пошли революционные попытки» [4]).

Из схемы исторического развития России славянофилы делали определенные выводы. Путь петровской реформы—«путь ложный и опасный». Единственная возможность спасения заключается в том, чтобы высшие классы руского общества обратились к «нравственному

[1]) Киреевский, т. I, стр. 119.
[2]) Ю. Самарин, т. V, стр. 245.
[3]) Беляев. Крестьяне на Руси, стр. 282.
[4]) Записка К. Аксакова, стр. 86.

закону», к началам «народности» (понятие, которое у славянофилов носило неопределенный характер. Под народностью понимались и так называемые «народный дух» и народные нравы, и те особенности, которые свойственны одному лишь русскому народу).

Только тогда история России, по мнению славянофилов, вновь пойдет по правильному пути.

Мы изложили вкратце славянофильскую теорию русского исторического процесса. Постараемся резюмировать в нескольких словах основные ее элементы.

Историю движут народные массы, проникнутые общинным духом и обладающие такими положительными нравственными качествами, которые избавляют русский народ от классовой борьбы, свойственной Западу. Русская история ничего общего не имеет с историей Западной Европы. Антигосударственность русского народа, обеспечивающая страну от революции, выражается в мирной жизни всех классов общества под руководством неограниченной монархии. Общественное единство, нарушенное Петром, вновь возобновится после того, как все сословия проникнутся духом самобытной русской народности.

Критические замечания

Что историческая теория славянофилов страдает произвольным подбором и истолкованием фактов,—об этом знали многие из современников славянофильства. Даже на той ступени развития исторической науки такие исходные пункты славянофильской исторической концепции, как, например, этический постулат «внутреннего» и «внешнего» законов, определяющая роль церкви и т. п., должны были казаться отсталыми. Вспомним, что задолго до этого во Франции писал Гизо, в России в эти годы—Чичерин и Соловьев. Поэтому нам не покажется, конечно, странным, что уже современная славянофилам историческая критика пробила не одну брешь в их построениях.

Начать хотя бы с известного нам общинного безгосударственного начала. В подтверждение своей теории призвания общиной князей К. Аксаков приводил лишь известное свидетельство летописи. Когда Погодин, возражая славянофилам по этому вопросу, привел многочисленные свидетельства (в том числе той же Несторовой летописи), указывавшие на завоевание славянских племен варягами,—его возражение осталось без ответа. И лишь впоследствии И. Аксаков, защищая теорию призвания от нападков Градовского, вынужден был, в сущности говоря, признать ее неверность. «Дело не в действительности

самого Несторова рассказа (о призвании *Н. Р.),*—писал он,—а в том, что еще в XI веке было записано такое сказание, взятое, конечно, из устного предания. А в предании этом воплотился взгляд народный на начала государства. Этот же последний факт... для нас... важней фактической достоверности самого призвания варягов» [1]).

Если мы вспомним аргументацию призвания Константином Аксаковым, то станет ясным, что его брат, подменяя вопрос о фактической достоверности оспариваемого события рассуждениями о «народном взгляде», сдал прежние позиции славянофильства в этом вопросе.

В схему «мирного единства земли» не уложилась удельная Русь. Отрицание наличия элементов феодализма в России XI—XIII в.в. лишило историка возможности об'яснить, например, борьбу князей. И К. Аксаков, например, большей частью обходит эту эпоху молчанием или, в лучшем случае, ограничивается наивными об'яснениями вроде того, что Новгород «не мог обойтись без князя». Иронизируя по поводу откровения К. Аксакова о мирном поведении Новгорода после его покорения Москвой, Владимир Соловьев замечал, что «подобным же образом туземцы Мексики и Перу, раз уничтоженные испанцами, уже не восставали против них в пользу своего прежнего устройства» [2]).

Здание «совещательного элемента», столь тщательно возведенное К. Аксаковым и его друзьями, при ближайшем рассмотрении, также оказывается построенным на песке. Так, например, славянофилы не могли дать удовлетворительного об'яснения по вопросу о перерыве в функционировании этого элемента—между народными вечами и земскими соборами. На этот катастрофический провал обратил внимание еще С. Соловьев, который видел в нем доказательство того, «что новое общество стройлось на других началах, исключавших вечевой элемент,— началах государственных» [3]). К. Аксаков считал, что в эту эпоху (т.-е. приблизительно между концом XIV и второй половиной XVI века. *Н. Р.),* «когда Россия еще не сложилась... она еще не могла получить ясного совещательного голоса, как впоследствии... Особный общинный элемент уже ослабел, а новый элемент общины всерусской еще не окреп» [4]). Не требуется больших усилий, чтобы усмотреть в ответе Аксакова простую тавтологию, не разрешавшую, конечно, поставленного вопроса.

---

[1]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество, стр. 499.

[2]) В. Соловьев. Собр. соч., т. V, стр. 188.

[3]) С. Соловьев. Шлецер и анти-историческое направление. Сочинения, стр. 1587.

[4]) К. Аксаков, т. I, стр. 197.

История земских соборов, представляющая собой в интерпретации К. Аксакова развитие идеальных форм сожительства «земли» и «государства», свободных от всякого рода низменных расчетов, эта история под пером другого историка-славянофила принимает несколько более житейский характер. Так, например, Беляев утверждает, что в созыве земских соборов вначале были заинтересованы цари, «которые, по молодости самодержавной власти... находили для себя выгодным опираться на голос земщины и считали неудобным и опасным принимать на себя ответственность в важнейших делах и в наложении чрезвычайных податей». Позднее, при Алексее Михайловиче, «правительство уже считало себя довольно сильным даже итти против голоса, заявленного земскими людьми». Наконец, главную причину падения земщины в половине XVII века Беляев видит «в отделении интересов дворянства от интересов остальной земщины»[1]).

Беляев только намекает на первоначальную слабость и последующее усиление самодержавия; общая его точка зрения на значение земских соборов не расходится со взглядами К. Аксакова, но даже при этом намеке обычное славянофильское представление о соборах оказывается фикцией.

Марксистская историография доказала, что земские соборы-институты, общие (в той или иной форме) для всех стран, переживавших эпоху феодализма, не могут быть признаны национальной особенностью русского народа, и что ликвидация этих учреждений происходила параллельно росту торгового капитала и усилению самодержавной власти.

Столь же неверным является утверждение славянофилов о том, что в допетровской России не было классовой борьбы и не имели место восстания против власти. Не заметить таких явлений, как, например, борьбу казачества с Москвой, «пропустить» восстание Стеньки Разина и, наконец, об'яснить Смутное время одной только борьбой из-за «установления личности» настоящего царя—все это было непростительной близорукостью даже в сороковых годах XIX века. Сейчас же, когда перед нами вскрывается социальная подпочва разинщины, когда в смуте

---

[1]) Беляев. Судьбы земщины на Руси, стр. 97, 98, 106. Мы должны заметить, что проф. Беляев при всем его славянофильстве высказывал гораздо более трезвые взгляды, чем К. Аксаков и другие члены славянофильского кружка. Может быть, этому способствовало то обстоятельство, что он являлся действительным историком-специалистом, работавшим над документами. На нем также заметно влияние школы государственников—в работах Беляева иногда слышатся отзвуки чичеринской теории закрепощения.

самого Несторова рассказа (о призвании *Н. Р.),*—писал он,—а в то, что еще в XI веке было записано такое сказание, взятое, конечно, из устного предания. А в предании этом воплотился взгляд народный на начала государства. Этот же последний факт... для нас... важнее фактической достоверности самого призвания варягов» [1]).

Если мы вспомним аргументацию призвания Константином Аксаковым, то станет ясным, что его брат, подменяя вопрос о фактической достоверности оспариваемого события рассуждениями о «народном взгляде», сдал прежние позиции славянофильства в этом вопросе.

В схему «мирного единства земли» не уложилась удельная Русь. Отрицание наличия элементов феодализма в России XI—XIII в.в. лишило историка возможности об'яснить, например, борьбу князей. И К. Аксаков, например, большей частью обходит эту эпоху молчанием или, в лучшем случае, ограничивается наивными об'яснениями вроде того, что Новгород «не мог обойтись без князя». Иронизируя по поводу откровения К. Аксакова о мирном поведении Новгорода после его покорения Москвой, Владимир Соловьев замечал, что «подобным же образом туземцы Мексики и Перу, раз уничтоженные испанцами, уже не восставали против них в пользу своего прежнего устройства» [2]).

Здание «совещательного элемента», столь тщательно возведенное К. Аксаковым и его друзьями, при ближайшем рассмотрении, также оказывается построенным на песке. Так, например, славянофилы не могли дать удовлетворительного об'яснения по вопросу о перерыве в функционировании этого элемента—между народными вечами и земскими соборами. На этот катастрофический провал обратил внимание еще С. Соловьев, который видел в нем доказательство того, «что новое общество строилось на других началах, исключавших вечевой элемент,— началах государственных» [3]). К. Аксаков считал, что в эту эпоху (т.-е. приблизительно между концом XIV и второй половиной XVI века. *Н. Р.),* «когда Россия еще не сложилась... она еще не могла получить ясного совещательного голоса, как впоследствии... Особный общинный элемент уже ослабел, а новый элемент общины всерусский еще не окреп» [4]). Не требуется больших усилий, чтобы усмотреть в ответе Аксакова простую тавтологию, не разрешавшую, конечно, поставленного вопроса.

---

[1]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество, стр. 499.

[2]) В. Соловьев. Собр. соч., т. V, стр. 188.

[3]) С. Соловьев. Шлецер и анти-историческое направление. Сочинения, стр. 1587.

[4]) К. Аксаков, т. I, стр. 197.

История земских соборов, представляющая собой в интерпретации К. Аксакова развитие идеальных форм сожительства «земли» и «государства», свободных от всякого рода низменных расчетов, эта история под пером другого историка-славянофила принимает несколько более житейский характер. Так, например, Беляев утверждает, что в созыве земских соборов вначале были заинтересованы цари, «которые, по молодости самодержавной власти... находили для себя выгодным опираться на голос земщины и считали неудобным и опасным принимать на себя ответственность в важнейших делах и в наложении чрезвычайных податей». Позднее, при Алексее Михайловиче, «правительство уже считало себя довольно сильным даже итти против голоса, заявленного земскими людьми». Наконец, главную причину падения земщины в половине XVII века Беляев видит «в отделении интересов дворянства от интересов остальной земщины»[1]).

Беляев только намекает на первоначальную слабость и последующее усиление самодержавия; общая его точка зрения на значение земских соборов не расходится со взглядами К. Аксакова, но даже при этом намеке обычное славянофильское представление о соборах оказывается фикцией.

Марксистская историография доказала, что земские соборы-институты, общие (в той или иной форме) для всех стран, переживавших эпоху феодализма, не могут быть признаны национальной особенностью русского народа, и что ликвидация этих учреждений происходила параллельно росту торгового капитала и усилению самодержавной власти.

Столь же неверным является утверждение славянофилов о том, что в допетровской России не было классовой борьбы и не имели место восстания против власти. Не заметить таких явлений, как, например, борьбу казачества с Москвой, «пропустить» восстание Стеньки Разина и, наконец, об'яснить Смутное время одной только борьбой из-за «установления личности» настоящего царя—все это было непростительной близорукостью даже в сороковых годах XIX века. Сейчас же, когда перед нами вскрывается социальная подпочва разинщины, когда в смуте

---

[1]) Беляев. Судьбы земщины на Руси, стр. 97, 98, 106. Мы должны заметить, что проф. Беляев при всем его славянофильстве высказывал гораздо более трезвые взгляды, чем К. Аксаков и другие члены славянофильского кружка. Может быть, этому способствовало то обстоятельство, что он являлся действительным историком-специалистом, работавшим над документами. На нем также заметно влияние школы государственников—в работах Беляева иногда слышатся отзвуки чичеринской теории закрепощения.

мы видим прежде всего крестьянскую революцию, слова о «мирном» развитии допетровской Руси можно принять только в ироническом смысле.

Так же мало приемлемы соображения славянофилов о частной собственности на землю и о развитии крепостного права. Утверждение Киреевского об отсутствии в Московской Руси «безусловной» поземельной собственности покажется фантастическим, если вспомнить, например, роль монастырей и других частных землевладельцев. Достаточно сказать, что в Московском уезде в 1623—24 г.г. на монастырское землевладение приходилось до 44, на вотчинное—17 и на поместное только 22% всей пахотной земли [1]).

Если славянофилы верно указали первоначальные причины закрепощения крестьян, то настолько же неудовлетворительным было, например, об'яснение дальнейшего усиления крепостного права ростом злоупотреблений. Вне поля зрения славянофилов остались зависимость русского сельского хозяйства от рынка и интенсификация барщины, как результат этой зависимости.

Что касается искусственного разделения славянофилами Московской Руси от Петровской России, то уже западники метко возражали как против проведения резкой демаркационной линии между этими двумя эпохами, так и против огульной идеализации первой и безусловного осуждения второй.

«Новгородский вечевой колокол,—писал Герцен,—был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иваном Васильевичем. Крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в Уложении (Алексея Михайловича. *Н. Р.*) уже нет и помину целовальников (т.-е. общественного самоуправления. *Н. Р.*) и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей» [2]).

Самое сетование по поводу «испорченности» послепетровской России говорило о слабости «начал» Московской Руси. И с точки зрения современной славянофилам исторической науки был прав С. Соловьев, когда он в своей (конечно, идеалистической) критике характеризовал славянофильскую теорию, как «стремление, обличающее недостаток нравственных сил, неуменье сладить с прогрессом... Неверие в нравственные силы человека, который, по мнению буддистов, только

---

[1]) Платонов. Очерки по истории смуты. 2 изд., стр. 42.

[2]) Герцен. Собрание сочинений, изд. Павленкова, т. II. Былое и думы, стр. 400.

гогда чист и светел, когда живет в лесу, и портится, когда выступает на общественном поприще» [1]).

Соловьев справедливо упрекал славянофилов в логических противоречиях. В самом деле, твердя о подчинении личности общине, славянофилы в то же время придавали исключительное значение личности Петра. «Они,—писал Соловьев,—позволяют себе унижать русский народ, низводить его на степень неисторического народа, предполагая, что один человек мог увлечь его на неправильный путь» [2]).

Выше мы приводили славянофильские об'яснения петровских реформ. Нетрудно заметить, что цитированные нами рассуждения Хомякова, Самарина, Киреевского построены на принципах немецкой философии. В самом деле «исключительное», «одностороннее» развитие народности перед Петром, последующее противоречие и новая односторонность, выражающаяся в чрезмерном увлечении Западом, наконец, в перспективе—развитие той же народности, так сказать, на «расширенной базе»—перед нами теза, антитеза и синтез, члены знаменитой гегелевой триады. Но в то время, как у Гегеля эта триада заключает в себе определенное содержание — именно саморазвивающийся дух, — для славянофилов она являлась только формальным способом мышления. Противоречие возникает не само из себя, а привносится извне. Словом, воспользовавшись внешними приемами гегелевой философии, славянофилы отказались от его диалектики. Именно поэтому их об'яснение петровских реформ оказалось таким искусственным.

Из числа остальных элементов славянофильской «философии истории» давно сдана в архив пресловутая самобытность русского исторического процесса. Уже в 40 и 50 г.г. прошлого столетия научная ценность этой теории стояла гораздо ниже по сравнению, например, с системой Гегеля, который рассматривал развитие общества с всемирно-исторической точки зрения, хотя общей почвой для обеих концепций был идеализм. Но идеализм Гегеля, его представление о едином мировом духе об'ясняли больше, нежели заимствованное славянофилами у Шеллинга учение о народности, воплощающей различные стороны духа.

Позднее под теорию всемирного исторического процесса был подведен солидный фундамент сравнительного изучения исторических памятников. Огромную роль сыграло здесь и развитие сравнительной

---

[1]) С. М. Соловьев. Исторические письма, стр. 868.

[2]) Соловьев. Собрание соч. Шлецер и анти-историческое направление, стр. 1611.

филологии. После работ Павлова-Сильванского о феодализме в России вряд ли кто-нибудь мог бы еще говорить о полной самобытности нашего исторического развития. Исследования историков-марксистов, установившие однородность основных начал исторического процесса в Западной Европе и в России, окончательно подорвали теорию самобытности.

Нельзя пройти мимо того, что некоторые отдельные представления славянофилов были гораздо научнее и стояли ближе к марксизму, чем взгляды Чичерина и Соловьева в этих вопросах. Так, напр., в то время как последние считали общину созданием государства, славянофилы, непомерно преувеличивая значение общины и разводя всякого рода идеалистическую путаницу насчет ее нравственных устоев, иногда подходили к экономическому об'яснению происхождения общины. Указания на «большую семью», как на хозяйственную единицу, были подтверждены позднейшими исследованиями и вошли в инвентарь марксистской историографии.

Славянофильская теория происхождения крепостного права сохранила свое значение до настоящего времени. Если Чичерин и Соловьев создали теорию закрепощения классов государством (интересно отметить, что Самарин считал эту теорию изобретением помещиков с целью оправдания крепостного права), то славянофилы первые выяснили роль «изора» — ссуды бедному крестьянину, как основного фактора последующего закрепощения должника. К такому же об'яснению склоняется и марксистская историография. Добавим, что славянофилы дали более или менее верную оценку татарского нашествия, указав, что татарщина не была для народа «игом», что орда способствовала укреплению Москвы.

Наконец, славянофильская теория являлась своего рода здоровой реакцией на уклонения «государственной» школы. Так, например, мы смело можем присоединиться к той (хотя несколько своеобразной) критике юридических документов, как единственных исторических источников, которую дал в свое время Самарин. «Юридические документы,—писал он,—выражают одно понятие, один вид учреждения, а в народной жизни существовало другое понятие и целый порядок соответственных ему явлений... юридические памятники обрисовывали только одну сторону учреждений, далеко не исчерпывая их общественного значения» [1].

Никому другому, как славянофилам принадлежит честь привнесения в русскую историографию источников нового типа, которые до тех

---

[1]) Самарин. Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина (Русская Беседа, 1857 г., т I, стр. 107).

нор историческая наука лишала прав гражданства. К. Аксаков, П. Киреевский и другие славянофилы доказали, что исследователь имеет столько же оснований ссылаться на «Русскую Правду», сколько на древние былины, на завещание Мономаха, сколько на старинные предания, на Судебник Ивана Грозного—сколько на народные поверья и сказки. Славянофилы, так сказать, демократизировали исторические источники, и благодаря им давно уже не кажется странным, что мужицкая песня, может быть только сейчас записанная, как памятник стоит рядом с какой-нибудь договорной грамотой или царским указом.

Модернизируя прежние понятия, мы можем сказать, что славянофилы, в известном смысле, считали право «надстройкой». В полемике с Чичериным Самарин обвинял автора «Опытов по истории русского права» в том, что он ставит вопрос об общине на основании юридических источников, «тогда как почва его не столько право, сколько область сельского хозяйства» [1].

Еще более интересны замечания Беляева и Хомякова о ходе закрепощения крестьян. «...Большей частью,—писал Беляев,—прежде нежели закон утверждал то или иное значение крестьянства, это новое значение более или менее уже подготовлялось жизнью, практикой, и закон своим авторитетом освещал только то, что жизнь общества уже приняла прежде появления закона» [2].

Хомяков приводил пример того, как законодательные мероприятия лишь фиксируют отношения, естественно сложившиеся в народной жизни. «Крепостное состояние,—писал он,—введено Петром I; но когда вспомним, что они (крестьяне. *Н. Р.*) не могли сходить со своих земель, ... что суд был далеко, ... в руках помещиков, ... что противники их были всегда богаче и выше их в лестнице чинов государственных,—не поймем ли мы, что рабство крестьян существовало в обычае, хотя не было признано законом, и что отмена холопьего приказа не могла произвести ни потрясений, ни бунтов и должна была казаться практическому уму Петра простым уничтожением ненужного и почти забытого присутственного места» [3].

[1]) Самарин. Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина (Русск. Беседа. 1857 г., т. I, стр. 108).

[2]) Беляев. Крестьяне на Руси, стр. 5.

[3]) Хомяков, т. I, стр. 364. Курсив мой. *Н. Р.*

В концепции Чичерина и Соловьева роль «первого двигателя» исторического процесса принадлежала государству. Все экономические институты были обязаны этому государству своим возникновением, государство направляло жизнь народа, словом, все зависело, все обусловливалось интересами государства.

Славянофилы отказались от превозношения государства. По словам Плеханова они «раньше западников почувствовали необходимость апелляции к внутренней об'ективной логике нашего развития [1]).

В своей критике «Истории России с древнейших времен» К. Аксаков, сравнивая Соловьева с Карамзиным, писал: «В «Истории России» автор не заметил одного: русского народа... «История России» может совершенно справедливо быть названа... историей Российского государства, не более; земли, народа—читатель не найдет».

Славянофильская теория выдвигала на авансцену земщину, т.-е. народные массы. «Изменения в строе,—писал Беляев,—совершались, но едва заметно, и старое заменялось новым *большей частью не по распоряжению верховной власти, не насилием, а естественным требованием жизни*» [2]).

Не упуская из виду отмеченных нами положительных сторон славянофильской исторической теории, следует в то же время помнить, что эти качества не покрывают, конечно, основных недостатков схемы исторического процесса в России, как она представлялась славянофилам. Идеалистическая, отрицающая борьбу классов, схема эта в целом безвозвратно похоронена, главным образом, с тех пор, как учение Маркса завоевало историческую науку.

Сами славянофилы, особенно в начале своей деятельности, зачастую были обуреваемы сомнениями в правильности их исторической теории. В этом смысле прав был Кошелев, утверждавший, что почти все славянофилы «перебывали более или менее тем, что впоследствии называлось «западниками» [3]). Даже наиболее ортодоксальный из них Хомяков одно время скептически относился к идеализации допетровской Руси. «Говорят, в старые годы лучше было все в земле Русской»,—спрашивал он в статье, написанной в 1839 г., и отрицательно отвечал на поставленный вопрос. Хомяков указывал на безграмотность, на отсутствие порядка, на расцвет взяточничества, на голодовки. «Власть дружная с народом?—иронически восклицает он,—не толь-

---

[1]) Плеханов. От обороны к нападению, стр. 655.
[2]) Беляев. Судьбы земщины, стр. 69.
[3]) Кошелев. Записки. Берлин. 1884., стр. 70

ко в отдельных краях, но и в Рязани, в Калуге и в самой Москве бунты народные и стрелецкие были происшествием довольно обыкновенным, и власть царская частехонько сокрушалась о препоны, противопоставленные ей какой-нибудь жалкой толпой стрельцов, или делала уступки какой-нибудь подлой дворянской крамоле» [1]). По мнению Хомякова, обычай допетровской Руси не восставал против пыток, против рабства крестьян—прежде, как и теперь, было постоянное несогласие между законом и жизнью» [2]).

Иван Аксаков, возражая своему брату по вопросу о единстве всех классов русского общества, высказывал еретические, с славянофильской точки зрения, мысли. «Служилое сословие,—писал он,—было у нас наследственное... Потомок дружины никогда не смешивался с земским человеком. ... В самих нравах была разница немалая. В ковах, крамолах, доносах, в спеси боярской... в тяжбах о местничестве, в разрядных книгах, словом, во всей этой жизни Московского двора — слышите ли вы, чуете ли вы крестьянина?» [3]).

Но если так плохо держались столбы славянофильской теории, колебавшиеся от малейших толчков исторической критики или вследствие сомнений самих авторов теории, то не более твердым оказывался и «фундамент» здания, т.-е. пресловутая приверженность русского народа к внутренней правде, общинному началу и т. п. А что славянофильская концепция переживала немалые потрясения при столкновении с жизнью,—об этом мы знаем от самих славянофилов.

В 1849 г. И. Аксаков, тогда еще молодой чиновник, но уже убежденный славянофил, был в служебной командировке в г. Угличе. В письмах к отцу он рассказывал, между прочим, о визите к нему одного из угличских купцов. Купец этот предложил Аксакову изменить формы городской благотворительности, упорядочив ее путем создания складочного капитала и соответствующей организации.

«Это меня поразило,—писал И. Аксаков,—... Я хотел возразить ему, что они, т.-е. граждане, желают, может быть, чтобы благотворение совершалось в тайне, каждым от себя, но вспомнил, что это возражение было бы слишком натянутым... Не тайная благотворительность — грошевое подаяние нищим,

---

1) Хомяков, т. I, стр. 360.

2) Там же, стр. 364.

3) И. Аксаков в письмах, т. II № 1849 г., стр. 249.

которое ввелось непременным обычаем. Все это делается совершенно холодно» [1]).

Что же смутило молодого Аксакова? Славянофилы восставали против искусственных форм, стесняющих движение «народной души», а на деле оказывалось, что народ сам стремится к «внешним» формам, да и «движение души» в действительности является бездушным обычаем, т.-е. тем же самым «внешним законом».

И приведенный случай столкновения «теории» с «практикой» не был единственным. В том же Угличе Аксаков познакомился с молодым купеческим сыном, который много читал и «томился жаждой просвещения». «Я заметил,—пишет Аксаков,—что молодой Серебрянников с глубоким презрением смотрит на своих собратьев, купцов и мещан, на их невежество» [2]).

Это неожиданное наблюдение послужило поводом для резиньяций молодого славянофила. «Мы,—писал он,—просвещенные просвещением, измученные сознанием, обессиленные анализом..., мы с уважением смотрим на бессознательную и «невежественную» толпу, как на магнитную стрелку, которая верно указывает путь, которою мы можем проверять себя. Но вот человек из этой же толпы, который, напротив того, жаждет всеми силами души попасть в ту же болезнь, в которой и мы находимся» [3]).

Казалось бы, эти разочарования (добавим, что впоследствии Аксаков убедился в полном отсутствии общинных начал среди угличского мещанства) должны были, по крайней мере, поколебать уверенность Аксакова в правильности славянофильской теории. Но никакой «переоценки ценностей» не произошло. Правда, Аксаков высказал в одном из писем горькую истину и «подумал, что слишком мы (славянофилы. *Н. Р.*) решительны в своих взглядах a priori о русском народе» [4]). Все же это чистосердечное признание говорило не более чем о мимолетных сомнениях. И. Аксаков относится, впрочем, к «молодым». «Отцы» славянофильства твердо держались своих убеждений.

Еще в 1839 году Хомяков уверял, что «Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве. в отношении людей между собою» [5]). А через 13 лет, после Угличской поездки, в 1862 г. сам И. Аксаков называл обществен-

---

[1]) Письма И. Аксакова. М. 1888, т. I, ч. II, стр. 241. Курсив мой. *Н. Р.*
[2]) Там же, стр. 242.
[3]) Там же.
[4]) Там же.
[5]) Хомяков, т. 3, стр. 20.

ную благотворительность «практицизмом Иуды» и обвинял ее защитников в желании «пополицействовать в народном сердце» [1]). Угличский опыт был, очевидно, забыт, и забыт надолго.

Столкновения с научной критикой или с повседневной практикой часто заканчивались не в пользу славянофильства. Это не помешало тому, что учение славянофилов около 30 лет играло весьма видную роль среди других направлений общественной мысли.

Что же, развивалась славянофильская теория «рассудку вопреки, наперекор стихиям», и правы были Чаадаев и Грановский, когда называли ее, первый—«патологическим явлением» в русской истории, а второй—«литературной болезнью»? Или в России того времени были такие «стихии», которые являлись опорой этой теории, и такие люди, рассудку которых искусственность славянофильских построений не казалась столь очевидной, как она кажется нам?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к *классовым корням славянофильства.*

КЛАССОВЫЕ КОРНИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

Как об'ясняли появление славянофильства сами славянофилы и их современники? Для И. Киреевского славянофильство было лишь реакцией образованных русских людей на «безрассудные системы» Запада. Эти люди, «убедившись—по мнению Киреевского,—в неудовлетворительности европейской образованности, обратили внимание свое на те особенные начала просвещения, не оцененные европейским умом, которыми прежде жила Россия и которые еще теперь замечаются в ней помимо европейского влияния» [2]).

Западник Герцен видел в славянофильстве результат оживления мыслящей части русского общества и разброда направлений после «душных» времен Николаевского царствования. «Когда народ,—писал Герцен.—ощущает один темный трепет призвания, одно брожение чего-то неясного, но влекущего его в сферу шири, тогда мыслящие, не имея общей связи, начинают метаться во все стороны» [3]).

Позднейшие исследователи славянофильства об'ясняли его возникновение, быть может, более подробно, но не менее идеалистически. Так, например, Пыпин, проводя параллель между славянофильством и

---

[1]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество.
[2]) И. Киреевский, т. I, стр. 11.
[3]) Герцен. Собр. соч., изд. Павленкова, т. VI, стр. 46.

национальным под'емом на Западе, характеризовал первое, как «философско-романтическое» направление, «порыв идеалистического патриотизма» против «сухого формализма официальной народности» [1]). Даже Плеханов, который правильно намечал классовую сущность отдельных положений славянофильства, при попытке об'яснения всей этой теории в целом, исходил из того, что «положение русского крестьянина, равно как его историческое прошлое (по мысли Плеханова, более сходное с историей Востока. *Н. Р.*)... чрезвычайно трудно поддавалось анализу с точки зрения западных общественных теорий» [2]).

В анализе возникновения славянофильства большинство исследователей стоит на идеалистической почве. Едва ли не все они (исключая Плеханова и Андреевича) твердо держатся за «национальное самосознание», «религиозный характер русского народа» и т. п. Разногласия возникают при решении вопроса о политической физиономии славянофилов.

В то время, как Богучарский находит, что «демократическое чувство... заставляло славянофилов обращать свои взоры к народу» [3]), Плеханов склонен видеть в славянофилах «консервативных представителей образованного дворянства» [4]).

Сами славянофилы находили одни лишь отрицательные определения своих политических взглядов. «Я не революционер и не консерватор, не демократ и не аристократ, не социалист, не коммунист и не конституционалист» [5]),—писал Самарин.

И действительно, теория славянофилов представляет собой на первый взгляд такое странное сочетание прогрессивных и реакционных элементов, что трудно обойтись без перегиба в сторону ли квалификации их как «либералов» или как «охранителей». Впрочем эта трудность исчезает, как только мы взглянем на обстановку и среду, в которой зародилось и развивалось славянофильство.

«Славянофилы,—писал в 1855 г. попечитель Московского учебного округа генерал-ад'ютант Назимов,—это люди весьма мирные, благочестивые отцы семейства, п о м е щ и к и» [6]).

---

[1]) Пыпин. Характеристики литературных мнений от 20 до 50 г. г. СПБ, 1906, стр. 46.

[2]) Плеханов. История русской общественной мысли, т. I, стр. 118.

[3]) Богучарский. Активное народничество, стр. 10.

[4]) Плеханов. Статья Погодина „Борьба классов“ в цит. выше сборнике его статей по истории русской обществ. мысли XIX в., стр. 65.

[5]) Самарин. Окраины России. Прага. 1868, стр. 111.

[6]) Истор. Вестн. 1880 г., кн. 2, ст. Сухомлинова.

Западник Белинский мимоходом подчеркивал социальное различие между западниками и славянофилами. Возражая своему критику из «Москвитянина», он называл его «баричем», «который изучал народ через своего камердинера».

Герцен косвенно указывал на это же обстоятельство, говоря об аристократизме славянофилов.

Обращаясь к биографическим данным, мы узнаем, что большинство вождей славянофильства происходило из видных и богатых дворянских фамилий. Так, например, Самарин «по своему происхождению... принадлежал к родовитому и состоятельному дворянству» [1]). То же самое можно сказать о Хомякове, которого Герцен, кстати сказать, называл человеком «очень богатым», об Аксаковых и о других.

Чрезвычайно важным является тот факт, что большинство виднейших славянофилов были помещиками, которые самостоятельно вели хозяйство, и притом хозяйство барщинное. Но «хлебопашественная» система в хозяйствах, принадлежавших славянофилам, испытывала на себе все последствия кризиса барщины, имевшего место в 40 и 50 годах прошлого столетия. Помещики-славянофилы старались завести в своих поместьях интенсивное хозяйство, и необходимость технического прогресса заставляла их делать попытки перехода к вольнонаемному труду в тех или иных формах. Действительно, сельским хозяйством занимался И. Киреевский (имевший, между прочим, конский завод); Хомяков закупал в Англии сельскохозяйственные машины, перевел крестьян с пашни на оброк и пробовал использовать наемный труд, открыв в имении сахарный завод (он же, интересуясь одно время техникой, изобрел паровую машину двойного действия, взял на нее патент и отправил свое изобретение на всемирную выставку в Лондон). Князь Черкасский, также имевший сахарные заводы, отпустил на свободу мастеровых, взяв с них большой выкуп и лишив земли. Константин и Иван Аксаковы сами не вели хозяйства, но были близки к такому хозяину, каким являлся их отец С. Т. Аксаков.

Чтобы закончить это перечисление, нужно указать на издателя «Русской Беседы» А. И. Кошелева, откупщика и ученого агронома, человека, который интересовался пароконными плугами и Гарретовыми сеялками не меньше, чем бытом допетровского государства и началами народности в русской истории. В имениях Кошелева на ряду с барщин-

[1]) Сборник „Великая Реформа", т. V. стр. 92.

ными крестьянами (часть которых он впоследствии перевел на оброк) работали и вольнонаемные рабочие.

Не лишено интереса географическое распределение хозяйств славянофилов. Имения Киреевских, Аксаковых, Хомякова, Самарина и Кошелева находились, главным образом, в Тульской, Калужской, Самарской, Симбирской, Рязанской и Смоленской губерниях— т.-е. большей частью в черноземных районах.

Эти сведения лишь косвенно могут помочь нам в анализе классовых источников славянофильства. Мы не стоим на точке зрения тех исследователей, которые об'ясняли, например, идеологию декабристов в зависимости от числа десятин земли, находившихся в распоряжении того или иного участника восстания на Сенатской площади.

Можно ничего не знать о том положении, которое славянофилы занимали в обществе. Но достаточно внимательно рассмотреть их теорию в связи с настроениями русского дворянства в половине прошлого столетия, чтобы отказаться от идеалистического толкования славянофильства в духе Пыпина и Милюкова.

Мы увидим, что историческая теория славянофилов соответствовала практическим интересам передовых барщинных помещиков 40—50 годов XIX века, затронутых буржуазными веяниями.

Рассмотрим в этом аспекте основные положения исторической теории славянофилов.

«Философия истории»

При изложении философских взглядов славянофилов мы говорили о возврате их от Гегеля к Шеллингу. Чем об'ясняется такое отступление? Этим вопросом задавался М. Ковалевский. «Причина, по которой русские люди одно время более увлекались Шеллингом, нежели Гегелем,—писал он,—лежит в религиозном характере его философии, в основном задании примирить науку с религией» [1]). Об'яснение это представляется нам верным, но недостаточным. Ковалевский останавливался там, где вопрос, в сущности говоря, только начинался.

Сами славянофилы об'ясняли свою нелюбовь к Гегелю в гораздо большей степени «по-марксистски», чем это делает ученый социолог нашего времени. К. Аксаков оспаривал теорию, по которой историче-

---

[1]) „Вестник Европы", 1915, кн. 11. Ст. Ковалевского. Шеллингианство и гегельянство в России, стр. 459.

ский процесс есть не что иное, как «непременное восхождение от худшего к лучшему, так что день настоящий есть всегда день правдивый, а вчерашний—есть день осужденный. Это—поклонение не истории, а времени... Уж тот непременно прав, чье время... но приковать себя к колесу времени—дело неудобное, придется не раз упасть вниз, ибо коловратно время. Нет, истина не временщик и от времени не зависит (Что мне за дело, что такая-то идея теперь торжествует... Основанием для понимания истории должна быть с одной стороны — идея общей истины... с другой — началу, принцип, народное,... а не преемство исторических явлений или форм» [1]).

Еще с большей откровенностью высказывался на эту тему И. Киреевский. В письме к Кошелеву он ополчается против «понятия Гегелева», «что всякое правление в государстве равно законно, только бы стояло, и всякая революция законна, только бы удалась, и правление то беззаконно, которое свергнуто, и революция беззаконна, которая не удалась. Эти-то безнравственные убеждения и привели Европу к теперешнему положению» [2]).

Так вот почему славянофилы отступились от Гегеля. Их возмущал известный тезис «все действительное—разумно».

И образованный помещик 50 годов должен был возмущаться «Гегелевым понятием», потому что время действительно было «коловратным». Нельзя забывать, что всего за 9 лет до появления цитированной выше статьи К. Аксакова и лишь за 5 лет до письма Киреевского совершилась революция 1848 года. Под впечатлением этой революции славянофилы (как мы покажем дальше) еще крепче, чем раньше, ухватились за голубой мундир николаевской монархии, как ребенок в испуге хватается за платье матери.

Признать же тезис Гегеля о разумности всего действительного значило бы признать законность, т.-е. необходимость февральской революции 1848 года, которая—как буржуазная революция—несомненно «удалась». Это значило бы осудить июньское восстание парижских рабочих только потому, что оно не увенчалось успехом. Словом, это повлекло бы за собой необходимость делать выводы, которые никоим образом не могли быть по сердцу русскому помещику. Как же тут не защищать «общую истину»? И уж, конечно, нельзя было допустить в историю гегелевский скачок. «Пере-

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 169, 170. Курсив и разрядка мои. *Н. Р.*
[2]) И. Киреевский, т. II, стр. 279.

ход от периода к периоду, от эпохи к эпохе делается незаметно» [1]). уверял К. Аксаков; а его брат Иван, обращаясь к юношеству, писал:

«И речи, шумные для слуха,
«В разладе с правдой и добром:
«Не в блеске дел, не в буйстве духа
«Мы силы духа познаем» [2]).

И, хотя гегелевский абсолютный дух после бурно проведенной молодости в конце концов успокаивался в лоне немецкого государства Фридриха Вильгельма III, славянофилы записали его диалектическое «буйство» в кондуит и стали шеллингистами.

Герцен сразу понял революционность гегелевского учения и воспринял ее. Белинский споткнулся на «разумности» империи Николая но потом быстро последовал примеру Герцена. Чичерин остался гегельянцем, отказавшись от «крайностей» гегелевской диалектики. Славянофилы оказались последовательнее Чичерина. Когда диалектика образе революционной гидры погрозила интеллигентному помещику барщиннику, помещик отвернулся и от диалектики и от Гегеля, понимая, что «развитие путем противоречий» составляет неотъемлемую принадлежность гегелевской философии.

Шеллингианство было несравненно удобнее для людей, которые боялись революции. По свидетельству Одоевского, подтверждаемому между прочим, Энгельсом, Шеллинг и был выписан Фридрихом Вильгельмом IV в Берлин для противодействия левым гегельянцам, в частности Фейербаху, философия которого завоевывала себе сторонников среди учеников Гегеля. Сам Одоевский, взгляды которого во многом напоминали славянофильские, в разговоре с Шеллингом жаловался то, что «Гегелева философия приводит многих к бездне отрицания» [3]).

Шеллинг не был повинен ни в диалектике, ни в исключительном рационализме, которого славянофилы боялись по вполне понятным причинам. За примерами «зловредности» рационалистической философии не приходилось далеко ходить. Рационалистами были деятели Великой Французской Революции, так же как и близкие по времени славянофилам социалисты-утописты.

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 46.
[2]) „Московский Сборник". Москва. 1852. Кн. 1.
[3]) Статья Ковалевского в „Вестн. Европы", 1915 г., кн. 11.

И прав был Самарин, когда он в августе 1849 года—т.-е. через какой-нибудь месяц после ликвидации германской революции,—хотел «...показать, что между горделивыми притязаниями отвлеченного мышления и диким разгулом торжествующей печати, между Гегелевой философией и коммунизмом Франции существует самая тесная, самая законная связь» [1]).

Подчиняя человеческий разум религиозным верованиям и, таким образом, устраняя ненавистную Самарину «тиранию рассудка», философия Шеллинга, как нельзя более, отвечала требованиям образованного помещика. Даже позднее, когда философские взгляды Шеллинга оделись мистическим туманом, Хомяков все еще продолжал утверждать, что деятельность Шеллинга и в этот период «полезна наукообразным противодействиям восставшему в силе гегелизму» [2]).

Могут спросить, почему славянофилы не перешли к полному отрицанию рационалистического мышления, а продолжали оставаться «соглашателями» в философии. Причиной такой, казалось бы, непоследовательности была противоречивая сущность барщинного помещика-предпринимателя, который напоминал двуликого Януса. Его буржуазный лик, конечно, не мог примириться с окончательным отказом от буржуазного же рационализма, т.-е. с отрицанием науки, например, агрономии, столь дорогой для Кошелева. «Лик» помещичий, полуфеодальный настойчиво требовал религиозной гарантии от революции и прочих неприятных случайностей. Следствием явилось примирение разума и веры, при чем примат был все-таки на стороне последней: феодал несколько перевешивал в русском помещике 40 годов буржуа.

Славянофилы не могли принять шеллингианство в его чистом виде, так как Шеллинг был протестантом. Кроме того, он утверждал, что во всех формах богосознания, свойственных каждой народности, есть некоторые общие начала «Божественного Откровения». Поэтому славянофилам пришлось, во-первых, окрестить его философию в православную веру, а во-вторых—признать монопольным собственником этого «Откровения» одну только русскую народность.

Когда в Россию стал проникать материализм (правда, еще фейербаховского образца), славянофилы столь же решительно ополчились против нового учения, насколько раньше они боролись против гегельян-

---

[1]) Самарин. Т. XII, стр. 432. Письмо к Хомякову. Курсив мой. *Н. Р.*

[2]) „Русская Беседа", 1857 г., кн. 1, стр. 28.

ства. «Корень зла — в господстве материализма»,—писал Хомякову Самарин в 1850 году. В 1864 году тот же Самарин резко нападал на Герцена, обвиняя его в пропаганде материализма. «Вы из первых проповедывали у нас материализм,—писал Самарин...—он вам пришелся по руке, как таран, которым вы разбивали семью, церьков и государство» [1].

Может быть, Самарин несколько и переоценивал герценовский материализм, но нельзя отказать ему в том, что он правильно указал на «разрушительную» деятельность последнего. Революционную сторону философских учений славянофилы чуяли издалека. Их внимание было обострено хорошо сознанным классовым интересом.

Самобытность русского исторического процесса

«Философия истории» славянофилов находилась в тесной связи с их нравственно-этическим постулатом. На возникающие в обществе мысли о политических свободах демократии трудно было бы отвечать рационалистическими доводами. Да и не стоило, если к услугам славянофилов были знаменитые нравственные начала. Демократия?—Но «кажется, теперь достаточно раз'яснено, что ничто так не враждебно народной свободе, как политическое народовластие». Если весь народ превращается в правительство, то нет уже народа... Правда внешняя вытесняет правду внутреннюю» [2]). Парламент?—Но ведь голосование по большинству это нравственная и логическая нелепость. Конституция?—«Гарантия есть зло,— утверждает К. Аксаков—...Вся сила в идеале. Да и что значат условия, как скоро нет силы внутренней?» [3]).

Правда, допустить свободное развитие даже нравственных начал славянофилы не решались. Классовые интересы помещиков продиктовали им предусмотрительное ограничение «внутренней» правды и ожесточенную борьбу против правды «внешней», поскольку она могла выразиться в политических свободах.

«...Надобно признаться,—писал Киреевский,—что... постоянное стремление к совокупной деятельности всех нравственных сил могло иметь и свою опасную сторону. Ибо только в том обществе, где все классы проникнуты равно одним духом, где... многочисленные монастыри... вполне владеют над умами, где, следовательно, люди, созревш

---

[1]) Гершензон. Исторические записки, стр. 76.

[2]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество, стр. 87.

[3]) К. Аксаков, стр. 18, стр. 281 (т. I). Интересно, что подобного рода взгляды высказывал в свое время публицист времен реставрации Жозеф де-Местр.

к духовной мудрости, могут постоянно руководствовать других, еще не дозревших, там подобное расположение человека должно вести его к высшему совершенству. Но когда, еще не достигнув зрелости внутренней жизни, он будет лишен руководительных забот высшего ума, то жизнь его может представить неправильное сочетание излишних напряжений с излишними изнеможениями»[1]).

Попробуем перевести эту отвлеченную тираду на более конкретный язык. Предположение Киреевского о том, что «нравственная правда» в случае, если для нее будут открыты все пути, может повести не к добру,—это предположение не лишено было известных оснований.

В Николаевской России существовало достаточное количество таких институтов, которые ни с какой стороны не могли найти себе опору в «нравственном законе». Крепостное право, преследование раскольников, жестокая военная служба—все это могло вызвать—а в действительности и вызывало—противодействие крестьян, хотя бы они и понятия не имели о гибельности «внешнего закона». Именно поэтому осторожный Киреевский не забывал о необходимости «руководительных забот» помещика, т.-е. о хорошей упряжке для народа. «Нравственная» лошадка могла понести,—и что бы тогда сталось с имениями высших умов?

Содержание рецептов, которые рекомендовались славянофилами для народных масс, также соответствовало интересам просвещенного барщинника. Киреевский доказывал, что в противовес западному «русский человек стремится (а, следовательно, и должен стремиться. *Н. Р.*) внутренним возвышением над внешними потребностями избегнуть тяжести внешних нужд»[2]).

Итак, крепостной крестьянин не должен был восставать против тягостной барщины или большого оброка. Усталость от работы, голод, холод и прочие житейские невзгоды будут заглушены «внутренним возвышением», т.-е. сознанием своей народности, верой в бога и т. п.

Доказать жизненность этих положений доводами от настоящего было довольно трудно. Не говоря уже о том, что жизнь Западной Европы с ее революциями 1830 и 1848 г.г., с расцветом утопического социализма, с конституциями и республиками, показывала славянофилам многочисленные примеры «внешней правды», даже русский крестьянин не всегда следовал советам Киреевского. Именно в 40 и 50 годы число крестьянских волнений достигает весьма высокой цифры. И если практи-

[1]) И. Киреевский, т. I, стр. 211.
[2]) И. Киреевский, т. I, стр. 214.

чески эти волнения усмирялись карательными экспедициями Николаевских генералов, то, с другой стороны, на помощь обеспокоенному помещику пришла славянофильская теория самобытного исторического процесса в России.

Славянофилы нисколько не скрывали, зачем нужна была эта теория. «...Направление будущего,—писал Хомяков,—почти вполне зависит от понятия нашего о прошедшем. Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов... и из стремлений современных... Если же, напротив, старина русская была сокровищем всякой правды и всякого добра, то труд наш переменит свой характер... Только стоит внести факт критики под архивные своды и воскресить... учреждения и законы, которых трупы истлевают в забытых шкафах и сундуках»[1].

Положение Хомякова следует поставить на ноги, и тогда происхождение «самобытности» станет совершенно ясным.

Именно потому, что барщинный помещик как огня боялся «современных стремлений», он и уверял, что история России является «сокровищем всякого добра». Все эти рассуждения сводились к одному выводу: «Наша историческая жизнь вообще имеет немного сходства с жизнью Запада, и опасности, подобные тем, которые потрясли Запад в новейший период истории, у нас немыслимы»[2].

Что касается доказательств,—их можно было легко найти в прошлом. Для этого пришлось, конечно, проделать с историей ряд хирургических операций, главной целью которых было очистить исторический процесс в России от каких бы то ни было проявлений классовой борьбы. В этом освещении, казалось бы, чисто «научная» полемика славянофилов с защитниками теории родового быта облекается в плоть и кровь. Род—это та ячейка, из которой выросло западноевропейское буржуазное общество.

Доказать, что в России никогда не было родового быта, значит доказать, что Россия не будет республикой французского или конституционной монархией английского типа.

Но в этом вопросе взгляды славянофилов (как было замечено выше) были близки к научной истине. Славянский быт действительно был общинным бытом. Понимая, что современная община представляет для помещика хозяйственные выгоды, славяно-

---

[1]) Хомяков, т. I, стр. 362, 363.
[2]) И. Аксаков, т. I, стр. 264.

филы с этого же конца подходили к славянской общине и правильно указывали на ее экономическое происхождение. Но «очистка» русского исторического процесса не всегда, вернее редко, удавалась славянофилам без столкновения с научными требованиями. Победителем из такой борьбы обычно выходил классовый интерес, и славянофилы, не стесняясь, подтасовывали или извращали исторические факты, старательно «забывая», напр., борьбу общин с князьями, крестьянскую революцию эпохи Смутного времени, восстание Стеньки Разина и т. п.

Отрицательное отношение к петровским реформам, квалификация их как момента, с которого Россия вступила на ложный путь,— все это было логическим этапом в исторической схеме славянофилов. Прежде всего, Петр и его мероприятия не могли возбудить славянофильских симпатий уже по одному тому, что начало XVIII века в России ознаменовалось ломкой старых устоев.

Когда К. Аксаков говорил, что у Петра не было предшественников *в древней Руси*, он, поясняя свою мысль, характеризовал петровские реформы, как переворот, дело новое, небывалое на Руси», как революцию, в отличие от тех «мирных изменений», которые совершаются легко и неприметно [1]).

Но прогрессивный барщинный помещик, идейными выразителями которого были славянофилы, порицал не только метод, но также содержание и видимые результаты петровских реформ. Первая четверть XVIII века—это та дата, с которой ведет свое существование русская крупная промышленность. Та самая промышленность, которая забирала на фабрику помещичьих крестьян и делала из них «развращенных пролетариев», облагала высокой пошлиной каждую бутылку французского вина, купленного помещиком; наконец, та крупная промышленность, от которой *шли политические* «скверны»—недаром Киреевский твердо знал, что промышленность «обозначает сословия».

Порицая послепетровскую Россию за подражание Западу, славянофилы в то же время вовсе не стояли за полный отказ от западноевропейского просвещения. В своих исторических работах они не раз с удовлетворением отмечают, что в допетровской России никогда не было «исключительности национальной». «При Дмитрии Донском было принято огнестрельное оружие, при Иоанне IV—книгопечатание и т. д.,

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 47, 48.

наконец, при Федоре Алексеевиче—даже внутреннее военное устройство» [1]),—напоминал К. Аксаков.

Так же смотрели славянофилы и на современность. «Мы,—писал Кошелев, о славянофильском кружке,—вовсе не отвергали великих открытий и усовершенствований, сделанных на Западе, считали необходимым узнавать все там выработанное, пользоваться от него весьма многим, но мы находили необходимым все пропускать через критику нашего собственного разума и развивать себя с помощью, а не посредством позаимствований от народов, опередивших нас на пути образования» [2]).

Мысли, которые развивали Аксаков и Кошелев, как будто не вяжутся с теорией самобытности русского исторического процесса. Ключ к этому противоречию будет найден, как только мы обратимся к классовому содержанию теории. Нельзя забывать, что устами славянофилов говорил не простой помещик-барщинник, а барщинник, затронутый новыми веяниями, помещик, мечтавший об интенсивном хозяйстве, к которому толкал его рост хлебных цен в 40—50 г.г. XIX столетия.

Такой помещик не мог говорить о полной самобытности истории России; экономика и здесь заставила его стать на «соглашательскую» позицию. И в самом деле, обрабатывая землю посредством эксплоатации своего, русского крестьянина, нельзя же было обойтись без помощи, например, Вильсоновской молотилки (которая понравилась Ивану Киреевскому) только потому, что эта молотилка была сделана не в Москве, а в Лондоне.

Еще более сложные противоречия встречаются при анализе роли государства в исторических построениях славянофилов. Излагая славянофильскую схему русской истории, мы отмечали, что в этой схеме каким-то образом уживались исконная преданность народа монархии с антигосударственностью того же народа, признание государственной власти—с подчеркиванием ее принудительного характера.

Что славянофилы видели в русской истории мирное сожительство народа с монархией—идеальной формой государственного правления,—не представляется странным. Барщинный помещик за два десятилетия до реформы при всем своем «прогрессе» не мог не быть монархистом. Несколько фактов лучше всего иллюстрируют эту простую истину.

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 47, 48.

[2]) Кошелев. Записки. Берлин. 1884 г., стр. 76.

Весной 1848 года известный историк Погодин проектировал подачу адреса Николаю I от имени литераторов с просьбой ослабить давление цензуры. Знавший об этом проекте И. Киреевский написал Погодину письмо, в котором обнаружил исключительно бережное отношение к монархии Николая I. «Подумай,—усовещевал Киреевский своего друга,—при теперешних бестолковых переворотах на Западе время ли подавать наши адреса в литературе. Не велика беда, если наша литература будет убита еще на два или на три года. Она оживет опять. А между тем подавать просительные адресы в теперешнее время значило бы поставить правительство во враждебное, или, по крайней мере, в недоверчивое отношение к литературе, что гораздо хуже».

Напрасно читатель будет думать, что в Киреевском говорит благоразумный журналист, боящийся попасть на гауптвахту — дело весьма нетрудное в те времена. «Правительство, — продолжает Киреевский, — теперь не должно бояться никого из благомыслящих. Оно должно быть уверено, что в теперешнюю минуту мы все готовы жертвовать всеми второстепенными интересами для того, чтобы только спасти Россию от смут и бесполезной войны».

Но этого мало. Киреевский оказывается plus royaliste, que le roi. Он боится, что Николай может поддаться панике—предположение не безосновательное,—стоит лишь вспомнить поведение Николая I после первых известий о революции во Франции. «Мы должны желать только того, чтобы правительство... не возмущало народ ложными слухами о свободе и не вводило бы никаких новых законов, покуда утишатся и об'яснятся дела на Западе, чтобы, например, оно не делало инвентарей помещичьим имениям, что волнует умы несбыточными предположениями, чтобы оно не позволяло фабрикам без всякой нужды заводиться внутри города и особенно столицы, когда они с такой же выгодой могут стоять за несколько верст от заставы» [1]). Важность приведенной цитаты извиняет ее величину. В самом деле, где еще можно встретить столь откровенное признание. Действительно, у страха глаза были велики, если Киреевскому на какой-нибудь Собачьей площадке вблизе Арбата мерещились ужасы Сент-Антуанского предместья.

Помещик испугался до такой степени, что даже усомнился в твердости духа правительства. Испугавшись, он достаточно ясно обнаружил свои классовые интересы. Из-под шляпы европейски образованного интеллигента выглянул красный околыш дворянской фуражки.

---

[1]) И. Киреевский, т. I, стр. 249. Курсив мой. *Н. Р.*

Чем яснее становились очертания предстоявшей крестьянской реформы, тем больше росла боязнь помещика в ее благополучном исходе, и одновременно с боязнью—надежда на монархию, как на организацию, которая, с одной стороны, принудит остальных помещиков к отмене крепостного права, с другой стороны—и это было самым важным—защитит дворянство от возможных неприятностей. Обсуждая вопросы освобождения крестьян, И. Киреевский отвергал принцип добровольных сделок между крестьянами и владельцами. «Помочь может только одна коренная, следовательно, правительственная мера» [1]),—писал он Кошелеву.

Славянофилы вовсе не желали, чтобы реформа осложнилась революцией. «Мы столько стоим за предоставление людям свободы, сколько против того, чтобы люди у нас ее выхватили» [2]),—говорил Кошелев. А живое воображение князя Черкасского рисовало «потешные огни, на которых мелким огнем жарятся землевладельцы, судьи и правители» и «торжественные костры» из «ободранных помещиков и чиновников» [3]).

Преданность народа монархии по славянофильской схеме была не чем иным, как проекцией в историю помещичьего монархизма.

Но, быть может, демократическим элементом в славянофильской идеологии являлся панславизм? На этом вопросе стоит остановиться подробнее тем более, что решение его вскроет нам корни перспектив, которые открывали славянофилы перед русской народностью. Мы говорим русской, потому что славянофилы в гораздо большей степени симпатизировали русским славянам, нежели западным их соплеменникам (чехам, сербам и т. п.). Характерно, что самое название славянофилов укрепилось за кружком Киреевских, Аксаковых и Хомякова помимо и даже против их желания. При всяком удобном случае К. Аксаков и его друзья выражали неприязненное отношение к этому названию. Панславистские идеи носили, впрочем, несколько своеобразный, или, как деликатно говорит Пыпин, «туманный» характер. В 1849 г. И. Аксаков, отвечая на вопросы III Отделения, заверял с безусловной искренностью, которая подтверждается его письмами к отцу, что так называемые славянофилы питают к западным славянам «только одно сердечное участие».

---

[1]) Колюпанов. Биография Кошелева, т. II, стр. 105.
[2]) Кошелев. Записки. (Записка о финансах, стр. 78.)
[3]) Колюпанов, т. II. Записка Черкасского, стр. 110.

Эта откровенность все же не успокоила подозрительного Николая I. На полях бумаги, где были изложены ответы Аксакова, царь написал: «Под видом участия к мнимому утеснению славянских племен таится преступная мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств и об общем соединении, которое ожидают не от божьего произволения, а от возмущения, гибельного для России» [1]).

Как мы сейчас увидим, славянофилы не были виноваты «ни слухом ни духом» в подобного рода преступных мыслях.

«В панславизм мы не верим,—писал Аксаков в тех же ответах III Отделению,—во-первых, потому, что нет единоверия славянства, а во-вторых, вследствие того, что «большая часть славянских племен уже заражена влиянием пустого западного либерализма, который противен духу русского народа. Признаюсь, меня гораздо более всех славян занимает Русь» [2]).

Итак, еще в те годы, когда славянофильство, как литературно-политическое течение, только пробивало себе дорогу, у самих славянофилов возникали вполне справедливые опасения на счет политической невинности западного славянства. Поэтому пришлось отступить с позиции начала 40 г.г. и признать, что иммунитетом от революционной заразы обладают не все славянские племена в противовес романским и германским, но один «избранный русский народ».

Все же Николай имел свои основания бояться хотя бы одного «сердечного участия» к западным славянам. Вспомним, что дело происходило в 1849 г., т.-е. в то время, когда русские солдаты под начальством князя Паскевича «замиряли венгра» и в случае необходимости без промедления «замирили» бы чеха и хорвата, не справляясь об их национальности.

Но, если в 40 г.г. славянофилы только в интимной беседе с правительством признавали, что их больше всего славянства интересует русский народ, то спустя 20 лет после цитированного ответа Аксакова сами западные славяне могли убедиться в беспочвенности опасений Николая I.

В 1868 г. в Москве происходил славянский с'езд, созванный по инициативе славянофилов. Правительство не возражало против созыва с'езда, памятуя, очевидно, предательскую роль, которую Австрия

---

[1]) И. Аксаков. Письма, ч. I, стр. 160.

[2]) Там же. Курсив мой. *Н. Р.*

играла по отношению к России в прошлой войне. «В речах с'езда,—пишет Пыпин,—со стороны западного славянства можно было вообще заметить мягко, но ясно выраженную антипатию к нивеллирующей гегемонии одного племени (т.-е. русского) над другим» [1]).

Из-за «туманности» панславистской фразеологии явственно проступало желание русского помещика принять «младших братьев» под высокую руку Белого Царя. Это не могло нравиться «младшим братьям», которые мечтали, выражаясь современным языком, о самоопределении народностей: теория исторического предназначения славянской народности была построена на довольно прозаическом фундаменте.

Что касается отношения правительства к славянофилам, то надо сказать, что славянофильская фразеология иногда вводила в заблуждение ревностных чиновников. Так, например, по поводу статьи Хомякова, предназначенной для запрещенного цензурой Московского Сборника, цензоры отмечали, что Хомяков «показывает любовь свою к отечеству, но он по этой любви не ищет в нашей истории тех событий, которые клонятся к поддержанию величия нынешней России, а старается открывать признаки каких-то общин, братства в роде общин коммунистов и фурьеристов» [2]).

Цензоры, конечно, переусердствовали—славянофилы всегда отрицательно относились к фаланстерам, так как считали, что последние основаны на «внешнем законе». Но подобные недоразумения между правительством и славянофилами бывали не раз: то И. Аксакова посадят на гауптвахту, то сделают выговор Хомякову за ношение бороды и русского платья. Все же эти эпизоды были только недоразумениями. Это подтверждается свидетельствами, в достаточной степени авторитетными. «Мы очень хорошо знаем всю благонамеренность Московского русского направления» [3]),—говорил начальник тайной полиции видный бюрократ А. Ф. Орлов. А в 1855 году генерал-ад'ютант Назимов, попечитель Московского учебного округа и председатель Московской цензуры, человек, которого мы не можем упрекнуть в излишней благосклонности к либерализму, ходатайствовал перед министром о разрешении славянофилам издавать свой журнал.

---

[1]) А. Пыпин. Панславизм в прошл. и наст. 1913 г., стр. 121.

[2]) Эпизод из истории славянофильства. „Русская Старина", 1875 г., т. XIV, № 10, стр. 372.

[3]) Сухомлинов. Из литературы 50 годов. „Ист. Вестник", т. II, 1880 г.,

Некоторое недружелюбие правительства к славянофильскому кружку Назимов об'яснял боязнью раздражить Австрию открытой панславистской агитацией. «К сожалению, — писал он, — нашлись люди, которые заподозрили так называемых славянофилов в каких-то политических замыслах, и признали их людьми опасными и вредными, чем-то вроде якобинцев, тогда как это —... помещики, вовсе не помышляющие о нарушении законного порядка вещей».

Не лишнее прибавить, что ходатайство Назимова было уважено: очевидно, доводы генерал-ад'ютанта нашли отклик среди других бюрократов.

Итак, отношения славянофилов и правительства далеко не были враждебными. «Политика» как будто бы не об'ясняет того факта, что славянофилы в своей исторической теории сводили на-нет государственное начало, выдвигая на первый план общину. «Государство,— писал И. Аксаков,—конечно, необходимо, но не следует верить в него, как в единственную цель и полнейшую норму человечества. Общественный и личный идеал человечества стоит выше всякого совершеннейшего государства». Так же думали и остальные славянофилы старшего и младшего поколений.

Но пристальней всмотревшись в антигосударственность славянофильской теории, мы увидим, что «политика» имела и другую сторону. Интересно, что больше всего славянофилы боялись смешения функций земли (т.-е. народа) и государства, при чем особенно настойчиво предостерегали они землю от вмешательства в государственные дела. Призвание князей, земские соборы, имевшие одно лишь право мнения—все это говорит о нежелании земли властвовать, о мирном содружестве ее с государством.

Правда, славянофилы иногда напоминали, что мелочной контроль государства над землей может принести только вред. К. Аксаков утверждал, что после Петра «государство перешло границы и сдавило общину в ее обычаях, в ее жизни». Он предостерегал от желания народа стать государством потому, что тогда «погибнет внутреннее начало свободы» [1]) (читай: погибнет помещичье хозяйство).

Итак, отрицание государственного начала в русской истории не может послужить поводом к обвинению славянофилов в каком-либо анархизме. Это—лучшая гарантия от революции. Если доказано, что народ никогда не стремился к власти, значит и в будущем нечего бояться, что он протянет руку к царскому скипетру. Правительство,

---

[1]) К. Аксаков, т. I, стр. 62.

с своей стороны, должно применять более мягкие меры воздействия по отношению к народу, и тогда все пойдет хорошо; Россия навсегда останется абсолютной монархией.

Только так можно понять смысл отделения земли от государства, которое красной нитью проходит через всю историческую схему славянофилов. «Антигосударственность» охраняла государство от народа.

Но мы коснулись лишь одной стороны вопроса. Нет никакого сомнения, что в умалении славянофилами роли государства, в восхвалении народности отчетливо слышатся нотки недовольства правительством. Это недовольство, на первый взгляд, не вяжется с социальной характеристикой славянофильства, которая дана была выше. Мы говорили о славянофилах, как о выразителях настроений барщинного предпринимательского дворянства. Но ведь известно, что политика Николая I отвечала интересам и помещиков, и буржуазии. Таким образом, нельзя предположить, что славянофилы видели в Николаевской монархии преграду капиталистическому развитию России.

Если мы внимательно присмотримся к экономике рассматриваемого периода и к положению дворянства, то увидим, что славянофилы расходились с правительством только во взглядах на темп развития капитализма в России. Вспомним, что после аграрного кризиса 20—30 г.г. наступил под'ем хлебных цен. «Некоторое ослабление кризиса,—пишет М. Н. Покровский,—чувствовалось уже с конца 30 г.г... Вывоз за 1838 год был слишком вдвое выше вывоза 1836 года и почти вдвое выше среднего за 15 лет» [1]). Перед капиталистическим сельским хозяйством, к которому переходили передовые помещики-барщинники, открывались широкие перспективы. Уже ясно вырисовывались контуры реформы 1861 года, которая должна была еще сильнее двинуть Россию по пути капиталистического прогресса.

И вот оказывалось, что для этого прогресса страна плохо подготовлена. Голубой мундир, в который русское дворянство было одето в годы застоя, стал в 40 г.г. чуть-чуть узковат в плечах [1]) (характерно, что именно на эти годы, как раз, и приходится возникновение славянофильства).

---

[1]) „Русская История", т. IV, стр. 48.

[2]) Кстати сказать, для историков народнического и кадетского толка было достаточно этого „чуть-чуть", чтобы зачислить славянофилов по „деатическому" разряду.

Для нового же буржуазного сюртука недоставало (следуя портновским терминам) необходимого приклада. Недаром И. Аксаков в 1860 году с горечью говорил о том, что государственный элемент России «не создал ничего, что бы годилось впрок: ни школ, ни войска, ни фабрик, ни заводов, ни судов, ни законов» [1]). Кошелев в 1858 году с точки зрения хозяина настаивал на обучении крестьян грамоте. «Грамотные,—говорил он,—чаще ходят в церковь, чем неграмотные, ведут себя гораздо лучше, пьяниц между ними почти нет. Многие из них поступили в начальники, ключники и прочее» [2]).

Такое положение не могло нравиться просвещенному барщиннику. Ведь Аксаков и Кошелев были правы. Русское войско годилось только для парадов и пассовало, когда буржуазно-помещичье отечество нуждалось в защите. Безграмотный мужик не мог хорошо управлять Гарретовой сеялкой и Вильсоновской молотилкой, столь любезными сердцам Киреевского и Кошелева. А русское допотопное судопроизводство довело славянофила И. Аксакова до того, что он искренно восхвалял западный французский суд. «... Этот нравственный элемент, вносимый присяжными во внешнее формальное правосудие закона, эти допросы, не таящиеся от света, это уважение к суду и судьям общества, ... все это сильное произвело на меня впечатление» [3]),—писал он из Парижа.

Итак, надо было отшлифовать, отделать, пригнать всякого рода надстройки к изменившемуся экономическому фундаменту, не затрагивая, конечно, политической власти.

Само собой разумеется, что в этом деле правительство не проявило той расторопности, какую могли ожидать от него славянофилы. И не только из-за своей необразованности, на которую жаловался И. Киреевский. Здесь были причины поважнее. В памяти Николая I прочно засело воспоминание о 14 декабря, а его сын наверное не раз вспоминал о завещании отца, который учил не торопиться с реформами.

Но ограничиться ссылками на личное разумение Николая I и Александра II нельзя.

Не надо забывать, что в то время, как славянофилы были идеологами средних помещиков-предпринимателей, — правительство в 40 — 50 г.г.

---

[1]) И. Аксаков. Письма, стр. 401.

[2]) Русская Беседа, 1856 г., т. I, стр. 218.

[3]) И. Аксаков. Письма, т. III, стр. 322.

отражало интересы, главным образом, высшего, экономически отсталого дворянства. М. Н. Покровский характеризовал Николаевскую монархию, как союз крупного землевладения с буржуазией, «союз, направленный, по крайней мере отчасти, против землевладения среднего»[1]).

Здесь-то и заключается подоплека тех конфликтов между славянофилами и правительством, о которых мы имели случай говорить. (Интересно, что переход от подозрительного отношения правительства к славянофилам—к благожелательному,—произошел в 1856 году, т.-е. накануне того момента, когда «аристократия» обратилась ко всему дворянству с предложением разработать вопросы реформы.)

Отсюда же шли и основные корни антигосударственности русского народа, открытой славянофилами. Теперь становится понятным, почему в исторических работах К. Аксакова особенное ударение ставится на недовольстве народа царской дружиной, боярами; почему Самарин называл аристократию «брошенным историей организмом» и указывал, что среди дворянства «цвет народный и вероисповедный» «мало-помалу бледнеет... восходя постепенно от низших и средних его слоев, и, наконец, окончательно исчезает на самом верху»[2]).

Нелюбовь к остзейским баронам (не забудем, что прибалтийские магнаты составляли вернейшую опору престола), прямая ненависть к чиновничеству—«крапивному семени» (аппарату крупного землевладения), чрезвычайно похожи на некоторые черты, свойственные декабристам. Беляев с удовлетворением отмечал, что в реформе 1861 года «выступает на первый план общинное и выборное начало и возможное отстранение местной приказной администрации»[3]). «...Что будет с нами, старшими членами сельского населения,—восклицал Кошелев,—если крестьяне ...будут только орудиями в руках чиновников?»[4]).

Сравнивая цитированные слова Кошелева и Беляева с письмами из крепости Каховского и Бестужева, мы найдем известное сходство. И там и здесь слышен голос среднего дворянства.

Мы нащупали действительную почву «антигосударственности» славянофильской исторической схемы. Ликвидация аграрного кризиса

---

[1]) Покровский. Русская История, т. IV, стр. 21.

[2]) Самарин, т. IX, стр. 477, 482. Курсив мой. *Н. Р.*

[3]) Беляев. Судьбы земщины, стр. 132.

[4]) Кошелев. Письма к депутатам первого призыва (материалы для истории упразднения крепостного состояния. Берлин, т. II, стр. 417, 420).

20—30 г.г. об'ясняет нам, почему средний дворянин 40—50 г.г. мог высвободиться из-под ферулы теории официальной народности. Кризис барщины заставлял помещика-предпринимателя создать свою теорию, несколько оппозиционную самодержавию. Здесь мы находим ключ так же к пониманию материалистических элементов в славянофильской схеме исторического развития России. Помещик был не доволен государством середины XIX века; он исторически обосновывал это недовольство, указывая на зависимость русского государства от «земли» и отмечая тот факт, что законы не создавались по произволу законодателя, но подтверждали явления, уже сложившиеся в ходе «народной жизни».

И высшее дворянство и средние помещики-предприниматели стояли за спуск к капитализму на тормозах. Но первое хотело закрутить тормоз сильнее и сохранить большее количество феодальных остатков, чем предполагали вторые. Как же могли славянофилы не осуждать правительство за медлительность и неумелость?

Так как на одном осуждении успокоиться было нельзя—славянофилы не походили на «лишних людей» 30 годов—то, на ряду с правительством, бережно охраняющим дворянство от потрясений снизу, надо было отыскать силу, могущую явиться фактором осторожного, но все же прогресса[1]).

Эту силу славянофилы видели в «земле», в народе. Когда же туманные понятия «общества», «народности» расшифровывались славянофильской публицистикой, то оказывалось, что за этими понятиями стоит русское дворянство, самодеятельность которого необходима для капиталистического развития России. Доказательства этому также можно было найти в истории.

И здесь опять оказывалась пригодной историческая теория славянофилов о развитии русской народности. «У нас недостает обще-

---

[1]) Плеханов, как известно, возражал против такого понимания славянофильства. „....Нам всем давно уже пора отделаться от того весьма распространенного предрассудка, согласно которому славянофильское учение заключало в себе какие-то прогрессивные элементы. Таких элементов в нем не было. Чтобы выразиться точнее, я скажу иначе: такие элементы были в нем близки к нулю" (Совр. Мир. 1911. Кн. 4, стр. 348). Ошибка Плеханова об'яснялась тем, что он, указав на дворянскую подоплеку славянофильства, не заметил в дворянине предпринимателя той эпохи, когда барщина была на ущербе. Именно поэтому Плеханов отрывает славянофильство, как теорию, от политических взглядов ее авторов. Взгляды Плеханова на славянофильство являются отзвуками его борьбы с народниками, на идейное родство которых с славянофилами Плеханов не раз указывал.

ственной (читай: дворянской. *Н. Р.)* силы и ее производительности..., писал И. Аксаков,—... мы привыкли всего ожидать сверху, всякое спасение полагать в законодательной мере или учреждении в форме внешнего принуждения, а не во внутреннем побуждении»[1]).

Но не только к одному дворянству обращались славянофилы. Развертывающиеся перспективы капиталистического развития толкали их к союзу с буржуазией. В 1862 г. на дворянских выборах в Москве И. Аксаков внес предложение «выразить правительству свое единодушное решительное желание: чтобы дворянству было позволено торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя, как сословия»[2]). Бессословное «общество» по проекту Аксакова должно состоять из «людей всех сословий и состояний..., связанных между собою тем уровнем образования, при котором становится возможною деятельность общественная»[3]). Таким образом, из «общества» исключалось, по крайней мере, 90% «земли»—*необразованного* русского крестьянства.

Но И. Аксаков был «крайним левым» славянофилом (кстати сказать теснее всех связанным с буржуазией—он занимал место председателя одного из московских банков).

Остальные члены славянофильского кружка не заходили столь далеко. Кошелев считал, что за потерю юрисдикции над крепостными помещики должны быть вознаграждены «представлением возможности иметь влияние на свободное окружающее население». А князь Черкасский настаивал на том, чтобы дворянам дали право телесного наказания не только над освобожденными крестьянами, но и над теми свободными людьми, которые после реформы поселились бы на помещичьих землях[4]).

На ряду с такими феодальными требованиями Кошелева и Черкасского, И. Аксаков, в качестве одного из условий, без которых общественная деятельность не может развиваться, выдвигал свободу слова не как приобретение в политической борьбе, а как естественное право. «Напрасно воображают, ... что свобода слова устного или печатного есть политическая свобода. После этого и свобода есть пить, спать... есть так же политическая «прерогатива». Между тем

---

[1]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество, т. I, стр. 27.

[2]) М. Н. Покровский. Русская История, т. IV, стр. 119.

[3]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество, стр. 42.

[4]) Материалы для истории упразднения крепостного состояния, т. II, стр. 419, т. I, стр. 256—257.

свобода слова... относится точно так же к стороне нравственной человека, как свобода есть, спать—к стороне физической» [1]).

Можно подумать, что эта цитата взята из Contrat Social Руссо или из какой-нибудь брошюры времен французской революции. Только причудливая диалектика экономического развития могла привести к тому, чтобы коренные русские помещики заговорили языком женевского философа, продолжая в то же время отстаивать необходимость сохранения за дворянством ряда феодальных прав.

«Община» славянофилов и их экономическая программа

Призывая дворянство к самодеятельности, славянофилы не забывали об экономической программе. Что крепостное хозяйство должно претерпеть целый ряд существенных изменений,—в этом никто из славянофилов не сомневался. Кризис барщины не был для них лишь теоретически установленным положением,—сами хозяева—они испытывали на себе его мощное влияние и делали отсюда соответствующие выводы.

Основным из этих выводов было, конечно, убеждение в том, что наемный труд выгоднее труда принудительного. Мы уже говорили об опыте Кошелева, переведшего своих крестьян с барщины на оброк. Рязанский винокур и откупщик не был исключением. Самарин утверждал, что «производительность труда находится в прямом отношении к свободе трудящегося» и что «барщина мешает развитию сельского хозяйства» [2]). Хомяков среди своих разносторонних занятий не забывал о хозяйстве и в 1852 году мог писать Кошелеву: «Мало-помалу всю барщину уничтожу и даже начал в двух местах обделку земли наймом..., а с будущего года усиливаю эту обделку и для этого, вероятно, буду обзаводиться многими улучшенными орудиями» [3]).

Но для работы улучшенными орудиями после реформы нужно было, во-первых, сохранить возможно большее количество земли; во-вторых, располагать известными средствами и, в-третьих, работниками. Таким образом, были определены основные моменты экономической программы славянофилов: отпустить крестьянина на волю за

---

[1]) И. Аксаков. Славянофильство и западничество, стр. 39.

[2]) Самарин, т. II, стр. 37. Курсив мой. *Н. Р.*

[3]) Завитневич. „А. С. Хомяков", том I, Киев, 1902, стр. 355. Курсив всюду мой. *Н. Р.*

выкуп с наделом, настолько большим, чтобы он не ушел с него, и настолько ничтожным, чтобы помещик не пострадал и чтобы его земля не осталась без «обделки». К. Аксаков, рецензируя книгу, в которой устанавливалось наличие наемного труда в помещичьих хозяйствах XVI века, говорил в 1857 г.: «Если же вольнонаемный труд так давно был у нас известен, то в настоящую минуту... это подкрепляет еще больше мнение о возможности его в настоящее время, ... т.-е. предполагает, что крепостные крестьяне будут наделены землей и станут в совершенную независимость от помещика..., а у помещика останется одна земля».

И. Киреевский формулировал свои взгляды точнее и откровеннее. «Мое мнение таково,—писал он Кошелеву,—что так как их (т.-е. крестьян) отпустить без земли не позволит правительство... а дать им 5-десятинную пропорцию было бы совершенное разорение помещика, то остается одно средство—дать им некоторое количество земли вместе с переводом на них части долга Опекунского Совета. Десятинная пропорция на душу кажется в этом случае очень достаточное количество, ибо оно будет довольно важной поддержкой крестьянина и, вместе с тем, поставит его в необходимость искать посторонней работы, без чего все поля помещика остались бы необделанными по известному свойству русского народа искать работы только до тех пор, покуда она необходима для его пропитания» [1].

Итак, следовало напомнить «свободному» крестьянину, что помещики «тоже хотят жить» и что «известное свойство» крестьянина работать на себя может им причинить некоторое неудобство. Этим напоминанием и должны были послужить отработки, т.-е. барщина, с заменой внеэкономического принуждения экономическим. Недаром Хомяков восхвалял принцип барщины—оплату трудом, находя что «эта сделка разнообразнее других и принимает в себя многие изменения, сохраняя свой коренной характер» [2].

Члены славянофильского кружка расходились во взглядах на отдельные детали реформы. Так, например, Ю. Самарин (помещик Самарской губернии, испытывавшей острый недостаток рабочих рук) предлагал для обеспечения помещика рабочей силой оставить за ним право на известное количество крестьянского труда

---

[1]) И. Киреевский, т. II, стр. 254.

[2]) Хомяков, т. I, стр. 384.

в продолжение 10—12 лет. Киреевский и Кошелев стояли за отмену всех обязательных отношений. Но это, повторяем, были детали. Относительно основных принципов реформы спора не было.

Следует отметить, что любовь к народу не помешала славянофилам выдвинуть наиболее жестокие проекты освобождения крестьян. Так, например, надел должен был быть равен, по мысли Киреевского, 1, по мнению Хомякова—2 десятинам. В действительности же пореформенный надел в Тульской губернии (где были имения Хомякова) доходил в среднем до 2,3 десятин. Интересно, что Хомяков требовал «величайшей строгости» при взыскании выкупа вплоть до ссылки целых деревень в Сибирь. Автора «Семирамиды» не даром в кругу близких называли «папá Гранде» по имени «приобретателя»—героя известного романа Бальзака.

Нет никакого сомнения в том, что изложенная выше славянофильская программа крестьянской реформы стояла в тесной связи с *их преклонением перед общиной*. Общинное начало проходит красной нитью через все исторические построения славянофилов. Из-за общины славянофилы вели жестокие споры с защитниками теории родового быта. Наконец, сама община представлялась славянофилам не просто «сельским обществом», но нравственным союзом людей. Казалось бы, здесь трудно найти «экономику».

Но нельзя забывать, что славянофильские писания похожи на пергамент, с которого полустерты ранее начертанные строки и написаны новые. За свежей славянофильской скорописью об общине, как о нравственном союзе, мы явственно различим «экономические» письмена. Дело в том, что помещик ничего не имел против существования сельской общины. Больше того, последняя приносила ему определенные выгоды. В тех имениях, где был введен оброк, помещику не приходилось вмешиваться в мелочи крестьянского быта. Сельская община облегчала его от значительной части административных забот, являясь в то же время гарантией правильной и своевременной выплаты крестьянами оброка, в барщинных имениях—аккуратного выполнения барщины. Наконец, и это было самым главным,—община не давала расходиться крестьянам, т.-е. обеспечивала помещика постоянным запасом рабочей силы.

«...Замечено было мною,—писал знакомый нам Кошелев,—что степень их (т.-е. крестьян. *Н. Р.*) благосостояния была в обратном отношении к степени заботливости о них прежних помещиков... Крестьяне, которыми владельцы мало

или непопечительно занимались, быстро улучшали свой быт при предоставленном им самоуправлении частными и мирскими делами; крестьяне же,... которые во всем относились к барину и без его позволения не смели ни продать что-либо, ни отлучиться из села ...долго долго не поправлялись... Теперь, по милости божией, и на основании правила вмешиваться сколько можно менее в крестьянские частные и мирские дела, состояние моих крестьян значительно улучшилось» [1]).

Хомяков об'яснял причины, по которым даже частичное применение принципа laisser faire в крепостных хозяйствах оказывалось прибыльным для помещика. «Под высшим надзором законов и властей государственных, — писал он, — ближайший надзор над поселянином принадлежит совокупной власти землевладельца и опеке мирской. Обеспечение прав землевладельца должно находиться не в воле каждого поселянина, взятого порознь, но в обязанностях всей сельской общины и во взаимной ответственности всех ее членов. Во многих, и именно лучших, оброчных деревнях плата производится «миром», а недоимка взыскивается с «мира». Нет сомнения, что учреждение такой взаимной ответственности способствовало и самому улучшению состояния и исправности поселян в тех деревнях, в которых мирская община тверже и лучше устроена... При первой неисправности каждого поселянина за него отвечает «мир», за нерадивое и дурное исполнение обязанностей в работе отвечает точно так же вся община» [2]).

И, хотя Хомяков, как правоверный славянофил не забывает упомянуть о «священном долге взаимного вспоможения», свойственном русскому народу,—эта дань приличию никого не смутит. Экономическая выгодность общины стояла на первом месте.

Но община предохраняла помещика и от политических осложнений. Кошелев видел «великую выгоду» мирского владения в том, «что оно устраняет на долгое время, быть может навсегда, возможность пролетариата, этой великой язвы европейских государств» [3]).

Таким образом и здесь классовые интересы помещиков определили содержание исторической схемы славянофилов. Прекрасно понимая значение общины для помещика и стараясь укрепить ее на ве-

---

[1]) Русская Беседа, 1857, т. IV, стр. 118—119.

[2]) Хомяков. Собрание сочинений (издание 1900 г.), т. III, стр. 70. Курсив всюду мой. *Н. Р.*

[3]) Русская Беседа, 1857 г., т. IV, стр. 162.

ные времена, славянофилы разыскивали в русской истории доказательства исконного существования и незыблемой крепости общинных начал.

Анализ экономической программы славянофилов дает также ключ к пониманию знаменитых «внутреннего» и «внешнего» законов. Мы помним, как в исторических построениях славянофилов об'единялись эти два противоположные начала. Нравственный союз людей— славянская община — охранялся государством, представителем внешнего закона. В экономике авторы этой схемы хотели видеть помещичье хозяйство, обеспеченное свободным трудом и вместе с тем опекаемое заботами правительственной власти.

Не являлись ли эти моральные категории, приложенные славянофилами к историческому процессу, идеалистической оболочкой того сочетания экономического и внеэкономического принуждения крестьянина, которое послужило бы базисом реформированного помещичьего хозяйства?

Что наше предположение нельзя назвать простой аналогией, покажет следующий интересный случай.

Когда община стояла крепко,—доказательства от «нравственной правды» были достаточной опорой для теоретического обоснования необходимости ее сохранения. Но через 20 лет после реформы, наставшейся в конце 70 г.г., аграрный кризис ставит помещика перед прямой опасностью развала общины. В его глазах внеэкономическое принуждение крестьянина получает поэтому большую ценность, чем свободная воля «поселянина». Соответственно изменившейся экономике эволюционируют и взгляды славянофилов на общину. «Нравственные» основы этого института отступают перед «внешним» законом.

И если в 1851 году К. Аксаков восхвалял добровольное начало общинного союза(«как скоро все общество противоречит нравственному убеждению лица,—лицо должно само удалиться из общества, хотя бы оно его не изгоняло»), то спустя 30 лет славянофил Кошелев, возражая либералам, представлял себе общину, как принудительное об'единение. «Неужели община должна превратиться в... временный, произвольный союз?—возмущенно спрашивает Кошелев...—Тогда что станется с крестьянской устойчивостью? Где государству и народу обрести основы для своей самобытности и твердости?» [1]). И где, добавим мы, хозяйству Кошелевых «обрести» рабочие руки?

---

[1]) Письмо Кошелева в редакцию „Русской Мысли“ в 1881 г. Цитировано по К. Леонтьеву (Собр. соч., т. VII, стр. 165).

Идеализированная К. Аксаковым славянская община «позволяла пленникам, если хотят, остаться и войти в нее и жить в ней как братья». Русская община, по мысли Кошелева (проведенной в жизнь Александром III), делала своих братьев пленниками.

Неужели и в этой эволюции славянофильской теории была вина Петра I, а не диалектики экономического развития России?

ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СЛАВЯНОФИЛОВ

Собственно славянофильская теория медленно угасала с начала 60 г.г. Едва ли не последний из могикан старого славянофильства И. Аксаков продолжал, правда, еще и в 80-х г.г. свою публицистическую деятельность, используя «начала народности» в качестве орудия борьбы против «аристократизма» и «либерализма». Но живой дух покинул славянофильство.

Ненавистный Киреевскому и Аксаковым «гнилой Запад» так быстро надвигался на Россию, пропитывая собой все поры русского общества, что говорить о самобытности было довольно трудно. «Запад» гнездился не только в народнических кружках, как это казалось И. Аксакову. «Запад» был в той т о р о п л и в о с т и, с какой пореформенная Россия нагоняла своих европейских соседей по пути капиталистического развития.

С другой стороны, в 60 г.г. не было расхождения в понимании т е м п а этого развития между капиталистическими помещиками и экономически отсталыми аграриями. По крайней мере, после компромиссной реформы 1861 года это расхождение не чувствовалось так остро, как в 40—50 г.г., и не могло, следовательно, придавать «демократическую» окраску славянофильской идеологии.

Таким образом, славянофильской публицистике оставалось лишь охранять Россию от «пустого либерализма» и «революционерской отвлеченности». Это могло означать только конец старого славянофильства и возвращение к реставрированным взглядам школы официальной народности.

Как всегда, и с т о р и ч е с к а я теория покорно следовала за политикой.

На пути к окончательной ликвидации славянофильство дает два всплеска—в 1869 году в лице Данилевского и в 1880-х г.г. в лице Леонтьева. Данилевский и Леонтьев не были ни прямыми последователями старых славянофилов, ни историками, хотя бы в такой мере, в какой можно считать историком, например, К. Аксакова.

Но они так своеобразно подошли к славянофильству, исправив и дополнив его, что, рассматривая этот последний этап славянофильства, мы получаем возможность бросить ретроспективный взгляд на историческую схему старых славянофилов и яснее обнаружить ее социально-экономические корни.

Данилевский

В 1869 г. магистр ботаники, чиновник Департамента Сельского хозяйства Н. Я. Данилевский напечатал в журнале «Заря» ряд статей, которые в 1871 г. вышли отдельным изданием под заглавием «Россия и Европа». В своей книге Данилевский дал оригинальную схему исторического процесса вообще и русской истории в частности, схему, в некоторых своих частях чрезвычайно близкую к славянофильским теориям.

Отрицая установившее деление истории на хронологические периоды (древняя, средняя и новая), Данилевский указывал на то, что различные народы в разное время проходили различные ступени исторического процесса, «завершая круг своего развития». Деление же на древнюю, среднюю и новую истории искусственно втискивает в одну рамку различные моменты исторического развития отдельных народов только лишь в силу хронологического совпадения этих моментов. *Неужели,—спрашивал Данилевский,...—история Греции и Рима имеет более аналогии и связи с историей Египта и даже с историей Индии и Китая, чем с историей новейшей Европы? Весьма позволительно в этом сомниться»* [1]).

И Данилевский предлагает новое деление истории—группировку по *культурно-историческим типам* или по самобытным, независимым друг от друга цивилизациям, из которых каждая последовательно проходит различные возрасты—молодость, зрелость и старость, заканчивающую собой путь культурно-исторического типа. Таким образом, исторический процесс представляется Данилевскому не бесконечной линией, но рядом замкнутых эллипсов. Культурно-исторические типы могут играть в истории положительную роль—в том случае, если они передают результат своей деятельности другому культурно-историческому типу; отрицательную,—если они довершают гибель прежних культурно-исторических типов; смешанную,—если они соединяют в себе первое и второе качества, и, наконец, культурно-

---

[1]) Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа», 5-е изд. СПБ 1895. стр. 84.

исторический тип может явиться так называемым «этнографическим материалом», если он не разовьет заложенных в нем возможностей и не достигнет т. н. «исторической индивидуальности».

Все культурно-исторические типы (для принадлежности тех или иных народов к одному из типов достаточно, по теории Данилевского, общности или сродства языков) развиваются по определенным законам. В числе этих законов интересно отметить первый — необходимость политической независимости народов одного и того же культурно-исторического типа; второй—наличие особых начал цивилизации одного культурно-исторического типа, которые не передаются народам другого типа. Славянство представляет собой особый культурно-исторический тип, переживающий период роста. Тип романо-германский вступил уже в последнюю фазу старости и гниения.

Такова в самых основных чертах теория Данилевского о культурно-исторических типах. В чем заключалась ее служебная роль? Милюков, разбирая книгу Данилевского, об'яснял ее появление тем обстоятельством, что «всемирно-историческая идея (славянофилов. *Н. Р.*) *не* покрывала идею народности» [1]), т.-е. что этнографический материал, которым располагали славянофилы, не укладывался в схему всемирно-исторического плана.

Мы не можем, конечно, удовлетвориться идеалистическим об'яснением Милюкова, тем более, что «целевая установка» теории культурно-исторических типов буквально выпирает со страниц «России и Европы». Говоря «о различиях в психическом строе» России, как представительницы славянского типа, с одной стороны, и стран западной Европы — представительниц романо-германского типа — с другой, Данилевский часто следует старой славянофильской схеме. Та же «насильственность» и «чрезмерно развитое чувство личности» на Западе (из этих качеств Данилевский, кстати сказать, выводит целый ряд разнообразных явлений, как, напр., религиозную нетерпимость, колониальную горячку, гражданскую и политическую свободы), та же «прирожденная гуманность» и преобладающее значение религии в России». Так же, как и старые славянофилы, восхищается Данилевский отсутствием классовой борьбы в России, аргументируя это утверждение, между прочим, и безболезненным проведением освобождения крестьян.

Но присмотревшись к схеме русской истории по Данилевскому, мы сразу замечаем ее отличие от построений К. Аксакова и И. Ки-

---

[1]) Милюков. Из истории русской интеллигенции, ст. Разложение славянофильства, стр. 271.

евского. Вся книга Данилевского посвящена доказательству одного ожения: Россия должна об'единить славянство; я этого ей необходимо вести активную внешнюю олитику на Востоке и, может быть, очень скоро вступить в борьбу с Западной Европой.

Данилевский видит ошибку старого славянофильства в теории провиденциального назначения России. Славянофилы думали, будто славянам суждено развить обще-человеческую задачу [1]). Это неверно. «Такой задачи... вовсе не существует... Задача человечества состоит не в чем другом, как в проявлении в разные времена и разными племенами всех тех сторон, которые лежат в идее человечества» [2]).

Почему же Данилевский... отказался от одной из основных частей славянофильской теории? Потому что эта теория в ее прежнем виде была непригодной для обоснования агрессивной политики русского торгового капитала *на Востоке*.

После войны 1853—56 г.г. говорить о том, что Европа должна принять в себя начала славянства, было бы по меньшей мере смело. Международный престиж России в начале 70 г.г. далеко не походил на тот, которым она пользовалась лет за 30—35 до появления книги Данилевского. «Европейский жандарм» потерял свои аксельбанты в 1855 г. под Севастополем, в 1856 г.—на заседаниях мирной конференции в Париже. Какое уже тут провиденциальное назначение, передача Западу русских начал! Теория культурно-исторических типов одновременно освобождала Россию от этой непосильной задачи и открывала перед ней, быть может, более узкие, но не менее заманчивые перспективы.

«Европа обвиняет нас в честолюбивых видах на Константинополь,—возмущался Данилевский,—и мы стыдимся этого обвинения, как будто и в самом деле какого-нибудь дурного поступка. Англия завладела чуть ли не всеми проливами на земном шаре,а по отношению к нам считается непозволительным хищничеством добиваться свободного входа в собственный дом, обладание которым притом сопряжено с лежащей на нас нравственной обязанностью—выгнать турок из славянско-греческих земель» [3]).

«Нравственная обязанность» прибавлена, конечно, для красного словца. Данилевский, по его собственному признанию, не отказывался

---

[1]) „Россия и Европа", стр. 121.
[2]) Там же.
[3]) Там же, стр. 317. Курсив мой. *Н. Р.*

смотреть на Константинополь с точки зрения «более земной и вещественной», например, как на город, имеющий мировое торговое значение, «перекресток всемирных путей», «узел и центр европейской политики», удобную бухту, важный стратегический пункт» [1]).

В 1869 г., как впоследствии в 1877 и 1914 г.г., панславистская фразеология была лишь вуалью, плохо скрывавшей истинное лицо русского капитализма. Перед русским славянством, по мысли Данилевского, могли открываться два пути: или стать во главе Всеславянского Союза, или погибнуть. «Ежели они (славянские народы. *Н. Р.*) не в состоянии выработать самобытной цивилизации, то-есть стать на ступень развитого культурно-исторического типа... то им ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал» [2]).

Это значит—без Константинополя (в котором Данилевский видел будущий центр Всеславянского Союза), без успешного Drang nach Osten Россия останется второстепенной державой. *Но кто поведет войну для создания Всеславянского Союза?* Конечно, государство.

И Данилевский, для которого государственная власть приобретала в связи с его политическими замыслами первостепенное значение, внес соответствующие коррективы в славянофильскую схему русской истории.

Считая, подобно Киреевскому и Аксакову, что в России не было «завоеваний», Данилевский более трезво смотрит на призвание князей. Он учитывает важность этого факта, но замечает, что, даже будучи призваны, варяги завоевали бы славян, «если бы пришельцы, призванные для избавления от внутренних смут, были многочисленнее». Значение варягов в том, что они «послужили закваской, дрожжами, пробудившими государственное движение в массе славян» [3]). Удельная система помогла, так сказать, экстенсивному распространению государственности. Государственное единство было принесено татарским нашествием, во время которого Москва стала посредником между всей Русью и ордой.

Уже здесь Данилевский выступает, как новатор. Его взгляды на татарское нашествие близки к славянофильским, но о роли о б щ и н в деле об'единения Руси нет и помина.

Но пойдем дальше. Славянофилы утверждали, что народ испокон веков предан царской власти. Данилевский считает, что одни «чув-

---

[1]) Там же, стр. 398, 399, 400.

[2]) Там же, стр. 130.

[3]) „Россия и Европа“ стр. 274, 275.

ства» не гарантируют еще спокойствия государства. «...Когда иноплеменное (т.-е. татарское. *Н. Р.)* иго было свергнуто,—страшилище, заставлявшее безропотно сносить всю тягость государственной власти, исчезло, а с ним исчезла и сама сила, посредством которой московские государи проводили в русский народ государственное об'единение» [1]). Автор «России и Европы» признает, что после ликвидации татарщины единственным связующим русскую землю звеном мог быть народный дух, который в действительности будто бы и соединил русских людей после смуты, но «...обращение при всякой опасности к самым тайникам народной жизни было слишком рискованно. Для упрочения русского государства... надо было прибегнуть к крепостной неволе, т.-е. к форме феодализма».

Правда, Данилевский не забывает отметить «легкости» крепостного права, приближаясь при этом к материалистическому об'яснению. «При натуральном хозяйстве,—пишет он,—помещикам не было никакого резона слишком отягощать своих крестьян работой... Последний и самый тяжелый период крепостного права наступил с того времени, как... развивающиеся промышленность и торговля заменили натуральное хозяйство денежным» [2]).

По-своему освещает Данилевский значение петровских реформ. Он считает, что государственная деятельность Петра «заслуживает вечной признательности, благоговейной памяти и благословения потомства». Такие мероприятия, как, напр., рекрутские наборы, монополии, безжалостная финансовая система, усиление крепостного права были, безусловно, правильны и необходимы. (Вспомним, что именно эти реформы старые славянофилы считали гибельными для дальнейшего развития самобытных народных начал.). Неправ был Петр только в ломке внешних форм быта.

Таким образом, логика об'ективного развития толкала Данилевского от Аксакова к Чичерину.

Интересно, что при об'яснении причин народных мятежей Данилевский отмечает «недовольство крестьян крепостным состоянием и... те элементы своеволия и буйства, которые развивались на окраинах России» [3]).

Причины благожелательного отношения Данилевского к Петру, корни его новой теории происхождения русского самодержавия ясны.

---

[1]) „Россия и Европа", стр. 274, 275.
[2]) Там же, стр. 281, 279.
[3]) Там же, стр. 534.

Автор «России и Европы» писал свою книгу спустя 8 лет после реформы, счастливый, без революции, исход которой он приписывал, главным образом, искусной политике правительства. Кроме того, в перспективе была война за Константинополь, необходимость которой Данилевский предвидел уже в 1869 году. (Интересно, что именно во время войны 1877 года его книга, до тех пор не раскупавшаяся, получила большое распространение.). Кто же. как не правительство, мог бы сыграть роль военного руководителя?

Изменившиеся интересы русского дворянства обусловили эволюцию исторической теории славянофилов. Неприкосновенными остались—признание самобытных начал в русском народе, отрицание классовой борьбы в русской истории, восхваление общины и боязнь «европейничанья», т.-е. революционной заразы.

От «антигосударственности» не осталось и следа. Остальные положения теории частью были удалены, частью приспособлены к требованиям момента.

А этим требованиям и отвечала «философия истории» Данилевского. Бывший фурьерист и петрашевец, впоследствии тайный советник, своеобразный предшественник Освальда Шпенглера, облек в идейный костюм устремления русского капитализма 70 г.г.

Славянофильская схема исторического процесса пригодилась для этого, но ее пришлось перелицевать и перешить.

Константин Леонтьев

«Россия и Европа» была написана Данилевским между 1865—68 г.г. Но уже спустя 12—13 лет сам автор смотрел на положение другими глазами. В 1880—81 г., незадолго до смерти, Данилевский, просматривая свою книгу перед новым ее изданием, написал на полях ряд интересных замечаний.

Говоря в «России и Европе» о том, что «специально западное» играет в пореформенном судебном устройстве «весьма второстепенную роль», Данилевский в примечании пишет: «Все написанное мною здесь — вздор. Реформа только что начиналась, и хотелось верить, а потому и верилось, что она примет разумный характер,—на деле она обратилась в иностранную карикатуру. При большей трезвости мыслей, это можно и должно было предвидеть». На странице, где было сказано, что болезнь европейничанья показывает «неко-

торые признаки облегчения», автор приписал: «Признаю это за горькую, с моей стороны, ошибку».

Данилевский 1881 г. был прав. «При большей трезвости мысли» можно было предвидеть быстрое приближение России к Европе и результаты этого процесса. В самом деле, уже в конце 70 г.г. далеко не все современники Данилевского смотрели на вещи через розовые очки «России и Европы».

К. Леонтьев, медик и дипломат, ставший видным публицистом консервативного лагеря и умерший монахом, черными красками рисовал картину тех опасностей, которые, по его мнению, грозили русскому помещику. Леонтьев решительно порвал с панславизмом старых славянофилов и Данилевского. И главной причиной этого разрыва было убеждение Леонтьева в том, что западные славяне—без исключения демократы и конституционалисты. Леонтьев не только не призывал к поддержке «братьев славян», но он боялся их. «Опасен не чужеземный враг, не немец, не француз, не поляк, полубрат, полуоткрытый соперник; страшнее их всех брат близкий, брат младший... если он заражен чем-либо таким, что при неосторожности может стать для нас и смертоносным»... [1]).

Читая эти строки, написанные в 1875 году, мы как будто возвращаемся к цитированным ранее документам 1849 года. В самом деле, разве отзывы Леонтьева о западных славянах не напоминают нам замечаний Николая I на ответ И. Аксакова III Отделению, а частью—и самих признаний Аксакова? То, что в 1849 году представлялось Аксакову возможностью, через 20—25 лет стало фактом.

«Младший брат» был заражен бациллой демократии, и поэтому с панславизмом надо было покончить. Это не представляло никаких сомнений для образованного крепостника, каким являлся К. Леонтьев. Но ликвидация «за ненадобностью» панславистского идейного багажа ни в коем случае не означала отказа от Константинополя. «Самое существенное—это Царьград и проливы» [2]),—писал Леонтьев.

Те отрывочные замечания по поводу русской истории, которые оставлены Леонтьевым, показывают дальнейшую эволюцию исторической теории славянофилов.

«У нас,—писал Леонтьев,—родовой наследственный царизм был так крепок, что и аристократическое начало у нас приняло под его

---

[1]) К. Леонтьев. Сборник статей. „Восток, Россия и славянство", т. I. Москва, 1885, стр. 188—189.

[2]) Там же, стр. 249.

влиянием служебный, полуродовой, несравненно более государственный, чем лично феодальный, и уже нисколько не муниципальный характер». Община, по мнению Леонтьева, имела и в настоящее время носит «как бы государственный характер». Крепостное право являлось необходимостью, так как «власть помещика была... крепкой охраной для целости общины; к внутренней организации прививалось внешнее давление. Отсюда — прочность мира крестьянского; надо опасаться, чтобы, представленный внутреннему деспотиму своему, он не разложился»[1]).

Восхваление «внешнего давления», «внутренний деспотизм общины..., что сказали бы старые славянофилы, К. Аксаков, Киреевский, услышав, что такие «ереси» прикрываются именем славянофильства!

Лишнее подтверждение государственности русского народа Леонтьев находил в том факте, что «все почти большие бунты носили на себе своеобразную печать лже-легитимизма... Бунт Стеньки Разина не устоял, как только его люди убедились, что государь не согласен с их атаманом[2]). Пугачев... обманул народ, он воспользовался тем же лже-легитимизмом русских. Единственную возможность спасения России от западно-европейской революционной заразы Леонтьев видел в преданности идеалам византизма, под которым он понимал: «в государстве—самодержавие, в религии...—христианство» (православное); в нравственном мире—отсутствие «крайне преувеличенного понятия о земной личности»[3]).

Итак, в лице Леонтьева историческая схема славянофилов сделала новый поворот едва ли не на все 180°. В основе этого поворота была все та же диалектика экономического развития России. Если Данилевский бил в барабан и призывал русский торговый капитализм к наступлению, то К. Леонтьев с тревогой предупреждал помещика о красной опасности.

Русский дворянин, которого экономика 70—80 г.г. заставила стать большим крепостником, чем, например, десятью годами ранее

---

[1]) К. Леонтьев. Сборник статей. „Восток, Россия и славянство", т. I, стр. 96—97. Курсив мой. *Н. Р.*

[2]) Мы имеем смелость думать, что наиболее „убедительным" доводом в данном случае явились „европейски обученные войска кн. Барятинского" (М. Н. Покровский. Русская История, т. III, стр. 162).

[3]) Там же, стр. 100, стр. 81.

ше; этот дворянин с верой взирал на «твердую руку» самодержавия и только в царизме видел единственное спасение от дальнейшей «демократизации жизни и ума». Понятно поэтому, что Леонтьев, который в 1880 году протестовал против «поспешного» обучения народа, считал, что старое славянофильство было все-таки чересчур либеральным. «Надо уметь жертвовать частностями этого учения,—писал он,—для достижения главных целей—умственной и бытовой самобытности и государственной крепости» [1]). Слова Леонтьева сохраняют известный смысл только в том случае, если частностью считать основные моменты славянофильской теории. Совершенно ясно, что эпигоны славянофильства сохранили и развили только консервативную сторону его исторической схемы.

Исполнилось предсказание Грановского, который в 1855 году писал о славянофилах: «Надобно будет сказать последнее слово системы, а это последнее слово—православная патриархальность, не совместимая ни с каким движением вперед» [2]).

Последнее слово было сказано Леонтьевым. Если славянофилы Аксаков, Киреевский, Хомяков надеялись на прогрессивное развитие России, «то «славянофил» Леонтьев требовал «подморозить» исторический процесс. Политика «царя-миротворца» явилась практическим выводом из теории К. Леонтьева. «В печальные дни 1880 года,—писал Леонтьев,—когда мы висели над «бездной», Россия казалась тогда неизлечимо либеральной. В 1882—83 г.г. стало мне уже не так страшно за родину» [3]).

Друг Победоносцева и почитатель Каткова успокаивал себя слишком рано. Правительство Александра III «подморозило» только поверхность, и то не надолго. В том же 1895 г., когда писались цитированные выше строки, в Орехове-Зуеве вспыхнула знаменитая Морозовская стачка. Русские ткачи показали, что они могут быть похожими на французских блузников, которых так ненавидел Леонтьев. Сходство с Западом обнаруживалось все больше и больше. Противостоять этому очевидному факту не могли никакие усилия реакционной публицистики.

Историческая теория славянофилов с исключительной полнотой отразила интересы передовых помещиков-барщинников 40—50 г.г.

---

[1]) Сочинения К. Леонтьева, т. VII, стр. 435.

[2]) Письмо Грановского к Кавелину (см. книгу Ветринского „Грановский и его время". СПБ. 1905 г., стр. 364).

[3]) К. Леонтьев. „Россия, Восток и славянство", т. II, стр. 67.

XIX столетия. Переходя к капиталистическому хозяйству, перспективы которого открывались все шире и шире, помещик этот должен был стоять за необходимость более или менее свободного развития помещичьего класса. На этой почве между средним и высшим дворянством возник конфликт. Этим об'ясняются славянофильские поиски свободной общины в прошлом России и умаление роли государства в русской истории.

Но строя капиталистическую Россию, помещик не забывал застраховать новую постройку от революционного пожара. Этой цели служили специально приспособленная славянофилами шеллингианская философия и их теория самобытности русского народа, отрицавшая наличие классовой борьбы в России в прошлом и ее возможности в будущем. Антигосударственность народа обеспечивала помещика от боязни, что народ этот может протянуть руку к власти; общинная теория укрепляла надежду на спокойствие крестьянства и на выполнение им всех установленных повинностей.

Коротко говоря, социально-экономические корни славянофильства надо искать в под'еме хлебных цен с конца 30 г.г. XIX столетия с одной стороны; в росте классовых противоречий в России и в обострившемся революционном движении на Западе—с другой.

Историческая теория славянофилов насквозь противоречива. Выдвигая на первый план общинное начало в русской истории, славянофилы ценили государство, как сдерживающий и охраняющий элемент. Самобытность исторического процесса в их конституции мирилась с заимствованиями от Запада. Отсутствие классовой борьбы в истории уживалось с признанием развития общественной деятельности.

Противоречия исторической схемы были лишь отражением общей программы славянофилов. Использование заграничных машин без импорта заграничных идей, создание фабрик без роста «пролетариата», «праведный» суд—без присяжных, освобождение крестьян с сохранением помещичьего патронажа, словом—развитие капитализма без последствий этого развития, с оставлением феодальных остатков,—вот те элементы, которые создали мозаику исторической теории славянофилов.

Теория эта, повторяем, не была «патологическим явлением» в истории русской общественной мысли, как называл ее Чаадаев.

Перефразируя слова Маркса (о немецкой исторической школе) мы можем сказать, что славянофилы должны были

П. СОЛОВЬЕВ

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ГЕГЕЛЯ НА СЛУЖБЕ РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

(ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Б. Н. ЧИЧЕРИНА)

В 1856 году в журнале «Русский Вестник» появилась статья: «Обзор исторического развития сельской общины в России». Автором ее был Б. Н. Чичерин. Статья вызвала оживленную полемику: Чичерину ответил Беляев в «Русской Беседе». Чернышевский, оспаривая основное утверждение автора, тем не менее писал о ней похвальный отзыв в «Современнике». В том же году 21 декабря в Московском университете оживленно и резко обсуждается диссертация Чичерина: «Областные учреждения России в XVII веке». Выводы автора жестоко оспариваются славянофилами Крыловым и Самариным. Чичерина поддерживают западники С. М. Соловьев и Д. Кавелин. Последний одновременно с Катковым мягко обвиняет молодого ученого в односторонности воззрений, но всячески подчеркивает талант, эрудицию и широкое образование автора, приглашая его к деятельной разработке русской истории. Волна сочувствия была так велика и очевидна, что Крылов спешит засвидетельствовать свою признательность знатока русского права начинающему правоведу-историку. «Общество к нему выразило самое теплое участие». Участие не беспричинное, ибо в Чичерине тот же Крылов видит новую крупную научную силу, привносящую в науку свое, в известной степени цельное, воззрение. «Самая поразительная, поразительная сторона в сочинении Чичерина—это его научное построение истории русской, возведение фактических явлений в понятия, понятий в типы... Русская история представляется не в одном пространстве, но и во времени... История человечества есть откровение общечеловеческой идеи, а не бессмысленных происшествий» [1]).

Крылов пытался выразить запросы времени и мыслящей части русского общества. Нужна была идея, процесс развития, философия. 1857 год увидел еще ряд статей этого же автора, а в 1858 году вышла книга, обнимающая все предыдущие очерки под заглавием «Опыты по истории русского права». В ней-то и излагались западником Чичериным его схема и философия русской истории.

---

[1]) Барсуков. „Жизнь и труды“ М. Н. Погодина, т. XV, стр. 221—223.

СХЕМА РУССКОЙ ИСТОРИИ Б. ЧИЧЕРИНА

Древнейшей формой общественного устройства является род, основанный на кровном единстве. «Когда весь народ проникнут сознанием о своем кровном единстве, тогда род становится необходимым членом и основой всего общественного организма; тогда в обществе господствует быт родовой или патриархальный» [1]). Кровному союзу соответствует родовая общинная собственность. «Это—общее начало, которое встречается у всех народов в период младенчества» [2]). «То же было и у нас до пришествия варягов». Хотя положительных известий о древнейшем устройстве нашего отечества и нет, но аналогия и родство с другими славянскими племенами подтверждают наличие родового быта. Именно от родовой собственности исходит историческое развитие славян, образовавших потом Русское государство.

Устройство рода также общеизвестно. Основанный на кровном единстве, он и управляется по этому признаку. Родовой старшина является главой общины, но не как собственник земли, а как старший в кровном союзе. На этом и зиждилось все древнейшее общество.

Пока в народе преобладало понятие о единстве родовой собственности, пока родственные интересы преобладали над имущественными, сохранялось и единство. «Пока народ находится в состоянии еще младенческом, в нем преобладает чувство общности; все сливается в безразличную массу, поглощающую в себе неделимые существа» [3]). Но когда с началом оседлости родовое единство нарушилось, началось и распадение общинной собственности. Возобладало частное право. Однако «полное освобождение частной собственности из единства родового владения является уже плодом долгого и медленного исторического процесса» [4]).

У нас процесс распада, вторжение «разлагающих стихий» начались «с нашествием западных дружин и преимущественно варягов».

Пришедшая дружина держалась на совершенно противоположных родовым отношениям началах. Это был союз чуждых друг другу людей, основанный на принципе добровольного соединения отдельных лиц, преследующих свои личные цели. «В нее принимался всякий при-

---

[1]) Б. Н. Чичерин. „Опыты по истории русского права", стр. 71.
[2]) Там же, стр. 5—6.
[3]) Там же, стр. 4—5.
[4]) Там же, стр. 5.

лец, в ней старшинство определялось воинской силой и отвагой» [1]. Призванная строить и управлять, она внесла основные элементы своего устройства в общественную жизнь Руси. Начальник дружины сменил прежнего родового старшину. Он приобрел правительственные права, как владелец всей земли, как «глава гражданского общества», как завоеватель. Отныне княжеская власть и становится «центральным пунктом исторического развития народа». Земля называется их вотчиной, а сами они носят название вотчинников [2]). «Главный интерес последних (князей. *П. С.*) состоял в промысле, в покупке сел, в приобретении подвластных людей» [3]).

Отсюда и начинается борьба за личное могущество.

Оставив в свое непосредственное распоряжение часть земель, именуемых дворцовыми, князь предоставил остальную на основе частного договора своим дружинникам и крестьянам, обязав их определенным тяглом. «Община родовая превратилась во владельческую, в которой был один частный собственник, да пришлые люди, сидящие, на его земле» [4]). Владение землею было свободным, договорным и участковым по преимуществу. Принудительной обязанности не было, о чем свидетельствует даже такой факт, как наличие безземельных крестьян, как отсутствие регулярных переделов и обязательной круговой поруки. Единство ее поддерживалось исключительно хозяйственной целью, т. е. уплатой повинностей землевладельцу. Это была уже не патриархальная родовая община, а просто добровольный «союз лиц, соединенных повинностями в пользу землевладельца» [5]).

Только вольные города Новгород и Псков избежали владельческого влияния. Из родовой общины они превратились в договорную с вечевым устройством. Но удержаться долго, как на Западе, община не могла. В нее проникли дружинные элементы, а государственные стремления не развились, и от недостатка этого юридического государственного сознания впоследствии Новгород и Псков пали. И понятно, ведь высшее сознание есть только государственное сознание.

Родовое начало под влиянием дружинных элементов падает с неудержимой силой и заменяется частными и договорными отношениями. Даже внутри одного рода последние перевешивают родовые. Между-

---

[1]) Б. Н. Чичерин. „Опыты по истории русского права“, стр. 7.
[2]) Там же, стр. 9.
[3]) Там же, стр. 160.
[4]) Там же, стр. 9.
[5]) Там же, стр. 24.

собия, кровная борьба братьев—тому разительное доказательство. Только при наличии государственной власти исполнение обязательств по договору контролируется. Гарантией исполнения их здесь был только страх клятвопреступления, а сколь это средство было ненадежно, показывают междоусобные брани. И, что бы мы ни взяли для рассмотрения, везде увидим частное право: верховная власть дробится и делится по частному наследованию, как личное имущество; отношения между членами общества определены частными обязательствами или личной зависимостью; сословия и разряды лиц основаны на понятии наследственности. Если рассмотреть духовные великих князей по всем линиям их завещаний: сыновьям, женам, дочерям, и договорные грамоты о соглашениях по внутреннему устройству уделов и их внешних отношениях—везде можно заметить преобладание личных, родственных начал, но не государственных. Духовные грамоты Ивана Калиты, Димитрия Ивановича, Василия Андреевича, Василия Димитриевича, Юрия Димитриевича вплоть до завещания Василия Васильевича—все это документы, в коих княжество рассматривается, как личное имущество умершего князя. О том же говорят и договорные грамоты. Князья и вотчинники рассматриваются, как совершенно равные и независимые друг другу лица. «Тебе знати своя отчина, а мне знати своя отчина»—такова формула этой независимости. В пределах своего удела каждый был полным хозяином. Он обладал в нем и правом суда и правом дани, на которых отсутствовала всякая печать государственности. Отсутствие сознания общественного единства приводит к неограниченному господству личного интереса. Каждый стремится увеличить свое могущество через подчинение слабых членов общества. Отсюда происходит взаимная борьба, отсюда происходит укрепление холопов.

Стремление к подчинению влечет за собой начало противоположное—кочевание. «Стремление к порабощению находило себе предел и противодействие в стремлении к кочеванию» [1]). «Это было всеобщее брожение по всей русской земле... Дружина была кочевая; князья поздно получили оседлость, а бояре и слуги постоянно переезжали с места на место, заключая с князьями договоры временные, а не наследственные, так что поземельного значения они приобрести не могли. Этот же кочевой характер сообщился и всему народонаселению... Свободный переход крестьян—повсеместное явление в древней России» [2]). Классической формой этой свободы и являет-

---

[1]) Б. Чичерин. „Опыты...“ стр. 174.

[2]) Там же, стр. 173, 174, 175.

ся характерная для того времени фраза: «А боярам и слугам вольным воля». Практически она осуществлялась в «праве от'езда» вольного боярина от одного князя к другому в любое время.

Кочевание отличает древнюю Русь от Запада. Там пришелец, проживший год со днем в общине, становится крепостным. У нас ничего подобного не было. Вследствие такой шаткости и неопределенности гражданских отношений у нас не сложилось и твердых сословий. Их пришлось создавать после государственной власти. Сословное деление у нас только наметилось на основании различий зависимости, занятий и знатности. Последний признак есть начало, вытекающее из личного могущества. Оно выразилось у нас в местничестве.

Итак, в какую бы сферу общественной жизни мы ни заглянули, везде господствует личное начало, частное право. Но ярче всего это сказывается на княжеской власти.

«Князья владели каждый своим участком, менялись ими, ссорились за них, отнимали их друг у друга; одним словом, поступали как частные владельцы, а отнюдь не как государи, управляющие единою землею. Пока еще крепко было сознание о единстве княжеского рода, сохранялось и понятие о единстве владения, о том, что младшие братья должны слушаться старшего. Но по мере того, как исчезала мысль об общем родстве, уничтожалось и понятие о единстве владения, о повиновении одного князя другому. На севере князья уже не переходят из одной волости в другую; каждый владеет своею и делит ее между сыновьями. Князья московские, рязанские, тверские договариваются между собою, как совершенно самостоятельные владельцы. Каждый князь стремится увеличить свой удел на счет других, и это он делает не с государственной целью, а в виду увеличения собственности, умножения доходов, ибо приобретенную землю он опять делит между сыновьями по частному праву...

В удельный период мы видим (это) последнее, а потому и должны признать юридическую форму тогдашней России за г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о, а н е з а г о с у д а р с т в о»[1]).

Господство частного права, стремление к безграничному могуществу лиц, в частности князей, рождали взаимную борьбу. Являясь отчинником, собственником всей земли, князь в то же время имел рядом с собой частных собственников и свободных и равных и подчиненных. «Это действительное противоречие, но в истории нередко встре-

[1]) „Опыты“, стр. 69, 70, 71.

чаются подобные противоречия; они составляют последствие предыдущей жизни и разрешаются дальнейшим ее ходом. В этом-то и состоит главная пружина движения вперед» [1]).

Движение вперед состояло в том, что «крайнее развитие личного начала повело к водворению начала совершенно противоположного—начала государственного. Это—диалектический процесс исторических явлений, который мы здесь не выводим a priori, а наблюдаем на деле. Внутреннее противоречие одной жизненной формы ведет к установлению новой высшей формы; частности, распадаясь врозь, необходимо вступают между собой в столкновение, в борьбу, и эта анархическая их деятельность становится причиною возникновения общего порядка, который все частности сдерживает в своем единстве» [2]).

Таким единством было государство.

В самом деле. Борьба князей привела к усилению одного из них. Его большее могущество дало ему силу установить свое господство и подчинить всех одному началу—государственному.

«Князья собрали воедино разрозненные славянские племена, князья по частному праву наследования раздробили это приобретенное ими достояние, князья же впоследствии соединили в одно тело разрозненные части; тогда явилось понятие о государе и земле: государь был верховный правитель, а земля составляла его государство» [3]).

Как же сложилось последнее? «Никогда и нигде новый порядок не является в жизни целиком, а мало-помалу пробивается сквозь старые формы» [4]).

Духовные грамоты великих князей показывают, как исторически развивалось государственное начало. Если в грамоте Ивана Калиты отсутствуют государственные стремления, то грамота Дмитрия Ивановича дает старшему сыну Василию великое княжество Владимирское, а завещание Василия Васильевича предоставляет старшему сыну Ивану (Ивану III) гораздо больший удел, нежели другим, и отныне великим княжеством именуется не один Владимир, а весь удел старшего сына. Здесь начало государственного порядка. Великий князь явно выделяется из ряда других. Братья завещают ему часть уделов, а у брата Юрия Иван и сам без завещания берет удел после его смерти. Иван III отдает

---

1) „Опыты“, стр. 74.
2) Там же, 336—337.
3) Там же, 285.
4) Там же, 254.

всю Москву старшему сыну. Василий Иванович получает, кроме Москвы, Тверское и Новгородское княжества и право чеканки монеты [1]).

Личная воля завещателя явилась и проводником государственных стремлений. Частное право практически возводится в право государственное.

Завещание Ивана Грозного знаменует окончательное торжество государственного начала: старший сын получает все царство русское.

«Для соединения рассеянных, разобщенных сил нужна была власть, стоящая над ними, от них независимая; она явилась в лице московских государей. Ее установлению значительно содействовало татарское владычество, которое, подчиняя народ внешнему игу, приучило его к покорности» [2]).

«Только в XV веке, когда один род усиливается за счет других и устанавливается единодержавие в Московской земле, мы можем говорить о государстве» [3]).

«Гражданское общество составляет вторую ступень в историческом развитии нашего отечества. В первую эпоху на заре истории мы видим союз кровный; затем является союз гражданский, наконец союз государственный. Первый составляет первоначальное естественное проявление человеческого общества.

«Человек — существо общежительное: вне общества он никогда не жил и не может жить. Но это стремление к общественности выражается в нем сначала бессознательным образом; оно лежит в нем, как естественное определение его природы и проявляется в союзе, данном самою природою... Этот союз, основанный на сознании естественного происхождения, должен, однако, распасться при более или менее частых столкновениях с другими народами, при вторжении чужестранных элементов, которые достаточно крепки, чтобы не поддаться силе кровного быта, наконец, при развитии человеческой личности. Такое разложение совершилось у нас с появлением варяжской дружины, основанной на договоре лиц свободных. Принесенные ею элементы, смешав-

---

[1]) В духовной Ивана III часть Московских участков предоставляется младшим князьям. Но им запрещается держать в этих сельцах торги, ставить лавки и позволять останавливаться гостям с товарами. Они должны быть в гостинных дворах в Москве. Если все-таки гости будут торговать, то полавочная пошлина берется приказчиком старшего сына (см. стр. 314—315 „Опытов“).

[2]) Б. Чичерин. „О народном представительстве“, стр. 531.

[3]) Его же. „Опыты“, стр. 70.

шись с прежними, образовали порядок вещей, совершенно отличный от предыдущего. Общественное единство, которое коренилось в сознании кровной связи, рушилось; личности, не сдержанные более в своих стремлениях тяготением общего, господствующего обычая, предались частным своим интересам, отношения родственные, договорные, имущественные, одним словом, частное право, сделались основанием всего быта, точкой зрения, с которой люди смотрели на все общественные явления. Так произошел союз гражданский, образовавшийся из столкновений и отношений личностей, вращающихся в своей частной сфере. Общественной связью служило либо имущественное начало—вотчинное право землевладельца, либо свободный договор, либо личное порабощение одного лица другим. Общественные единицы то слагались, то разлагались снова по обстоятельствам совершенно случайным, например, по большему и меньшему числу княжеских детей. В обществе появились сословные элементы, происшедшие от наследственности занятий и наследственной части. Вследствие господства силы образовалось между людьми бесконечное неравенство. Положение человека определялось не заслугами, которые он оказал обществу, а частными, случайными, даже внешними его преимуществами. Война сделалась главной целью владычествующих слоев общества, а внутреннее управление превратилось в аренду для накормления знатных воинов. Одним словом, личность во всей ее случайности, свобода во всей ее необузданности лежали в основании всего общественного быта и должны были вести к господству силы, к неравенству, к междоусобиям, к анархии, которая подрывала самое существование союза и делала необходимым установление нового высшего союза—государства...

Таков диалектический процесс различных общественных элементов.

Государство есть высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной сфере» [1]).

«Образование государства—вот поворотная точка русской истории. Отсюда оно неудержимым потоком в стройном развитии движется до нашего времени... Каждая позднейшая эпоха является последовательным развитием предыдущей, представляет ответ на сделанный ею вопрос. Все они имеют одну цель, одну задачу—устройство государства. Вот главная характеристическая черта русской истории с XV века, вот результат деятельности русского народа и заслуга его перед человечеством. Другая черта, столь же резко характеризующая весь

---

[1]) „Опыты“, стр. 366, 367, 368, 369.

этот период, состоит в том, что государство организовалось сверху действием правительства, а не самостоятельными усилиями граждан. В этом историческом значении власти мы находим ключ к уразумению всего нашего общественного быта» [1]).

В этом коренное отличие России от Запада. То общественное устройство, что установилось там деятельностью общества, «в России получило бытие от государства, монархия сделалась исходной точкой и вожатаем всего исторического развития народной жизни» [2]).

Выросшая из частного права власть государственная унаследовала черты личного господства и деспотизма. Все государство являлось собственностью государя, в нем находило свое воплощение.

Великая сила и значение государственной власти с особенной яркостью отразились на характере земских соборов XVI—XVII веков. Вследствие разобщенности, отсутствия корпоративной связи у нас не выработалось сословного представительства, как в некоторых странах Запада. Это представительство «установилось действием сверху, вследствие потребностей государства, а не явилось плодом внутреннего развития общества... Народу не приходило на мысль считать себя верховною властью» [3]).

Только одно столетие и существовали эти совещательные учреждения, на которые и приглашались по преимуществу одни московские чины. Первый собор Ивана IV не имел даже и совещательного характера. К тому же постановления соборов и не выполнялись (собор 1566 г.). Смута оживила земские соборы, но не надолго и неглубоко. Все они проходят под единым знаком обещания исполнять волю царя, а не ограничивать ее. «Понятия о безграничности царской власти высказываются постоянно на земских соборах того времени» [4]). Попытки бояр ограничить царя встречали отпор всей земли, «которая справедливо предпочитала самодержавие господству олигархии» [5]). После смуты соборы все больше и больше хиреют и исключительно по причине внутреннего своего ничтожества. Сокращаются они и количественно. Если в царствование Михаила Феодоровича их было 12, то при Алексее Михайловиче—всего 4. В половине XVII века происходит замирание представительных учреждений на Западе. В это же время соборов не

---

[1]) „Опыты“, стр. 380—381.
[2]) „О народном представительстве“, стр. 525.
[3]) Там же, стр. 528—539.
[4]) „О нар. пред.“, стр. 545.
[5]) Там же, стр. 510.

стало и в России. «Земля снова улеглась у ног самодержавного государя» [1]).

Юная власть встала перед колоссальными задачами государственного устройства. Нужно было преодолеть средневековый буйный разгул силы и анархии и все это свести к одному единству.

«Первым делом государственной власти было укрепление сословий. Прежде всего эта участь постигла служилых людей. Право от'езда было уничтожено» [2]). Это уничтожение позлекло ликвидацию противоречия вотчинного права. Отныне у служилых людей земля оставалась только под условием службы. Отбытие со службы или вина какая—влекли отписывание вотчин и поместий на государя. Князья и бояре стали подданными государя. Впервые мы это видим на записи князя Холмского Ивану III, по которой он обязуется не от'езжать от него к другим. При Василии Ивановиче самое слово «слуга» заменяется словом «холоп». Из личного подданства князей и бояр вырастает неограниченная власть.

«Затем дошла очередь и до низших сословий. Тяглые люди, городовые и сельские обыватели, а наконец, и помещичьи крестьяне были прикреплены к местам; каждый, сообразно со своим назначением, должен был нести службу» [3]).

Укрепление крестьян явилось следствием многочисленных договоров и ограничений прежней свободы. Соответствующие акты показывают, что иногда и князья пытались посредством договора ограничить кочевой, свободный быт. Так, упоминается о непринятии ушедших крестьян, запрещается покупка их земель. «Но принципиально свобода крестьян через это не нарушается». С половины XV века являются ограничения в сроках перехода от одного землевладельца к другому. Такова первая грамота князя Мих. Андр. Белозерского около 1450 г. Ферапонтову монастырю, запрещающая Федору Константиновичу принимать крестьян монастыря «среди лета и всегда» и разрешающая этот прием не иначе, как около Юрьева дня—за две недели до и неделю после него. А игумену позволено не выпускать половников от Юрьева дня до Юрьева дня. Такая же грамота дается князем Мих. Андр. Кирилло-Белозерскому монастырю. Но здесь мы видим еще частные, а не государственные ограничения.

---

[1]) Там же, стр. 558.
[2]) Там же, стр. 533.
[3]) „О нар. пред.“, стр. 533.

Судебник 1497 г. устанавливает твердо Юрьев день (26 ноября) днем перехода. Судебник 1550 г. устанавливает правила перехода: время, цену, размер пожилого. Судебники кладут предел кочеванию и устанавливают более или менее прочные отношения между землевладельцами и крестьянами.

Со времени Грозного укрепляются тяглые люди (1552 г., Уставная воинская грамота). Мотивом прикрепления служит цель государственная—дать возможность помещикам отправлять свою службу (грамота 1460 г.).

«Вообще с образованием государства возникает мысль, что каждый подданный должен нести на своем месте наложенное на него тягло,—мысль, которая лежит в основании укрепления крестьян» [1]).

В 1592 или 1593 г.г. последовало всеобщее укрепление крестьян. Указ не дошел до нас. Но есть указ от 24 ноября 1598 г., устанавливающий право иска крестьян, убежавших за 5 лет, и освобождающий от преследования бежавших за 6—7 лет. Указы 1601 и 1602 г.г. позволяют перевозить крестьян от одного помещика к другому, но с известными ограничениями. Цель их помочь мелкопоместному дворянству, ибо им-то и разрешался этот ввоз. Указ 1 февраля 1606 г. дает еще некоторую свободу крестьянам: так, ушедшие в голодные годы или совсем неимущие крестьяне не преследуются. «Но окончательное укрепление последовало при Василии Ивановиче Шуйском указом 9 марта 1607 г.». Он гласит: «которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101 году положены и тем быть за теми, за кем писаны» [2]).

Таковы указы об укреплении крестьян. Из последнего видно, что неустройства, происшедшие от укрепления неполного, повели к укреплению полному.

«Если мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущей историей, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности. Это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы он ни был. Все равно должны были всю

---

[1]) „Опыты“, стр. 191.

[2]) Там же, стр. 226.

жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди—посадские и крестьяне—отправлением разных служб, податей и повинностей и, наконец, вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отправления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству» [1]).

Укрепление крестьян не могло не повлечь и перемен в устройстве их внутреннего быта. Формой этого устройства, обеспечивающей правительству выполнение государственных повинностей, и явилась община. «Наша сельская о б щ и н а вовсе не патриархальная, не родовая, а г о с у д а р с т в е н н а я. Она не образовалась сама собой из естественного союза людей, а устроена правительством под непосредственным влиянием государственных начал» [2]).

«Принадлежность члена к известной общине, так же, как и власть общины над членами, определяется в ней отнюдь не договором, а государственными постановлениями. Община живет, далее, не на своей, а на казенной земле. Приписание к земле известного округа совершалось и совершается на основании правительственных распоряжений. Общие государственные законы определяют ее права и обязанности. Право суда, так же, как разные полицейские и крестьянские учреждения, даровано ей государством. Раскладки и сбор податей и отправление повинностей совершаются с государственной целью, а это имеет непосредственное влияние на самое поземельное владение. Одним словом, в е з д е в и д и т с я и ч у в с т в у е т с я п р и с у т с т в и е г о с у д а р с т в е н н о г о э л е м е н т а, определяющего все основы общинного быта. Даже в помещичьих имениях, где преобладает владельческий элемент, государство установило самую существенную их черту, от которой зависит все внутреннее их устройство, именно: к р е п о с т н о е п р а в о» [3]).

«Этот переворот в судьбе крестьянского сословия был необходимым последствием условий тогдашнего быта. Но каким же образом мог он совершаться б е з с и л ь н ы х п о т р я с е н и й? Только в пословице «Вот тебе, бабушка, Юрьев день» и сохранилось о нем воспоминание в народе. Ма найдем этому об'яснение, если взглянем на способ укрепления бояр и служилых людей. Последние также пользовались правом

---

[1]) „Опыты“, стр. 227—228.
[2]) Там же, стр. 57.
[3]) Там же, стр. 139—140.

перехода: «а боярам и слугам вольным воля». Но когда уничтожалась удельная система, московские государи стали требовать, чтобы они перестали от'езжать. И вот, без переворота, даже без указа, бояре и служилые люди из вольных слуг сделались крепостными и стали писаться холопами. Дело в том, что требованиям государства ни бояре, ни крестьяне не могли противопоставить такого деятельного сопротивления, как, например, феодальные владельцы на Западе. Они были для этого слишком разрознены. Бояре и слуги могли протестовать только бегством да крамолами. Их сделали холопами, а они все-таки продолжали об'езжать. Точно так же и крестьяне, несмотря на укрепление, продолжали уходить тайком. Весь XVII век наполнен исками о беглых крестьянах. Даже бедствия Смутного времени должно приписывать, главным образом, этому протесту боярства и крестьянства против требований государства. Но последнее взяло, наконец, верх, потому что на его стороне было право. Оно не делало исключений ни для кого; оно от всех сословий требовало посильной службы, необходимой для величия России. И сословия покорялись и служили эту службу».

«До самых времен Екатерины продолжалась эта система повинностей которая лежала в основании всех учреждений того времени. Но когда государство достаточно окрепло и развилось, чтобы действовать собственными средствами, оно перестало нуждаться в этом тяжелом служении. При Петре III и Екатерине с дворянства сняты были все служебные обязанности. Жалованною грамотою 1785 г. оно получило разные права и преимущества, как высшее сословие в государстве; оно получило в собственность и поместные земли, которые сначала даны были ему, как временное владение, для содержания на службе. Это была награда за долговременное служение отечеству. Городское сословие также получило свою жалованную грамоту; и оно освободилось от повинностей и службы, и приобрело различные льготы и преимущества. Оставались одни крестьяне, которые, подпавши под частную зависимость и приравнявшись к холопам, доселе несут свою пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается, наконец, и эта последняя принудительная связь: вековые повинности должны замениться свободными обязательствами. В настоящее время окончательно разрешается та государственная задача, которая положена в XVI веке, и начинается для России новая пора» [1]).

Такова схема и философия русской истории Чичерина.

В чем ее суть?

---

[1]) „Опыты“, стр. 230—231.

В том, что вся история русского народа сведена к истории государства. Государство рассматривается, как венец русской истории. Весь догосударственный период рассматривается, как бессознательное, анархическое существование русского общества. Государство явилось логическим следствием развития гражданского общества. В целях усиления мощи государства правительство, власть подчиняет себе все общество без различия, накладывает на всю общественную жизнь печать государственного начала. Государство сотворило общество. Государство создало общину, государство укрепило, закрепостило все сословия. Государство же и освободило, раскрепостило их. «В преобладании начала власти, в развитии государства и выразился весь дух русского народа».

ИДЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ И СОЦИОЛОГИЯ ЧИЧЕРИНА

Гегель, предшественники и современники

«Никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время»,—писал Белинский в 40 годах [1]). В плеяде ученых историков 50 г.г. не последнее место занял и Чичерин. Повышенный интерес к отечественной истории ярко свидетельствовал о прогрессе буржуазно-национального сознания. Умственный успех времени и выражался, по мнению того же Белинского, в том, что его поколение просвещенных деятелей открыло у России собственную историю. Однако односторонним было бы предположение, что до 40—50 г.г. в области изучения русской истории господствовала абсолютная пустота. Молодые историки начинали с разработки материала, оставленного предшественниками. Чичеринская схема обняла собою результаты западно-европейской философской мысли, с одной стороны, и достижения русской исторической науки—с другой. Западные влияния по мере социального развития самой России всегда находили в ней известную почву. Зачастую эти идеи толковались применительно к русскому «своеобразию», но как основная нить они использовывались туземной мыслью.

Чичерин, несомненно, стоит на плечах своих предшественников, ибо и до него предпринимались попытки, правда, несовершенные, фи-

---

[1]) В. Г. Белинский. Сочинения, т. IV. 514, изд. 1898 г.

лософского построения истории, а добытый фактический материал представлял богатейшее наследство [1]).

Историко-юридическую школу, к которой он принадлежал, Крылов и Самарин любили упрекать в излишней схематичности и изучении «одних форм», а «не духа». Может быть, упрек и имеет основания. Важно одно: схему и философию можно создавать на основе богатого «припаса» знаний. Термин «припас» принадлежит историку XVIII в. Болтину. Но он же говорил, что для историка недостаточно одних «припасов». «Припасы необходимо, но необходимо также умение располагать оными» [2]). Сам Болтин сделал наиболее глубокую для своего века попытку представить общий ход русского исторического процесса. Его «теории» впервые устанавливали некоторое внутреннее единство и связь русской истории [3]). Он признавал смену трех фазисов в соответствии с периодами, установленными Татищевым и Ломоносовым. Это были: фазис первоначального единства нравов и законов, затем их раз'единение в удельном периоде и, наконец, их новое слияние в соединенной монархии. Но Болтин не выводил этих фазисов из внутреннего развития. Напротив, его теория «основывалась на отрицании самого принципа внутренней, органической эволюции русского общества» [4]). Сами внешние различия периодов являлись у него предпосылкой смены фазисов.

После Болтина до Чичерина на поприще науки исторической подвизалось немало известных и малоизвестных людей, пытавшихся с различным успехом «располагать припасами». Шлецер, вслед за Болтиным, внес в русскую науку метод исторической критики и «идею

---

[1]) Достаточно напомнить следующие факты. XVIII и начало XIX в. в. дали большую работу в этнографии: обработанные, хотя и неполные летописи (Татищев и Шлецер), обработанные, правда, недостаточно критически, акты (Миллер, Щербатов), собрание такого материала, как „портфели“ Миллера, введение в обработку источников по внешней истории (Щербатов); издание Древне-российской Вивлиофики (Новиков), духовные договорные грамоты князей, Memoriae populorum Стриттера, собрание грамот и договоров (с 1813 по 1828 г.—4 тома), акты археографической экспедиции (1836) и т. д. и т. п. Значение этих материалов великолепно понимали и современники: Так Боткин признавал, что „акты археографической комиссии есть великое дело“ (Анненков и его друзья, 530), а Чернышевский писал, что „издания археографической комиссии дали каждому возможность изучать русскую историю по источникам“ (Н. Г. Чернышевский. Сочинения, т. II, 163).

[2]) П. Н. Милюков. „Главные течения русской исторической мысли“, 51

[3]) Там же, 135.

[4]) Там же, 136.

всемирной истории», развитую Кантом и его учениками. Это было важным нововведением, отмеченным позднее Белинским. Он первый оценил Шлецера, признав его «заслуги русской истории великими», потому что «он своим исследованием Нестора дал нам истинно ученый метод исторической критики» [1]). Можно, однако, согласиться с мнением Чернышевского, что «только нашему веку (т.-е. XIX) удалось ясно постичь идею всеобщей истории, потому что только с Гегеля, Гизо, Нибура, Шлоссера начинается деятельная разработка этой идеи» [2]).

Но отсюда опять-таки не следует, что до проникновения гегелевских идей ученая Русь безмолвствовала. Вслед за Шлецером громко заявила о себе скептическая школа. Около 1835 г. она восстает против господствующей «карамзинщины». Эта школа «заслуживает великого уважения за то, что первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта» [3]). Но решить поставленные вопросы с должной основательностью она не могла. Некоторые ее представители возвысились до понимания закономерности в истории. Так, Строев (младший) видит задачу истории, возведенной на степень науки, в том, чтобы она показала значение каждого события, причину, его вызвавшую, и следствия, им произведенные, и, наконец, влияние, которое оно имело на образование всеобщей жизни человечества. «Принимаемая в этом истинном ее значении, она должна быть «представлением жизни всего человечества в ее действительности» (слова Аста) [4]). Таким образом, идеал Строева—история, фотографически отражающая действительную жизнь человечества. Но напрасно мы станем искать у школы скептиков философское понимание истории. Последнего ей не было дано, и в этом, очевидно, Чернышевский усматривает недостаточную основательность решения ею исторических вопросов.

30 годы XIX столетия властно заявили о необходимости философского построения русской истории. Обрывки старых идей никого не удовлетворяли. «Истина в том,—с сердечной болью провозглашал Чаадаев,—что мы еще никогда не рассматривали своей истории с философской точки зрения» [5]). Одновременно с ним Станкевич советует Грановскому выработать философское миросозерцание, единую идею, вокруг которой должны быть расположены и сухие исторические фак-

---

1) В. Г. Белинский. Сочинения, т. IV, 158.
2) Н. Г. Чернышевский. Сочинения, т. II, 409.
3) Там же, 163.
4) П. Н. Милюков. Цит. соч., 290.
5) П. Чаадаев. Сочинения, т. II, „Философ. письма".

ты: «Мужество и твердость, Грановский! Не бойся этих формул... займись философией» [1]).

Но какова же эта философская точка зрения? Первые историки находят ее в системе Шеллинга.

Философия Шеллинга, выдвигая в качестве об'ективного начала и единого принципа в мировой истории «абсолютное», признает в историческом развитии бесконечный прогресс и господство внутренней необходимости над свободной деятельностью. Это господство необходимости становится тем большим, чем глубже и дальше идет развитие истории. Содержание ее и состоит в постепенном примирении и слиянии внешней необходимости и внутренней свободы.

В этом состояла революционная сторона учения Шеллинга, сыгравшая глубоко положительную роль в развитии диалектического метода. Но вместе с этим необходимо отметить и другую сторону философии Шеллинга — реакционно-консервативную, которая характерна для всего романтизма XIX века. Философия Шеллинга исходит из тождества природы и духа, об'ективного и суб'ективного. Тождество природы и духа им понимается идеалистически. Природа есть низшая ступень духа, она «сама есть не что иное, как проявление непрерывной деятельности беспрерывного ума». Само развитие Шеллинг понимает телеологически. Поступательное движение об'екта-суб'екта — это есть осуществление высшей цели и приближение к ней. Отсюда вытекало реакционное оправдание и преклонение перед действительностью, как неизбежной «импотенцией» абсолютного. Эта сторона особенно ярко выражена в произведениях последнего периода философской деятельности Шеллинга.

Пропаганда исторических идей Шеллинга началась в 1827 году со статей И. Среднего-Камашева под названием «Взгляд на историю, как на науку» [2]). Относя историю к разряду антропологических наук, автор ставит, в духе шеллингизма, вопрос о примирении идеи закономерности и идеи свободы и приходит к выводу, что история есть об'яснение всемирных судеб человечества, а задача ее, как науки, сводится к открытию того плана, который управляет этими судьбами. Другой шеллингист Лебедев приходит к заключению, что процесс истории

---

[1]) П. В. Анненков. „Н. В. Станкевич. Биографич. очерки и переписка", стр. 185—186, Москва, 1857.

[2]) Милюков датирует этими статьями новый период исторической мысли (см. стр. 5, 323 цит. соч.).

состоит в постепенном развитии свободы и, отрицая фатализм, видит закон исторической жизни в свободном усовершенствовании, последовательном приобретении господства ума над природою. Развивая мысли в пределах одной и той же системы, эти авторы различаются, однако, в степени придания значения господству необходимости: одни решали вопрос в смысле его неограниченности и приходили, как Погодин, к фатализму, другие видели примат в развитии свободы и личности. Но и те и другие пытались об'яснить исторический процесс из единого вечно существующего начала, которое a priori предопределяло и самый его ход.

Первыми, кто пытался приложить настоящие философско-исторические идеи к русской истории, были: Полевой, Погодин, Киреевский и Чаадаев.

Булгарин, как известно, предоставил Г. Полевому «честь первенства быть автором истории в философско-критическом духе» [1]). Сам Полевой, утвердившись в исходной мысли, что история должна быть в основе философской, пытается обобщить русское прошлое и указать, с одной стороны, на всемирно-историческую миссию России, а с другой — на преемственную связь различных периодов древней истории. Первое кончилось неудачно. Второе же дало благоприятный результат. Центральная идея «Истории русского народа»—«развитие единовластия». Но, в отличие от Карамзина и историков XVIII века, Полевой отрицает его существование искони веков. Русское государство сложилось только в XV веке. Весь предыдущий период подготовлял его. Система уделов есть переходная и исторически необходимая ступень к развитию единовластия. Это был период существования многих государств. Поэтому вследствие раздробленности сил и по причине отсутствия единой монархии Русь была побеждена татарщиной. Но последняя вместе с тем была и необходимостью, ибо только после татарщины укрепилась единовластие, и Россия сделалась самобытным государством.

Через признание органичности исторического процесса и формулировки его цели, как создания единовластия, через характеристику удельного периода («все было разделено, все было частно») от Полевого тянется прямая нить к Соловьеву и Кавелину—основоположникам историко-юридической школы.

Глубже поставил вопрос Чаадаев. «История народа,—говорит он,—не есть простой ряд фактов, сменяющих друг друга, а цепь идей, находящихся во взаимной связи. Факт должен об'ясняться идеей; в собы-

---

[1]) Барсуков, „Жизнь и труды Погодина", том III, 39.

тиях должна проявляться и стремиться к осуществлению какая-нибудь мысль, какое-нибудь начало». Но, высказав общие идеи, Чаадаев не применил их к русской истории. Он не видел у России исторического прошлого, и его мысли о России имеют целью не положительную разработку ее истории, а, наоборот, сплошное отрицание. «Наше могущество держит в трепете мир, наша держава занимает пятую часть земного шара, но всем этим, надо сознаться, мы обязаны только энергичной воле наших государей, которой содействовали физические условия страны, обитаемой нами... Обделенные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим климатом, только в силу покорности, стали мы великим народом. Просмотрите от начала до конца наши летописи, вы найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти... и почти никогда не встретите проявления общественной воли». И еще: «Жизнь западных народов... находила покровительство, сочувствие и свободу там, где у нас жизнь встречала лишь монастырскую суровость и рабское повиновение интересам государя. Не удивительно, что мы шли от отречения к отречению. Вся наша социальная эволюция сплошной ряд таких фактов... Довольно указать вам на колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собой не что иное, как строго логическое следствие нашей истории. Рабство всюду имело один источник: завоевание. У нас не было ничего подобного. В один прекрасный день одна часть народа очутилась в рабстве у другой просто в силу вещей, вследствие настоятельной потребности страны, вследствие непреложного хода общественного развития, без злоупотребления с одной стороны, и без протеста—с другой» [1]). Доказывая «беспримерность» нашего развития, он выводит особенность русской истории из факта господства государства над церковью и, следовательно, над всей жизнью общества. Только народ, имеющий идею, имеет историю. У русского народа ее нет. Поэтому и настоящая история начнется с того момента, когда наш народ овладеет своей идеей. Здесь уязвимое место Чаадаева, ибо при отсутствии идеи, развивающейся в истории, он не мог представить ее, как органический процесс, ход коего определяется внутренними силами, заложенными в самой исторической жизни. Вот почему мысли Чаадаева остались почти бесплодными для дальнейшей науки.

Однако причины быстрой устарелости первых философских построений истории лежали глубже: шеллингизм, их идейный источник, умирал и сам отходил в область истории.

---

[1]) П. Чаадаев. Сочинения, т. II, стр. 230, 262.

«Люди 30—40 г.г. освобождались на Шеллинге и Гегеле»,—говорит историк эпохи Гершензон [1]). Он прав только условно. «Освобождение на Шеллинге» не было длительным. Уже в 1842 году князь Одоевский на вопрос Шеллинга—имеет ли Гегель многих последователей в России—отвечал многозначительным «довольно», а в письме к Раевскому из Берлина сгущенными красками рисовал разрушительные тенденции гегельянства. «Партия гегелистов,—пишет он,—дошла до совершенного атеизма и материализма; отрасль этой партии силится составить отдельное общество от христиан» [2]). Вильгельм IV выписывает Шеллинга в Берлин, с тем, чтобы противопоставить его влиянию гегельянства, обращающегося, по мнению короля, в материализме. Шеллинг же, убежденный в мысли о ложности гегелевской философии (он называл ее псевдо-философией), был наилучшим образом приспособлен к этой борьбе. Русские шеллингианцы выступили против вредного, по их мнению, направления с крайним озлоблением. Философские шпаги скоро сменились на философско-исторические. Исход поединка решила сама история. Превратившись в оруженосца короля против левого гегельянства, Шеллинг стал в Германии символом обскурантизма. Русские шеллингисты-историки должны были поневоле испытать судьбу своего учителя: их устаревшие концепции превратились в знамя научно-политической реакции. Отголоски споров раздавались еще и спустя 20 лет, но передовые отряды деятелей русской науки с ними мало считались.

Гегелевская философия—это высшее умственное явление эпохи—«стала всепоглощающим интересом и исходным пунктом в образовании мнений у людей 40 годов». С половины 30 годов гегельянство стало «повальной болезнью» в образованных кругах русского общества. По остроумному выражению Михайловского, от философии Гегеля не было проходу и на берегах Москвы-реки. Гегелем зачитывались. В рядах его последователей мы видим блестящую плеяду русских людей 30—40 г.г.: Станкевича, Бакунина, Белинского, Герцена, Огарева, Грановского, Каткова и т. д. «Пришиблены» были Гегелем и историки Соловьев и Кавелин. Все это—западники, но и славянофилы в годы молодости начинали свое воспитание с Гегеля, завершив его отходом на тыловые позиции к Шеллингу. «Увлечение кружка Станкевича гегельянством было безмерное и дошло до истинной страсти» [3]). Имен-

---

[1]) М. Гершензон. „История молодой России“, 213.

[2]) Сакулин. „Князь Одоевский“, том I, 383.

[3]) „Вестник Европы“, 1915 г., кн. XI, ст. М. Ковалевского.

но в это время «старое мировоззрение рухнуло, и начался великий ледоход русской мысли» [1]), именно тогда, по выражению Венгерова, «поэтически восторженный идеализм Шеллинга вытесняется суровой схемой гегелевского миропонимания».

Что же влекло к Гегелю этих выдающихся людей России? Ответ подсказывает сама эпоха. «Все должно было быть перестроено вновь: на место непосредственности, патриархальности, туманной мистики, авторитетов, верований и преданий должен был стать новый жизненный строй, основанный на разуме, анализе и праве; все устои общежития—брак, религия, государство—должны были стряхнуть с себя свое обветшалые формы и преобразоваться. Казалось, рождается новый мир. Das alte stürzt, es ändert sich die Zeit—und neues Leben blüht aus den Ruinen» [2]). В розовых красках рисовался радикальный буржуазный переворот. В действительности он произошел иначе. Новый мир не родился. История ограничилась подновлением старого.

Политическая программа людей 40 г.г. вполне укладывалась в рамки их теоретических воззрений. Перед ними «на первом плане стояла теоретическая задача: уразуметь весь мир из одной идеи. Эта задача решалась системой Гегеля, где все стороны бытия материального и духовного были сведены в один изумительно стройный процесс развития единого начала—абсолютного духа» [3]). Восприняв Гегеля, просвещенные радикалы тем самым поднимались на вершины метафизического мышления, открывавшие уму безграничные опьяняющие виды. Высокий идеализм, неумолимая логика и внутренняя закономерность, стройность и глубина самой системы и та великая мысль, что мир подвижен, что «все течет, все изменяется», что история человечества есть процесс непрерывного развития—открывали для мыслящих людей широкие и отрадные перспективы торжества разума. В целом система Гегеля была идеологией родившегося буржуазного общества. И наши русские провозвестники просветительства с тем большей радостью восприняли мысли философа, что они открывали им горизонты свободы, которая придет же, наконец, на смену николаевщине. Сами революционные мысли свидетельствовали о явлении революционного класса. Ведь никто так страстно не боролся за радикально-

---

[1]) Гершензон. „История молодой России“, VIII.

[2]) Гершензон. „История молодой России“, 213. Старое исчезает, время меняется, и новая жизнь расцветает из руин.

[3]) Там же, 193.

буржуазный переворот, как «неистовый Виссарион». Он видел впереди жизнь и связывал ее с буржуазией. «Теперь ясно, что внутренний процесс гражданского развития в России,—писал он Анненкову в 1848 г.,—начнется не раньше, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию»[1]). Одновременно с ним перед тем же адресатом Боткин высказывает ту же мысль: «Дай бог, чтобы у нас была буржуазия»[2]). А в знаменитом письме к Гоголю Белинский выдвинул целую программу: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности». И в уничтожении крепостного права, телесных наказаний и установлении законности он видел задачу момента.

Понятно, почему с таким упоением превозносился Гегель. Рассмотрим основные мысли его философии истории.

«Философия истории означает не что иное, как мыслящее рассмотрение ее». Подобное исследование видит в ней определенный разумный план бога в форме мирового духа.

Три основные вопроса должна решить философия истории: 1) каковы смысл и конечная цель всемирной истории, 2) какими средствами осуществляется эта цель и 3) каков ход всемирной истории.

«Подобно Меркурию, проводнику дум, идея поистине есть (проводник) то, что является руководителем народов и мира, и дух, его разумная необходимая воля, есть то, что руководило и руководит событиями мира»[3]). Философия привносит ту простую мысль, что разум господствует в мире, он познает план божественного провидения в истории и он управляет миром. С этой точки зрения, мировая история есть «богатая продукция творческого разума». Развиваясь на почве духа, мировая история представляет «изложение и осуществление всеобщего духа», является необходимым разумным обнаружением мирового духа. Природа духа может быть определена через ее полную противоположность материи. «Как субстанция материи есть тяжесть, так же точно должны мы сказать, что существо духа есть свобода»[4]). Все свойства духа могут существовать (получать силу) только через свободу, все они представляют собою только средство для свободы, все они только ее ищут и ее вызывают к существованию. Поэтому, повторяет Гегель, свобода есть единственное существо духа. «Свобода в

---

[1]) П. В. Анненков и его друзья. Письма к Анненкову. 611, изд. 1892 г.
[2]) Там же, 551.
[3]) G. Hegel. „Vorlesungen über die Philosophie der Gechichte, Leipzig, 41.
[4]) Там же, 51.

себе самой есть то, что содержит в себе необходимость саму себя (она по самому своему понятию есть знание о себе) довести до сознания себя самой и, тем самым, до действительности: она сама для себя цель, которую она выполняет, и притом единственная цель духа» [1]). Значит, конечная цель мира есть сознание духом своей свободы. Эта конечная цель есть то, к чему стремится мировая история. Это то, что бог хочет в мире и для мира. Бог же, как абсолютное совершенство, не может желать ничего, кроме осуществления самой собственной воли, т.-е. идеи свободы. Дух есть «у себя—самого—бытие». Это «у—себя—самого—бытие» духа есть сознание самого себя. «Согласно этому абстрактному определению, про всемирную историю можно сказать, что она есть раскрытие и наглядное изложение духа, а именно того, как он вырабатывал в себе знание о том, что он есть» [2])... Таким образом, конечная цель истории—сознание духом самого себя, т.-е. свободы. Поэтому, подводя итоги своим рассуждениям, Гегель признает, что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы» [3]). *Прогресс* в сознании свободы, по Гегелю, составляет субстанциональное определение всего хода мировой истории.

Непосредственно возникающий далее второй вопрос состоит в том, чтобы выяснить, какие средства применяла свобода к ее реализации. Свобода, как таковая, есть внутреннее понятие. Средство есть нечто внешнее, т.-е. что в истории непосредственно себя обнаруживает. Для достижения цели дух использует все средства, все потребности, всю человеческую деятельность, все страсти. «Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас, что поступки людей берут свое начало из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и талантов и притом так, что на этой арене (человеческой) деятельности именно только потребности, страсть, интерес и есть то, что является побудительной причиной и выступает в качестве главного действующего фактора» [4]). Все остальное играет второстепенную роль. Существуют идея, принцип, как нечто абстрактное. В действительности они осуществляются через деятельность индивидуумов, через их склонности и страсти. Под страстью следует понимать деятельность из частного интереса. Частный интерес или страсть есть, поэтому, движущий фактор в осуществлении дел, имеющих общее значение. Ничто

---

[1]) G. Hegel. „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte", 54.
[2]) Там же, 52.
[3]) Там же, 53.
[4]) Там же, 55.

в истории не происходит без того, чтобы не осуществился интерес тех, кто способствует какому-либо делу. Шпора страсти подгоняет индивидуум для деятельности: он весь отдается предмету страсти. Поэтому следует признать, «что ничто великое не произошло без и помимо страсти. Осуществляя свой частный интерес, каждый индивидуум тем самым способствует осуществлению общих целей. В этом смысле можно сказать, что вся неизмеримая масса желаний, интересов и деятельностей—все это есть орудия и средства мирового духа в выполнении им его цели [1]). Целые народы и исторические деятели являются слепыми орудиями духа. С этой стороны, Гегель даже рассматривает историю, как такую б о й н ю, в которой счастье народа, мудрое устройство государства и добродетель индивидуумов приносятся в жертву общей цели. Частный интерес осуществляется не так, как бы хотелось отдельным лицам. Благодаря действиям людей, получается еще и несколько иные результаты, чем те, к которым стремятся и которых достигают, чем те, о которых они знают и которых желают. Вместе с осуществлением их интересов осуществляется и другое, а именно то, что скрыто содержалось в их целях. Нечто всеобщее присутствует в частных, отдельных целях (людей) и осуществляется через их посредство. «Поставленный здесь вопрос,—говорит Гегель,—можно выразить также и в форме вопроса о соединении свободы и необходимости, поскольку внутренний, сам по себе сущий, ход (развития) духа мы будем рассматривать, как необходимое, то же, напротив, что в сознательной воле людей является выражением их интересов, будем приписывать их свободе» [2]). Таким образом, конечная цель—свобода. Средства—человеческие страсти и деятельности. Это соединение свободы и необходимости составляет характер или, по Гегелю, основу и уток в широком ковре всемирной истории.

Отдельный индивидуум, согласовавший свое бытие со своим характером и хотением, живет счастливо. Не то в мировой истории. Согласование жизни в государстве достигается с большим трудом. Мировая история не есть арена счастия: периоды счастия в ней пустые страницы, ибо это есть периоды согласования, отсутствия противоположности. Путь истории направляется через противоположности и борьбу человеческих страстей. Величие страсти состоит в величии ц е л и, ее вдохновляющей. Поэтому и те лица, частные цели которых совпадают с общими целями мира, возвышаются над остальными, как всемирно

---

[1]) G. Hegel. „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte", 61.

[2]) Там же, 61.

исторические деятели. «Исторические люди, всемирно-исторические индивидуумы суть те, в целях которых находит свое осуществление такое всеобщее», что представляет саму стремящуюся и себя осуществляющую идею (истину). Великие люди в частных целях которых содержится всеобщее, потому и называются великими, что осуществляют великое, не воображаемое и мнимое, а правильное и необходимое. «Великие люди в истории суть те, собственные частные цели которых содержат в себе то субстанциальное, что составляет волю мирового духа» [1]). Итак, частный интерес страсти неразрывно связан с проявлением всеобщего, потому что всеобщее является результатом частных интересов в их отрицании. В исторической жизни не всеобщая идея вступает в борьбу, она остается невредимой. Хитрость разума, как выражается Гегель, и состоит в том, что он заставляет бороться человеческие страсти. «Идея уплачивает дань конкретного бытия и бренность не из себя, а из страстей индивидуумов» [2]).

До сих пор речь шла о средствах. Теперь следует обратить внимание на момент материала, который подлежит осуществлению при помощи этих средств. Таким материалом является прежде всего сам суб'ект, с его потребностями человека. Осуществление суб'ективной воли человека и разумной воли образует нравственно целое: государство. Рассматривая два момента — идею и человеческие страсти, можно сказать, что «конкретная середина, соединение того и другого есть нравственная свобода в государстве» [3]). В нем каждый индивидуум, подчиняясь общим целям, в то же время имеет свою свободу и пользуется ею, поскольку эта свобода проявляется в воле к всеобщему.

«В мировой истории речь может итти только о народах, которые образовали государство». Ибо следует иметь в виду, что государство есть реализация свободы. Поэтому все ценное, чем обладает человек, он получает от государства. Истинное, подлинное в жизни заключается в единстве всеобщей и суб'ективной воли, а это всеобщее содержится в государстве, в его законах, в его всеобщих и разумных определениях. «Государство есть божественная идея в той форме ее, как она существует на земле» [4]). Всеобщая воля здесь представляет единственно существенное. Государство есть поэто-

---

1) G. Hegel. „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte", стр. 66.
2) Там же, 70.
3) Там же, 59.
4) Там же, 77.

му предмет мировой истории вообще, в котором свобода получает свое об'ективное выражение. Подчинение закону есть свобода, ибо оно выражает подчинение самой себе. «Через то, что государство, отечество составляет общность конкретного бытия, подчиняя суб'ективную волю человека законам, через это, именно, исчезает противоположность свободы и необходимости» [1]). Единство всеобщего и единоличного и есть самая идея государства, развивающаяся в истории. Можно сказать, наконец, что «государство есть разумная, сама себя об'ективно знающая и для себя сущая свобода».

В мировой истории идея государства разумно соединяется в живом единстве с определенной нацией. Народная индивидуальность служит суб'ектом его (государства). «Государство, его законы, его учреждения и порядки суть права индивидуумов в государстве; природа, почва его, его горы, воздух, воды, суть его страна, его отечество, его внешняя собственность; история этого государства, их (граждан) дела, как и то, что создали их предки, принадлежит им самим и живет в их воспоминании. Все есть их достояние, как, с другой стороны, и сами они принадлежат ему, государству, ибо оно образует их субстанцию, их бытие» [2]). Эта духовная всеобщность составляет дух отдельного народа, он заключен и выражен в государстве. В свою очередь, определенный дух данного народа есть только некоторого рода индивидуум в ходе мировой истории. Мировая история показывает, как дух приходит постепенно к сознанию и воле истины; это сознание сперва только смутно зарождается в нем, потом он находит его основные пункты и, наконец, дух достигает сознания во всей его полноте. Таким образом, в государстве есть наиболее полная реализация духа в существовании, в исторической действительности [3]). Ступенями развития мирового духа служат всемирно исторические народы, т.-е. те, которые создали государства. Но каждый народ после того, как он достигает сознания свободы, клонится к упадку и гибели. Осуществление его цели есть одновременная его гибель. Так из жизни происходит смерть и из смерти жизнь. Развитие идет от низших ступеней к высшим, и первые поглощаются, обнимаются последними. Народ развивается до всеобщей ступени его духа. «В этом пункте является внутренняя необходимость изменения, необходимость, лежащая в понятии». Это изменение происходит, и разви-

---

[1]) Там же, 78.
[2]) Там же, 93.
[3]) Там же, 95.

тие начинается с новой высшей ступени впредь до новой всеобщей ступени духа. Таков диалектический процесс истории. «Суть дела заключается в том, что конечное ограничивается не только извне, а должно быть уничтожено и перейти в свою противоположность в силу своей собственной внутренней природы», ибо все историческое заключает в себе возникновение и исчезновение.

Самую схему мировой истории Гегель представил в таком виде. Об'ективный дух, превратившись в нравственный, проходит три ступени. 1) Непосредственно проявляется нравственный дух в семье, основанной на природном чувстве любви. Это союз кровный. 2) Размножаясь, семья разделяется. Отдельная личность становится сама себе целью, и из соприкосновения их возникает система ограничения. Каждая личность ограничивает другую. Господствует исключительно частный дух, частное право. Предел господства одного заключается в господстве другого. Это — гражданское общество. 3) Противоречие личных интересов и внешних ограничений, исчерпав свое содержание, опять разрешается в единстве. Личный интерес приходит в гармонию с общественным. Об'ективный дух достигает высшего проявления в государстве.

Таковы мысли Гегеля. Понятно, каким ярким светом прорезали они николаевский крепостнический мрак оффициальной народности. Передовые люди буржуазии увидели в этой философии сильнейшее оружие. Зато крепостники долго и страстно сопротивлялись проникновению ее в университетскую науку. Попечитель Московского Университета граф Строганов так и говорил, «что она (немецкая философия. *П. С.*) противоречит нашему богословию. На что нам раздвоенность, два разных догмата — догмат откровения и догмат науки. Я даже не приму того откровения, которое афиширует примирение религии с наукой. Религия в основе» [1]). Имя Гегеля стало как бы синонимом революции. Тот же Строганов запрещает Герцену в статье о лекции Грановского самое его упоминание, а митрополит Филарет дает специальное поручение Голубинскому опровергнуть Гегеля.

Однако сопротивление реакции не могло остановить изучение Гегеля и пропаганды его идей. Из узких теоретических кружков конца 30 г.г. гегельянство проникает в 40 г.г. и в русскую университетскую науку, историю, литературу и т. д. Как бы оправдывая положение Гегеля о господстве философии в истории, родоначальники просветительства концентрировали свое внимание в первую очередь

[1]) „Вестник Европы", 1915 г., кн. II, стр. 154.

на этих дисциплинах. «В наше время,—писал Герцен в отчете о лекциях Грановского,—история поглотила внимание всего человечества» [1]). Вслед за ним Белинский видел «один из величайших умственных успехов времени» в том, что люди его эпохи, «наконец, поняли, что у России была своя история, нисколько не похожая на историю ни одного европейского государства» [2]).

Причины этого умственного движения Герцен видит в прогрессивном и ободряющем влиянии исторического изучения: «Былое пророчествует; устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед» [3]). История представлялась ему и Белинскому пособницей русского прогресса, национального развития, самостоятельной исторической жизни.

Но это была ранняя пора русского гегельянства, когда его мысли и идеалы еще мирились с всепоглощающей системой Гегеля, не рискуя стать в критическое отношение к ней. Она скоро миновала. Русские последователи немецкого философа пошли различными путями. «Теоретический разрыв» между недавними соратниками и единомышленниками намечается с середины 40 г.г. Суть разрыва сознательно оценивалась уже его современниками. «Теперь (1847 г. *П. С.*),—писал Белинский,—гегелизм распался на три стороны—правую, которая остановилась на последнем слове гегелизма и далее не идет; левую, которая отложилась от Гегеля и свой прогресс полагает в живом примирении философии с жизнью, теории с практикой, и центральную, составляющую нечто среднее между мертвой стоячестью правой и стремительным движением левой стороны» [4]). Отныне умственно-теоретическое движение развертывается по линии борьбы левых и правых гегельянцев. Она носит страстный характер уже по одному тому, что за различным пониманием Гегеля скрывались по существу два мировоззрения, скрывалась борьба за два пути развития России: радикально-демократической революции и буржуазно-помещичьей эволюции. Мысль Герцена делает понятным высказанные соображения. «Философия Гегеля — алгебра революции. Она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших

---

[1]) Герцен. Ст. в „Московских Ведомостях", 1843, № 142. Мы причисляем Герцена к родоначальникам просветительства только в ограниченном, условном смысле.

[2]) Белинский. Сочинения. IV, 504.

[3]) Герцен. Ст. в Московск. Ведомостях, 1843, № 142.

[4]) Белинский. Сочинения, т. IV, 804.

себя»[1]). С чисто теоретической стороны, по утверждению Плеханова, «борьба левых гегельянцев с правыми означала собою восстание людей, ценивших в учении Гегеля преимущественно его диалектическую сторону, против людей, склонявшихся к философскому абсолютизму»[2]). Если правый лагерь концентрировал свое внимание на самой системе философа и обращал свои взоры к успокоительному лону мирового духа — прусской монархии, то левый, напротив, пытался, руководствуясь методом Гегеля, делать дальнейшие выводы из его учения. По Герцену, «подвиг Гегеля в том и состоит, что он науку воплотил в методу, что стоит понять его методу, чтобы почти вовсе забыть его личность». И по его же словам такое понимание Гегеля означает большую верность ему, нежели он сам. «Из его начал мы смело идем против его непоследовательности. Идем з а н е г о, а н е п р о т и в н е г о»[3]).

Таким образом ясно, что для Герцена наиболее ценным в Гегеле была его революционная сторона—диалектика. Она рисовалась ему мощной, несокрушимой силой. «Диалектика Гегеля—страшный тиран; она, несмотря на свое двуличие, на прусско-протестанскую кокарду, улетучивала все свое существующее, распускала все мешавшее разуму».

Припомним слова Маркса о содержании теоретической борьбы младо-гегельянцев. «Младо-гегельянцы сходятся со старо-гегельянцами в вере в господство, в существующем мире религии, понятий Всеобщего. Но только одни борются с этим господством, как с узурпацией, в то время, как другие приветствуют его, как законную вещь»[4]).

Без шага вперед к материализму борьба с «господством понятий Всеобщего» оставалась только «миропотрясающей» фразой. Гегелевская философия истории, это—последний плод всей немецкой историографии, в которой речь идет только о чистых мыслях. Эта историография не понимает, что «сумма производительных сил капиталов и форм социальных отношений... есть реальная основа того,

---

[1]) Герцен. Сочинения, т. II, 315. Изд. Павленкова, 1905 г.

[2]) Г. В. Плеханов. Очерки по истории русской общественной мысли XIX века, 114, ст. о Герцене.

[3]) Герцен. Сочинения, т. IV, 243—44. Ср. Белинский. „Если мы сказали, что левая сторона гегелизма отложились от своего учителя, это не значит, чтобы она отвергала его великие заслуги в сфере философии и признала его учение пустым и бесплодным явлением. Нет. Это значит только, что она хочет итти дальше и при всем ее уважении к великому философу авторитет духа человеческого ставит выше духа авторитета Гегеля. (Сочинения т. IV, 804).

[4]) Архив Маркса и Энгельса, кн. I, 213.

что философы представляли себе, как «субстанцию» и «сущность человека...» [1]). Благодаря этому из истории исключаются отношения людей к природе, в силу чего порождается противоположность между природой и историей.

Развитие естествознания создало одну из необходимых предпосылок для уничтожения в науке этой противоположности. Фейербах первый представил нам картину превращения «гегельянца в материалиста», правда, не до конца; остановившись на природе, он не создал материалистического понимания истории, о котором говорит Маркс. Но важно одно: знамение времени состояло в превращении последовательных гегельянцев в непоследовательных, пока еще диалектических материалистов. Перспектива такого превращения открывалась и перед русскими левыми гегельянцами. Они ее использовали, чем и вызвали упреки Чичерина в отступлении от принципов учителя. «Левая отрасль (школы Гегеля. *П. С.)* под влиянием Фейербаха скоро перешла к материализму. Но для того, чтобы сделать этот переход, нужно было не последовательно развить начала, положенные Гегелем, а совершенно от них отречься, сделать умственный скачок, отвергнуть всякие метафизические построения и стать на почву чистого реализма» [2]). Если Чичерина «отвержение метафизических построений» приводило в уныние и являлось в его глазах изменой Гегелю, то Герцена, наоборот, заставляло «вспрыгивать от радости». «Огарев привез мне «Wesen des Christenthums» Фейербаха. Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычие и иносказание, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в миры» [3]). Мысли Герцена начинает работать над проблемою сближения философии с естествознанием, природы с историей. Последняя представляется ему продолжением первой в то же время соединением логики и природы [4]). Но то были только гениальные намеки. В философии истории он остался идеалистом, отожествляя ее с «логическим процессом самопознания». Чернышевский, как тип чистого фейербаховца, был еще впереди. Но от Герцена к нему, через мимолетный позитивизм Грановского, лежит прямая дорога.

Таким образом, если левое гегельянство, восприняв диалектику учителя, уперлось в материализм с тем, чтобы потом в лице Маркса—

---

[1]) Там же, 227.

[2]) Б. Н. Чичерин. Вопросы философии, 379.

[3]) Герцен. Сочинения, т. II, 318.

[4]) См. „Письма об изучении природы“, „Диллетантизм в науке“.

Энгельса создать новую систему диалектического материализма, то правое, остановившись на системе, находя в ней незаконченную форму господства «понятий Всеобщего», пошло по линии отказа от «крайностей» гегелевской схемы. Правая отрасль по мысли, и небезосновательной, того же Чичерина «сохраняла неприкосновенными основные начала гегелизма и затем постепенно перешла в новое направление, придававшее большее значение личности, которая у Гегеля была только орудием общего процесса» [1]).

Борьбе левых и правых гегельянцев, правда, не развернувшейся в 40 г.г. широко, предшествовала общая борьба тех и других, как западников, со славянофилами. Западники выступали, как глашатаи буржуазного развития и европеизма. Гегелевские принципы проповедывались тогда всеми западниками. С ними подходили к оценке важнейших явлений общественной жизни. Проникали они и в историю.

Но не радикальным отцам просветительства пришлось удачно применить их к исторической науке. Почин пал на правое крыло гегельянства. И именно оно впервые принесло в историю зерно истинной научности. Левый гегельянец Белинский создал литературную критику, и на этом поприще он сделал поразительные успехи. Для исторической же науки он оставил несколько общих определений и формул прогресса. Сами по себе они интересны как образец отражения философии Гегеля. «Философия,—по мнению Белинского,—наука развития в мышлении довременных и бесплотных идей. История—наука осуществления в фактах, в действительности довременных идей, таинственных и первосущных матерей всего сущего, всего рождающегося и умирающего и, несмотря на то, вечно живущего» [2]). Следовательно, содержание истории и составляет «в свободной необходимости диалектически развивающаяся идея». Диалектическое движение означает последовательное и постепенное развитие, переход от низшей ступени на высшую. Ничто не является вдруг, ничто не рождается готовым, но все имеющее идею исходным пунктом развивается по моментам диалектически. «Этот непреложный закон мы видим и в природе, и в истории, и в человечестве» [3]). Как видим, Белинский скачков не признает, принимая за основной закон «постепенность и последовательность». Существует то, что само в себе таит начало развития, что имеет причины в самом себе, что в процессе развития об'ясняется предыдущим

---

[1]) Б. Н. Чичерин. Вопросы философии, 379.
[2]) В. Г. Белинский, Сочинения, т. III, 19—20.
[3]) Его же, т. IV, 528.

и само становится таковым в отношении к будущему. Только тогда прогресс будет представляться органическим развитием и иметь историю. Прогресс совершается через нацию. «Все великие народы, в истории которых миродержавный промысел осуществил судьбы человечества, жили и живут и умирают, как скоро их историческая идея изжита ими вполне» [1]). Идея народности воплощается в великих людях и через них осуществляется в фактах, ибо «гений и есть не что иное, как мысль, разум, дух и воля самой этой толпы с той только разницей, что все, что таится в ней, как смутное предчувствие, в нем является отчетливым сознанием» [2]).

Таковы мысли одного из лучших людей своей эпохи. Их глубокое содержание дало возможность Чернышевскому заявить: отныне появилась в России национальная мысль, и прошло время бессознательных плагиатов у Западной Европы.

Но непосредственный исток идей для Чичерина лежал не здесь. Человеком, к которому он был «близок и обязан которому большею половиною своего духовного развития» [3]), являлся Грановский.

Он первый в России пытался приложить начало гегелевской философии к всемирной истории. Он не был русским историком, и его влияние распространялось главным образом на вопросы о б щ е г о понимания истории и ее методологии. Философско-исторические идеи Гегеля захватывали русских ученых и учащихся, в первую очередь, через него. «Он (Грановский) учил, следуя Гегелю, что история человечества есть история его непрерывного приближения к высшей нравственной цели» [4]). Не следовать за Гегелем было невозможно, ибо его философия исповедывалась, как новейшее и высочайшее научное откровение. Старое историческое миросозерцание рушилось, занимательными анекдотами и бессвязными фактами прагматической истории никто не интересовался. Нужна была идея, пронизывающая всю мировую историю, дающая ей философское обобщение.

«Рассказывать голый ряд событий и анекдотов не было моей целью» [5]),—говорил Грановский на одной из лекций 1843 года. Уже в 1839—40 г. в начале своей профессорской деятельности Грановский, следуя духу и потребности времени, удовлетворяя стремлениям мысля-

---

[1]) В. Г. Белинский. Сочинения, т. III, 72.

[2]) Его же, т. IV, 221.

[3]) Русские Ведомости, 1868 г., № 29. Из прощальной речи Чичерина на обеде 26 января.

[4]) М. Гершензон. История молодой России, 204.

[5]) Герцен. Сочинения, т. VI, 94.

щей части русского общества «уяснить законы, которым подчинены судьбы человечества» [1]), принимает исходную точку гегелевской философии—тождество идеального с реальным, бытия с мышлением, природы с духом—и подходит к истории с твердым намерением отыскивать законы развития духа, как движущего начала. В своей лекции 1843—44 года, как передает запись Герцена, Грановский пытается определить задачу философии истории. «Задача философии истории.—по его мнению,—заключается в наше время в отыскивании вечных не подлежащих никакому опыту начал, лежащих в глубине нашего духа. Эти законы, по которым разбивается суб'ективный дух, надо указать и в истории» [2]). Содержание всеобщей истории составляет земная жизнь человечества. Длительное изучение ее «приводит нас к сознанию, что над всеми открытыми наукой законами исторического развития царит один верховный, т.-е. нравственный закон, в осуществлении которого и состоит конечная цель человечества на земле» [3]). Осуществление нравственного закона есть, таким образом, цель развивающегося суб'ективного духа и совпадает с моментом его полного собственного сознания. До этого момента, до конкретного воплощения и выражения духа в социальном строе процесс развития характеризуется постоянным противоречием формы с духом. «Вся жизнь средних веков... состоит в борьбе абстрактных противоположностей императорской и папской власти, феодализма и духовной иерархии, в борьбе отдельных сил и направлений общества, из коих каждое об'являло эгоистическое требование на отдельное существование. В средние века не возникло еще понятия о полной гармонической жизни всех элементов, из которых слагается общество—понятие, исключительно принадлежащее нашему времени» [4]).

Абстрактное—неполное выражение духа. Гармоническое—полное и конкретное его воплощение в современном социальном строе. Таким образом, нравственный закон по Грановскому, осуществляется в буржуазном государстве, пришедшем на смену средневековью. Процесс развития духа протекает противоречиво. «Идея» нового времени разрушает старые формы. Старая идея умирает и сменяется противоречащей ей новой. Момент смены составляет переходную эпоху в жизни

---

[1]) См. Некролог Соловьева о Грановском в 1856 г.

[2]) Вестник Европы, 1915, кн. II, 154. Статья Ковалевского.

[3]) Т. Н. Грановский. Сочинения. Москва, 1900 г. 599,605.

[4]) П. Н. Милюков. Из истории русской интеллигенции, 219. Отрывок взят из рукописных лекций Грановского в 1845—46 г.г., записанных Латышевым и хранящихся в Библиотеке Исторического Музея.

человечества. Такие «несчастные» эпохи в истории человечества характеризуются, правда очень редко, колоссальным обострением противоречий, разрешаемых и уничтожаемых только насилием. Для осуществления своих целей «Провидение» избирает особых великих людей, «призванных на землю совершать то, что лежит в потребностях данной эпохи, в верованиях и желаниях данного времени, данного народа» [1]).

Как видим, исторический процесс представляется Грановскому единым для всех народов, строго обусловленным и закономерным развитием мирового духа. Но последовательное проведение точки зрения Гегелевской философии на историю Грановскому не было дано. Он отступил от Гегеля и пытался формулировать философию индивидуализма с тем, чтобы в последние годы эволюционировать к позитивизму. Вместе с этим признание «божественной связи, охватывающей жизнь человечества», приводит Грановского к произвольным, ненаучным конструкциям и противоречиям, отмеченным еще Герценом.

Мысль и масса, личность и общество, история и природа—вот антитезы, в кругу которых вращалась его мысль и конструировала законы исторического развития. Не склонившись к признанию личности орудием прогресса мирового духа, Грановский по необходимости пришел к разрыву с последовательным гегельянством и неизбежному эклектизму [2]).

«Наше время,—пишет он в 1847 году,—перестало верить в бессмысленное владычество случая. Новая наука, философия истории, поставила на его место закон, или, лучше сказать, необходимость. Вместе с случаем утратила большую часть своего значения в истории отдельная личность. Наука предоставила ей только честь или позор быть орудием стоящих на очереди к исполнению исторических идей». Но такое воззрение «сухо и односторонне». Жизнь человечества и природы подчинена одним и тем же законам. Но осуществление их неодинаково в обеих сферах. В истории «закон стоит, как цель, к которой неудержимо идет человечество; но ему нет дела до того, какою дорогою оно идет и много ли потратит время на пути. Здесь-то всту-

---

[1]) Грановский. Сочинения, 241.

[2]) Гегельянство у Грановского перемешалось с влиянием немецкой исторической школы права и Риттера. Учился он в 1836—37 г.г. у Ранке, Савиньи, Раумера и Риттера. (Переписка, т. II, 388—389). От последнего он заимствовал „право личности“, от первых консерватизм. Влияние историка истор. школы права Лео отмечает и Милюков. (Из ист. русск. интеллигенции—257).

дает во все права свои отдельная личность. Здесь лицо выступает не как орудие, а самостоятельно, поборником или противником исторического закона, и принимает на себя по праву ответственность за целые ряды им вызванных или задержанных событий» [1]).

Личность, по Грановскому, выступает носителем исторического прогресса. «Массы, как природа или как Скандинавский Тор, бессмысленно жестоки и бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслью только отдельная личность. В этом разложении масс мыслью заключается процесс истории, Ее задача — нравственная, просвещенная, независимая от таковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество» [2]). Таким образом независимая личность своею мыслью движет историческое развитие, и сообразно ее (личности) требованиям история создает соответствующее общество. Таковы две первые антитезы Грановского. Третью—история и природа—он решает в этом же направлении. Игнорировать природу, как географическую среду, было невозможно в силу прочности завоевания исторической науки. Но каково место природного фактора в том новом научном методе, который начинает усваивать история?

«У истории две стороны: в одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой независимые от него данные природою условия его деятельности... Старая распря человека с природой почти кончена: природа уступает ему свои тайны и свои силы... Но нравственные потребности человека еще не удовлетворены таким торжеством. Природа противник ему не равносильный: ее сопротивление строительное. Она есть только подножие истории в сфере которой совершается главный подвиг человека, где он сам является зодчим и материалом» [3]).

Освобожденная мыслью личность движет народами, косными массами, творит общество, тем самым являясь главным деятелем истории. Природа выполняет вспомогательную роль по отношению к истории подобно тому, как массы по отношению к личности. Поэтому прав Чичерин в своем заключении, «что его учитель был далек от крайностей чисто-гегелевской школы, он крепко стоял за значение и пра-

---

[1]) Т. Н. Грановский. Сочинения, 483.
[2]) Там же, 445.
[3]) Там же, 26, 439.

во личности, которые у Гегеля служили только орудием общего прогресса» [1]).

Но развитие исторических взглядов Грановского на этом не остановилось. Начало 50 г.г. он встречает новым поворотом к позитивизму. В речи 1852 г. «О современном состоянии и значении всеобщей истории» Грановский высказывает неудовлетворение уровнем исторической науки и об'ясняет неосуществленность идеала всеобщей истории отсутствием строгого метода и неясностью целей данной науки. И до тех пор, «пока история не усвоит себе надлежащего метода, ее нельзя будет назвать опытною наукою» [2]). Новый же метод должен возникнуть из внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии. История должна обратиться к естествознанию и заимствовать у него метод исследования. Статистика в данном случае опередила историю. Последней остается наверстать упущенное и занять место в ряду опытных наук.

Книга Бокля «История цивилизации» была на шесть лет впереди. Манифест Грановского прозвучал одиноко, не встретив сочувствия. Знаменем он стал только в 60 г.г.

И не в нем, конечно, значение Грановского, как историка. Не по этой линии распространялось его огромное влияние на университетскую науку. Его заслуги состоят в признании всемирно-исторической точки зрения, закономерности процесса развития и философско-исторического индивидуализма. Глашатай грядущего буржуазного господства—он пытался обосновать свой социально-политический протест против гнетущей Николаевской эпохи с ее порабощением личности,—своим определением места свободной независимой личности в историческом процессе. Это было знамя политической борьбы, но и не больше. В лозунг превратить его (манифест) суждено было не Грановскому. Он не был бойцом [3]). Вечное движение форм, развитие в противоречиях, насильственные перевороты, вселяли в него дух уныния.

---

[1]) Б. Н. Чичерин. „Вопросы философии", 381.

[2]) Т. Н. Грановский. Сочинения, 17, 27.

[3]) Интересна и метка характеристика Грановского у Герцена. „Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин... Грановский напоминает мне ряд задумчиво-покойных проповедников-революционеров времен реформации... Такие люди невозмутимо тихи, идут твердым шагом, но не топают... Таков был сам Колиньи, лучший из жирондистов. И действительно Грановский по всему строению своей души, по ее романическому складу, по нелюбви к крайностям, скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист и монтаньяр" (Сочинения, т. II, 389).

«Занятия историей,—пишет он в 1845 году,—развили во мне какой-то скептицизм. Трудно уберечься от него среди этого вечного движения форм и идей. Одно сменяет другое, волна гонит волну. У всякого века была своя истина. Иногда становится грустно и страшно»[1]). Грановского страшил неизбежный переворот. Он боялся его, с ним не мирились его религиозные настроения и нравственные идеалы. Его пугал призрак социализма. «Социализм—опасная болезнь века. Социализм вреден и утопичен—таков его кредо»[2]).

Грусть и страх вынуждали к признанию сдерживающего начала. Он находит его в монархии. «Монархическое начало лежит в основании всех великих явлений русской истории; оно есть корень, из которого выросла наша государственная жизнь, наше политическое значение в Европе». В этом характерная черта России. «Между тем как развитие западных народов совершалось во многих отношениях не только независимо от монархического начала, но даже наперекор ему, у нас самодержавие положило свою печать на все важные явления русской жизни»[3]). Монархический принцип в теории вел Грановского к либерально-консервативной политике, и наоборот: политика диктовала определенную теорию. Предсмертному взору его рисовалась в недалеком будущем мирная реформа, свободная от духа политического радикализма. «Время радикализма, кажется, прошло даже для западной Европы. У нас же ему не следует и возникать, ибо у нас всякое начинание истекает сверху. Да и показал горький опыт, что попытки снизу к насильственному изменению существующего строя вызывали одно лишь усиление строгости... Окружим престол любовью!.. Да будет навсегда он с нами, а мы с ним, и да возвеличится Россия!»[4]).

Последними строками и особым письмом он завещал Кавелину и Чичерину встретить и посильно помочь безболезненному проведению реформы, борясь против крайностей программы и пропаганды Гер-

---

[1]) Русская Мысль. 1891. VI. 21—26. Приписка к письму Герцена от 1845 года.

[2]) П. Анненков. Литературные воспоминания, 283.

[3]) Т. Н. Грановский. Сочинения, 590,591.

[4]) „Голоса из России", ч. I, 162,163. Мы исходим из предположения, высказанного Драгомановым, что статья „Мысль об истекшем тридцатилетии", откуда взята цитата, принадлежит Грановскому. Правдивость подобного предположения косвенно доказывается таким местом письма Грановского к Кавелину. „Не только Петр Великий был бы нам полезен теперь, но даже и палка его, учившая русского дурака уму-разуму" (Грановский. Переписка, т. II, 456).

цена [1]). Но это политика. История также не была обойдена молчанием. Научно-историческим завещанием Кавелину и Соловьеву Грановский осветил своим авторитетом последние достижения русской исторической науки. Основной тезис его статьи 1855 года «О родовом быте у древних германцев»: что «родовым бытом начинается история всякого народа» [2])—утвердил незыблемость взглядов первых русских историков-западников.

Первым теоретиком родового быта был Эверс. Он предпринял попытку об'яснить русскую историю с точки зрения ее внутреннего развития. Вслед за ним выступил Рейц, выводивший государственное начало из семейно-родовых отношений [3]). После них на арене науки появляются чисто русские теоретики родового быта. В согласии с началами гегелевской философии и под влиянием немецкой исторической школы права [4]) принялись за осмысливание русского исторического процесса основатели историко-юридической школы Соловьев и Кавелин.

В 1847 году появились два исследования, очень близкие по своему содержанию: Соловьева—«История отношений между князьями Рюри-

---

[1]) Не лишено прозорливости следующее замечание Гершензона. „Не будет парадоксом сказать, что Грановский был одним из передаточных органов, благодаря которым нравственная энергия, заключенная в одинокой думе Станкевича, претворилась в благое общественное деяние Николая Милютина и его сподвижников". (История молодой России, 210). Известно, что Чичерин был идейным и теоретическим сподвижником Милютина. Завещание учителя выполнялось им не только в исторической науке, но и в политике.

[2]) Грановский. Сочинения, 94,99.

[3]) Книга Эверса „Древнейшее право руссов в его историческом раскрытии" вышла в 1826 году и на русский язык переведена в 1835 году. Книга Рейца „Опыт истории российских государственных и гражданских законов" вышла в 1829 году и переведена в 1836 году.

[4]) В статье „К критике гегелевской философии права" Маркс так характеризует эту школу. „Школа, узаконяющая подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего, школа, об'являющая мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут старый и прирожденный, исторический кнут, школа которой история показывает, как бог Израиля своему слуге Моисею, только свое aposteriori, — эта историческая школа права изобрела бы немецкую историю, если бы она не была изобретением немецкой истории. Она, этот Шейлок, но Шейлок-лакей, клянется в каждом фунте мяса, вырезанном из народного сердца ее векселем, ее историческим векселем, ее христианско-германским векселем". А в статье „Филос. манифест историч. шк. права" пишет: „Если философию Канта можно по справедливости считать немецкой теорией французской революции, то естественное право Гуго нужно считать немецкой теорией французского ancien regime" (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 367, 108).

кова дома» и Кавелина—«Взгляд на юридический быт древней Руси». С. М. Соловьев видит в древней русской истории два рода отношений: отношения родовые и отношения государственные. «Борьба отношений родовых с отношениями государственными составляет существенный характер древней русской истории» [1]). На заре исторической жизни господствует род. До XIII века можно наблюдать «господство родовых отношений при нераздельной родовой собственности». Род дробится на семьи, семьи опять соединяются в роды, и так беспрерывно течет жизнь. Но в определенный момент историческая жизнь передвинулась на север. Здесь «княжеские семьи не развились в роды». Князья захватили землю и стали ее хозяевами. Развитие частной собственности повлекло за собою распад родовых отношений, ибо «понятие об отдельной собственности исключило родовое единство». Меняется и характер междукняжеской борьбы. «История княжеских отношений распадается на два главных отдела: в первом от Рюрика до Андрея Боголюбского мы видим исключительное господство родовых отношений, а во втором, начиная с Боголюбского (и до падения Рюрикова династии. *П. С.*), является попытка сменить родовые отношения государственными, которые вступают в борьбу с родовыми и, наконец, торжествует над ними» [2]). Результат борьбы—победа государственного начала. Последнее и было венцом развития, ибо «только в государстве народ заявляет свое историческое существование, свою способность исторической жизни» [3]). От этого утверждения не уходит и Чичерин.

Несколько иначе рисуется древняя Русь Кавелину. Он начинает с того, что признает бесплодными прежние «теории русской истории» и неверными старые «взгляды» многих людей. Основная его цель, впрочем, как и Соловьева, состоит в необходимости «представить русскую историю, как развивающийся организм, живое целое, проникнутое одним духом, одними началами». Он видит в нашей истории «постепенное изменение форм, а не повторение их», видит самостоятельную жизнь, ибо «мы жили сами собой, развивались из самих себя». Как и Соловьев, он устанавливает господство родовых отношений в глубокой древности и считает их общим началом всех западных народов. Но если весь исторический процесс западно-европейских стран после разложения родового быта состоял в развитии личности, то древняя

---

[1]) С. М. Соловьев. „Ист. отн. кн. Рюрик. дома", 698, 1847 г.

[2]) С. М. Солозьез. История отношений кн. Рюрик. дома, IV.

[3]) Сборник „В. О. Ключезский. Характеристики и воспоминания", 66.

Русь, напротив, эволюционировала от рода к господству семьи и отдельной собственности. Однако кратковременен был этот период. «В чисто семейном быту наших предков лежали зачатки его будущего разрушения». Все сильнее сказывались противоречия между семьей и личностью. Разрешение противоречия дано было государством и господством личности после Петра Великого [1]).

С этого момента Россия входит в семью западно-европейских держав.

Довольно наглядно рисует развитие схемы юридической школы следующая табличка П. Милюкова [2]).

Соловьев	родов. отношения	—	государст. отношения.
Кавелин	род. и общ. влад.	семья и отдельн. собственность.	госуд. и личность.
Чичерин	остатки рода	гражд. о-во и личное начало	господство государств. начала.

Схема показывает, что у обоих предшественников Чичерина итог истории—государство. В нем исходный пункт всей последующей истории. Народ представляется Кавелину, как жидкая, пассивная масса—«калужское тесто»,—как говорил он, из которого власть лепила необходимые ей формы и фигуры. «На Западе все делалось снизу, а у нас сверху»—в этом все трое видят существенное отличие русской истории от истории западных народов.

Вырастание Чичерина из Соловьева, Кавелина и Грановского—несомненно. Но было бы глубоко ошибочным предположение, что Чичерин выступил только в роли комментатора и компилятора. Его концепция имеет самостоятельное значение. Она сложилась в известный исторический момент и выросла из насущных общественно-политических задач определенного класса. Но как социальное развитие страны подготовляет последующую историю ее, так, конечно, и идеи, в том числе и философско-исторические, вытекающие из этого развития, входят в железный инвентарь той или иной последующей, логически оформленной, теории.

С такой точки зрения мы и подойдем к Чичерину.

---

[1]) К. Д. Кавелин. Сочинения, т. I,—10, 14,20. Аналогичную мысль высказывал Велинский. „До Петра Великого в России развивалось начало семейственное и родовое, но не было и признаков развития личного“ (Сочинения, т. III, 774).

[2]) Русская Мысль. 1886 г., кн. 6, 90.

Что же он создал нового?

«Сообщить отысканной формуле русского исторического процесса философское выражение суждено было Чичерину» [1]).

Так вполне справедливо оценивает роль Чичерина П. Милюков.

Чичерин безусловно является самым крупным русским гегельянцем: большой ясный ум, неумолимая логика, широкое образование, активная общественно-политическая жизнь в эпоху великих реформ позволили ему твердо усвоить то «воззрение, глубокомысленнее которого не производила никогда человеческая мысль, и в котором охранительные начала и прогрессивные, суб'ективная свобода и об'ективный порядок жизни сочетаются в высшем философском синтезе» [2]). Таков отзыв самого Чичерина о гегелевской философии. В шутливой форме его увлечения последней метко выразил Жемчужников:

«В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я.
Все о нем, все о Гегеле
Моя дума—дворянская».

Именно Чичерин и давал буржуазно-дворянскую интерпретацию Гегеля. Революционный дух, всесокрушающая диалектика Гегеля для него остались книгой за семью печатями, хотя он и употребляет термин—«диалектический». Развитие без диалектики, перевороты без революции, конечное утверждение духа в буржуазном государстве—вот, собственно, идеалы Чичерина.

«При всем разнообразии явлений,—говорит он,—при всей видимой случайности событий, всемирная история представляет развитие единого духа, излагающего в ней свои определения» [3]). Цель всемирной истории осуществление свободы. В истории находят примирение об'ективный дух и человеческая свобода. В нравственном мире, возвышающемся над природой, царствует единое начало, хотя и отвергаемое механическим миросозерцанием, но составляющее «истинную природу человека. Это начало есть с в о б о д а. На нем зиждутся все истинно человеческие отношения: внутренняя свобода составляет условие всякой нравственности; внешняя свобода есть источник всякого права. Осуществление этого начала в человеческом общежитии составляет внутреннюю, движущую силу, или идею, руководящую всей исто-

---

[1]) Русская Мысль. 1886 г., кн. 6; 85.

[2]) Б. Н. Чичерин. Собственность и государство, т. II, 380.

[3]) Б. Н. Чичерин. Курс госуд. науки, т. II, стр. 357.

рией человечества»[1]). Развитие свободы достигает полного выражения в государстве.

Такова сущность истории.

Самый ее ход, построение человеческого общежития Чичерину представляются в виде последовательно сменяющихся трех ступеней развития. 1. Низшую ступень составляет союз естественный — семейство, которое в первоначальном единстве содержит все человеческие цели и обнимает всю человеческую жизнь. 2. Среднюю ступень образуют два противоположные союза: отвлеченно-общий и частный, церковь и гражданское общество, одна—стремящаяся обнять весь мир и выйти даже за пределы земного бытия, другое—стремящееся, напротив, к раздроблению на мелкие единицы. 3. Последнюю и высшую ступень составляет опять единый союз—государство, которое призвано об'единить всю человеческую жизнь, а потому заключает в себе все человеческие цели, но так, что оно не поглощает в себе все другие союзы, а оставляет им надлежащий простор, каждому в его сфере, подчиняя их только высшему общественному единству [2]).

Но каков же закон развития духа?

«Если первый шаг вперед состоит в выделении противоположностей из безразличной массы, то дальнейшее движение ведет к тому, что противоположности опять сводятся к высшему единству. Таков общий закон человеческого развития. Но это высшее единство водворяется не уничтожением противоположностей и не возвращением к первобытному безразличию, а вставлением между ними средних степеней, которые, связывая крайности, делают из них одно гармоническое целое» [3]). Основываясь на этом законе противоположностей и средостения между ними, Чичерин строит и схему процесса. Триада повторяется у него везде и во всем: и в общей схеме, и во взглядах на развитие общины. Род—гражданское общество—государство. Община родовая—община владельческая—община государственная.

Поставив своей целью теоретически обосновать мирные буржуазные реформы и опровергнуть неизбежность революции, Чичерин использует для этого историческую науку. Сражаясь против Маркса, он утверждает: «История показывает, однако, что за ниспровержением существующего всегда следует реакция, которая восстанавли-

---

[1]) Б. Н. Чичерин. Вопросы философии, 384.
[2]) Его же. Собственность и государство, т. II. 194.
[3]) Его же. Собственность и государство, т. I, 265.

вает связь с прошедшим. Прочно только то, что приготовлялось медленным историческим процессом и пустило глубокие корни в жизни. Всего менее на успех могут рассчитывать такие перевороты, которые подрывают то, чем человечество жило с самого начала своего существования, и внезапно поднимают на вершину то, что в течение веков. по самому существу общественных отношений, стояло внизу» [1]). Такое превратное толкование закона исторического развития не было и для Чичерина только чистой теорией, ибо он сам пытался сочетать данную теорию с политической практикой. В статье-письме против Герцена он с классической ясностью формулирует свою точку зрения. «Вы до такой степени забыли историю, что не видите в ней даже закона постепенности, проникающего все явления. С высокомерным презрением трактуете вы все средние формы и ступени, все посредствующие звенья исторической цепи. А между тем эти средние формы составляют жизнь обществ и народов; по ним совершается движение вперед. Их созидание составляет практическую задачу современной истории... Неужели же нам нужно напоминать вам, что всякий народ должен воспитаться для известной формы жизни, что история, как природа, не делает скачков? Случаются в ней внезапные перевороты, среди которых выплывают наружу самые крайние теории, но это дело временное, и, успокоившись, народ опять-таки возвращается на первую точку и продолжает свое шествие, медленно и постепенно, но зато уже неизбежно достигающее цели» [2]).

Дальше признания диалектики, как постепенного развития «без крайностей», Чичерин не пошел, ибо неизвращенное ее признание вынуждало к освящению исторических переворотов. Узаконение переворотов означало признание закономерности народной революции, а ее-то он и боялся пуще всего. Вот почему Чичерин предпринимает попытку ревизии самого понимания законов диалектики, установленных Гегелем. Принимая последнюю за «развитие системы определений чистой мысли» [3]), он считает нжным исправить «диалектическое здание Гегеля», ибо оно, якобы, ведет к неправильному пониманию закона развития. В этом пункте Чичерин отступает от Гегеля и неверно трактует определение диалектики и закона развития. Диалектика, по Гегелю, не есть «система «определений чистой мысли». Это универсаль-

---

[1]) Б. Чичерин. История политических учений, ч. V, стр. 190.
[2]) „Голоса из России", ч. I, 33, 34, 35.
[3]) Б. Н. Чичерин. История политич. учений, т. V, 574.

ный закон, в котором находит свое выражение и об'ективный мир и суб'ективный дух. Сам же закон развития по Чичерину представляется как механический процесс без борьбы противоположностей, которая заменяется «средними степенями». Таким образом, он логически приходит к формулировке закона постепенности, якобы, господствующего в истории в противоположность гегелевскому, признающего скачкообразное движение. То, что у Гегеля в истории является «пустыми страницами» (периоды счастья), у Чичерина составляет основное и существенное содержание процесса мировой истории. В итоге теоретической обработки Гегеля Чичерин вынимает из него революционную душу и сам диалектический метод, в выхолощенном виде, представляет, как закон постепенного, безболезненного развития.

Гегель же дал Чичерину и еще одну плодотворную мысль. Она заключается в признании, что все общественные явления развиваются в силу единого внутреннего начала, в них заключенного. Эверс подчеркнул этот факт. Его нужно было обобщить и сделать достоянием науки. В своей полемике с Беляевым Чичерин говорит, что теперь изучать русские начала необходимо. «Но что такое русские начала,—продолжает он,—это может открыться только из основательного изучения прошедшей жизни нашего народа, т.-е. науки, а наука русской жизни едва начинается..., ибо выводы, сделанные прежде исторической и фактической разработки предмета, принадлежат не к области науки, а к области воображения и заслуживают название вымыслов» [1]). И Чичерин разрабатывает свою схему процесса именно с точки зрения развития внутренних начал. «Мы видим внутреннюю струю жизни, в неудержимом стремлении протекающую из одной эпохи в другую и соединяющую их в одно живое целое; мы видим, что преобразование было только ответом на те задачи, которые были поставлены древней Россией, но которые последняя не в силах была разрешить сама собой... Внутренним процессом жизни, собственной деятельностью Россия вышла из своего особого быта» [2]).

Несомненно, что тот, кто стал на точку зрения развития, отсюда стал смотреть на историю—уже приблизился к истинной науке. И Чичерин неоднократно повторяет: «Чтобы понять суть учреждений, необходимо исследовать их происхождение, необходимо изучение историческое... задача его (историка) изучить то, что выработалось

---

[1]) Б. Н. Чичерин. Опыты. 141.

[2]) Там же, 388. (Речь идет о преобразованиях Петра I).

жизнью, наблюдать за постепенным ходом ее изменений, отыскивать причины того или другого явления» [1]).

Однако истинно научным методом является только материалистический, диалектический метод. Только материалистическое понимание истории делает ее наукой. Чичерин же едва только наметил переход от утопии к науке в русской историографии. Сам он был заклятым врагом материализма и до конца остался, если так можно выразиться, «юридически идеалистом». Это мировоззрение и дало ему возможность стать непререкаемым авторитетом для позднейших буржуазных правоведов. «Как философ,—говорит кн. Трубецкой.—он занимал видное место между нашими мыслителями идеалистического направления, среди которых он играл роль патриарха и старейшего представителя» [2]).

Уже при изложении чичеринской схемы и его теоретических воззрений было явственно заметно идеалистическое об'яснение процесса. О духовных началах, о сознании, о праве, о свободе Чичерин неустанно вопиет. «Владычество человека над материальным миром составляет бесспорно условие высшего духовного развития, но последнее не им определяется, а, напротив, именно духовное развитие дает человеку средства покорить природу и сделаться царем земли. Развитие свободы, которая составляет существенное содержание истории и которым определяется самый экономический быт, коренится не в материальных отношениях, а в человеческом самосознании» [3]). Он противится сближению истории с естествознанием, с природой, ибо последняя ему представляется низшей ступенью духа. Он упрекает Грановского за его преувеличенные надежды на вспомогательное значение естественных наук и считает, что в действительности «изумительные успехи естествознания в новейшее время ровно ничего не дали для истории» [4]). Причины идеального свойства—сознание свободы—лежали в освобождении крестьян, в отмене рабства в Америке. Бесправие привело к закрепощению. По причине неразвитости юридического сознания погиб Новгород. А именно оно (юридическое сознание) и есть выражение общественности. «Под влиянием тех же идей (западных, филисофских и экономических начал. *П. С.)* Александр I прекратил раздачу казенных крестьян, издал указ о свободных хлебопашцах. Но теоре-

---

[1]) Б. Н. Чичерин. Опыты. 4, 138.

[2]) Кн. Ев. Трубецкой. Б. Н. Чичерин, как поборник правды в праве. I.

[3]) Б. Н. Чичерин. История политич. учений, т. V, 226.

[4]) Его же. Вопросы философии, 382.

тические стремления были бессильны против практических потребностей русского общества» [1]). Последнее об'яснение противоречиво, но неизбежно тогда, когда не укладывается логически в процесс постепенного, безостановочного развития начал свободы.

В свете этих теоретических воззрений Чичерина и нужно подходить к его концепции русской истории.

Восприняв идеи и схему Гегеля, Чичерин подошел к русскому прошлому и наложил эту трехступенную схему на исторический процесс. Если начало и конец схемы были готовы до него, то вставив в нее недостающее среднее звено—«гражданское общество»—Чичерин увязал формулу и дал ей стройное логическое единство и философское обобщение в духе гегелевской философии истории. В этом его новизна и заслуга. Эта же философия позволила ему не просто утверждать, а логически доказать, что «дух русского народа выразился преимущественно в сознании государства», что «существенное значение нашей истории состоит в развитии государства» [2]). Или, как говорит Милюков, «Его fundamentum divisionis есть развитие одного юридического начала—государственности» [2]). Само «гражданское общество», как начало, противоположное государству, вставляется в схему процесса для логического выведения из истории этого последнего.

Но, как мы знаем, у Чичерина есть не только «гражданское общество» и «государство». У него есть и новая, непосредственно им формулированная, теория «закрепощения и раскрепощения».

И перед нами новые вопросы: Почему Чичерин выдвинул данную теорию? Каков ее классовый смысл? Кому и зачем она была нужна?

Ответ на них немыслим без знакомства с личностью историка. К нему мы и переходим.

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧИЧЕРИНА И КЛАССОВАЯ ПРИРОДА ТЕОРИИ

Биографические сведения, находящиеся в наших руках, рисуют только самые общие черты классового облика Чичерина. Родился он в 1828 году, умер в 1904 г. В продолжение долгой жизни он неустанно работал на общественном поприще и в области науки. Как ученый—он первостепенная величина своего времени. Широкое образование по-

---

[1]) Б. Н. Чичерин. Вопросы политики, 250.

зволило ему выступать и в качестве философа, и ученого юриста, и историка, и экономиста. Образование его простиралось, как говорит кн. Трубецкой, и в области естественных наук, главным образом химии. Его научная деятельность протекает сначала в Московском Университете, где он в течение 7 лет (с 1861 по 1868 г.г.) занимал кафедру государственного права, а потом в тиши барского дома села Караул, Кирсановского уезда, Тамбовской губернии.

Профессорская деятельность Чичерина в ее начале и конце протекала очень бурно. В 1861 году, он, как консервативный либерал, занимает ярко правую позицию и использует кафедру, как политическую трибуну. В 1862 году Чичерин дает свою подпись под запиской нескольких профессоров министру народного просвещения об университетских беспорядках. Записка носила явно реакционный характер и настаивала на необходимости установить полицейский надзор в Университете [1]). Правительство, как известно, не замедлило удовлетворить желание представителей «науки» и переусердствовало в такой мере, что тот же Чичерин в 1868 г. ушел в отставку, не желая согласиться на полное уничтожение университетской автономии [2]).

Писал он много. Его сочинения укладываются примерно в 20 солидных томов. Но Чичерин был не только ученый, он и талантливый публицист. Его статьи, собранные в книгах: «Несколько современных вопросов», «Вопросы политики», показывают нам лицо выдающегося, рьяного поборника классовых интересов буржуазно-предпринимательского дворянства, исключительно прямого и откровенного. Да иначе и не могло быть. Чичерин сравнительно крупный Тамбовский помещик и активный политический деятель [3]). В 1871 году он — директор Тамбовско-Саратовской железной дороги от Кирсановского земства. В 1882—83 году он—Московский городской голова. Большие связи с правительственными кругами—близкое знакомство с Победоносцевым,

---

[1]) Чтобы читатель хоть косвенно получил представление о содержании записки, приведем отзыв о ней одного „Читателя“ „Колокола“. „Читатель“ пишет, что „профессора логически пришли к последнему выводу теории историко-органического процесса, т.-е сделались жандармами“ (См. „Колокол“, 1862 г., №№ 126, 127, 128, 129).

[2]) Об этом конфликте можно прочесть в газете „Русские Ведомости“ за 1868 г., №№ 25, 29, 45, 46, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 74, 76.

[3]) В имениях Н. В. Чичерина (отец Б. Н.) было крестьян 1.257, дворовых 131. Из них: издельных тягол—435, оброчных—нет (см. приложение к трудам редакционных комиссий „Сведения о помещ. имениях“, т. III. Описание Тамбовской губ, 1860 г.).

личная известность императорам [1])—давали ему возможность быть в курсе государственной политики и вызывали с его стороны неизбежные попытки так или иначе влиять на ее ход. . Поэтому ознакомление с его политическими взглядами, с его практической деятельностью имеет для нас исключительный интерес и необходимо для выяснения его физиономии. Но его политическая платформа находится в прямой зависимости от теоретических воззрений на социальный вопрос. Их мы и коснемся.

Характеризуя личность Чичерина, в некрологе, посвященном ему, кн. Трубецкой говорит: «Он был поборником правды в праве» [2]). В этом он и видит «самое дорогое и ценное» в покойном. С другой стороны, вся его «философия права», его «политика» заключалась в учении о свободе и независимости человеческой личности. Правда состоит в разумной свободе всех. Эта же последняя и есть духовная сущность человека. Свобода, как отвлеченное начало, и составляет цель человеческого прогресса. Она есть «вечный элемент человеческого духа, без которого нет жизни, достойной человека [3]). Как же, однако, проявляется свобода в общественной жизни? Свобода состоит именно в том, что каждый сам хозяин своего лица и имущества. Каждый волен приобретать все, что ему заблагорассудится, и никто не может поставить преград, ибо преграда есть нарушение свободы. Границы свободы заключаются в ней самой. Из этого понятия свободы и человека, как разумного, свободного существа, и вытекает право собственности. «Собственность есть краеугольный камень всего гражданского порядка»... В ней лицо находит и точку опоры, и орудие, и цель для своей деятельности. Чем тверже эта точка опоры... тем крепче и самый, основанный на этих отношениях порядок... Все, что колеблет собственность, подрывает самые основы гражданского порядка»... «Если свобода состоит в свободе собственности, то она необходима ведет к неравенству... Материальное равенство равнозначительно с рабством; оно мыслимо только при полном подавлении человеческой свободы и всех личных особенностей» [4]). Оно есть не более, как фантазия, и в обществе нормально правовом немыслимо. Иное дело равен-

---

[1]) В 60 г. г. Чичерин был преподавателем цесаревича Николая Александровича, брата Александра III. Путешествовал вместе с ним и Победоносцевым по России (см. Витте „Воспоминания“, т. II—468).

[2]) Кн. Трубецкой. „Б. Н. Чичерин, как поборник правды в праве“—14.

[3]) Чичерин. „Истор. политических учений“, т. V—224.

[4]) Его же. „Собственность и государство“, т. I, 137, 141, 142, 529. 257.

ство гражданское. Оно правильно и допустимо. Чичерин согласен с определением равенства французской конституцией 1795 г.: «Равенство состоит в том, что закон один для всех...». Только равенство прав и составляет логическое следствие свободы; равенство материальное ее отрицает. Теория приводит Чичерина и к соответствующему пониманию государственной практики. В этом нетрудно убедиться, хотя бы из знакомства с его рассуждениями о налогах. «Нельзя использовать податную систему для уравнения состояний. Нельзя признать правильным прогрессивный налог... Общее правило, что налоги не должны падать на капитал. Подобный налог юридически несправедлив, а экономически вреден» [1]). Такое обложение стесняло бы частную инициативу, предприимчивость и задерживало бы прогресс. Нельзя стеснять человеческую индивидуальность, ибо «борьба против индивидуализма есть борьба против свободы» [2]). Нарушение же свободы ведет к упадку. В государстве промышленно-развитом неизбежно господствует свобода, ибо она есть средство движения вперед. «По всеобщему учению экономистов, по неизменному признанию всемирной практики, свободный труд один может дать настоящее развитие промышленным силам народа». И чем дальше идет развитие, тем с большей настоятельностью сказывается потребность свободы и отмены крепостного права. «Пусть протянутся по России огромные сети железных дорог; они сделают, если можно, еще более необходимым убеждение в несостоятельности крепостного права» [3]). Такое стеснение допустимо иногда только со стороны государства. Вообще принципом является неприкосновенность частной жизни и деятельности. Но зато «правомерность обложения труда не подлежит сомнению». Его можно осуществлять и прямо и посредством косвенных налогов. Сахар и табак являются роскошью, и если рабочие потребляют их, то уровень их жизни высок. Если же рабочим и плохо живется, то изменить этого нельзя, ибо государство не призвано заботиться об их судьбе. Свобода вообще имеет оборотную сторону, и с нею надо мириться. Одним словом, по мысли Чичерина выходит: кто может жить—живи, кто не может—мирись. Беднякам свобода только и показывается «оборотной стороной». В своих рассуждениях о рабочем вопросе Чичерин дает рабочим совет древнего философа: «Не смотри на тех, кому жить лучше тебя, а смотри на тех, кому хуже, и будешь

---

[1]) Б. Чичерин. „Собственность и Государство“, т. I, 260—267.
[2]) Там же, т. I, стр. 33.
[3]) „Атеней“ 1858 г. 491.

доволен своей судьбой». А практический рецепт: «Сберегайте больше и воздерживайтесь от несоразмерного со средствами размножения» [1]).

Читатель с первых слов понял, с кем имеет дело. Чичерин типичный буржуазный идеолог, стоящий на почве незыблемого капиталистического общества с его китами: свободой и равенством, частной инициативой и собственностью. В нем сказалось все лицемерие, вся ложь, на которую способна буржуазная наука. Принципы, завещанные реакционной буржуазией эпохи упадка Великой Французской революции, попом Мальтусом, лицемерным либералом Шульце-Деличем и всеми присными, вплоть до Бентама, нашли в Чичерине ревностного адепта и проповедника в отсталой России, только еще выходящей на дорогу к Бентамовскому раю.

После этого легко представить себе Чичерина в роли борца против социализма.

«Злоба дня состоит в борьбе с социализмом»,—писал Чичерин в записке Александру III 10 марта 1881 года. В нем он видит причину всех «зол», постигших Россию. С яростью глубоко убежденного и преданного началам буржуазной монархии ученого и публициста он набрасывается на все теории, несогласные с его мнениями. 11 апреля 1881 г. в письме к Победоносцеву, он пишет: «Если бы при вашем свидании с государем зашла речь о том, чтобы меня для чего-нибудь вызвать или куда-нибудь назначить, скажите, что я в настоящее время пишу сочинение против социализма и желал бы иметь месяцев шесть свободных, чтобы привести его к концу» [2]). Этим сочинением является двухтомное «Собственность и государство», вышедшее в 1882 г. Обещание свое Чичерин выполнил в срок, ибо 15 сентября 1881 года писал уже посвящение книги «Русскому юношеству». Борьбе с социализмом посвящены и его статьи о «Немецких социалистах». В полемическом задоре Чичерин даже толком и не понял, что понимать под социализмом. По социалистическому ведомству он зачислил всех, начиная с Маркса и Лассаля и кончая Родбертусом и кн. Васильчиковым. Характерной чертой Чичеринского понимания социализма является прежде всего его чудовищное извращение [3]). Социа-

---

[1]) Б. Чичерин. „Собственность и государство", т. II, 270, 123, 128, 129.

[2]) К. П. Победоносцев. Письма и записки, т. I, 123.

[3]) „Г. Чичерин—ученик Грановского, консервативный либерал или либеральный консерватор. У него есть два сильные умственные пристрастия. Одно положительное — к метафизике. Другое отрицательное — к социализму или, точнее, ко всему тому, что Чичерину кажется социализмом" (Струве. „На разные темы", 86).

тизмом ему представляется государственно-принудительная организация труда при капитализме, ибо иного социально-экономического строя он не знает и не исследует. В нем он видит государственную плетку, рабство личности, принудительно грубое равенство, казарму жестокую, бесчувственную, т.-е. начала, противоположные тем, которые он сам с такой любовью излагает в своих сочинениях.

Древний и утопический социализм XVI—XVIII в.в., по мнению Чичерина, был преходящим явлением. «Только теперь мечтания утопистов, попавшие на восприимчивую почву, разрослись в мировую теорию и породили требования, грозящие сокрушить весь существующий общественный строй» [1]). Изложив Марксово учение, Чичерин продолжает: «Как видно, тут дело идет ни более, ни менее, как о насильственном ниспровержении всего существующего общественного строя» [2]). Здоровый классовый инстинкт привел Чичерина к правильному пониманию значения социалистической теории. Но чем яснее представляются опасности, тем ожесточеннее должна быть борьба. И Чичерин призывает общество и государство, всех, кто не потерял разум и «чувство справедливости», всех, кому дорог прогресс, свобода, семейные начала, незыблемость собственности—на эту великую борьбу. Поймите, говорит он, что «отрицание собственности составляет самую сущность социализма», что «социализм уничтожает личную свободу во имя общественного начала», что социализм означает «умственный и нравственный хаос», что социализм—«равенство бесправия и нищеты», что социализм замедляет накопление капиталов, поражает труд, изобретательность, что «все теории социалистов клонятся к уничтожению домашнего очага», что «социализм ведет к всеобщему разорению» [3]). Социалисты—это прокрусты нашего времени. Едва ли может быть что-либо ужаснее, как обращение благосостояния частных лиц «в пользу владычествующей партии». А ведь, к этому ведет социализм,—вопит Чичерин. «Частное рабство, в сравнении с таким положением (социализмом. *П. С.),* может представляться завидным состоянием» [4]). Здесь крепостник перевешивает в Чичерине буржуа. Так велика классовая ненависть. «Из-за чего льются люди?»—недоуменно вопрошает сей ученый философ. «Чего хотят?». Ведь «освобождения» четвертого сословия, т.-е. пролетариата, о котором так много говорят,

---

[1]) Б. Н. Чичерин. „Собственность и государство", т. II, стр. 119.
[2]) „ Ист. пол. уч., ч. V,189—190.
[3]) „ „Собственность и государство", т. I, 124, 31, 408, 434; т. II 172.
[4]) „ „Собственность и государство", т, II, 121.

потому нельзя ожидать, что оно уже совершилось» [1]). В этой ясной фальсификации и обмане сказалась вся его классовая природа. Дальше господства дикой, косной буржуазии в союзе с помещиками, под диктатурою реакционной монархии Александра III, под священным покровом обер-прокурора Синода мракобеса Победоносцева Чичерин следовать не желает. Для него рабочее движение—нелепость и выдумка, для него социализм—рабство, для него социализм—варварство, упраздняющее науку, искусство, таланты и все священные основы порядка. А посему: бей негодяев!

Мы подошли к его политической физиономии, ибо вопрос, кого и как бить, есть вопрос политики и полиции.

«Тамбовский полу-крепостник»—так окрестил Чичерина М. Н. Покровский,—и на наш взгляд очень удачно, хотя немножко и полемически. В нем как бы сочетался весь полуживой, консервативный, трусливый русский либерализм. Недаром Чичерин и попадает в отцы «Союза 17 октября». А. И. Гучков через 1905 год протягивает руку либеральному консерватору или консервативному либералу Чичерину. Буржуазно-предпринимательское просвещенное дворянство в союзе со средним благонамеренным крепким сословием—такова желательная Чичерину социальная база самодержавной власти [2]). «Счастлив тот народ, в котором аристократия и горожане подают друг другу руки для общего дела» [3]). Но и в этом союзе первенство должно остаться за аристократией. Учиться управлять нужно под руководством. Никто больше дворянства не трудился на государственном

---

[1]) Чичерин. „Собственность и государство“, т. I, стр. 26.

[2]) В воспоминаниях 1886 г. Чичерин открыто высказывает свои симпатии к среднему дворянству. В эпоху, когда после 1825 г. началось „понижение общественного уровня“ и высшие слои погружались в раболепство и невежество, одно „среднее дворянство хранило в себе лучшие черты своего сословия. В Москве оно являлось в виде либеральных кружков, в провинции в виде независимых помещиков. Любовно описывает он свой идеал общественного человека. Это „русский барин с просвещенным умом, с непреклонной волей, с возвышенным характером, который в дальней степи устроил себе быт, способный удовлетворить образованного человека; здесь обитал дух, который ныне отлетел от русской земли. Повеет ли он когда-нибудь опять? („Русский Архив“ 1890 г., кн. IV, 520, 523. „Из моих воспоминаний“). Так в периоды безвременья и хозяйственного ущемления помещиков бросался в прошлое г. Чичерин.

[3]) Чичерин. „Собственность и государство“, т. II, 330.

поприще, ему Россия обязана многим. Особенно теперь, «после освобождения крестьян в эпоху Александра II, значение дворянства высоко» [1]). В этом Чичерин видит преимущество России. Управлять государством могут только высшие классы. Но не нужно из них делать исключительного сословия. Сохранить их суверенность можно и другим путем, а именно, введением ценза. «Ценз имеет то громадное значение, что он доставляет преобладание высшим, более образованным классам» [2]). И Чичерин предлагает дворянству открыть доступ в свою среду всем, имеющим примерно 500 десятин земли и прошедшим курс университета. Это достаточная гарантия. В то же время он и против дарования прав женщинам. Они, как неспособные, не могут разбираться в политических делах. «Допущение женщин в университеты есть уже совершенное искажение университетов» [3]). Не нужно шутить и с политической свободой. Не все могут разумно пользоваться ею. «Менее всего она доступна народу, только что выходящему из подчинения, едва начинающему становиться на собственные ноги» [4]). А таков русский народ. Ему нужно разумное, твердое руководство, а не свобода. Поэтому для дворянства лучше всего на время сохранить общинное владение. «Этим способом масса крестьянства удерживается на таком уровне, который устраняет всякое соперничество» [5]). Но только на время, ибо иначе затормозится развитие России. Как только организуется здоровое (буржуазное. *П. С.)* ядро дворянства, так можно будет допустить иные начала. Чтобы безболезненнее пережить период преобразований, дать отпор всем злонамеренным теориям и людям, лучше всего сохранить монархический образ правления. «Монарх представляет непоколебимый центр, охраняющий интересы не той или иной только части, а всего государства, которое в нем и сознает себя. как единое тело» [6]). Вот почему, хоть я и «люблю свободные учреждения, но не считаю их приложимыми всегда и везде и предпочитаю честное самодержавие несостоятельному представительству» [7]). Какое самоотречение во имя общего блага!

---

1) Чичерин. „Вопросы политики", стр. 9.
2) Его же. „Русское дворянство", стр. 26.
3) Его же. „Несколько современных вопросов", стр. 70.
4) Его же. „О народном представительстве", 5, 3.
5) Его же. „Вопросы политики", стр. 231.
6) Его же. „Собственность и государство", II, стр. 358.
7) Его же. „О народном представительстве", предисловие. XIX.

Понятно поэтому, что и демократию он громит с неменьшей злобой, нежели социализм. «Ваша демократия ложная»,—бросает он социалистам. Наша истинна. Мы только за равенство гражданское, а вы за хозяйственное. Это «ложная демократия утверждает, что свобода для низших классов не имеет значения, что им нужно равенство имущественное» [1]). «Ну, разве это не утопия?»—в досаде вопрошает Чичерин? Но не забудем, что еще Чернышевский имел суждение о демократии Чичерина. «Демократия, готовая скорее согласиться на оправдание феодализма, нежели на его порицание, либерализм, состоящий в пристрастии к бюрократии» [2])—таков Чичерин. Немудрено, что даже кн. Трубецкой должен был признать его излишнюю «односторонность в отношении к демократическим тенденциям века и к новейшим социалистическим учениям» [3]).

И все-таки здесь не все. Наиболее ярко рисуется фигура Чичерина по записке его Александру III от 10 марта 1881 года, выше уже упоминаемой и озаглавленной: «Задачи нового царствования». В ней целая программа. Мы считаем ее столь интересной, что, рискуя расширить статью, не соблюсти требуемой пропорциональности, не можем, все-таки, удержаться от желания привести несколько цитат из нее.

Записка [4]) писалась неделю спустя после убийства Александра II. Немудрено, что Чичерин в ужасе и трепете от смерти «благодетеля своего народа», павшего от рук «злодеев». Кругом хаос и шатание, зло распространяет свои корни.

Чичерин ставит диагноз болезни общества и ищет лекарство.

Где причины зла?

«Многие приписывают печальное состояние русского общества тем реакционным стремлениям, которые в последнюю половину прошедшего царствования получили перевес в правительственных сферах и которые повели будто бы к искажению преобразований. Такой упрек обличает только крайне поверхностный взгляд на вещи». Почему? Да потому, что «в общем итоге нет ни одного преобразования, которое подверглось бы серьезному искажению... Державная рука, их совершившая, хранила их, как свое детище». Мы-то знаем, как «хра-

---

[1]) Чичерин. „Вопросы политики", 149.

[2]) Н. Г. Чернышевский. Собр. соч., т. IV, стр. 483.

„Либерализму Чичерина чужд всякий демократизм; он никогда не сделал ни одной уступки народничеству"... Он всегда с большим ожесточением бил налево, чем направо" (Струве. „На разные темы", 94, 96).

[3]) Кн. Трубецкой. Б. Н. Чичерин, как поборник правды в праве.—14.

[4]) К. П. Победоносцев. „Письма и записки", т. I, стр. 104.

нила» их державная рука! Но, даже если и есть гнет, продолжает Чичерин, то он же не велик: «существующие стеснения имеют для России не более значения, как булавочные уколы на коже кита». Сравнение образное, нечего и говорить, но фальшивое. Кто не знает гонений земства, виселицу народовольцев, кабалу крестьян и т. д. и т. п.? А если и принимались «чрезвычайные меры», то опять же они вызывались «террором, исходящим не от правительства, а из недр самого общества»...

Первая задача выполнена: реакция 80 г.г. реабилитирована!

«Причины зла кроются глубже; они заключаются в самом состоянии русского общества и в той быстроте, с какой совершились в нем преобразования».

Вторая задача выполнена! Прогрессивные реформы признаны поспешными и осуждены.

«К довершению беды, преобразования совершались в такую пору, когда наша учительница на пути гражданского развития—Западная Европа—вместе с великими началами, легшими в основание преобразований... принесла нам и смуту. И там происходит кризис и в умственной и в политической области: идет борьба между капиталом и трудом, материалистические учения обуревают умы, а дикие страсти, волнующие народные массы, стремятся к ниспровержению всех коренных основ, которыми держится человеческое общежитие. Мудрено ли, что эти смутные идеи, проникая в невежественную среду и находя восприимчивую почву в бродячих элементах, разнузданных общественным переворотом, окончательно сбивают с толку неприготовленные умы и производят те безобразные явления, которые приводят нас в ужас и негодование. Вот где кроются причины зла».

Выходит: быстрота преобразований — первая. Социализм — вторая.

Где же искать лекарства против зла?

«Лекарство не заключается в прославляемой ныне свободе печати... В России периодическая печать, в огромном большинстве своих представителей, явилась элементом разлагающим. Она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых... В ней... всюду прорываются социалистические стремления... Она составляет самое больное место русского общества...

«Еще менее лекарство заключается в удовлетворении так называемых требований молодежи...

«Лекарство не заключается и в возвращении политических ссыльных, в отмене чрезвычайных мер и в восстановлении законного порядка»... «Лекарство не лежит и в административных реформах, касающихся местного управления» [1])... «Лекарство не заключается и в улучшении хозяйственного быта крестьян».

Так в чем же тогда?

«А в том, чтобы улучшить хозяйство на местах, а для этого единственной, разумной мерой было бы довершение освобождения русского крестьянства, освобождение его от общины и круговой поруки присвоением ему в собственность той земли, на которую он имеет неотъемлемое право, ибо он покупает ее на свои трудовые деньги».

Здесь Чичерин хватил за 25 лет вперед. Столыпинщина им и тогда уже предвиделась. Община не устоит против чародейки-свободы. Дальнозоркости его нужно воздать должную справедливость.

Все иные меры: уравнение податей, политические права, нецелесообразны.

И когда автор переходит к положительной части программы, то, прежде всего устанавливает, что «правительство, разобщенное с землей, бесплодно. От прочной их связи зависит вся будущность русского государства».

А поэтому нужно:

Решительно, всеми мерами репрессий одолеть «отребье рода человеческого» (т.-е. социалистов. *П. С.)*.

Но как?

«Самые орудия власти износились». Стало быть, нужна поддержка. «Даст эту поддержку призванная к совету земля». Но это не парламент. Нет. «Эта цель может быть достигнута приобщением выборных от дворянства и земства к государственному совету».

«Итак, — резюмирует программу М. Н. Покровский, — 1) самодержавие, как орган буржуазной диктатуры в борьбе с социализ-

---

[1]) Здесь Чичерин не только писал, но и действовал. Кирсановское уездное земское собрание, где Чичерин несомненно был primus inter pares вынесло решение, что всякое коренное изменение в местном управлении считает нежелательным и вредным, а стремление к общей ломке столь недавно установленного порядка положительно опасным.

(См. прилож. к письму от 11 мая 1881 г., стр. 124).

Это находится в прямой связи с таким заявлением Чичерина: „консервативное направление, к которому я принадлежу... воспрещает всякую бесполезную... и вредную ломку".

(См. „Вопросы политики", стр. 31).

мом»—вот платформа одного из лидеров русского либерализма, непосредственного предшественника «Союза 17 октября».

Рационально организованное сельское хозяйство, развитая промышленность и торговля, господство дворянства и крепкого среднего сословия, разумная свобода без демократии, под эгидой священной самодержавной власти — такова программа Чичерина.

Конституционная монархия рисуется в ней, как далекий заманчивый образ.

Теперь мы начинаем понимать, зачем нужна была Чичерину его схема русской истории. Но только в одной части. Другой мы не поймем, если не ознакомимся с поведением Чичерина в годы крестьянской реформы 1861 г.

Конец Крымской войны стал началом подготовки крестьянской реформы. Иного пути для России не было, что и сознавалось всеми более или менее дальновидными и деловыми людьми дворянства. «Дело освобождения крестьян—наш якорь спасения»,—писал один из них—Кавелин [1]). Косность отдельных зубров в конечном счете помешать ходу дела не могла. Вопрос стоял не в том: проводить реформу или нет, а в том, как проводить.

Хранители самодержавия—вернее единодержавия—помнили пророчество гр. Уварова, николаевского министра народного просвещения, о том, что самодержавие и крепостное право—одно начало. Из факта отмены крепостного права проистекала как бы непосредственная угроза самодержавию. Задача заключалась, таким образом, в том, чтобы провести реформу и сохранить самодержавие. Разрешить ее помогло «общество», т.-е. дворянство, ибо его интересы лежали в основе правительственной политики.

Речь шла о том, чтобы мирно и тихо обобрать мужика: отнять часть лучших земель, взять выкуп, привязать крестьянина к себе в виде батрака. Что мужик будет сопротивляться такому бесцеремонному обдирательству, тоже предвиделось. Удовлетворить интересы дворянства, торгового и промышленного капитала под эгидой самодержавия—вот, в сущности, программа деловых кругов, ведших реформу. Локализовать сопротивление крестьян—дело власти.

Но нужно было и спешить, ибо оппозиционные настроения разрастались. Общество зашевелилось. Дело дошло до попыток напомнить о «конституции», хотя бы и в кавычках. Мы имеем в виду адрес «5» во главе с Унковским и записку Безобразова. Гнев царя был велик

---

[1]) „Всемирный Вестник“ 1905 г. № 3, стр. 25, ст. Батуринского.

тем более, что реальная угроза крестьянской революции маячила перед глазами и сжимала сердце «освободителя».

Не забудем, что еще Погодин писал однажды, что для России страшен не Мирабо, Ледрю-Роллен и Маццини, а Пугачев, Разин и Никита Пустосвят.

Теперь эти слова невольно приходили в голову, ибо деревня волновалась. Правительство стращали «топором» и «гневом народным». «В деревне становится неловко», — писал Герцен в «Крещенной собственности». «Крестьяне посматривают угрюмо. Дворяне меньше слушаются. Всякие вести бродят. Там-то помещика с семьей сожгли, там-то убили другого цепами и вилами, там-то приказчика задушили бабы в поле, там-то камергера высекли розгами и взяли подписку молчать».

Действительно, кое-кому жутко становилось. «Читаешь Токвиля. и дрожь пробегает по жилам. Формула русской истории страшно как напоминает формулу французскую» [1]).

Эти слова принадлежат знакомому нам историку Кавелину, несомненному другу и единомышленнику Чичерина. А тут как на трех Герцен счел нужным еще напомнить, что «если ни правительство, ни помещики ничего не сделают, *сделает топор*. Пусть и государь знает, что от него зависит, чтобы русский крестьянин не вынимал его (топора) из-за своего кушака». После таких слов только немногие смельчаки чувствовали себя спокойно. А всякий тамбовский, курский, рязанский помещик со страху покоя не находил. В такой обстановке разговоры о реформах и конституции, а тем более фрондирование против царской власти казалось им политическим святотатством и безтактностью. И когда Герцен принимался усовещевать дворян, говоря, что «больно, если освобождение выйдет из Зимнего дворца, власть царская оправдается перед народом и, раздавивши вас, сильнее укрепит свое самовластие» — его никто не слушал. «Дескать, не обманешь. Да разве мыслимо такое дело без царя, без власти совершить?». Право было дворянство. Правильно понятые классовые интересы толкали его к правительству, а не к Герцену. Журналисты, чего доброго, и до революции доведут. В конце концов и сам Герцен обратил взор надежды на царя. Так сильна была вера в его «державную руку».

В эти-то годы выступил Чичерин. В 1856 г. начал, а в 1858 г. закончил свое философское обоснование русского исторического процесса. Сам он помещик, жил в своем селе Караул. и признак то-

---

[1]) М. Н. Покровский. Русская история. т. IV, стр. 76.

пора чужд ему, конечно, не был. Классовые интересы дворянства и вся будущность России рисовалась ему в такой же перспективе, как и всем правым либералам. Земля, деньги и царь, как их хранитель от мужицкой «жадности». Но царь не крепостник, а царь-буржуа, царь-носитель «прогресса свободы и разума». Кто против намеченной программы реформ, тот злодей, тот посягатель на «коренные основы гражданского порядка».

И вот Чичерин первым из русского «общества» набрасывается на Герцена за его политическую бестактность.

«Вспомните значение и характер той эпохи, в которой мы живем,—пишет он.—В России после Севастопольского разгрома, после бедствий последней войны, старая система управления рушилась сама собой. Стало очевидным, что прежним путем итти невозможно, что общее дело не может обойтись без содействия всех живых сил народа... И что же мы от вас слышим? Мы слышим от вас не слово разума, а слово страсти...

«У нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, согласить враждебные интересы, развязать вековые узы, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой.

«На каждом из нас, на самых незаметных деталях лежит священная обязанность беречь свое гражданское достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли вы поступаете, вы, которому ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы в праве это спросить у вас, и какой дадите вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; вы сами, стоя на другом берегу, с спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и топор...

«Палка сверху—и топор снизу—вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти...

«Ведь вы, надеюсь, не воображаете, что освобождение крестьян дело такое же легкое, как написать статейку в «Колоколе»... Нужно терпение, чтобы дать преобразованию мирный и законный

исход»[1]). Не шуметь, не взывать к дикой страсти мы должны. Не тешить себя совещательными представительствами и земством. Оно принесет только «хаос». Нет, забыв частные сетования, мы должны поддерживать власть. «Глубокие преобразования, для которых время приспело, всего легче совершаются неограниченною властью, стоящей выше общественных страстей и способною воздержать ожесточение борьбы»[2]). Верьте власти, ибо всегда «монархия выдвигалась, как спасительница погибающего общества»[3]).

И теперь, в момент реформы, Чичерин видит единственную надежную гарантию в крепкой власти и для обоснования своей мысли ссылается на русскую историю.

«Отличительная черта русской истории, в сравнении с историей других европейских народов, состоит в преобладании начала власти... И теперь еще этот характер не изменился: правительству принадлежит инициатива и исполнение тех великих преобразований, которые составляют честь и славу нашего века»...

И, если теперь мы чувствуем стремление к свободе, то нельзя ничего возразить против него. «Но это стремление, плод созревшей мысли, не должно ставиться вразрез с тысячелетней историей отечества; новая сила не должна явиться враждебной той, которая руководила нами до сих пор. Особенно в настоящем кризисе, при тех реформах, которые совершаются, при той незрелости, которою мы страдаем, при том брожении, которое господствует в обществе, сильная власть нужнее, нежели когда-либо. Она должна размножаться, явиться на всех концах, во всех углах России»[4])...

Теперь мы имеем и последний ключ к философии истории Чичерина.

Подведем итоги.

В лице Чичерина мы имеем крупнейшего представителя буржуазной идеологии России эпохи развивающегося капитализма, еще не вышедшего из стадии первоначального накопления, эпохи, когда форми-

---

[1]) Чичерин. „Неск. совр. вопр.", стр 11 — 15.

Статья Чичерина была так консервативна, что Никитенко в своем „Дневнике" от 8 января 1859 г. записал: „Она как бы оправдывает крутые меры и вызывает их" (см. Никитенко „Записки в Дневнике", т. 1, стр. 523, изд. 2-е). А в протесте общественных деятелей, редактированном Кавелиным, явно указывается, что Чичеринские „намеки" демагогичны и представляют „поживу Паниным с компанией" (Всемирный Вестник 1905 г., № 3, стр. 21 — 25).

[2]) Чичерин. „Собственность и государство", т. II, стр. 336.

[3]) Там же, стр. 359.

[4]) Чичерин. Неск. совр. вопр. 166 — 167.

ровался на основе компромисса союз торгового и промышленного капитализма. Вступление буржуазии на поприще государственной жизни было отмечено громким протестом развивающегося русского социализма, просыпающегося рабочего класса. Бурный именинный восторг рыцарей буржуазного разбоя неожиданно был заглушен грозным рокотом надвигающейся рабоче-крестьянской революции. В сердца передовых глашатаев принципов «свободы и равенства» на словах и буржуазного обмана и кровавого насилия над угнетенными классами на деле запала тревога за прочность будущего. Явилась жгучая классовая потребность сохранить непоколебимым установленный порядок. В глазах господствующего класса воплощением охранительных начал, «консервативного либерализма» и «законного» порядка является самодержавие. Именно в нем и персонифицируется буржуазно-помещичья диктатура. С лепетом о сильной власти родилась русская буржуазия, с беззубым шамканием о ее священном, провиденциальном предназначении она и умерла. Не менее ясно представляло и дворянство свой жизненный круг: с самодержавием оно вышло из недр старого феодального общества, с ним оно и уйдет в преисподнюю человеческой истории. Жизнь самодержавия—его жизнь, смерть самодержавия—его смерть. Всякий удар по правящей плутократии—удар и по его землям, по его благосостоянию. Незыблемый трон гарантировал господство золота и кулака.

Обманная проповедь начал свободы и фиктивного равенства должна была предохранить верховную власть от упреков в классовой корысти. Поэтому в этой среде господствующих крепостников и консерваторов рождается теория внеклассового самодержавного государства, мудро устрояющего жизнь подвластных, всем воздающего «по делам его» и охраняющего только общее благо, общие интересы. Кровавые расправы, кнут и виселица, невиданный азиатский гнет и эксплоатация оправдывались абстрактными формулами «общего блага» и неисповедимостью путей издревле существующих начал самодержавия.

Впервые теорию «внеклассового» самодержавия выдвинул идеолог торгового капитала и крепостничества Карамзин. Вслед за ним ее усиленно повторяли крепостники 30 и 40 г.г. для оправдания крестьянского рабства. «Власть священна, она даровала нам, помещикам, право над крестьянами в общих интересах. Поэтому и само крепостное право незыблемо» — вот формула крепостнической «внеклассовости» самодержавия.

Но развитие шло вперед. На историческую авансцену пробивалась дворянская и торгово-промышленная буржуазия. Ее классовые инте-

ресы так же не простирались дальше защиты самодержавия; ее идеалы целиком упирались в буржуазную монархию. Поэтому старая теория только в модернизированном виде вполне удовлетворяла и новых господ общественного положения.

Автором, обновившим ее, и явился Чичерин. От него ведут родословную все последующие консерваторы, либералы и оппортунисты—все корыстные и бесчестные, все бескорыстные и честные, все сознательные и бессознательные защитники капиталистического господства—по ведомству историографии. Вооруженный передовой мыслью буржуазной общественной науки—идеалистической философией Гегеля, уже имеющей зачатки научности, исключительно трезво и правильно понимающий классовые интересы, Чичерин и явился наиболее подготовленным к историко-философскому обоснованию непоколебимого владычества своего класса.

С передовой частью своего класса он проделал сложную политическую эволюцию.

Как выдающийся гегельянец—метафизик, либерал-доктринер—манчестерец, в своих теоретических воззрениях Чичерин пребыл тверд и неизменен до самой смерти.

В «Очерках Англии и Франции» 1857 г., «Народном представительстве» 1866 г. «История политических учений» 60—70 г.г., «Собственности и государстве» 1882 г., «Курсе государственной науки» 1870 г.г., и, наконец, «Вопросах философии» 1904 г. Чичерин остается самим собой. Он адоптирует и проповедует гегельянскую философию в своей интерпретации и борется против материализма, прославляет свободу, разум, прогресс, как основные устои капиталистического строя; отвергая всякие намеки на целесообраность социализма, рьяно провозглашает гражданское равенство. Как в 60, так и в 90 г.г. он в своей статье о Грановском, названной г. Струве «обращением к прошлому», взывает к выходу «из мутного потока реалистической пропаганды и безобразных утверждений экономического материализма» [1]). В то же время он против и «пошлого реакционного подобострастия», возводящего в «идеал под знаменем патротизма древне-русское холопство» [2]). Он р у с с к и й либерал. Он принадлежит к той «многочисленной на Руси категории либералов, которая характеризуется крайней отвлеченностью ее политических воззрений... Тяжелое психологическое состояние тесно связано у них с полным пре-

---

[1]) Чичерин. „Вопросы философии" — 373.

[2]) Там же, 373.

обладанием идеализма в их социологических воззрениях. Чувства и понятия людей, с одной стороны, и политические учреждения с другой—исчерпывают собою, по их мнению, все главнейшие пружины общественного развития... Находясь под влиянием Гегелевской философии, они, тем не менее, никак не могут возвыситься до диалектической точки зрения на русскую общественную жизнь»... Русское рабочее движение для него нелепая и смешная басня, и он думает, что социалистическая пропаганда может только усилить реакцию [1]).

С годами замерзал отвлеченный теоретизм Чичерина. Формулы старинного манчестерства, еще полуживые в «Очерках Англии и Франции», становились окоченелыми в «Курсе государственной науки». Не было прежней бодрости, уверенности в будущем. Старая теория не приносила успокоения. «Московский боец Чичерин», как назвал его князь Вяземский в 1858 г. в письме к Погодину, превратился в патриарха Чичерина, умного и просвещенного, но живущего в прошлом, пессимиста.

Если мы в нисходящем порядке пойдем от «России накануне XX столетия» и «Вопросов политики» через записку Александру III к «Нескольким современным вопросам» и «Письму к издателю»—мы окажемся у колыбели политического мировоззрения тогдашнего «бойца».

В эпоху «освобождения» крестьян Чичерин поместился на правом фланге прогрессивного блока русского общества с левой стороны, но рядом с Николаем Милютиным.

Свою политическую деятельность он начал в 1856 году думами об освобождении крестьян без потрясения всего общества и мечтами о свободе совести с ослаблением цензуры, готовностью «столпиться около всякого сколько-нибудь либерального правительства и поддерживать его всеми силами» [2]). Был доволен своим консервативным постоянством и величался неизменностью образа мыслей [3]).

---

[1]) Г. В. Плеханов. „Сочиненія", т. XII, 183 — 184.

[2]) „Голоса из России", ч. I. 10 — 43. „Письмо к Издателю Колокола".

[3]) См. „Всемирный Вестник", № 3, 1905 г. Письмо Кавелина к Герцену от 21 августа 1859 г.

Напомним читателю следующую характеристику Чичерина со стороны Кавелина.

„Ты меня сравниваешь с Ч. Если б ты не был раздражен против меня, я мог бы обидеться этим сравнением. Скажи, ради бога, что же общего

Ратовал в «Атенее» за освобождение постепенное, с переходным состоянием и выкупом. Потом он в «Нашем Времени» Н. Ф. Павлова полемизировал с «Современной Летописью» и «Русским Вестником». Он отстаивал *против* Каткова сословный строй, аргументируя от «реалистического консерватизма» с либеральным оттенком. Дворянство представлялось ему верхом политически-общественного совершенства; земство—хаосом; либеральное направление—«уличным либерализмом», а передовая публицистика—«литературным казачеством». Он считал необыкновенно смелой реформой введение всеобщей воинской повинности, а о суде присяжных и не мечтал. Сторонник положительного права, «юридический позитивист», он приходится по вкусу придворно-бюрократическим кругам» [1]). Боролся с Герценом и приветствовал «державного освободителя». Проповедывал независимость науки и просил у правительства жандармов против студентов. Когда полицейский порядок стал слишком нетерпим для его «теоретически-либеральных воззрений» ученого юриста, тогда он ушел в отставку.

В 70—80 годы—годы расцвета народничества, появления идей марксизма в России, возникновения первых рабочих и марксистских организаций—Чичерин передовой боец в фаланге реакционных историков и публицистов. Он борется с социализмом, проповедуя капитализм. Он стоит на почве «великих реформ» и оправдывает все их нарушения. Он прославляет 60 годы и приветствует 80. Славословит

между этой четырехугольной башкой и мною! Этот болван хочет ждать для уничтожения привиллегий дворянства, пока у нас будет среднее сословие. Против студентов он просил у правительства на помощь жандармов Где же, когда же я высказывал что-нибудь подобное, не в словах, а в самых принципах?" (В письме к Герцену от 1862 г. 30 мая 11 июня).

[1]) Герцен пишет, что после статьи в „Колоколе" (выше мы ее подробно цитировали), возмутившей публику, на стороне Чичерина стали: Елена Павловна, Тимашев, Начальник III отделения... (т. II, 492).

Приводим за одно и Герценовскую характеристику Чичерина, она великолепна по яркости и правдивости. „Осенью 1858 г. приехал в Лондон Чичерин. Мы его ждали с нетерпением; некогда один из любимых учеников Грановского, друг Корша и К., он для нас представлял близкого человека. Слышали мы и о его жестокостях, о консервативных веллеитетах, о безмерном самолюбии и доктринаризме, но он еще был молод.

....Он подходил не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свет его глаз был холоден, в тембре голоса был вызов и страшная, отталкивающая самоуверенность. С первых слов я понял, что это не противник, а враг... С первых дней начался спор, по которому ясно было, что мы расходимся во всем. Он был почитатель французского демократического строя

разумную «свободу» и призывает полицию уничтожать социалистов и демократию.

Но шло время. За 1881 годом последовал 1886 и 1889 г.г. Реакция давно забыла всякие начала «охранительного либерализма» и «совет земли» Чичерина. Аграрный кризис все больнее бил по русскому помещику. Перспективы не рисовались в светлых розовых тонах. Прежний боец впадает в меланхолическое настроение. Он грустит о прошлом. Нынешний век—«век возрождающего благосостояния среди все возрастающей пошлости» (un bien être croissant au milieu d'une croissante vulgarité) [1]). Общий уровень понизился. Причины понижения «заключаются во всем строе современных обществ, в господстве реализма, демократии и журналистики». Старое просвещенное дворянство рождало таланты. Теперь их нет. Много техников, но мало мыслящих людей. Реформа пошатнула общество от реакции к «воинствующему оппозиционному либерализму». Ему противостала грубая реакция, «возникла проповедь всеобщего холопства, палки и кулака».

«Бедная Россия! Того ли чаяли благороднейшие ее сыны, когда они работали для будущего! И в таком положении, когда ни сверху, ни снизу не видит ни единого луча света, который пробивался бы сквозь окружающий нас мрак, среди умственного запустения и расшатанных материальных основ, среди бюрократической мертвечины и журнального верхоглядства, среди социал-демократических бредней и реакционной наглости, что остается русскому человеку, у которого сердце болеет за отечество, как не обратиться с лю-

---

и имел нелюбовь к английской, неприведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедывал сильное государство и ничтожность мира перед ним. Можно понять, что были эти мысли в приложении к русскому вопросу. Он был гувернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России. Все это учение шло у него из целого догматического построения, из которого он мог всегда и тотчас выводить свою философию бюрократии...

„Зачем вы хотите быть профессором, — спрашивал я его,—и ищете кафедру? Вы должны быть министром и носить портфель“ (А. И. Герцен. Соч., т. II — 490 — 491 изд. Павленкова 1905 г.).

И. С. Аксаков, в письме к Блудовой от 1 — 2 марта 1862 г. писал: „В Петербурге о нем говорили, как о le grand Чичерин. Я его нахожу весьма вредным для общественного порядка потому, что, отстаивая существующий порядок, он отстаивает беспорядок, и явится чем-то в роде адвоката—avocat des causes perdues. („Ив. Серг. Аксаков в его письмах“, ч. II, т. 4. СПБ. 1896 — 224).

[1]) „Русский Архив“ 1890, кн. 4, 523. „Из моих воспоминаний“.

бовью к прошлому и воскресить себе образы людей, каких некогда производила русская земля»[1]).

То были образы просвещенного барства и милой русской старины. И Чичерин вопрошает с тоскою: «Повеет ли опять старый дух, отлетевший от русской земли»?

А жизнь отвечала: «Нет, не повеет».

Старый барин, несмотря на ученость, не понял духа времени, не понял происходящей борьбы классов, противоположностей. И не поняв, не мирился с крайними односторонностями, безнадежно и тщетно взывая к разуму и свободе.

От сголтелой защиты полу-реакционных реформ 60 г.г., через беспредметную печаль и поиски политической правды, от обращения к прошлому, Чичерин превращается постепенно в политического либерала 90 г.г.

Его последнее политическое «Credo», изложенное в анонимной брошюре 1900 г. «Россия накануне XX столетия», составляет требование конституционной монархии. Весь очерк представляет обвинительный акт, но уже не Герцену, как в 1858 году, а самодержавному правительству. Чичерин превозносит реформы Александра II и горько оплакивает контр-реформы Александра III.

Констатируя глубокий хозяйственный кризис, он приписывает вину за него правительству, «поразившему основы народного благосостояния». Искоренение зла—в освобождении от уз и оков «трудолюбивого промышленного народа».

Он защищает гражданскую свободу, требует равноправия для евреев, конституцию для Финляндии, независимость для Польши, национальной свободы для Остзейского края.

Существующее законодательство о евреях есть, по мнению Чичерина, пережиток средневековых воззрений, и гонение на них представляет «возмутительное явление русской жизни XIX столетия».

Уничтожение самостоятельности Польши—крупная политическая ошибка. Руссификация Остзейского края—нарушение принципов элементарной человеческой свободы.

Уничтожение финляндской конституции—деспотический, политически-вредный акт, грозящий большими осложнениями, вплоть до отпада Финляндии[2]).

---

[1]) Там же 527, 525.

[2]) См. также Чичерин. „Курс гос. науки". Ч. III, 467—469, и Витте „Воспоминания", т. I.

Анализируя общественную жизнь и правительственную деятельность, Чичерин не находит просвета.

«Что сталось с тем под'емом духа, с теми великими надеждами, с которыми оно встретило преобразования царя-освободителя? Все это разлетелось в прах.

Попрежнему Россия, как и в дореформенное время,

«Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна».

Бедная Россия» [1]).

Пессимистическая оценка политического положения России приводит автора к ново-либеральной философии самодержавия.

«Монархия есть одно из великих начал истории, но надобно, чтобы она была способна принимать различные формы, сообразно с потребностями развития, а не коснела на одной ступени, пригодная только для младенческого общества. С развитием народной жизни неограниченная монархия должна перейти в ограниченную, тогда только она может остаться ее центром» [2]).

Упразднение крепостного права явилось первой предпосылкой ограничения монархии. Дарование гражданской свободы—второй.

Исторически неизбежная политическая свобода и законный порядок не могут осуществиться без ограничения самодержавия. Само ограничение мыслится Чичериным не в форме парламента, о котором «не может быть и речи», а в форме земского представительства, облеченного, однако, правами. Требуется созвать в столицу собрание выборных по 2—3 человека из губернских земств и дать им обсуждение законов и бюджета. Государственный Совет преобразовать в Верховную палату—и «конституционное устройство готово». Отрицательное отношение к парламенту не оставляет Чичерина даже и в этом случае, когда он предлагает тот же парламент, словесно опровергая его идею. Ибо выборное собрание, наделенное законодательными, а не только совещательными правами, и есть один из типов парламентаризма.

Но в благоприятный исход подобных реформ не верит и сам автор. Пребывая в глубочайшем пессимизме и безверии, не находя и не пытаясь искать в России общественных сил, могущих осуществить

---

1) Б. Н. Чичерин. „Россия накануне XX столетия", 143, 144. Изд. 4. 1901 г. Берлин, изд. г. Штейгниц.

2) Чичерин. „Россия накануне XX столетия". 150, 151.

переворот[1]), Чичерин возлагает упования на возможного Кавура или Бисмарка и ждет начала перемен в результате внешнего кризиса.

Возможно, что это будет война с Германией, возможно и иная. Ясно одно: «близорукий деспотизм больше невозможен».

Открыв свою общественную деятельность, как убежденный сторонник монархии Александра II, Чичерин заканчивает ее, как «убежденный противник существующего у нас политического порядка»[2]).

Полу-пораженческая фраза 1904 года сопроводила в могилу последнего из могикан старого либерализма. «Последствия этой (русско-японской) войны помогут, наконец, разряжению внутреннего кризиса. Трудно решить, какой исход войны для этого более желателен»[3]). Фраза не случайна: она вытекает из надежды на внешний кризис, как предпосылку и начало превращения монархии неограниченной в конституционную.

Штрихи политической эволюции, диалектика, так сказать, самого Чичерина, не безынтересны для харкатеристики всего либерализма. Но не здесь следует искать корней его историософии. Для понимания исторической концепции нам важен не Чичерин 1904 года.

Его теория русского исторического процесса сложилась в конце 50 г.г. 50 годы были временем подготовки крестьянской реформы. Интересы деловой части дворянства сводились к мирному, безболезненному исходу реформы, без бурь, без страстей и потрясений, но с прибытком «капитала и труда» в «дворянские гнезда». Желательность данного исхода предполагала проведение реформы «сверху» по инициативе правительства. Крестьянство так свирепо, злобно и «корыстно». Самодержавие так устойчиво и «бескорыстно».

Такими настроениями и чаяниями был об'ят и ученый тамбовский помещик Чичерин.

Представьте теперь этого человека в роли историка.

История—наука, следовательно, часть общей идеологии. «Что такое идеология»? Это есть отражение действительности в умах людей сквозь «призму»—их интересов, главным образом интересов классовых[4]). Поэтому не мудрено, что, когда Чичерин переносит свои классовые интересы в историческую плоскость, они находят там свое исто-

---

[1]) „Почвы для революции у нас нет, ибо преобразования Александра II совершили необходимые перемены“ (156). Иных общественных сил, кроме буржуазии, Чичерин не замечает. Пролетариат и крестьянство для него не существуют.

[2]) Г. В. Плеханов. „Сочинения“, т. XII — 179.

[3]) Н. Ленин и Г. Зиновьев. „Против течения“. 441.

[4]) М. Н. Покровский. „Борьба классов и русская историческая литература“, стр. 8.

рическое обоснование и подтверждение. Человек в настоящую минуту, все строивший на «силе государства», вполне естественно находит эту силу издавна существующей. Дух русского народа выразился в создании государства. Начало власти в России всегда торжествовало. Да, как не торжествовать, если «монархия в истории была зачинательницей государственного развития». «Не бойтесь,—говорил он своему классу,—податливая натура русского человека покорится и сейчас». Вся история подтверждает непререкаемое верховенство власти.

Но Чичерину нужно было увязать могущество власти с предстоящим «освобождением» крестьян.

Увязка и формулируется в теории «закрепощения и раскрепощения».

В XVI—XVIII в.в. государство подчинило себе все общество, обязало службой, «закрепостило» все сословия (Чичерин бьет на «бесклассовость»). Были протесты, но больших потрясений государство не испытывало по причине слабости сословий, и главным образом слабости крестьянства. Мирная борьба кончилась победой государства. «Земля улеглась у ног самодержавного государя». Так могущественна государственная власть.

Но государство не только «закрепощало», а и «раскрепощало». Дворянство и городское сословие получили свободу. Теперь очередь за крестьянством. Самодержавная власть «раскрепостит» и мужика. Дело пройдет мирно, без потрясений. Порукой тому—вся наша история. А традиции так благотворно действуют. Еще Карамзин говаривал, что «история учит благоразумию и дает бодрость сравнением». А по Погодину «история—охранительница и блюстительница общественного спокойствия».

Как бы в согласии с Чичериным и Александр II в заседании Государственного Совета 28 января 1861 г. говорил: «Вам известно происхождение крепостного права. Оно у нас прежде не существовало: право это установлено самодержавною властью, и только самодержавная власть может уничтожить его, а на это есть моя прямая воля» [1]). Выходило так гладко. Будто перед Александром лежала книга ученого философа, и он на свой лад с точки зрения «начальника государства», по-полицейски излагал ее, без ухищрений и философии. Но здесь в сущности и заключена вся «философия».

---

[1]) „Отечественные Записки". 1881 г. № 10. стр. 406 (ст. Иванюкова. „Роль правительства, дворянства и литературы в освоб. к-н").

В погоне за «мирным переходом» и «закрепощением без протеста» предается забвению пол-истории: все могучее крестьянское движение, связанное с именами Ст. Разина и Пугачева, являющееся протестом против крепостного права, с одной стороны, и борьбы за землю—с другой. Но что поделаешь? Написать—стройность пропадет. А теория так стройна: и логика, и развитие, и смена формаций—все есть.

Но увязка схемы с практически-политической программой продолжалась и дальше.

Только неограниченная власть успешно произведет преобразования. Смотрите на историю: народное представительство в России никогда не прививалось, земские соборы всегда подчинялись воле государя, да и существовали-то недолго, всего сто лет. Народ предпочитал самодержавие.

Поэтому и сейчас недопустимы разговоры о представительных совещательных учреждениях. Господство пресловутого земства означало бы всеобщий хаос теперь, в разгар реформы, когда нужно единое «искусное» руководство, когда противоречия интересов сказываются с исключительной остротой, когда крестьянство не замирено. Не время ослаблять твердую руку.

И Чичерин был прав. Протест крестьянства против «реформы» поднял всю деревенскую Русь. Кто умиротворил ее?—Власть. «Бездна» разве не пример?

Нет, неограниченная власть лучше обеспечит России дальнейший «прогресс». Таким образом, с исторически-буржуазной сильной властью Чичерин мог подходить к решению любого государственного вопроса. И последнее по теории было обеспечено в надлежащем смысле.

Если нужно упразднить общину, в целях того же прогресса—на помощь приходит теория, по которой община—«искусственное учреждение», созданное государством по фискально-финансовым соображениям и, конечно, им же может быть разрушена «без потрясений». Если нужно стереть с лица земли «социалистов и демократов», государство—во всеоружии своих материальных и духовных сил—легко сотрет.

Если потребуется «совет земли», государство призовет «выборных от дворян в Государственный Совет», а потом с небольшим трудом и распустит.

Если потребуется помощь дворянству и наложение новых податных тягот на крестьянство, кто воспрепятствует верховной власти?

Как прекрасна и утешительна для буржуазно-дворянского сердца такая теория. Можно á priori предвидеть и ее колоссальный успех.

Но зато чрезвычайно прозрачна и ее классовая подоплека.

Философия русской истории Чичерина выросла из классовых интересов дворянства в момент реформы. Но по своей классово-служебной роли она глубже и шире: это—философия истории господствующей русской торгово-промышленной буржуазии и дворянства. Подобно тому, как сама реформа и все другие, связанные с нею преобразования служили отправным пунктом развития буржуазного общества, так и историческая теория, родившаяся вместе с нею и ее обосновавшая, послужила истоком последующей исторической мысли для буржуазных историков-эпигонов. Выросшая в колыбели промышленного капитализма, она в подправленном виде сопровождала весь его кровавый жизненный путь и окончательно. бесповоротно сошла в преисподнюю только вместе с ним.

Обоснование самой реформы, со всеми заложенными в ней буржуазными началами, á priori предлагало оправдание господства развивающейся буржуазии.

Не менее ясна и служебная роль теории. Всякий ревностный поборник самодержавия мог с успехом пользоваться ею, поучаясь благоразумию и бодрости, проистекающей от исторического сравнения. Всемирно-исторические классовые интересы буржуазии и полицейские меры земского начальника равным образом находили в ней свое обоснование.

Вот Гегель, вот книжная мудрость.
Вот смысл философии всей.

И не прав ли был Чернышевский, когда пророчил Чичерину: «Если Чичерин,—писал он,—не успеет одержать победы над чуждыми его благородству понятиями, он не замедлит сделаться мертвым схоластиком и будет философскими построениями доказывать историческую необходимость каждого предписания земской полиции сообразно теории беспристрастия. Потом историческая необходимость может обратиться у него в разумность» [1]).

Ну, не прав ли?

---

[1]) Н. Г. Чернышевский. Собрание сочинений, т. V, 486.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Выяснить классовую природу и смысл исторической теории—говорит М. Н. Покровский—лучший вид ее критики.

В пределах разумения и возможности мы эту попытку сделали и теперь считаем нужным приступить к некоторым замечаниям относительно логического построения и фактического содержания схемы. Соответствует ли последнее действительности или Чичерин потерял всякое представление о реальности исторических фактов?

Какой шаг вперед сделал Чичерин?

Частично мы уже касались этого вопроса, но не мешает повторить. Да тот, главным образом, что Гегелевскую философскую систему он применил к изучению русского прошлого. Несмотря на своеобразное извращение понимания диалектики, он тем не менее стал на точку зрения развития, постоянного движения. Тем самым было дано динамическое представление о русской истории, как закономерном процессе. Это было развитие духа, но последний таился в недрах русской народности, и из нее развивался. Следовательно, развитие духа было развитием государства, в котором он выразился, развитием, происходящим вследствие внутренних противоречий, заложенных в самой общественной жизни. А это ведь уже зачатки научной мысли, ибо, как говорит тот же Гегель, изучить предмет—значит об'яснять его развитие прежде всего теми силами, которые он сам из себя порождает. Признавая развитие и закономерность, Чичерин отдавал дань своему времени. XIX век открылся бурным ростом русской промышленности. Высокие хлебные цены до 20 г.г. вызвали широкую волну сельскохозяйственного предпринимательства; делались попытки перестройки хозяйства на «аглицкий» манер. Аграрный кризис 20—30 г.г. на время задержал социально-политическое развитие. Но зато ликвидация кризиса привела к краху барщинное хозяйство. К безостановочному развитию промышленности присоединился процесс зачаточной капитализации сельского хозяйства. Рост техники, развитие вольнонаемного и переходного к последнему труда стали знаменем времени. Экономическое развитие оживило общественную жизнь и нашло идеологический эквивалент в принципе развития, восторжествовавшего в науке. Глашатаем этого принципа в области исторической мысли и явился Чичерин.

Исходя из Гегелевской же схемы, по которой «божественному» государству предшествует его противоположность — гражданское

общество, на основе громадного фактического материала, Чичерин дал новое освещение удельному периоду [1]) и тем самым избавил читающую публику как от сентиментальных ламентаций славянофилов о древнем величии Руси, так и огульного отрицания скептической школы.

Солидно и систематически Чичерин опровергает славянофильские утопии об особенности исторического развития России от Запада. «В русском мужике,—говорит он,—они видели идеал всех совершенств. Плоды европейской науки отвергали с презрением, как несовместимые с православными взглядами, а древнюю русскую историю строили на основании фантастических представлений о каком-то идеальном согласии»... Только «чересчур легкий философский и научный диллетантизм, подбитый узкими религиозными воззрениями и доходящею до ослепления любовью к отечеству, об'ясняют это явление» [2]). И еще в «Опытах» он с жаром и негодованием бросает Беляеву: «Пора бросить эти бредни, пора по-научному приступить к разработке истории отечества, а не пробавляться легкомысленными патриотическими фразами».

Ясно, что Чичерин преувеличивает свою «научность» и преуменьшает положительное значение славянофильства. А крупицы положительного были и у них, хотя бы в том, что в противоположность «государственникам» славянофилы видели, правда своеобразно, на историческом поле и народные массы.

Чичерин утверждает общий исходный пункт и ход развития для России и Запада. Особенности признает и он, но только в степени и направлении развития отдельных явлений и учреждений. В России он видит в период гражданского общества исключительное господство личности, слабость и шаткость гражданских отношений и сословий, чего на Западе в такой мере не было. В России он видит всепоглощающее начало власти, чего на Западе опять-таки не было. Но эти особенности частные, необходимые Чичерину для обоснования своей классовой позиции. Влияние географического фактора он также использует для доказательства своих общих мыслей. Широкая степь содействовала кочеванию в средние века, но эта же равнина способствовала и основанию мощного, абсолютистского государства [3]). Признание единства исторического развития России и Запада и было основным содержанием общественного течения, именуемого з а п а д н и ч е с т в о м.

---

[1]) См. „Опыты", стр. 374.
[2]) Чичерин. „Курс гос. науки", т. II, стр. 375 — 376.
[3]) См. „Опыты", стр. 379 — 380.

А ведь оно и отразило тот факт русской жизни, что Россия уже шла в «Авраамово лоно» капиталистических держав. И первыми Моисеями пытались стать западники. Поэтому подчеркивание одинаковости путей, а равным образом и внутренних движущих сил развития, выражало одну общую мысль: великую веру русских передовых идеологов буржуазии в национальное капиталистическое развитие своего отечества, ибо «везде однородные основные начала жизни вызывают аналогические явления».

Никто ни до него, ни после не подчеркивал так могущество государственной власти, как он. Это был поистине ультра-фанатик государственности, как называет его Щапов. Нам ясен смысл ультрафанатизма: Чичерин пытался доказать силу и возможности *правительственной власти, силу конкретного государства*. Но в его схеме и общей теории государства последнее представляется отвлеченным, абстрактным началом, т.-е. — по Гегелю — идеей государства.

Это и есть кульминационный пункт абсолютного идеализма. Практически государство-абстракция давала возможность заключить в этом философском единстве все предшествующее и последующее развитие. Это—дух, из которого предвечно исходят все начала русского народа и в нем же выражаются. Степень абстракции прямо пропорциональна степени затушевывания истинного понятия о государстве [2]).

Такое представление о государстве логически проистекало из идеализма Чичерина. В самом деле: в основании родового общества у него лежит кровная связь, нравственный дух, воплощенный в семье. В основании гражданского общества—господство частного права, т.-е. юридический идеалистический принцип. Наконец, в основании государства — сама по себе *идея* его. О материальных, классовых интересах—ни слова. Чичерин—последовательный идеалист.

Корни такого понимания государства Чичериным вскрыты еще Энгельсом в предисловии 1891 г. к «Гражданской войне» Маркса... Суеверная вера в государство,—говорит он,—перешла из философии в число привычных идей буржуазии и даже многих рабочих. Германская философия представляет себе государство, как «осуществление идей», или как переведенное на философский язык «царство божие на земле», как область, в которой осуществляется или должна осущест-

[1]) „Опыты“, стр. 282.

[2]) Даже Милюков вынужден делать упреки Чичерину за извращение понимания государства (см. Р. М. — 1886 — VI).

вляться вечная истина и справедливость. От этого происходит суеверное почтение к государству и ко всему тому, что имеет отношение к государству,—суеверное почтение, которое тем легче укореняется, что люди привыкают с детства думать, будто дела и интересы, общие всему обществу, не могут быть иначе выполняемы и охраняемы, как прежним способом, т.-е. через посредство государства и его награжденных доходными местечками чиновников» [1]).

Idée fixe государственности не могла быть научной идеей уже потому, что она прямо подводит к признанию движущей силой личности государя и игнорирует классовую природу государства. В самом деле: государство предполагает правительственную власть, управляющую им. То, что творит государство, творит эта власть. Государство закрепощало посредством законодательства. Последнее исходило от Федора, Бориса, Василия, Алексея, значит, они и «закрепощали» так же, как Иван Калита «собирал». Перед нами вырастает Карамзин, а вместе с ним чистейшая публицистика.

Так шатка идеалистическая позиция. Но Чичерина спасает точка зрения развития. С неумолимой категоричностью он подчеркивает везде логическую необходимость смены одного исторического состояния другим (необузданное господство личности выдвигает начало противоположное и т. д.). Но выяснения исторической необходимости данного состояния у него нет. Нет указания причин новых явлений, их анализа, оценки и т. д. В тумане Гегеля скрываются все исторические очертания. Поэтому вместо указания причинной связи и необходимости остаются одни голые утверждения в роде того, что «требовалось укрощение разгула личности», «государство должно было» и т. п., или, в лучшем случае, в качестве об'яснения выдвигается абстракция «величия России». Взять самое государство. Абсолютно отсутствуют причины его возникновения. Как идея, оно логически выводится из своей противоположности гражданского общества и на этом кончается изучение. Зачем требовалось «закрепощение»? Ответа нет, кроме того же туманного: государство должно было укрепить себя. Теперь и школьник не удовлетворится подобным утверждением, а тогда оно было в почете. Такова уже природа классовой идеологии. Впрочем, разве у «бога» спрашивают, зачем он делает добро и зло? «Бог сам себе цель, сам себе ответ» [2]).

---

[1]) К. Маркс. „Гражданская война". Предисловие, стр. 12. 1917.

[2]) Вот пример подобного об'яснения. Рассуждая о собственности и неравенстве, на вопрос, за что один от рождения получает все преимущества, а другой ничего, Чичерин, отвечает: „за то же, за что один рождается под полю-

Истинная наука, изучая предмет или явление, устанавливает его неразрывную связь с другими предметами и явлениями, устанавливает причины его возникновения, развития и исчезновения. Логические формулы Чичерина остаются голыми абстракциями. Абстракция государства приводит всю его схему к полной научной безнадежности. Как и у всех идеалистов, у него изучение действительной причинной связи явлений подменяется отвлеченными логическими построениями. А это уже чистейшая метафизика с той только существенной чертой, что она гегельянская.

Увлеченный стройностью имманентного процесса развития начал, заложенных в русской народности, Чичерин совершенно игнорирует роль внешних факторов. Только в одном месте упоминает он о татарщине, которая «приучила русский народ к покорности». Анализа западных влияний, внешних столкновений с другими народами у него нет. Вместо этого фигурируют одни националистические фразы: «Мы с а м и пришли к сознанию необходимости просвещения, мы сами пошли учиться у других, мы сами выдвинули такую фигуру, как Петр. гений русского народа, твердой рукой перевернувший Россию (а здесь у Чичерина «роль личности»). Мы отмечали, сколь положительно это подчеркивание внутренних, из себя развивающихся, начал. Но оно столь же отрицательно, ибо односторонне. Внутренняя логика процесса, всепоглощающая своей стройностью, все-таки не дает ответа на вопрос: почему. Именно отсюда и проистекает полный отказ от причинных об'яснений, отказ, приводящий к метафизике.

Это был существенный недостаток Чичеринской схемы. Чтобы сделать ее достоянием буржуазии не на один десяток лет, ее следовало подправить. Поправки и были внесены Соловьевым и Ключевским. Пер-

---

сом, а другой под экватором, один черным, другой белым, один умным, а другой глупым, один здоровым, а другой больным. Такова воля „всеблагого существа", т.-е. таинственного духа". Ну, разве это не беспомощность (см. Соб. и гос., т. I, 261)?

О государстве-божестве чрезвычайно остроумно и умно писал Чичерину еще Герцен.

„Мы,—говорит он,—совершенно согласны в отношении к религии; но согласие это идет только на отрицание надзвездной религии, и как только мы являемся лицом к лицу с п о д л у н н о й (курс. Герцена) религией, расстояние между нами неизмеримо. Из мрачных стен собора, пропитанных ладаном, вы переехали в светлое присутственное место, из Гвельфов вы сделались Гибелином, чины небесные заменились для вас государственным чином, положение лица в боге — положением его в государстве, бог заменен централизацией и поп квартальным надзирателем" (А. И. Герцен. „Сочинения", т. II, 494).

вый дал ответ на вопрос: зачем понадобилось государство и «закрепощение»—своей оборонческой «борьбой со степью»; второй внес идею национальности. Обновленной эта «философия истории» и гуляла по русскому свету вплоть до начала 900 г.г., когда впервые натолкнулась на преграду—марксистскую историческую науку.

Марксистская история до основания разрушила Чичеринскую схему, не только в ее первоначальном виде, но и в новейшей интерпретации. Она не могла удовлетвориться эклектической похлебкой надуманных и натянутых логических построений. Об'явив «существующие в научном обороте исторические обобщения почти целиком принадлежащими к научной формации, которая сама давно готова стать предметом истории» [1]), историк-марксист заново проработал весь фактический материал с точки зрения диалектического материализма. Схема оказалась построенной на песке.

Рассмотрим вкратце, в самых беглых штрихах, ее фактическое несоответствие с действительным ходом истории.

Древней известной нам формой общественной жизни славян была патриархальная «большая» семья, основанная на коллективном, первобытном, подсечном, земледельческом хозяйстве: это «печище», «дворище». Коллективизм вырастал по необходимости из условий хозяйственных. Распашка лесной площади, все посторонние хозяйственные промыслы требовали массовой комбинации человеческих сил. Такой силой и мог явиться целый союз. Но «фантастическим вымыслом» является утверждение, что кровная связь лежала в основе родового союза. Не только уязвимость идеалистического об'яснения, но и факты доказывают научное бессилие такого взгляда. Большая семья, хозяйственный союз зачастую слагался не только из родственников, но и посторонних людей по принципу «складства» на определенное количество лет. И, наоборот, родственники могли жить отдельно или в союзе с чужими. Из этой патриархальной хозяйственной организации вырастала и первобытная общественная власть. Старший в семье, соединяя в своих руках организаторские и духовно-религиозные функции, превращался в неограниченного властителя над членами всего союза.

И в том случае, когда семья делилась на части, образуя племя, эта власть попрежнему оставалась в руках одного племенного старшины. Отсюда вырастает и древне-русская княжеская власть. Она усилилась вместе с ожесточением междуплеменной борьбы, когда и самые

---

[1]) См. пред. к изд. „Русская история с древнейших времен“ М. Н. Покровского.

племена перерастают в военно-хозяйственные организации, князь же в организатора и военачальника. «Мирное» завоевание славян «Русью», приход скандинавских конунгов содействует образованию политической организации, известной под именем Киевского государства, экономическим основанием которого является военно-торговая деятельность князей.

Именно отсюда-то и вырастает любезное сердцу Чичерина господство частного права. Патриарх-организатор и военный глава становится собственником всего племенного государства. Земля и даже движимое имущество подданных принадлежит ему. Приход норманнов только ускоряет данный процесс. Когда же Чичерин пытается отрицать факт развития княжеской власти из власти отца-патриарха, он отказывается и от точки зрения внутреннего развития и приходит к единственному утверждению: пришли князья, покорили, захватили, стали господствовать. И вся последующая общественная жизнь есть плод их деятельности: невозможно же без твердой руки князя. «Свежо предание, но верится с трудом». Без хозяйственной основы висит в воздухе и «гражданское общество». А под ним была экономическая основа, именуемая феодальным хозяйством. Русский феодализм вырастает из коллективного хозяйства в процессе его разложения. Распадающаяся семья делила и хозяйство. Новое поколение означало новый раздел. Экономическое развитие приводило, с одной стороны, к измельчанию, а с другой—укрупнению хозяйства. Постепенно из мелкой разрозненной собственности вырастает крупная феодальная. Классовые отношения приобретают характер господства и подчинения. Первое влечет второе. Поэтому нельзя ставить юридический признак договорности в качестве основной отличительной черты феодализма. «В феодальном обществе еще гораздо больше, чем в современном нам, сила шла всегда впереди права» [1]).

Под самой силой оружия лежала сила экономическая, основанная на владении землею. Феодальный крестьянин находился в экономической и личной зависимости от владельца экспроприированной у него земли. «Экономическая зависимость крестьянина от барина держалась на том, что древне-русский бедняк только от богача мог получить необходимый для земледельческого хозяйства живой инвентарь» [2]). Договорное начало Чичерина остается целиком на его ученой совести, а не в исторической действительности.

---

[1]) М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. I, стр. 54.
[2]) Его же. Очерки истории русской культуры. 64.

Не соответствует действительности и представление о всеобщем бродяжничестве в удельную эпоху, как оно излагается Чичериным. Несомненный факт передвижения массы с запада на восток и с юга на север не служит еще этому доказательством. Это длиннейший молекулярный исторический процесс. Между тем факт наличия «старожильцев» свидетельствует о прочности жительства крестьян, не меньшей, чем и вотчинника.

Анализируя Псковскую Судную Грамоту, Чичерин сам признает два факта: бессрочность порядных и наличие «старожильцев, которых отцы сидели на тех землях». Но этого мало—в этой же статье он доказывает фиктивность права отказа крестьян от вотчинников. Крестьянин не мог возвратить владельцу ссуду, уплатить пожилое и за выход. Поэтому,—замечает автор,—«они (крестьяне. *П. С.*) редко могли уйти без чужой помощи».

Факты, Чичериным приводимые, опровергают тезис, им провозглашенный.

Значение «старины» было велико. Каждый вновь прибывший мог «застареть» в общине и остаться в ней навсегда. Западно-европейский «год со днем» повторялся и здесь, хотя бы и в иной форме. «Правом от'езда» бояр также злоупотреблять нельзя, ибо это было сравнительно редкое явление и от всеобщего брожения далекое. Крупный вотчинник, имевший силу, мог всегда задержать «от'езд», а со строптивыми расправиться. Договор же и оставался договором. И сам Чичерин вынужден говорить о ненадежности таких гарантий, как клятва и позднее крестное целование. «Не только фактически, но и юридически древняя Русь исходила из представления о крестьянине, как более или менее прочном и постоянном обитателе своей деревни» [1]).

Могущество феодала, основанное на размерах земельной территории со всем живым и мертвым «инвентарем» ее находило себе предел в таком же могуществе другого феодала. Отсюда постоянная борьба князей за землю и челядь. И видеть здесь только необузданный разгул личности значит предаваться фантазии, а не изучать органический процесс.

На основе неравного распределения земельных богатств вырастает и классовое деление феодального общества. В свою очередь из экономического господства вырастает и политическая власть. Сосредоточение права суда, получения дани и т. п. в руках крупных вотчинников незыблемо утверждает их власть как особого, господствующего

---

[1]) М. Н. Покровский. Русская история, т. I, 33.

сословия. Это не были привилегии отдельных лиц, дарованных мелким вотчинникам крупными сюзеренами. Это была привилегия целого сословия, что признал и Сергеевич и чего не заметил Чичерин. Противоположным господствующей верхушке было угнетенное крестьянство, экономически зависимое от вотчинников и подчиненное им политически. Древняя Русь как в киевский и владимирский, так и московский периоды видела настоящую классовую борьбу. Из борьбы классов на определенном уровне экономического развития вырастает государство. Чичерин представляет себе весь период до-московский—примерно до конца XV в. — периодом безгосударственным. Непонимание, проистекающее из классовой природы почтенного государствоведа, истинной сущности государства, как организации господствующих классов, приводит его и в этом вопросе к искажению истории русского государства даже со стороны фактической. Государство появляется в тот момент, когда появляется собственность, когда появляются две неравные социальные группы. На заре исторического развития мы видим его зачатки. Чудовищным извращением является факт отожествления государства с абсолютной монархией. А Чичерин так и поступает. Мы уже отмечали, как он отделывается от об'яснения причин исторической смены формации и учреждений. А ведь из своего идейного источника—Гегеля—Чичерин мог бы почерпнуть нечто разумное о возникновении государства. Вот что говорит он: «Действительное государство и действительное правительство возникают только тогда, когда уже есть налицо различие сословий, когда очень большими становятся богатства и бедность и когда появляется такое положение, что большинство уже не в состоянии удовлетворять свои потребности привычными для него способами» [1]).

Здесь государство выводится, как продукт экономического развития. Чичерин же поставил вопрос о государстве исключительно как о метафизической идее, не вдумываясь в ее конкретное выражение, а поэтому и исказил действительность. Но таков уже общий грех идеализма. Как бы Чичерин ни пытался возвыситься до «бескорыстного служения истине» и «возвысить свою науку над партийностью» [2]), он все-таки остался верным слугой своему классу.

Русский абсолютизм возник подобно западно-европейскому, как политическая организация торгового капитала. XVI век был веком зарождения последнего. Образование мелкопоместного дворянства и его борьба с боярством за землю и власть, с одной стороны, развитие денежного хозяйства и господство торгового капитала, с другой, вызвали

[1]) Цитирую по Плеханову. Истор. подгот. научн. соц., стр. 11.
[2]) См. „Опыты", введ.—VII.

к жизни самодержавие. Вот та действительная политическая сила, которая превратилась в ловких руках Чичерина в божественную идею. А между тем, земные корни государства прощупываются так легко.

Земские сборы, значение коих сводит «на-нет» Чичерин, явились политическим соединением господствующих классов торговой буржуазии (крупные купцы—«гости». *П. С.)* и дворянства. С ними считались в той же мере, в какой сейчас короли и императоры считаются с представительными учреждениями. Они замерли потому, что сама сила торгового капитала концентрировалась в царском дворце и боярских хоромах.

Денежное хозяйство, трехполье, как технически прогрессивная форма хозяйства, потребность дворянства в постоянных рабочих руках, а в конечном счете торговый капитал закрепостили крестьянство. Именно крестьянство, а не все сословия, ибо государственная служба дворянства была не обязанностью, а правом, привилегией господствующего класса. И государство в процессе закрепощения играло только роль политической организации господствующих классов: оно руководило борьбой дворянства с сопротивляющимся крестьянством.

После критики теории «закрепощения», данной М. Н. Покровским [1]), нет смысла заниматься повторением его доказательств. В заключение отметим только, что в XX век эта теория входит несколько обстрелянной. Русские марксисты успешно принялись за разоблачение ее классовой природы. В I томе «Курса политической экономии» А. Богданова и И. Степанова последний писал о «закрепощении дворян: «Русские историки обычно не видят, что принуждение дворян к государственной службе, несомненно тягостное в отдельных случаях, для сословия, взятого в целом, было только особой формой сословной привилегии: преимущественного права на все доходные и влиятельные должности. Точно такое превращение помещика в орган государства служит подтверждением того взгляда, будто русское государство, закрепостившее все сословия, «закрепостило» и помещиков, превратив их в свое «служилое сословие». Они не замечают, что передача важных государственных функций помещикам уже сама по себе раскрывает природу этого государства, как политической организации помещичьего сословия» [2]).

---

[1]) М. Н. Покровский. „Борьба классов и русская историческая литература", „Марксизм и особенности исторического развития России" (изд. „Прибой", 1925 г.).

[2]) А. Богданов и И. Степанов. Курс полит. экон., т. I, ст. 292, изд. 3-е.

Это положение наглядно подтверждается хотя бы и таким фактом. Обязательная служба государству только по различным ведомствам, а не по одному военному, сохранилась и после жалованной грамоты 1785 г. Однако сам Чичерин считает ее датой раскрепощения дворянства. Следовательно, государственная служба была правом, а не обязанностью дворян. Да это настолько ясно для всякого, у кого глаза не завешаны шорами классовых предубеждений, что и говорить не приходится. Государственный аппарат всегда формируется из среды господствующего класса.

Как известно, Богданов и Степанов писали в 1910 г. Но крах научного кредита теории намечался еще ранее. В том же 1910 году М. Н. Покровский писал М. Ольминскому следующее: «Теория «закрепощения и раскрепощения» не пользуется никаким кредитом среди молодых русских историков уже л е т д е с я т ь. Если мы не выступали против нее специально, то вы могли заметить, что мы ее систематически игнорировали. Не выступали же просто потому, что внешнего повода не было; никто из нас не брался за такую большую сводную работу, как, например, выходящая теперь «Русская история». В ней я, конечно, с этим предрассудком разочтусь, и, надеюсь, соответствующие главы вас вполне удовлетворят» [1]).

---

[1]) М. Ольминский. „Государство, бюрократия и абсолютизм России, стр. 69—70.

З. ЛОЗИНСКИЙ

ИСТОРИК ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЙ РОССИИ

С. М. СОЛОВЬЕВ

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Учителя и вдохновители Соловьева.—Определение истории.—Точка зрения развития.— Взгляд на народ, как на „природный организм".— Признание закономерности исторического процесса.—Применение сравнительно-исторического метода.—Идеализм. Оценка религии.—Взгляд на роль географической среды и этнографического фактора.—Представление о роли личности в истории.—Апология „государственного начала".

Сергей Михайлович Соловьев является, несомненно, одной из самых значительных фигур в ряду русских историков XIX века. Выдающаяся роль его в развитии русской исторической науки признана учеными самых разных направлений (Кавелин, Бестужев-Рюмин, Герье, Ключевский, Покровский и др.). Нельзя соглашаться с его концепцией, необходимо решительно возражать против целого ряда важнейших его взглядов, можно и должно признавать устарелой и ошибочной всю его схему русского исторического процесса, но было бы верхом близорукости не видеть того вклада, которым обогатил Соловьев русскую историческую науку своей эпохи.

Стоит только бегло перелистать многочисленные работы, оставшиеся после Соловьева, чтобы представить себе незаурядность таланта, исключительную, почти фантастическую трудоспособность и чрезвычайно широкую образованность историка, безусловно выделявшую его в кругу современных ему ученых, особенно собратьев по специальности.

Своими знаниями Соловьев поражал еще на университетской скамье. Маленькая, но характерная деталь: к 13 году своей жизни Соловьев перечитывал 13-й раз Карамзинскую «Историю государства Российского».

В университете Соловьев слушал древнюю историю у Крюкова, передавшего своим ученикам увлечение Гегелем. Среднюю и новую историю читал Грановский, пытавшийся дать интерпретацию гегелевских идей в приложении к истории[1]). Кроме того, в работах и

[1]) Констатируя увлечение Грановского философией Гегеля, мы вместе с тем считаем необходимым отметить, что Грановский никогда не был вполне „правоверным" гегельянцем. К концу его научной деятельности интерес его к немецкому философу заметно упал.

выступлениях Грановского заметно сказывалось влияние немецкой исторической школы. Вслед за Риттером Грановский приписывал немалую роль географической среде. Грановский учил своих слушателей искать в явлениях мировой истории действие определенных законов, внедрял в сознание своих учеников, со всем присущим ему богатством и блеском аргументации, убеждение в обязательности и непреложности всемирно-исторической точки зрения. Грановский оказал на Соловьева огромное влияние, усилил в нем интерес к всеобщей истории. Нелишне указать, что всю жизнь Соловьев питал исключительный интерес к всеобщей истории, находящий определенное отражение в его работах. Занятия всеобщей историей облегчались знанием иностранных языков, усвоение которых не стоило Соловьеву особого труда. Хуже обстояло дело в университете с преподаванием русской истории, курс которой вел Погодин, неспособный ни своей манерой преподавания, ни своим подходом к изучению проблем исторической науки, ни общим характером своих научных взглядов завоевать Соловьева в число своих поклонников и последователей.

В университете Соловьев увлекался Гегелем и даже собирался специально заняться философией. Об увлечении Гегелем Соловьев сообщает в своих «Записках» следующее: «Из гегелевских сочинений я прочел только «Философию истории»: она произвела на меня сильное впечатление... но отвлеченность была не по мне, я родился историком» [1]). Вслед затем Соловьев рассказывает о впечатлении, произведенном на него «Древнейшим правом Руссов» Эверса. «Эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства. Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русской историей». Наибольшее влияние имели на Соловьева выводы Эверса о родовом быте в древней Руси.

С большим почтением отзывается Соловьев о Гизо, об'являя себя поклонником французского историка. По словам Ключевского, «из всех представителей европейской историографии XIX в. никого не ставил он (Соловьев. *З. Л.*) так высоко, как Гизо».

На-ряду с Гегелем и Эверсом большой рой мыслей в голове Соловьева, по его собственному признанию, возбудил Вико, впервые провозгласивший идею закономерности исторического процесса, считавший всеобщую историю наукой «об общих законах, которые лежат в основах развития всех народов» [2]).

---

[1]) „Записки Соловьева". Пгрд. К-во „Прометей", стр. 60.

[2]) М. М. Стасюлевич. „Философия истории". СПБ. 1902, стр. 93.

В бытность свою в 1843 г. в Берлине Соловьев слушал лекции знаменитого Ранке, влияние которого до известной степени чувствуется на «государственно-оборонческой» концепции нашего историка. Ранке развивал в своих исследованиях идеи органического развития [1]), единства всемирно-исторического процесса. Внимание своей аудитории Ранке фиксировал почти исключительно на явлениях политической истории. Видное место в его концепции занимает мысль о том, что «государство должно установить все внутренние отношения— (курсив мой. *З. Л.*) ради того, чтобы удержаться в борьбе: это для него высший закон» [2]).

В Берлине же Соловьев посещал лекции немецкого географа Карла Риттера, автора «Землевладения в отношении к природе и истории человека». Между прочим Н. П. Павлов-Сильванский [3]) утверждает, правда не без некоторых оговорок, что взгляды Соловьева на значение географической среды сформировались в основном под влиянием Бокля. Это суждение не вполне соответствует, на наш взгляд, действительности. Первый том «Истории цивилизации в Англии» был опубликован в 1858 году. Между тем, первый том «Истории России с древнейших времен» вышел в 1851 году, при чем в дальнейшем выходило по очередному тому ежегодно. А ведь известно, что «географическая» точка зрения в основных, наиболее важных чертах нашла себе выражение уже в первых томах «Истории России», в которых мы находим мысли о влиянии климата на характер народа (т. I), о значении размеров государственной территории (т. IV), и пр. Влияние Бокля на Соловьева по вопросу о значении географической среды бесспорно имело место, но не играло решающей роли.

Без интереса слушал Соловьев лекции по политической экономии: эта наука была для него, по его выражению, «слишком жидка».

В своих трудах Соловьев не ограничивается пересказываньем и цитированьем источников, а пытается рассмотреть исторический процесс с определенной точки зрения, не только рассказывает о событиях, но старается о б'я с н и т ь их, вскрыть их суть, уловить существующую между ними связь.

---

[1]) П. Г. Виноградов говорит, не без преувеличения, что „в понимании органического развития... Ранке не имеет себе равного". „Русская Мысль", 1888, IV.

[2]) „Zur Gesch. Deutschlands und Frankreichs". стр. 328. Цит. по ст. Виноградова.

[3]) „Феодализм в древней Руси". М. Гиз. 1923.

В своей статье «Соловьев как преподаватель», Ключевский рассказывает, вспоминая лекции своего университетского учителя, что «Соловьев давал слушателям цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов, взгляд на ход русской истории».

Однако ошибочно было бы предполагать, что все излагаемые в «Истории» факты составляют сплошную цепь, все звенья которой обобщающей мыслью ученого крепко спаяны между собой. Часто источник приобретает для Соловьева как бы самодовлеющую ценность, и Соловьев весьма обстоятельно, щедро цитируя архивные материалы, излагает какой-нибудь факт, не стараясь увязать его с другими фактами, не пытаясь подчинить его своей общей концепции. Нередко и, чем дальше, тем больше мы наталкиваемся на груды сырых материалов, непохожие и в отдаленной степени на «цепь обобщенных фактов». Констатируя это, мы отнюдь не намереваемся умалить силу обобщающей мысли Соловьева и заподозрить правильность приведенного отзыва Ключевского—мы хотим лишь подчеркнуть, что далеко не весь фактически материал, который мы находим в трудах Соловьева, творчески переработан историком.

Соловьев неоднократно пользуется случаем, чтобы в весьма решительных тонах отвергнуть взгляд на историю, как на сборник любопытных анекдотов, как на «отрывочный ряд биографий, занимательных для воображения людей, остановившихся на детском возрасте». История должна питать мысль зрелого человека, который углубляется в историю, «как науку народного самопознания».

Развивая далее это определение истории, выдающее в Соловьеве внимательного и сочувственного читателя гегелевой «Философии истории», Соловьев указывает, что народ тем лучше познает самого себя, чем лучше познает другие народы. Познание же других народов возможно через познание их истории. Чтобы это познание было обширнее и точнее, необходимо возможно большее число народов сделать предметом изучения. Отсюда «потребность... изучить историю всех народов, сошедших с исторической сцены и продолжающих на ней действовать, изучить историю всего человечества, и т. о. история становится наукой народного самопознания для целого человечества» [1]).

Соловьев настаивает на необходимости заменить «анатомическое изучение предмета физиологическим». Без развития, без движения нет истории. Соловьев упрекает в «неисторичности» направления, игнорирующие в истории элемент постоянного движения, подменяющие динамику исторического явления бесплодной, мертвой статикой.

[1]) Сочинения. Изд. «Общ. Польза», стр. 1—17.

Отсутствие у исследователя «исторической перспективы» делает, по мнению Соловьева, совершенно невозможным правильное научное понимание предмета, так как означает неуменье или нежеланье рассматривать предмет в движении и обнаруживает отсутствие способности отвлечься от современной эпохи и перенестись в эпоху, когда рассматриваемое явление проходило другую стадию развития. Историк очень резко подчеркивает огромный вред, причиняемый науке нежеланьем «высвободиться от своих настоящих условий жизни и перенестись в условия того времени, которое хотим изучать.

По убеждению Соловьева, история развивается постепенно, без «нелепых» скачков. Революции он считает «болезненными припадками» и с удовлетворением констатирует, что в историческом процессе все развивается постепенно, «умеренным шагом», без «прыжков». «В развитии скачков быть не может». «Народы в своей истории не делают прыжков.

История народа должна являться в сознании, «как нечто связное, органическое». Историк неоднократно повторяет свою излюбленную мысль о том, что народ развивается по таким же законам, как и все живое, органическое, переживает те же возрасты. Соловьев часто пользуется сравнением человеческого общества с «природным организмом», уподобляя связь между различными органами общественной жизни той связи, в которой находятся различные ткани и части «природного организма». Анализируя законы развития общества, Соловьев то и дело обосновывает свои положения безапелляционной ссылкой на тот же «природный организм», при этом удовлетворенно отмечая, что «давно... принимали одинаковость как для организмов природных, так и для общественного, давно старались обращать внимание людей на эту одинаковость». Соловьев разделяет эти утверждения об «одинаковости», так как, «действительно, сходство поразительно, законы один и те же». Развитие общества идет в одинаковом направлении с развитием всякого другого организма: от простоты и однообразия к разнообразию и сложности. «На первой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии обозначается появлением различия между частями этого вещества; потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется, и... образуется, наконец, сложная сеть тканей и органов, составляющая животное или растение в полном его развитии. Это явление, которое мы называем прогрессом, общее всем орга-

низмам как природным, так и общественному... В обществе, на низкой ступени развития находящемся, дикарь производит сам все для себя нужное; но потом постепенно является разделение занятий, образуются отдельные органы общественные. В обществах недовольно развитых первосвященник и государь слиты в одном лице, религиозные и гражданские законы смешаны; в силу прогресса все это мало-помалу различается, разделяется. Тот же самый прогресс в языке, от однозвучия животных до членораздельных звуков человеческих, и т. д.» [1]).

В приведенной нами выдержке из статьи Соловьева нетрудно узреть родство его идей со знаменитыми аналогиями, развитыми Гербертом Спенсером. Это родство подтверждается и теми строками, в которых Соловьев отмечает различие между общественным и животным «организмами», выражающееся в том, что члены человеческого общества обладают каждый своим собственным сознанием, между тем как отдельная клеточка «природного организма» подобного сознания лишена. Такое же различие, осложняющее аналогию, было в свое время, как известно, отмечено Спенсером.

Между всеми эпохами существует тесная, необходимая связь. История народа—единый, цельный процесс, в котором каждая эпоха является естественным продуктом предшествующей, с одной стороны, и заключает в себе зародыши последующей, с другой. Намерение «полагать» для форм народной жизни резкие границы чревато грубыми ошибками в теории и практике. «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм; не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии...» [2]).

Полемизируя с Боклем, начинающим «подлинную» историю Англии с XVI века, Соловьев утверждает, что, не связывая петровской Руси с древней, мы бессильны разобраться в вопросе, почему так поздно началось у нас интеллектуальное развитие и по какой именно причине оно приняло данные формы. Игнорирование связи между различными ступенями исторического процесса способно, по мнению Соловьева, окончательно затемнить интересующие нас проблемы и повести к бесчисленным заблуждениям.

Поскольку между всеми эпохами существует органическая связь, постольку всякое представление о «пустых» эпохах, как бы выпадаю-

---

[1]) Сочинения, стр. 849, 850

[2]) „История России с древнейших времен", Из-во „Общ. Польза", СПБ., т. I. стр. 1.

щих из общего исторического процесса, является лишь плодом недомыслия.

История может претендовать на роль науки при условии, если она в изучаемых событиях видит нечто большее, чем игру слепого случая. «Всякое явление в жизни народа, как бы это явление ни было, по-видимому, случайно, должно рассматриваться в истории по отношению к внутренним условиям народной жизни; оно об'ясняется или, в свою очередь, об'ясняет их». В исторической науке должна быть об'явлена решительная борьба всяким попыткам рассматривать события, как результат произвола, как продукт случайного стечения обстоятельств. История развивается по определенным законам, раскрытие которых является первостепенной обязанностью всякого, кто желает что-нибудь понять в стремительном потоке событий и уловить «основные линии» в сложном переплете исторических фактов.

В своих воспоминаниях о Соловьеве Ключевский отмечает, какое исключительное внимание уделял его учитель идее закономерности. «У Соловьева сравнения, аналогии жизни народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза е с т е с т в е н н о и н е о б х о д и м о, повторяемая, как припев,—все врезывало в сознание слушателя эту идею закономерности» [1]).

Развитие общества может принять различные формы, может итти разным темпом, в зависимости от причин в н у т р е н н и х, коренящихся в самом организме, или от влияний в н е ш н и х. «Органическое тело—народ—растет, растет внутри себя, обнаруживая скрытые в нем изначала условия здоровья или болезни, силы или слабости и в то же время подчиняясь благоприятным или неблагоприятным внешним условиям». Обязанность историка—«об'яснять каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию».

Некоторые исследователи, писавшие о Соловьеве, утверждают, что историк решительно отвергал важность внешних влияний, соответственно своему «органическому» взгляду. Приведенные нами выдержки совершенно убедительно доказывают, что данное утверждение носит чрезмерно... решительный характер.

По мнению Соловьева, необходимо признать абсолютно неверным мнение о том, что каждый народ в своем историческом развитии под-

---

[1]) В. О Ключевский. „Очерки и статьи", стр. 33.

чиняется своим особым, исключительным, не имеющим силы в другой стране, законам. Говоря о реформе Петра I, Соловьев упрекает в научной незрелости исследователей, которые «изучали русскую историю совершенно особняком, не подозревая, что при всем различии своем она подчиняется общим основным законам, действующим в жизни каждого исторического народа» [1]). Как на Западе, так и на Востоке, «законы развития одни и те же... разница происходит от более или менее благоприятных условий, ускоряющих и замедлющих развитие».

Как видим, Соловьев констатирует, помимо действия о б щ и х законов развития, влияние о с о б ы х условий, определяющих различия в жизни разных народов.

Соловьев считает крайне важным применение сравнительно-исторического метода. Мы уже указывали, что, давая определение исторической науки, ученый отмечает необходимость, в целях наилучшего «самопознания», познать другие народы и сравнить себя с ними. Поскольку законы развития одни и те же, необходимость пользования сравнительно-историческим методом ясна сама собою. Историческое исследование тем богаче, полнее, плодотворнее, чем больше оно основывается на «наблюдениях сравнительной жизни народов». Только историки, упорно зажмуривающие глаза на подлинную действительность и покорно следующие «гибельной в науке привычке», позволяют себе изучать историю своего народа изолированно, оторванно от истории других народов. Соловьев выражает свое полное удовлетворение по поводу возбуждения западными учеными вопроса о родовом быте, что, по его мнению, облегчает нам возможность «расширить средства сравнения, а следовательно, и уяснения» [2]). Для лучшего уяснения того или иного явления нашего прошлого Соловьев прибегает к сравнению с фактом, заимствованным из истории какого-нибудь другого народа. Изучая эпоху Петра, он вспоминает об эпохе Французской Революции, в другом месте он сравнивает восточных славян с древнейшими германцами, и т. д., и т. д.

Несмотря на всю признаваемую им важность «наблюдений сравнительной жизни народов», Соловьев пользуется сравнениями относительно редко, гораздо реже, чем можно было бы ожидать на основании вышеприведенных замечаний.

---

[1]) Сочинения, стр. 972. Деление народов на „исторические“ и „неисторические“ является несомненным проявлением влияния Гегеля.

[2]) Там же, стр. 770.

Мировоззрение Соловьева отмечено яркой печатью идеализма.

В своей статье, направленной против Риля, Соловьев обвиняет немецкого ученого в том, что он подчиняет человека, его духовную деятельность, материи. Отмечая глубокую ошибочность взглядов немецкого ученого, Соловьев пользуется случаем, чтобы подчеркнуть «неимоверные странности» и «бесплодие» материализма.

Соловьев сокрушенно жалуется, что «материализм и неизбежная при этом односторонность, узость и мелочность взгляда наводнили общество: удовлетворение физической потребности ставится на первом месте, человек перестает верить в свое духовное начало, в его вечность, перестает верить в свое собственное достоинство, в святость и неприкосновенность того, что лежит в основе его человечности, его человеческой, т.-е. общественной жизни, является стремление сблизить человека с животным, породниться с ним».

Если общество поражено тяжкой болезнью и нуждается в радикальном лечении, то было бы сугубой ошибкой, по убеждению Соловьева, начинать борьбу против язв общественной жизни с материальных факторов.

«Древнее общество говорило: отнимем у человека собственность, и он перестанет ссориться и тягаться; новое общество должно было сказать: совершенствуем человека нравственно, искореним в его сердце побуждение к вражде, ссоре и дадим ему все; пусть пользуется на благо себе и другим. Древнее человечество, не признавая нравственного достоинства человечества, веровало в формы, искало только в них спасения... Надобно было поэтому начать постройку здания с другого конца; для прочности здания общественного надобно было заняться нравственным совершенствованием отдельных членов общества; надобно было упразднить веру в плоть и уверовать в дух» [1]).

«Всякий частный союз, а также родовой, тогда только крепок, когда основан на нравственных, а не на материальных отношениях».

Материальные стремления «должны быть поставлены в служебные отношения духовным требованиям; в истории мы видим осязательно истину священного писания: «Дух есть иже живит, плоть не пользует ничесоже» [2]). Это изречение Соловьев любовно повторяет в разных своих работах, о нем же упоминает в своих мемуарах.

---

[1]) Там же, стр. 1561. Разрядка моя. *З. Л.*

[2]) Сочинения, стр. 853.

Огромное значение придает Соловьев религии. Иногда, желая резче оттенить ту или иную излюбленную свою мысль, он старается опереться на авторитет «священного писания», напоминая читателю какой-нибудь подходящий для случая текст. К примеру, возражая против преувеличенной оценки роли «великих людей» в истории, Соловьев, в подкрепление своих доводов, указывает, что подобная переоценка роли личности противоречит вере в единого бога, не допускающей создания кумиров.

Немало восторженных строк посвящает Соловьев христианству и его благотворной роли в истории человечества. Превосходство христианства, по мнению Соловьева, так велико, так очевидно, что не нуждается в особых доказательствах.

Весьма ценный материал для характеристики мировоззрения Соловьева содержит небольшая статья «Прогресс и религия».

Всякие мысли о необходимости распространить понятие прогресса и на область религиозных верований историк с ожесточением отметает, как пустую, легкомысленную выдумку.

Прогресс в человеческом обществе проистекает от более или менее ясного сознания христианского идеала, «от невозможности достигнуть высокой степени индивидуального совершенствования, при которой формы не требовали бы изменений... Христианство, постановив такое высокое нравственное требование, которому человечество, по слабости своих средств, удовлетворить не может,—а если бы удовлетворило, то упразднились бы изменения форм и прогресс,—христианство, по тому самому, есть религия вечная»[1]). Христианство, таким образом, есть та высшая недосягаемая точка, к которой стремится в своем поступательном движении человечество и которая определяет собою это движение.

Христианство сыграло могущественную роль в жизни и русского и ново-европейских народов.

Анализируя события глубоко несимпатичного ему «смутного времени», ученый с облегчением отмечает, что «в тяжелую годину» русский народ спасся своей религией.

Россия не имеет резких физических границ. Беда относительная: недостаток физических границ был в значительной мере возмещен границами духовными. Православие охранило политическую и духовную самостоятельность русского народа.

---

[1])Сочинения, стр. 957.

Мировоззрение Соловьева нашло себе весьма выпуклое, отчетливое выражение в его «теории» двух возрастов, которую он конструирует, изучая, под влиянием Бокля, исторический процесс с точки зрения поступательного развития цивилизации.

Подобно жизни отдельного человека, жизнь народа можно разделить на две половины или на два возраста. В одном возрасте преобладает чувство, в другом—мысль. Первый возраст характеризуется сильными движениями, сильными страстями. Это—период народной юности, когда народ сильно любит и сильно ненавидит, когда он готов приносить самые тяжелые жертвы в случае, если предмет его привязанности находится в опасности. В этом возрасте создаются сильные государства, твердые конституции, крепкие народности. Этому же периоду присущи и некоторые недостатки, пороки, в частности суеверие, фанатизм. Период мысли замечателен развитием просвещения, расцветом наук. Переход во второй возраст знаменуется сомнением, стремлением потрогать, пощупать, подвергнуть поверке то, во что раньше верилось без труда, что признавалось истинным, не внушающим сомнений. Второму возрасту также свойственны некоторые отрицательные черты. «Усиленная умственная деятельность может скоро обнаружить свое разлагающее действие... Чувство считает известные предметы священными, неприкосновенными; оно раз определило к ним отношения человека, общества, народа,—и требует постоянного сохранения этих отношений. Мысль начинает считать такие постоянные отношения суеверием, предрассудком; она свободно относится ко всем предметам, одинаково все подчиняет себе, делает предметом исследования, допрашивает каждое явление о причине и праве его бытия... мысль стремится переставить отношения на новых общих началах; но ее определение отношений не имеет уже той прочности, ибо каждое определение подлежит, в свою очередь, критике, подкапывается, является новое определение, повидимому, более разумное, но и то, в свою очередь, подвергается той же участи» [1]).

Основной момент в жизни народа—переход из «возраста чувства» в «возраст мысли». Этот переход неизбежен в жизни всякого исторического развивающегося народа, и никакая сила не в состоянии предотвратить его. Этот переход служит прямым признаком развития, прогресса. Переход из одного возраста в другой совершается при помощи науки, но «наука теряет часть своего могущества, когда ею пользуются односторонне», ибо «наука есть могущество... когда

[1]) Сочинения, стр. 977.

умеет определить границы, где оканчивается область знания и начинается область веры».

Идеалистические взгляды Соловьева рельефно выявляются в его трактовка вопросов о «племенном факторе» и государственном начале, о которых—речь впереди.

На ряду с резко подчеркнутым идеалистическим элементом, в работах Соловьева ясно выступает фактор и другого порядка—географический, служащий историку для об'яснения целого ряда моментов русской истории, подчас очень важных и сложных. Мнение о Соловьеве, как о строгом приверженце монизма, последовательно, на протяжении всей своей научной деятельности, выводящем основные моменты истории из одного определенного начала, необходимо признать неверным. Соловьев неоднократно ратует за «многосторонность взгляда». Многие ошибки являются в его глазах следствием того, что «мы глядим на одну сторону явления и спешим из этого рассматривания вывести наше заключение, вывести общие законы...[1]). Не будучи выдержанным монистом, не будучи таким мастером стройных, цельных, пронизанных одной центральной идеей философских построений, как, скажем, Чичерин, Соловьев был все же—и это не подлежит ни малейшему сомнению—par exellence «идеалистом». Последнее положение настолько ясно и красноречиво подтверждается всей совокупностью взглядов Соловьева, всем характером и направлением его схем, всеми приведенными выше утверждениями Соловьева о роли «духовного начала», что то безусловно значительное, очень видное, подчас самостоятельное место, которое занимают в его исследованиях «природные условия», может свидетельствовать лишь о недостаточности последовательности, стройности, монистичности его концепций.

Значение, которое Соловьев придает географическому фактору, сказывается почти во всех работах историка. Ссылки на влияние географической среды мы находим, как выше упоминалось, уже в первом томе «Истории России с древнейших времен», где Соловьев отмечает, что «явления, замечаемые Геродотом, остаются попрежнему в силе; ход событий постоянно подчиняется природным условиям». Первый вопрос, возникающий при изучении какого-нибудь народа,—вопрос о том, где, при каких природных условиях жил данный народ.

Природа страны оказывает значительное влияние на народный характер. Роскошная природа действует на человека усыпляюще. При-

---

[1]) Сочинения, стр. 1120.

рода, отличающаяся более скудным характером, требует от человека постоянного, упорного труда, заставляет его постоянно работать умом и настойчиво стремиться к поставленной цели. Вместе с тем щедрая, богатая природа развивает чувство красоты, тягу к искусствам, в то время, как бедная природа способствует выработке суровых, жестких нравов. Исторические различия в характере южного и северного народонаселения Руси обусловились разнородными влияниями географической среды.

В прямой зависимости от природных условий в первую очередь на исторической арене выступили государства Средиземного моря, вслед за ними наступила очередь для средних частей Европы, еще позднее выступила северо-западная Европа. Лишь в последнюю очередь появился в кругу исторических народов великий народ, населяющий восточную равнину.

В начале новой европейской христианской истории германцы и славяне поделили между собой Европу. Рассказы о начальном движении немцев с северо-востока на юго-запад и славян с юго-запада на северо-восток, в глухие, обделенные природой, места, об'ясняют нам, по мнению С—ва, различия в дальнейшей жизни обоих племен.

В противоположность Западной Европе, Россия в своем историческом развитии, вплоть до последнего времени, больше всего страдала от чрезмерной обширности территории, не соответствовавшей и в малой мере численности населения. Пустынность страны определялась: относительной суровостью климата; соседством со степями, хищные обитатели которых истребляли или захватывали в плен мирных жителей русской равнины; лесистостью и болотистостью той части страны, которая при борьбе со степняками представляла известные удобства для оседлого населения. Обширные размеры страны породили целый ряд крайне важных явлений русской истории, в частности, определили медленность развития, образование обособленного «мира», вынужденного долго жить в стороне от великой дороги европейской истории.

Переход России в «возраст мысли» произошел на два века позже, чем в ряде европейских стран. Такое запоздание было неизбежно для страны, представляющей собою громадную равнину, страдающей отсутствием моря и близостью степей. Среди многих недочетов географической обстановки немалое значение имело то обстоятельство, что страна была открыта с востока, юга и запада, терпя огромные лишения из-за недостатка хороших природных границ.

Видное место занимают у Соловьева водные пути. «История России» открывается описанием речных систем той области, в которой история застала славян.

По рекам расселись племена, на них выросли первые города. Речные системы определили вначале особые системы областей. По четырем главным водным системам русская земля разделялась в древности на 4 главных области: Новгородскую (озера); Полоцкую (Зап. Двина); область Днепра; Ростовскую (Верхняя Волга).

Ильменьские славяне, благодаря удобству водных путей, рано занялись торговлей и промышленностью.

Древняя Русь была обязана своим материальным благосостоянием преимущественно Днепру, по которому шел торговый путь из нижних стран в верхние. В западной половине, где находилась главная историческая сцена в древности, существовал ряд значительных городов, процветавших вследствие того, что они стояли на дороге «из Варяг в Греки».

В вопросе о возвышении Москвы Соловьев особое внимание уделяет географическим условиям. Он рассматривает Москву, как пункт, соединяющий север с югом, по характеру своему более близкий северу.

Значение Петербурга об'ясняется положением города при начале великого водного пути, соединяющего Европу с Азией.

Природой страны определялось в значительной мере возникновение национального русского государства. Высказывания Соловьева по этому вопросу очень интересны и важны, но о них—немного ниже, в связи с соловьевской схемой русского исторического процесса.

Взгляды Соловьева на роль географической среды представляют для нас интерес, как попытка спуститься с заоблачных высот идеалистических построений на менее поэтическую, но более надежную почву «материальных факторов». Мы, понятно, не можем считать соловьевскую трактовку вопроса вполне удачной, точно соответствующей действительному ходу развития. Правильный научный взгляд на роль географической среды возможен лишь при отчетливом понимании того факта, что влияние «природных условий» модифицируется в зависимости от уровня производительных сил. Надо ли говорить, что подобное понимание было чуждо Соловьеву! И Плеханов был совершенно прав, когда он упрекал в ошибочном толковании проблемы историка, предлагавшего «непосредственное влияние географической среды, тогда как... надо говорить преимущественно об ее посредствен-

ном влиянии» [1]). Конечно, Соловьев не сумел разобраться в этой проблеме, столь блестяще разрешенной марксистской наукой. Этот дефект значительно обесценил материалистическую струю в мировоззрении Соловьева и часто приводил ученого к катастрофической бесплодности анализа, не давая возможности правильно разобраться в важнейших вопросах русской истории.

Но надо отдать справедливость историку. Кое-где мы находим у него намеки на правильную постановку проблемы. Серьезного внимания заслуживает встречающаяся у Соловьева мысль о том, что влияние «природных условий» нельзя рассматривать, как нечто неизменное, раз навсегда данное.

Народ в пору своего младенчества подчинен в своем развитии «природным условиям» занимаемой им местности, но с ростом его сил наблюдается другое явление: роль природных условий изменяется под влиянием «народной деятельности». Наибольшую роль «природные условия» играют в той стадии общественного развития, которая соответствует «возрасту чувств».

Мы помним, какое место уделял в своем анализе Соловьев «обширности территории», явно преувеличивая значение этого «природного условия». Но, оказывается, историк не чужд иногда понимания того, что на разных стадиях развития «обширность территории» может играть различную роль.

«Если Россия есть обширнейшее государство в мире, то в ее истории мы необходимо должны встретиться с известным рядом указанных неудобств... Но если народ вынесет все эти неудобства..., если успеет образовать государство, крепкое единством своего народонаселения, крепкое соответствием числа этого народонаселения пространству... наконец, крепкое цивилизацией, которая все более и более уничтожает природные препятствия и главное из них — отсутствие удобных путей сообщения, уничтожающих пространства,—если народ успеет образовать такое государство, то обширность его станет обратно условием, в высшей степени благоприятным, условием внешнего могущества и внутреннего процветания...» [2]).

Обоснование содержащейся в этой выдержке основной мысли, опять-таки свидетельствующее о влиянии знаменитых идей Бокля, нас, само собой разумеется, не может удовлетворить. В нашем распоряже-

---

[1]) Г. В. Плеханов. „История русской общественной мысли“, М. 1918, т. I, стр. 31.

[2]) Сочинения, стр. 762, 763.

нии имеются более благодарные понятия, чем «государство, крепкое цивилизацией».

В цитированной уже нами работе Плеханов обращает внимание на следующий отрывок из соловьевской «Истории»:

«Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворению... отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними» [1]).

Здесь важна та мысль, что природа не прямо действует на обычаи, права, верования, а через «занятия». Конечно, «занятия»—термин слишком расплывчатый, да и вся формулировка оставляет желать лучшего, но здесь историк все же делает, несомненно, шаг вперед. Приведенное положение также не нашло в произведениях Соловьева должного развития и применения, и историк в большинстве случаев предпочитает говорить о «прямом», непосредственном влиянии «природных условий».

Придавая географическому фактору огромное значение, Соловьев выдвигает вместе с тем положение, в значительной мере ограничивающее действие географических условий. «Если в установившихся уже и развитых обществах человек избирает себе деятельность по своим личным наклонностям, по условиям своей личной природы, то это же самое долженствовало быть и во времена отдаленные, времена расселения племен и народов: не известная местность своими природными условиями первоначально создала характер и жителей; но люди выбрали известную страну местом своего жительства по своим наклонностям, по своему характеру... Народ... останется в степи и предастся кочевому быту в том случае, если чувствует внутреннее влечение к нему; в противном случае, он пройдет степь и устремится на искание других стран, именно соответствующих его природным наклонностям. Живет один народ у моря, и море не оказывает на него никакого влияния, не тянет его к торговой деятельности; другой народ пользуется близостью моря и стремится на открытие новых земель, новых рынков,—для себя. Следовательно, народ носит в самом себе способность подчиняться и не подчиняться природным влияниям (разрядка моя. *З. Л.*), и отношения потому изменяются, являются более свободными» [2]).

---

[1]) „История России...“, т. I, стр. 9.
[2]) Сочинения, стр. 1119.

Чтобы установить источник внутренних влечений, в зависимости от которых народ подчиняется или не подчиняется влиянию природы, необходимо учесть влияние личной природы родоначальника. «Народ похож на своего родоначальника». «Влияние природы родоначальника и предания, от него идущие и отражающие эту природу, необходимо должны быть предполагаемы, если не могут быть указаны». Надо помнить о наследственности качеств, о переходе их от предка к потомству.

«Племенному условию» наш историк приписывает весьма и весьма немаловажное значение. В самом деле, чтобы народ оставался в степи, нужно некое, чуть ли не «от века» заложенное в него «внутреннее влечение»; если же оного нет, народ махнет на степь рукой и, влекомый теми же «природными наклонностями», устремится дальше. Подчиняется ли народ природным влияниям или нет,—к ответу надо притянуть спасительное «племенное условие»!..

Восторженные чувства вызывает у Соловьева история арийского племени, которое везде, в различных условиях, «выказывало свою силу, свое превосходство над другими племенами».

Говоря о выступлении России на широкую историческую арену, Соловьев приписывает данное обстоятельство действию «характера господствующего народонаселения ее, славянского, принадлежащего любимому историей арийскому племени. В сильной природе этого племени лежала возможность преодоления всех препятствий, представляемых природою-мачехою...» [1]).

Этнографический фактор занимает в общей системе научных взглядов Соловьева очень заметное место, весьма часто, по разным поводам, привлекая к себе внимание ученого и служа ему для об'яснения целого ряда проблем русской истории.

Соловьев часто касается еще одного условия, имеющего, по мнению ученого, серьезнейшее значение для всего народа. Судьба народа в немалой мере зависит от направления и характера его движения, его странствований. Движение развивает физические и нравственные силы, заставляет преодолевать природные препятствия, вынуждает вступать в борьбу с другими народами, расширять горизонт, развязывает энергию, делает народ способным к сильному развитию. Печальную картину являет собою народ, воспитываемый «сиднем», вдали от других народов. Такой народ отличается вялостью, недостатком энергии,

---

[1]) Сочинения, стр. 764. Разрядка моя. *З. Л.*

узостью взгляда, отсутствием высших побуждений, такой народ далеко в своем развитии не пойдет.

Изложенный взгляд на роль «движения» находит себе, по убеждению Соловьева, подтверждение в истории разных народов. Например, Китай и Египет, жизнь которых имела замкнутый характер, протекая вдали от жизни других народов, не зная движения, заснули, остановились в своем развитии. История Финикии знает сильное и широкое движение, но, вследствие своего «рассыпного» торгового и колониального направления, движение это не могло дать достаточно положительных результатов. В Греции широкое и длительное движение было одним из главных условий высвобождения даровитого народа из азиатских форм жизни.

Изучать «движение народа» изолированно, обособленно от других основных условий исторического развития—значит ничего не понять в истории. Действие указанного условия часто определяется тем, какие факторы, какие условия действуют рядом с ним. К примеру, Индия представляла собою замкнутый, закрытий мир, но, при всем своем сходстве с Китаем и Египтом, она обнаружила некоторые замечательные особенности, которыми она была обязана характеру славного арийского племени. Это любимое историей племя, «вошедши на очарованную почву Индии, в усыпленный волшебницей замок, также подверглось чарам; несмотря, однако, на силу этих чар, оно не утратило своего характера и выказало необыкновенную энергию в области мысли» [1]).

Чрезвычайно важны мысли Соловьева о роли личности в историческом процессе. Суждения Соловьева о «великих людях» напоминают нам в известной своей части соответствующие положения Гегеля.

Какую роль играют в истории «великие люди», «герои»? Каков их удельный вес? Какие границы существуют для их деятельности, есть ли предел для гигантского размаха их разрушительной или творческой энергии? На этих вопросах, огромное значение которых для исторической науки совершенно очевидно, часто фиксирует свое внимание Соловьев, решительно восставая против изображения выдающихся деятелей истории в виде божественных существ, творящих мир по своему капризу. Историк возражает против подобного отношения к «великим людям», считая его противоречащим взгляду на историю, как на цельный, органический, не подверженный произволу одного человека, процесс. По мнению Соловьева, «великий человек является сыном

[1]) Сочинения, стр. 1151.

своего времени, своего народа, он теряет свое сверх'естественное значение, его деятельность теряет характер случайности, произвола; он высоко поднимается, как представитель своего народа в известное время, носитель и выразитель народной мысли; деятельность его получает великое значение, как удовлетворяющая сильной потребности народной, выводящая народ на новую дорогу, необходимую для продолжения его исторической жизни» [1]).

Великий человек в состоянии делать только то, на что способен его народ; он обогащает историю своим трудом, но величина и успех этого труда зависят от народного капитала, от того, что скоплено народом за всю его предшествующую жизнь. История не всякого народа богата великими деятелями, ибо только великий народ способен иметь великого человека.

Адептов противоположной точки зрения Соловьев упрекает в «неисторичности», потому что в их представлении «деятельность одного исторического лица отрывалась от исторической деятельности целого народа; в жизнь вводилась сверх'естественная сила, действовавшая по своему произволу...»; при этом забывалось, что «произвол одного лица, как бы сильно это лицо ни было, не может изменить течение народной жизни, выбить народ из его колеи...».

Внутренние условия народной жизни создают форму для деятельности исторических деятелей вообще, для деятельности правительственных лиц в частности. Известная деятельность «обнаруживается таким образом в одном народе, иным образом в другом, бывает совершенно невозможна в третьем...».

Соловьев упрекает Щербатова и Карамзина в том, что они изображали Мономаха, как человека и владельца вообще, не давая оценки его, как представителя определенной эпохи и народа [2]).

«Не Цезарь разрушил римскую республику; эта республика, во времена Цезаря, заключала в себе такие условия народной жизни, при которых Цезарю возможно было сделать то, что он сделал» [3]).

Великий человек есть кость от кости и плоть от плоти своего народа. Как сын своего народа, он «не может чувствовать и сознавать того, чего не чувствует и не сознает сам народ, к чему не приготовлен предшествовавшим развитием, предшествовавшей историей».

---

[1]) Сочинения, стр. 971.
[2]) Там же, стр. 1420.
[3]) Там же, стр. 1124.

Соловьев считает признаком ребячества мнения, «по которым одному человеку приписывалось то, что являлось по общим, непрелюжным законам народной жизнью, мнения, по которым в вину одному человеку ставились неблагоприятные обстоятельства, бывшие необходимым следствием известных исконных условий развития какого-нибудь народа».

Несмотря на целый ряд верных мыслей, подписаться под приведенными извлечениями мы, естественно не смогли бы: в них нехватает такого «пустячка», как мысль о зависимости «героя» от определенного класса, в них вообще не видно «класса»—он всюду подменен «народом».

На ряду с признанием «исторической обусловленности» великих людей, Соловьев отмечает огромные заслуги их перед обществом, перед народом: от их искусства, от их уменья зависит возможность уменьшения тягот, ослабления вредных влияний, сокращения потерь, которые терпит народный корабль во время великих бурь.

Упоминаемые нами мысли и замечания Соловьева по вопросу о роли личности в истории весьма убедительно свидетельствуют о том, что легенда о «героях», одной силой своей воли и мысли толкающих вперед историю, не могла считать историка в числе своих ярких приверженцев. Но необходимо признать, что его позиция по этому далеко не третьестепенному вопросу науки не отличалась более или менее достаточной последовательностью, что и он сам приложил руку к пресловутой теории о «герое и толпе». Изображая величие подвига, совершаемого великими людьми, Соловьев отмечает, что они «силой воли, своей неутомимой деятельностью побуждают и влекут меньшую братию, т я ж е л о е н а п о д'е м (разрядка моя, *З. Л.*), большинство, робкое перед новым и трудным делом».

О том, чем и как живут массы, какого уровня достигло их развитие, об их настроениях, чаяниях, стремлениях—обо всем этом историк должен судить, по мнению Соловьева, по деятельности и жизни исторических личностей, «направителей» народного движения.

«История имеет дело только с тем, что движется, видно, действует, заявляет о себе, и потому д л я и с т о р и и н е т в о з м о ж н о с т и и м е т ь д е л о с н а р о д н ы м и м а с с а м и (разрядка моя, *З. Л.*), она имеет дело только с представителями народа, в какой бы форме ни выражалось это представительство; даже и тогда, когда народные массы приходят в движение, и тогда на первом плане являются вожди, направители этого движения, с которыми история преимущественно должна иметь дело»[1]).

[1]) Сочинения, стр. 1123.

Первоочередной задачей историка является изучение деятельности выдающихся людей эпохи, и прежде всего—лиц правительственных.

Ударение на «правительственных лицах» Соловьев делает в связи со своими общими взглядами на роль и значение государства, опять-таки напоминающими о влиянии идеалистической Гегелевой «Философии истории».

Народ без государства немыслим, так как «государство есть необходимая форма для народа». Только в государстве осуществляет народ свою способность к исторической жизни и «заявляет свое историческое существование», только в государстве народ из аморфной, рыхлой массы превращается в политическое лицо с определенным кругом деятельности, нравами, характером.

Государство блюдет за соединением частей для достижения общей цели, за сохранением мира и согласия между частями, за независимостью, за общественной безопасностью. Классовая сущность государства, конечно, совершенно недоступна пониманию Соловьева. Государство стоит над классами, оно, как солнце, светит всем, благоденствует всему народу, заботится об общем благополучии. Благословенна лень, когда восторжествовало сие благодетельное начало...

«Правительство, какая бы ни была его форма, представляет свой народ; в нем народ олицетворяется, и потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка» [1]).

Правительственная деятельность «служит самою лучшею проверкою народной жизни... мы должны изучать деятельность правительственных лиц, ибо в ней находится самый лучший, самый богатый материал для изучения народной жизни... С другой стороны, деятельность правительственных лиц, обусловливаясь известным состоянием общества, производит могущественное влияние на дальнейшее развитие жизни этого общества, и потому должна обращать на себя особенное внимание историка» [2]).

Соловьев считает неправильным, незаконным, противоречащим науке «развод народа с государством». Правительство, в какой бы то ни было форме, является наилучшим способом «проверки» исторической жизни известного народа. Если данная правительственная форма не удовлетворяет более потребностям народной жизни, она изменяется, сменяется другой. Случается, что народ выражает свое недовольство той или иной правительственной формой, но если она все же остается

[1]) Сочинения, 1123.
[2]) Там же. 1124.

существовать, то это обстоятельство может служить лишь признаком того, что условия народной жизни требуют именно такой формы правительственной власти, что эта форма в основных своих частях отвечает народным потребностям.

Соответственно своему пониманию основной задачи, стоящей перед исторической наукой, Соловьев главное свое внимание уделяет политической истории. Социально-экономическое содержание исторического процесса интересует нашего историка лишь во вторую очередь. Центром тяжести русской истории становится, в изображении Соловьева, история государственной власти.

СХЕМА И ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

„Историко-юридическая" школа.—Центральная ось соловьевской схемы.—Основные этапы исторического развития России.—Условия образования в Восточной Европе единого национального государства.—Условия развития русского самодержавия.—Недостаток „внутренней связи".—Необходимость постоянной обороны от внешних врагов.—„Лес и степь".—Слабость общественных сил.—Закрепощение сословий.—Государственная централизация и феодализм.—Государственная власть и земские соборы.—Несколько критических замечаний.

Прежде, чем перейти к изложению соловьевской схемы русского исторического процесса, важно вспомнить, что в лице Соловьева русская историография имела выдающегося и яркого представителя т. н. «историко-юридической» школы, выдвинувшей на ряду с нашим историком таких крупных ученых, как К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин. Всех их об'единяла мысль о происхождении государственного начала из патриархально-родовых отношений, все они преклоняли благоговейно колени перед всемогущим и всеблагим божком—государством. Государство для «историко-юридической школы»—«венец творения», высшая цель исторического развития.

«Историко-юридическая» школа не была узко-самобытным продуктом отечественного производства, а носила на себе ясную печать немецкой идеалистической философии (г. о. Гегеля) и «исторической школы» (Савиньи). Идеи развития, закономерности, взаимной связи явлений, «восхождения» исторического процесса от рода к государству—все это уже не составляло тайны для Запада. Без труда воспринимались эти идеи и на русской почве, на которой еще не так давно благоухали цветочки «карамзинщины».

История государства изображалась историками-«юристами» в согласии с концепцией Гегеля. Как известно, у Гегеля «об'ективный

дух», ставши «нравственным духом», проходит три стадии развития, три ступени. Первой ступенью является семья, основой которой служит природное чувство людей. Семья уступает место гражданскому обществу, последнее — государству. Государство — осуществление нравственной идеи, абсолютная самоцель.

Принадлежа к одной общей школе, имея много сходных взглядов, Чичерин, Кавелин, Соловьев создали три разных схемы русского исторического процесса, правда, об'единенных общей идеей.

По мнению Кавелина, общественная жизнь в России и на Западе начинается родовым союзом. Но западная история с самого начала характеризуется развитием личности. У нас же исторический процесс может быть об'яснен только из естественного развития начала родового процесса. Идея личности должна рассматриваться, как продукт этого развития. После смерти Ярослава княжеский род распался на семьи. «Семья есть то начало, которое становится всегда в противоположность с родом, отрицает и разлагает его по естественному закону распадения кровного союза» [1]). С семьей появляется вотчина, идея семейной собственности. В процессе дальнейшего развития, в результате борьбы между отдельными семьями усиливается одна семья, и в итоге является идея личности и государства. Содержание русской истории от Иоанна III до Петра составляет постепенное освобождение личности и государства от родовых и частно-владельческих пережитков. Таким образом, развитие проходит через три ступени: 1) род и общее владение, 2) семья и частное владение, 3) личность и государство.

Чичерин считает, что нельзя преувеличивать значение родового быта в прошлом. Господство родового быта разрушается с приходом варягов. В своих взаимных отношениях русские князья руководятся не отношениями родства, а личным интересом, вследствие чего отношения между князьями носят договорный характер. Русская история вступает в период господства частного права, этого основного признака гражданского общества. Следующее звено развития—господство государственных отношений.

Из всех представителей «историко-юридической» школы наиболее выдающимся, крупным историком является Соловьев. Незаурядная личность и замечательный ученый с большим «багажом», Чичерин, в первую очередь,—философ и правовед, лишь во вторую—историк. Нельзя отказать в крупном таланте и богатейшей эрудиции Кавелину, но и он в первую очередь—юрист, а не историк.

---

[1]) К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. I, стр. 276.

Смена родового строя государственным, рост и укрепление национального русского государства—вот центральная ось схемы исторического процесса, данной Соловьевым, старающимся изобразить на первом плане, по его же словам, «важнейшую сторону нашей истории, именно постепенное установление государственного порядка». Т. о., Соловьев, как и Гегель, видит в конце развития господство государственных отношений. Среднее звено Гегелевской формулы Соловьевым выпущено.

Как и его предшественник Эверс, Соловьев признает, что «всякое общество начинается кровным или родовым союзом». Человек не может жить без общества, и первоначальным, естественным общественным союзом является родовой союз, все члены которого—свои по крови, соединены кровной связью.

Родовая форма быта «не есть исключительная принадлежность славянского племени». «Родовой быт есть явление, общее многим временам, странам и народам»... В силу разных исторических причин одни народы изживают родовую форму быта ранее, другие—позднее.

Соловьев приводит множество примеров, доказывающих широкую распространенность в древности родового быта. Родовое начало легло в основу восточных монархий. Борьбу патрициев и плебеев Соловьев определяет, как борьбу родового и дружинного или личного начал. Торжество плебеев было торжеством личного начала над родовым и вело к дальнейшему развитию личности. Народы германского племени изжили, по мнению Соловьева, родовой быт раньше славян «вследствие переселения на римскую почву, где они приняли идеи и формы государственные» в то время, как «славяне, оставаясь на Востоке, в уединении от древнего исторического мира, оставались и при прежних, первоначальных форм быта» [1]).

Серьезные препятствия встречает на своем пути родовой союз при переходе от кочевого быта к оседлому. Пребывание на одном месте ведет к возникновению понятий «мое» и «твое», к уничтожению общего владения. Но мнение, согласно которому родовой быт может сохраняться только у кочевников, безусловно неверно. Переход к оседлости далеко не всегда влечет за собой крушение родового быта. При обилии земли и пустынности страны земля лишена ценности и не порождает собственнических стремлений. Обширность страны и разбросанность малочисленного народонаселения, при земледельческом характере занятий, в сильнейшей мере способствует расцвету именно ро-

[1]) „История России“, т. 1, стр. 107.

дового быта. Если родовой быт даже и начал уже разлагаться, то в подобных условиях он обязательно должен возродиться. При больших расстояния между отдельными семьями каждая семья должна своими силами удовлетворять свои потребности, из которых особенно важны потребности питания и защиты. Удовлетворение этих потребностей требует, чтобы смерть отца не прекращала связи между братьями, влечет образование и развитие родовых форм быта.

Устои родового быта начинают шататься и с появлением «дружины, городов, промыслов, торговли, умножением движимого имущества, денег, увеличением ценности земли. С «умножением денег» увеличивается число рабов, «посредством которых можно обрабатывать большие участки земли, приобретаемой в собственность» [1]).

История застала в Восточной Европе господство родового быта. Славяне жили родами, каждый род под своим родоначальником. «Живяху кождо с своим родом и на своих местах, владеюще кождо родом своим».

Достоверность известия летописца о родовом быте ни в коем случае не подрывается известием того же летописца о городах, в которых жили славяне, так как город того времени представлял собою, по существу, огороженное, укрепленное жилище рода. Этот город нельзя смешивать с городом позднейшей эпохи, служившим жилищем для дружины, ремесленников и торговых людей и пр. Жители древне-славянского города занимались земледелием. Размеры города находились в зависимости от количества членов рода.

«Отрицать господство родового быта у славян в половине IX века и сильное влияние его после в отношениях самых видных... можно только отвергая свидетельства честных летописцев и других неоспоримых источников» [2]).

В эпоху родового быта славяне не имели одного общего имени, «потому что они не составляли одного общего народа, не имели одного общего правительства» [3]).

Летописец жалуется на усобицы внутри родов. Чем более размножались родовые линии, чем отдаленнее становилась связь между родоначальником и известной частью членов рода, тем запутаннее становились права на старшинство. Такое положение приводило к бесконечным распрям. Очень сильны и часты были также столкновения между отдельными родами.

---

[1]) Сочинения, стр. 767.

[2]) Там же, стр. 1584.

[3]) „Общедоступн. чтения о русской истории". М. 1902 г., стр. 5.

Чтобы установить мир, потребовалось вмешательство постороннего начала, понадобилось призвать «нарядника изчужа», князя, на которого смотрели, как на хранителя внутреннего «наряда», защитника мира и справедливости, признанного вождя во время войны. При призвании князя с его именем связывалось значение родоначальника. Он должен был думать о своем владении, как старшина о своем роде. Круг его власти соответствовал кругу власти прежнего родоначальника.

Появление князя и дружины выражало начало исторической жизни. Родовому быту был нанесен тяжелый удар. Участие славян в княжеских походах, привлекавших под знамена членов различных племен, способствовало выработке сознания о народном единстве и выходу из «особного» родового быта. Чуждый и враждебный для родового быта характер носило новое военное деление на десятки и сотни, возглавляемые независимыми от родовых старшин десятскими и сотскими. Известное значение имело также собирание князем дани, служившее «первоначальным видом подчиненности племени одной общей власти, связи с другими соподчиненными племенами». Кроме того, ослаблению родового быта, сосредоточению племен «около известных центров и более крепкой связи всех их с единым, общим для всей земли средоточием способствовало построение городов князьями, умножение народонаселения, перевод его с севера на юг» [1]).

С появлением князя и дружины, характеризовавшим начало нового «богатырского или героического» периода, народонаселение стало делиться на сословия: на княжих мужей («полные люди») и мужиков («полулюди»—городские жители и сельчане). Прежнее племенное деление стало исчезать. Дружина противостояла старому обществу, как носительница новых начал, как слой общества, члены которого связаны не родовой связью, а «товариществом». Члены племени получили возможность выдвинуться вследствие своей личной доблести, тогда как прежде значение того или иного лица определялось лишь той ступенью, которую оно занимало на родовой лестнице.

В лице дружинников появился новый элемент населения, не промышленный сам по себе, но обладающий средствами к существованию. Отсюда—развитие торговли и промышленности, действовавших разлагающе на старый быт. Особенно резко протекал процесс разложения родового быта в новых городах, построенных князьями, населявшихся людьми, стекавшимися из разных мест, обычно терявшими связь со своими родовыми союзами.

---

[1]) „История России", т. I, стр. 216, 217.

Ослабление родового быта в городе соответствующим образом действовало на население ближайших к городу сел, тянувшееся к городу, как к правительственному центру. По мере того, как города стали приобретать новый характер, между ними и селом завязывались торговые отношения, обусловленные различием занятий. Общая картина распада родового строя довершалась тем, что князья-дружинники, вообще горожане, стали «выводить» свои деревни, населенные рабами или наемными работниками. На исторической сцене появились княжения, волости, с именами, заимствованными не от племен, а от правительственных центров.

Разлагающее влияние на родовой быт имело также христианство. Прежний начальник потерял свое жреческое значение, так как подле него появился новый «отец», христианский священник.

Несмотря на все отмеченные перемены, появление князей и дружины отнюдь не означало полной гибели форм родового быта. В ослабленной форме родовое начало продолжало еще сказываться в русской истории на протяжении многих веков. Интересы об'ективного научного изучения русского прошлого заставляют, по мнению Соловьева, постоянно считаться с родовым началом,—«действуя в нашей древней истории в самых выпуклых отношениях, оно провожает нас и в XVIII в.». Характеризуя живучесть родового быта, Соловьев отмечает, что «у нас в России теперь, после тысячелетнего государственного существования, встречаются еще явления, напоминающие девятый и десятый века». Так, можно встретить целые села, население которых еще живет в условиях родового быта. Вообще, при известных условиях, родовой союз «может существовать в виде частного союза и тогда, когда из отдельных родов образовался народ, выработавший себе общее правительство».

Если, с одной стороны, родовой быт пережил коренную и разрушительную встряску в связи с появлением правительственного начала, то, с другой стороны, родовые формы быта оказали огромное влияние на отношения внутри княжеского рода. С количественным ростом семьи Рюриковичей между членами ее стали господствовать чисто родовые отношения. После Ярослава вся русская земля стала считаться общественной собственностью княжеского рода. Отношения между старшими и младшими членами рода приняли родовой характер.

Родовые отношения между князьями могущественно действуют на общественный быт древней Руси, «находятся на первом плане, характеризуют время».

«С успокоением движения, богатырства, знаменующего начало исторической жизни народа, или с отвлечением этого движения куда-нибудь в другую сторону связь с собственной, вначале, Руси, Киевской области с отдаленными волостями могла ослабеть; правители волостей, благодаря отдаленности, могли устремляться к самостоятельности...». Но родовые княжеские отношения не дали волостям обособиться. Ведь, чтобы сохранялась связь между частями, необходимо было, чтобы «представители исторического движения, князь и дружина, не прекращали своего движения, но перебегали бы беспрестанно обширные пространства восточной равнины, не давая волостям обособляться, возбуждая их беспрерывно к общей жизни. Это именно явление мы и видим во время, протекшее от смерти Ярослава I до выступления Сев. Руси на главную сцену действия» [1]).

Такое движение было неизбежно при родовых отношениях между князьями. Князья расходились по разным волостям, но единство рода при этом сохранялось. Лучшие волости доставались князьям по степени родства, при чем главный стол принадлежал самому старшему в роде. Князья были в своих волостях только временными владельцами. Взоры всех князей были прикованы к Киеву. Над всем господствовала одна страсть, одна мысль: как бы не потерять своего старшинства и не лишиться права на лучшую волость.

Отсутствием отдельной княжеской собственности об'ясняется то обстоятельство, что в указанную эпоху ни одно княжество не увеличило заметно своих размеров за счет другого. Да и какой смысл могли иметь стремления князей к увеличению земель, если князья являлись лишь временными владельцами, переходившими из одной волости в другую? К примеру, Изяслав Мстиславич переменил за свою жизнь шесть волостей [2]).

Благодаря описанному порядку княжеского владения, все области жили общей политической жизнью. Какая-нибудь перемена, происходившая в Киеве, неизбежно давала себя знать и в Смоленской, и в Новгородской, и в Волынской областях, менявших своих князей в зависимости от того, сменялись ли в Киеве Мономаховичи Ольговичами, Юрьевичи Мстиславичами, или наоборот.

Сознание народом своего единства росло и крепло.

«Таким образом, посредством родовых княжеских отношений, посредством беспрестанных передвижек князей и дружин их из одной

---

[1]) „Ист. России", т. XIII, с. 632.

[2]) „История России", т. II, с. 491.

области в другую. народонаселение и самых отдаленных областей не могло высвободиться из общей жизни, постоянно имело общие интересы и укореняло в себе сознание о нераздельности Русской земли» [1]).

До начала исторической жизни на территории России существовали отдельные племена; с началом исторического движения, с появлением князей, племена были приведены в связь, преимущественно внешнего характера, и их быт стал подвергаться серьезной «переработке». Но лишь благодаря явлениям, характерным для эпохи родовых передвижек князей, было заложено твердое основание народному и государственному единству.

Кроме единства политического, зиждившегося на родовых княжеских отношениях, Соловьев отмечает единство церковное: в Киеве жил единый митрополит, и туда обратили свои взоры все русские христиане.

Несмотря на коренные изменения в быте племен, вызванные таким мощным творческим. прогрессивным началом, как княжеская власть, общество еще долго остается в «жидком состоянии», пока развитие не приводит к окончательному торжеству государственного единства.

Родовые отношения между князьями претерпели чрезвычайно важную эволюцию. Когда великим князем являлся отец или дед, то отношения между ним и младшими членами рода отличались известной прочностью. Положение изменилось с увеличением числа членов рода, с появлением в роду великого князя двоюродного или четвероюродного дяди или брата. Ослабела общая родовая связь, пошли бурные споры о старшинстве, при чем в споры вмешивалось и население волости. Последнее стало выбирать князей, пренебрегая родовыми счетами Рюриковичей. Это влекло за собой новые усобицы, частые и кровавые.

Заметную роль в усобицах играли князья-сироты, изгои, преждевременной смертью своих отцов лишившиеся прав на старшинство, на движение по родовой «лестнице».

Вместо того, чтобы заниматься укреплением порядка в своих волостях, князья все свое внимание, все свои силы сосредоточивали на родовых счетах. Ликвидация распрей становилась возможной лишь при уничтожении родовых отношений между князьями. Необходим был новый порядок правления, при котором старший в роде относился бы к младшим, как государь к своим подданным.

Огромную решающую роль в процессе смены старых родовых отношений новыми, государственными, сыграла передвижка центра рус-

---

[1]) „История России". т. XIII, с. 633.

ской земли из Киева на северо-восток. Соловьев признает глубокоошибочным стремление Карамзина об'яснить происшедший переворот личными достоинствами Андрея Боголюбского,—дело обстояло несравненно сложнее.

Юго-запад подвергался бесконечным набегам степных кочевников, делавшим жизнь обитателей юго-западной «Украины», страдавших и без того от княжеских усобиц, совершенно невыносимой. Началось бегство на северо-восток, в Суздальский край, находившийся в стороне от главного торгового пути из Балтийского моря в Черное.

Колонизация происходила не «племенным порядком». а вразброд.

Отношения князя и населения на новом месте были уже не те, что на юго-западе.

В западных областях князья были пришельцы; на востоке, наоборот, славянские переселенцы являлись в страну, где уже хозяйничал князь. «Насельники» всем были обязаны здесь князю. Создавшиеся на севере отношения между князем и народонаселением неизбежно вели к сильнейшему развитию и усилению княжеской власти.

Если в истории княжеских отношений до Андрея Боголюбского мы видим почти исключительное господство родовых форм, то, «начиная с Боголюбского, является попытка сменить родовые отношения государственными, которые вступают в борьбу с родовыми и, наконец, торжествуют над ними».

Покорив в 1169 году Киев, Андрей сам остался на севере во Владимире на Клязьме, отдав «старший город» старшему после себя князю. В истории открылась новая страница.

На севере отдельные княжеские семьи не стягивались в одно целое обручем родовых отношений, так как там отсутствовали необходимые для того условия, не стало более понятия об общности, нераздельности владения. На севере стало господствовать понятие об отдельной собственности, исключавшее представление о родовом единстве. Князья построили целый ряд новых городов, считавшихся их личной собственностью. На севере существовал лишь один древний город, Ростов, упоминаемый летописцем еще до прихода варягов. Рядом с Ростовом возникали один за другим новые города, где князья считались «неограниченными властелинами», «полновластными хозяевами». Новые города становились опорой нового порядка. Укреплению новых отношений способствовали девственный характер края, отсутствие традиций, существовавших на юго-западе. Немаловажное значение имел характер северного народонаселения, постоянно работающего умом,

неуклонно стремящегося к своей цели, отличающегося деятельностью не порывистой, но постоянной.—«народонаселение с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию народы окружные, отличающиеся другим характером...» [1]).

Андрей Боголюбский понимал очень хорошо значение слова «мое» и полностью использовал выгоды новых взаимоотношений с народонаселением. Стремясь заменить родовые отношения государственными, Андрей на младших князей смотрел, как на «подручников», «простых людей», как на своих подданных.

Южные князья восстали против нового порядка и одержали победу над войском Андрея, отправленным против них на юг. Севера при этом они не тронули. Новгород Великий сумел отбиться от андреевых полков, но этим оборонительным действием дело и ограничилось. Новгород оставил без своей поддержки Ростов, «в который Андрей ударил пятою». Андрея убили бояре, порядков же, заведенных Андреем, они уничтожить не смогли. Поднялся против «новизны» вечевой город Ростов, поддержанный недовольными боярами, хотел «низложить древний пригород Владимир, взявший первенство по воле князя», но неудачно—в результате окончательно лишился своего былого значения. Князья же утвердились в «пригородах», в новых городах, где не было веча, где они не боялись ограничения своей власти.

Наступил конец эпохи родовых передвижек. Власть князя в данной волости становилась постоянной, князь как бы «срастался» с волостью. Столкновения между князьями потеряли свой прежний характер, обусловленный родовыми отношениями. Одно княжество стремилось усилиться за счет другого, в борьбе «дело идет о том, быть государем всей русской земли или слугой этого государя» [2]).

Одно княжество взяло, наконец, верх над всеми другими, и образовалось Московское государство. Возвышению Москвы содействовало множество обстоятельств. Прежде всего, должно быть отмечено географическое положение Москвы и ее области. Москва была срединным пунктом между южной и северной Россией. Население, хлынувшее с юга на северо-восток, в первую очередь оседало в Московской области. Сюда же стекались жители и ближайших областей, менее гарантированных от набегов врагов. Сгущение в области народонаселения, при

---

[1]) Сочинения, с. 835.

[2]) „История отношений между русскими князьями Рюрикова дома“, с. 281.

продолжительной безопасности, способствовало росту княжеских доходов. Особо останавливается Соловьев на благоприятном торговом положении области, указывая, что «казна Московских князей должна была обогащаться также вследствие выгодного торгового положения их области, которая не только была посредствующей областью между севером и югом, но также, благодаря своей реке, посредствовала в торговом отношении между северо-западом и юго-востоком». Через область проходил торговый путь из Азии в Европу и обратно—по Волге, Оке и Москве-реке. Москва-река имела «важное торговое значение для Новгорода, как путь в Рязанскую область, богатейшую естественными произведениями из всех областей Северо-Восточной Руси...» [1]). Заслуживает быть отмеченным, по мнению Соловьева, и то значение, которое имела срединность положения Московской области в церковном отношении. Российские митрополиты, с разгромом Киевской Руси, переехали на север и поселились во Владимире Клязьменском. Но новое местопребывание не могло их удовлетворить, поскольку Владимир находился на слишком большом расстоянии от юго-западной Руси, которую они отнюдь не собирались оставить вне поля своего внимания. Единственно подходящим пунктом для местопребывания митрополитов оказывалась Москва, удобная своим положением между старой и новой Русью.

Период от Ивана III до пресечения Рюриковой династии ознаменовался полным торжеством Москвы.

Самостоятельное русское государство образовалось в северо-восточной Руси. Поэтому, если недопустимо, с одной стороны, игнорировать историю ю.-з. Руси, после отделения ее от северо-восточной, то, с другой стороны, «также несправедливо, также неверно историю юго-западной Руси ставит на ряду с историей северо-восточной... главное внимание историка должно быть постоянно обращено на север» [2]).

С переходом центра политической жизни на северо-восток ослабела связь с Европой.

«Как скоро историческая жизнь отливает на востоке в область верхней Волги, то связь с Европой, с Западом необходимо ослабевает и порывается... вследствие могущественных природных влияний: куда течет Волга, главная река новой государственной области—туда, следовательно, на восток, обращено все».

---

[1]) „История России...“ т. IV, с. 1120.

[2]) Там же, стр. 1116.

«Смутное время» явилось тяжелым, критическим моментом для развития русской государственности. В эту горькую эпоху восстали антигосударственные элементы, пошли походом против государственности такие глубоко враждебные государственному порядку элементы, как казаки, выступили на арену старые дружинные силы, с которыми не удалось в свое время покончить Иоанну IV. Россия спаслась в «смутную годину» силой политического и религиозного единства. События этого времени выдвинули настоятельную потребность развития торговли и промышленности, поставили вопрос о необходимости поворота от востока к западу—к морю.

Поворот к Западу начался еще до Петра I.

Как только татары перестали подходить к Москве и брать в плен ее князей, сын князя, бывшего пленником в Казани, Иоанна III, уже устанавливает связь с Западной Европой.

Внук его Иоанн IV, смирив восточных татар взятием Казани и Астрахани, сейчас же обращает свое внимание на Запад.

«По недостатку точных исторических наблюдений у нас приписывали Петру это отрицательное отношение ко всему существовавшему, разрушительные удары, нанесенные прежним формам государственной жизни, удары, которые тяжело отразились и в мире нравственном. Но теперь мы знаем, что это отрицательное отношение началось, усилилось прежде Петра; прежде него русский человек уже отрицательно относился ко всему, начиная с бороды, широкого, по азиатскому покрою, платья, до высшей сферы религиозной...» [1]).

Еще до Петра государство переживает период, когда ум уже возбужден, относится с осуждением к существующему порядку, но в то же время нет сил для создания новых отношений, нового общества. Старое потеряло для русского человека свой смысл, свое содержание, и он бродит как бы между развалинами.

Преобразовательное движение, начавшееся еще в XV веке, встретило на своем пути препятствия, преодоление которых потребовало затраты огромных сил и времени. Польша и Швеция загородили на западе дорогу. Старое войско оказалось негодным для решения новых задач. Мешал Восток, своими набегами связывавший движения страны, переходившей на новые пути. При Иоанне IV крымский хан сжег Москву. При Борисе только успели решить вопрос о посылке русских за границу учиться, как «степи снова всколыхнулись, явились оттуда казаки с самозванцами и выполнили степную работу опустошения, т.-е. уравняли все с землею получше татар». Было и множество других

---

[1]) Сочинения, стр. 1017.

препятствий, в роде казацких смут в Малороссии и пр., но ничто не могло приостановить движение,—«шли ощупью, принимали полумеры, но двигались, вводили преобразования в войска, отбиваемые от Балтийского моря, строили корабли для Каспийского».

Много споров возбуждает деятельность Петра, его роль и место в русской истории. Тщательное изучение прошлого приводит, по мнению Соловьева, к непререкаемому выводу, что Петр мог преуспеть и преуспевал в своих гениальных начинаниях лишь постольку, поскольку его деятельность отвечала назревшим потребностям эпохи. Петр—не «полубог», а сын своего времени и своего народа. Ничего сверх'естественного в его деятельности нет, и всякие разговоры о том, что Петр привел Россию из небытия в бытие, не выдерживают научной критики.

«Историк не может настраивать своего повествования о делах Петра Великого на тон хвалебных песнопений в стихах и прозе, кантемировских и ломоносовских, не может восклицать, что Петр внес свет в Россию, что Петр привел русских людей от небытия в бытие, и т. п... Как безусловные поклонники Петра, так и его противники грешат одинаково, ибо одинаково делают человека богом; у тех и у других взгляд на деятельность Петра ненаучный, антиисторический» [1]).

В чем общий смысл петровского преобразования? В том, что в конце XVII и начале XVIII в.в. совершился переход из древней истории в новую, из возраста, в котором господствовало «чувство», в возраст, характеризуемый господством «мысли». Переход этот был совершенно неизбежен, так как «великий исторический народ пребывать в застое не может». Движение началось с пробуждения с о з н а н и я о недостатках экономического быта. «Бедный народ сознал свою бедность и причины ее через сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которым заморские народы были обязаны своим богатством». Русского человека, жившего в условиях крайней бедности и неразвитости, поразили богатства и умелость заморских иностранцев, известных своей промышленной и торговой деятельностью. Он заметил, что наиболее богаты и искусны те иностранцы, которые плавают и торгуют по всем морям.

Между всеми членами государственного организма существует тесная связь. Поэтому неизбежно «вместе с экономическим преобразованием шло и множество других; но эти последние находились в служебном отношении к первому» [2]).

Переходу западно-европейских народов из одного возраста в другой предшествовал длинный ряд изменений в экономическом быте.

---

[1]) Сочинения, стр. 1610. [2]) Сочинения, стр. 95.

Русская история, протекая в основном по тому же пути, что и западно-европейская, имела важнейшие особенности. На Западе экономическое движение развивалось постепенно, поэтому оно не могло бросаться в глаза, поражать внимание своей внезапностью и необычностью. В России же экономическое движение оставалось на первом плане, так как, вследствие неблагоприятных условий, экономическое движение было задержано до тех пор, пока народ не уяснил себе окончательно необходимости преобразований и не ринулся вдруг на новую дорогу. Экономический переворот, как «совершившийся вдруг, тем самым давал себя чувствовать».

«История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями, как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории» [1]).

Смерть Соловьева прервала его обстоятельный, но весьма «сырой» рассказ о царствовании Екатерины II, которую историк характеризует, как умелую подражательницу Петра I, как достойнейшую его преемницу. Екатерина вошла в историю, как «знаменитая приобретательница русских земель». При Иоанне Калите русская земля стала собираться около Москвы, но то была лишь восточная часть России, так как западная была под властью литовцев и поляков. При Алексее Михайловиче значительная часть западной России воссоединилась с восточной, и Алексей имел титул «Всея Великие и Малые и Белые России Самодержца», но настоящее содержание этот титул получил лишь при Екатерине, вполне достойной почетного прозвания «Собирательницы Русских земель». При Петре Россия пробралась к Балтийскому морю, при Екатерине—к Черному. Царствование Екатерины было отмечено стремлением поднять нравственный уровень народа заботами о духовном просвещении нации, в то время, как петровская эпоха характеризовалась преимущественно увлечением материальной стороной цивилизации. «Различие между стремлениями первой и второй половины XVIII века всего резче выражено в следующих словах Бецкого, обращенных к императрице Екатерине II: «Петр Великий создал в России людей, Ваше Величество влагает в них души» [2]).

---

1) „Ист. России...“, XVIII, 848. Какое значение придавал Соловьев истории Петровской Руси, можно судить и по тому факту, что из 29 т.т. своей „Истории“ он 17 т.т. посвятил Петровской Руси, несмотря на то, что довел свой рассказ только до 1774 г.

2) „Журн. М-ва Нар. Просвещ.“, 1855, ч. I. XXXV, ст. Соловьева „Благод. воспом. о Ив. Ив. Шувалове“.

Русское государство, развитие и торжество которого составляет основу Соловьевской схемы, изображается историком, как определенный тип единого, национального государства, управляемого самодержавным центром.

Соловьев рассказывает, как путем тягчайших испытаний, преодолев бесчисленное множество преград, явив миру величайшие примеры труда и терпения, достиг русский народ осуществления своей исторической задачи—торжества великого единого государства. «Русские люди совершили величайший подвиг, покрыли свое имя неувядаемой славой, создав, несмотря на самые тяжелые препятствия, крепкую народность и крепкое государство».

В восточной Европе имелись налицо все условия для создания единого национального государства, конечная победа которого не могла быть сорвана никакими временными невзгодами. Если в западной Европе мы наблюдаем образование многих отдельных государств, то в восточной части Европы мы видим, наоборот, возникновение и укрепление единого, цельного государства, занимающего величайшую по размерам территорию. Причины этого различия надо, главным образом, искать в природных условиях, господствующих в обеих частях Европы. «Европа состоит из двух частей: западной — каменной и восточной—деревянной. Камень, так называли у нас в старину горы, разбил западную Европу на многие государства, разграничив многие народности... На великой восточной равнине нет камня: всеровно, нет разнообразия народности.—потому одно небывалое по своей величине государство» [1]). Основная цель русского исторического процесса—политическое об'единение единой русской национальности, «естественное сплочение всех русских земель, всего русского народа в одно государство»... Географические условия определили собой присоединение Северной Азии к Европейской России: Северная Азия отрезана от остальной Азии пустыней, от Европейской России же ее отделяют лишь невысокие горы, переход через которые не представляет особых трудностей. «Страна, которую мы называем Россией, природой назначена быть обширнейшей областью единого государства, представляя в европейской части своей равнину... равнина, как бы обширна ни была, устанавливает единое государство. равняя однообразия и народонаселения соответственно собственной равности и однообразию... обширности равнины соответствуют многочисленные и большие реки, почти переплетающиеся своими притоками, составляю-

[1]) „Ист. России..." т. XIII, 664.

щие водную сеть, которая опутывала народонаселение и не давала частям его возможности обособляться» [1]).

На процесс образования русского государства Соловьев смотрит глазами националиста-великорусса. Он отрицает сколько-нибудь значительное влияние других народностей, кроме великороссов, на ход русской истории, утверждая, что на восточной равнине не наблюдалось даже «развитого провинциализма». Собирание земли не могло, по мнению Соловьева, встретить препятствий со стороны каких-либо народностей, так как «резко ограниченная и запечатленная определенным характером местность не образовала не только отдельной народности, но даже сильного провинциализма». Историки выдвигали не раз положение, согласно которому наличие больших самостоятельных племен мешает росту государственного единства, как это наблюдалось, к примеру, в Германии. Приводя это положение, Соловьев подчеркивает его неприложимость к русской истории. Правда, и в древней Западной Руси существовали отдельные племена, из которых составилась Русь, но невозможно без грубых натяжек говорить об их серьезной роли в нашей истории.

Чтобы «особность» племен могла иметь более или менее серьезное значение в истории, необходимо, чтобы правители племен только насильственным образом подчинились общему правительству и упорно стремились к независимости, в соответствии со стремлениями самих племен. Этого условия как раз и недоставало в древней Руси. Что касается северо-востока, то там и племен не было. Там ранее жили финские племена, но они были под напором славян отодвинуты или ославянены. Движение самих славян происходило не племенами, а вразброд. Кроме того, развитию племен мешали особые условия северо-восточной Руси, особая роль князей, о которой уже упоминалось выше.

Самодержавный характер русского государства не является, конечно, случайностью, а определяется теми условиями, в которых протекал процесс развития русского народа. В одном из последних томов своей «Истории», в книге, написанной уже на закате жизни, Соловьев дает по данному вопросу чрезвычайно отчетливую, точную, исчерпывающую формулировку.

«Восточная Россия, Московское государство образовалось таким образом с сильною верховною властью, благодаря отсутствию сильного развития в других органах государствен-

[1]) Сочинения, стр. 763.

ного тела. Но, кроме того, малочисленное народонаселение, разбросанное по обширнейшей стране, все более и более увеличивающееся пустынными пространствами, требовало для своего сосредоточения, для направления своих сил к общим целям сильного правительства; наконец, открытость страны, окруженной со всех сторон врагами, тяжелая многовековая борьба с варварским Востоком, необходимость постоянно отбиваться от врагов для сохранения независимости — требовали строгой дисциплины, постоянной диктатуры. Вот почему Россия явилась в XVIII веке среди европейских государств с отличительным признаком — крепким самодержавием»[1]).

Соловьев отказывается рассматривать правительственную централизацию, характерную для русской истории, как начало, свойственное всем странам, народам и эпохам. Если народ сплочен внутренно, благодаря соответствию между численностью населения и размерами государственной территории, если разделение занятий связывает различные области и части народонаселения в одно целое, то децентрализация, самоуправление частей, ослабление, ограничение центральной власти делаются вполне возможными и допустимыми, без ущерба для государственного и народного единства. В самом деле, «когда разбитый член организма внутренно сросся, тогда внешние повязки и лубки более не нужны. Наоборот, когда части народонаселения, разбросанные на огромных пространствах, живут особной жизнью, не связаны разделением занятий, когда нет больших городов, кипящих разнообразной деятельностью, когда сообщения затруднительны, сознания общих интересов нет, то раздробленные таким образом части приводятся в связь, стягиваются правительственной централизацией, которая тем сильнее, чем слабее внутренняя связь»[2]). В России все благоприятствовало процессу усиления самодержавного центра. Внутренняя сплоченность общества, связь между отдельными частями страны не могла быть достаточно широкой и прочной при крайне редком народонаселении, разбросанном по необ'ятным пространствам восточной равнины. Деятельность самодержавного центра имела для России чрезвычайно благотворное значение, поскольку она восполняла недостаток внутренней связи. Не встречая подмоги в народонаселении, деятельность правитель-

---

[1]) „История России...“ т. XXVI, стр. 127, 128. Разрядка моя. *З. Л.*

[2]) „Ист. России“, т. XIII, стр. 645.

ственного центра достигла крайнего напряжения, создавая тем самым возможность сосредоточения, направления народных сил к «общим целям».

Без создания «постоянной диктатуры», «крепкого самодержавия», слабое, разбросанное, малочисленное народонаселение восточной равнины не в состоянии было бы дать должный отпор своим многочисленным врагам. А враги давили со всех сторон, покушаясь на независимость юного государства, мечтая о богатой добыче, задерживая развитие страны.

История русского государства изобилует войнами, походами, столкновениями с разными соседними государствами. Но, по мнению Соловьева, жестоко ошибся бы тот, кто решился бы упрекнуть русское государство в воинственных замыслах, в стремлении к завоеваниям, в агрессивном характере его внешней политики. В состав русского государства входят земли, которые не имели раньше славяно-русского народонаселения. Отсюда легко, конечно, сделать тот вывод, что расширение русского государства происходило путем завоевания, но подобное утверждение,—заявляет Соловьев,—нельзя признать верным. Речь должна здесь итти не о завоевании одним сильным государством других более или менее цивилизованных государств, а о занятии пустынных земель мирными тружениками. Не завоеванием, а колонизацией расширяло свои границы русское государство. Колонизация эта носила сухопутный характер, тесно скрепляла новые земли с государством, в противовес западно-европейской заморской колонизации, которая заключалась в заселении земель, лежащих за океаном и находящихся в очень слабой связи с метрополией. «В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их, государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации... Всем племенам Европы завещано историей выслать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность. Мы видим с самого начала, что князья наши преимущественно заботятся о населении пустынных пространств, о построении городов; сперва населялись страны юго-западные, потом колонизация шла далее на северо-восток...» [1]). Колонизационный поток через пустыни Северной Азии достиг берегов Восточного океана. Иностранцев, разглагольствующих о стремлениях России к мировому владычеству, ввела в заблуждение география России, тогда как история ясно

---

[1]) Сочинения, стр. 833.

доказала, что Россия, в силу своих природных особенностей, родилась уже с величайшей по размерам «государственной площадью». Лишь после «рождения» Русь, вследствие своей слабости, подверглась видимому разделению, но, как только изменились к лучшему условия, она вновь воссоединилась под одной властью. Достойно внимания, что не все русские области находятся в составе русского государства, например, знаменитое Галицкое княжество—Червонная Русь.

Вредная сторона колонизации заключалась в том, что усиливался разброд населения, уменьшалась и без того ничтожная плотность его. Это делало требования государства еще более тяжкими для оставшегося на своих старых местах населения, и с мест снимались новые массы переселенцев, искавших спасения в далеких, безлюдставляется, по утверждению Соловьева, невозможным.

Русский народ сталкивается с разными «народцами», которые. имелись в русском государстве, завоевательные стремления последнего могли бы производить крайне странное впечатление, если, конечно, наличие их было бы доказано фактами. Но последнее-то и представляется, по утверждению Соловьева, невозможным.

Русский народ сталкивается с разными «народцами», которые, «стоя на низкой ступени политического развития, невольно влекут народ, стоящий выше их, влекут все далее и далее на занятие новых земель; они своим хищничеством не дают покоя; заставить их уважать право, договор нельзя: они умеют жить только или в постоянной вражде к соседу или в рабской подчиненности, и н е в о л ь н о их приходится покорять. Таков господствующий характер русских отношений к восточным народам д а ж е до наших дней, характер любопытный, потому что в покорении врага здесь заключается необходимая о б о р о н а от него» [1]).

Настоящая цитата очень ценна для характеристики взглядов Соловьева. Главное, имеешь здесь дело не с плодом лукавого ума, не с ухищрениями лицемерной мысли, намеренно силящейся представить дело в ложном свете, а с искренним и глубоким убеждением серьезного ученого, не бросающего на ветер слов. В этой выдержке «оборонческие» взгляды Соловьева нашли себе как бы концентрированное выражение.

Развивая свои мысли об оборонческой роли русского государства, Соловьев указывает, что Россия не могла не заботиться об укреплении своей военной мощи, так как, имея очень плохие природные

[1]) Сочинения, стр. 1042. Разрядка моя. *З. Л.*

границы, она могла поддерживать свои границы, лишь будучи готова принять бой при первом вызове и этой боевой готовностью поддерживая и укрепляя мир как для себя, так и для других; враги вынуждали русское государство, чуждое всяких завоевательных стремлений, быть военным, так как они угрожали независимости и свободе его народонаселения. Россия — «государство, которое постоянно должно было вести тяжелую борьбу с соседями, борьбу не наступательную, но оборонительную, при чем отстаивалось не материальное благосостояние... но независимость страны, свобода жителей...»[1]). Русский народ — сильный народ, но не народ-драчун. «Кто же из нас не знает, что в нас, в нашем народе меньше всего драчливости, воинственного задора».

Наблюдения над жизнью разных народов привели Соловьева к убеждению, что наличие более или менее постоянной внешней опасности, необходимость систематической борьбы с внешними врагами требуют соответствующего приспособления государственного строя, требуют, как правило, создания единовластия. Так, в этом можно убедиться на примере Персии, история которой особенно убедительно доказывает, что «государство, основанное на завоевании или окруженное опасностями, принуждаемое к постоянной борьбе, требует постоянной диктатуры»[2]), сосредоточения власти в одних руках.

Это же правило необходимо, по мнению Соловьева, отнести к истории русского государства, процесс развития которого протекал в мучительно-тяжелых условиях постоянной, упорной, жестокой борьбы с врагами, окружавшими страну со всех сторон.

Особенное внимание уделяет Соловьев той опасности, которая угрожала русскому государству со стороны Востока.

Борьбу русского государства с Востоком Соловьев определяет, как борьбу между «лесом» и «степью».

Антагонизму между «лесом» и «степью», борьбе лесного народонаселения с обитателями степи Соловьев посвящает много места и внимания. Мысли о влиянии этой борьбы на русский исторический процесс можно найти и в первых ранних работах Соловьева, и в последней статье «Начала русской земли»[3]). Необходимо признать, что наибольшей ясности и точности постановка интересующего нас здесь вопроса достигла в последних трудах Соловьева (назв. статья, последн. т. т. «Истории»).

---

[1]) Сочинения, стр. 984.

[2]) Там же, стр. 1154.

[3]) В этой статье Соловьев намеревался изложить полностью философию русской истории. См. П. В. Безобразов — „С. М. Соловьев".

Соловьев напоминает читателю, что еще Геродот рассказывал о великой борьбе между греками и персами, между Европой и Азией.

«Подобно юго-восточной европейской украине, Греции, северо-восточная европейская украина, принявшая с половины IX века название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатцами, первая принимает на себя их удары» [1]).

В половине IX века летописец «приводит нас на европейскую украину, в те местности, где проходила граница между двумя формами, имеющими такое важное значение в нашей истории, между полем (степью) и лесом. Степь—море сухое, но обитатели этого моря представляют жидкий, подвижной, бесформенный элемент народонаселения; вечное движение осуждает их на вечный застой относительно цивилизации; они не чувствуют под собою твердой почвы, они не любят непосредственно соприкасаться с нею, проводя время на спине верблюда или лошади. Остановка их на одном месте коротка; они не обращают внимания на землю, не работают над ней; их животное ищет для себя корма и дает от себя корм хозяину. Их дело: догнать живую добычу на бегу, поймать, убить; их дело напасть на других кочевников или на оседлого человека, ограбить, взять его в плен; они охотники нападать, но не умеют защищаться, при первом сопротивлении мчатся назад, да и что им защищать? Но убежавши в степь, где никто не догонит, кочевник скоро возвращается назад и нечаянными разбойничьими нападениями не оставит в покое оседлого человека, живущего на окраине степи. И города не всегда спасут последнего: толпы кочевников окружают город и голодом заставляют его сдаться. Но верное спасение оседлому человеку от кочевника—это лес дремучий с его влагою, его болотами. Крепкий и выдержанный вообще, кочевник, как ребенок, боится влаги, сырости и страдает от них: поэтому он не пойдет далеко в лесную сторону, скоро воротится назад» [2]).

Восточно-европейская равнина непосредственно соприкасается со степями средней Азии, откуда дикие орды кочевников с незапамятных времен проникали в ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем, распространяясь далее по землям, лежащим в низовьях Волги, Дона и Днепра. Кочевники стремились жить за счет оседлого народонаселения. Поэтому история последнего полна постоянной борьбы со степняками.

Древних русских людей можно назвать передовым отрядом европейско-христианских народов, отрядом, выставленным в самое

[1]) Сочинения, стр. 793.
[2]) Там же, стр. 784.

опасное, самое трудное место, где он беспрерывно должен бороться с врагами» [1]). Борьба со степняками составляла историческую задачу русского народа. «Россия и Польша получили каждая свою историческую задачу, соответственно своему положению. Польша должна была сдерживать напор немцев с запада, Россия—напор варварских орд с востока» [2]).

Борясь на далеком краю Европы со степными хищниками, перенося в этой борьбе неслыханные лишения, грудью своей заслоняя Европу, русские люди завоевывали для европейско-христианской гражданственности огромные пространства от Буга до Восточного океана. На Руси лежала обязанность постоянной ожесточенной борьбы со степными кочевыми ордами, с этими «бичами божиими, умеющими только разрушать, а не созидать». Борьба стоила огромных жертв русскому народу. Вследствие налетов степняков главная историческая сцена перенеслась с юга-запада на северо-восток.

«На юге и юго-востоке, в степи, в поле, какими бы удобствами для оседлой жизни известная местность здесь ни отличалась, мирный земледелец не смел ими пользоваться: он немедленно становился добычей хищного кочевника... Старая Днепровская Русь, это европейско-христианское государство на скифской почве, носит изначала характер военного поселения, пограничной военной линии: князья с своими дружинами должны в известное время выходить в степь, чтобы провожать купцов, оберегать их от кочевников... Но не для одной торговли старая Русь должна была употреблять такие чрезвычайные средства. Князья должны были весной отправляться в степной поход на кочевников, чтобы дать земледельцу спокойно вспахать поле: две яркие черты быта Руси, как окрайны украины» [3]).

И на северо-востоке степняки не оставляли славян в покое, грабили страну, накладывали дань. Но на северо-востоке природные условия не благоприятствовали успеху хищников,—они блуждали в густых, непроходимых лесах и гибли в болотах.

«Украинность» страны должна была иметь огромное влияние на историю России.

«Правительственное начало» имело одной из своих главных обязанностей постоянную защиту юного общества от натиска степных варваров.

Любимым героем русской древности был Владимир, княжение которого было богато громкими битвами с варварами.

---

[1]) Сочинения, стр. 805.

[2]) „История России", т. XXVI, стр. 152.

[3]) Сочинения, стр. 791, 792.

Лишь государственному порядку, укрепившемуся на севере, в лесной полосе, русский народ был обязан победой над обитателями степей, которые постоянно терзали страну.

Окончательно была избавлена Европа от хищнических набегов степных варваров при Екатерине II, с покорением Крыма.

Как мы видели, борьба «леса» и «степи» является в глазах Соловьева одним из главных условий развития русского самодержавия.

Г. В. Плеханов утверждает, что Соловьев явно недооценил значение, которое имела борьба со степняками для русского племени, в частности, для выработки политического строя нашей страны. С Плехановым в данном случае абсолютно невозможно согласиться. Если первые тома «Истории» дают известную почву для утверждений, подобных плехановскому, то и в предсмертной статье «Начала русской земли», и в последней части «Истории» содержатся указания, резко противоречащие положению, высказанному Плехановым. Мы уже приводили отрывок из 26-го тома «Истории», где вопрос поставлен с вполне достаточной ясностью. Что касается указанной статьи, то в ней черным по белому констатируется, что постоянные столкновения с кочевыми обитателями степей должны были наложить «резкую печать» на судьбы русского народа и государства. «Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или украина со стороны Азии. Это украинское положение России, разумеется, должно иметь решительное влияние на ее историю» [1]).

Вместе с тем бесспорно, что Соловьев ограничивал влияние, которое борьба со степняками оказала на выработку политического строя, определенными рамками. Согласно соловьевской схеме русского исторического процесса, разложение родовых отношений и замена их государственными наметились и помимо борьбы со степняками. Последняя важна в том отношении, что придала государственному развитию России определенное направление, обусловила образование крепкого самодержавного центра.

Рядом со степными хищниками ставит Соловьев казаков. Последние, по его мнению, находились в близком родстве с теми дикими кочевниками, «которых нельзя было усыновить цивилизации, которые, кроме опустошения, не приносили ничего». Казаки для Соловьева — люди, «разрознившие свои интересы с интересами государства». Казаки враждебно относились к установлению государственного порядка и причинили немало бедствий неокрепшему еще государству. С осла-

[1]) Сочинения, стр. 764.

блением кочевых орд государству пришлось направить свои силы против казаков, борьба которых с «земскими» людьми являлась той же борьбой между «лесом» и «степью». «Степь условливала постоянно эту бродячую, разгульную, казацкую жизнь с первобытными формами, лес более ограничивал, определял, более усаживал человека, делал его земским, установившимся, в противоположность казаку, вольному, гуляющему». В смутное время казаки «явились для земских людей свирепее поляков и немцев («грубее литвы и немец», по выражению летописца)».

Единственно чистой стороной деятельности казачества было его участие в борьбе с «азиатцами», «идолищем проклятым».

В Великороссии негде было разгуляться казачеству,—мешало существование крепкого государства. Разины гибли от государства, «да и немного было Разиных». Хуже было дело в Малороссии.

Степь долго беспокоила государство. В 1705 году, когда Петр был занят со своим войском на Западе, степь опять напомнила о своем существовании: вспыхнуло восстание в Астрахани, в углу, окруженном казаками. В 1708 г., когда все силы направлялись Петром для борьбы с Западом, вновь поднялась «Азия»—на востоке России разразился булавинский бунт.

О казаках Соловьев почти всегда говорит в резком тоне, не скрывая своей неприязни к ним, как к элементам, враждебным русской государственности.

В русском обществе не было, по мнению Соловьева, ни одного слоя, который мог бы противостоять самовластию, помериться с ним своими силами.

Условия, в которых складывалась и развивалась дружина, не могли способствовать ее самостоятельности. На Западе могущество дружинников строилось на почве поземельных отношений. В России же развитие пошло по другому направлению. При малочисленности народонаселения и обширности страны земля не имела ценности, и князь обеспечивал свою дружину не земельными участками, а данью, которую он собирал с племен. Дружинники не могли приобрести самостоятельного значения землевладельцев и в отношении содержания оставались в полной зависимости от своего князя. При княжеских передвижках недвижимая собственность не могла, естественно, определить собой положение дружины. Двигаясь из волости в волость, пользуясь правом перехода от князя к князю, дружинники выражали свое недовольство тем или иным князем не дружным сопротивлением, не попытками ограничить в свою пользу княжескую власть,

а уходом, руководствуясь при этом не сословными, а личными интересами. Образование сильного «вельможества» могло быть также достигнуто путем раздачи князьями их приближенным областей и городов в управление, но в нашей стране и этот способ усиления дружинников не имел места, так как, вследствие размножения членов княжеского рода, областями и городами управляли сами князья.

В эпоху образования государства на севере дружина сохраняла свой первоначальный характер. В то время, как князь «припал к земле», дружина продолжала попрежнему бродить.

Дружинники со всех сторон стекались в Москву, где их прельщала служба наисильнейшему князю. Между пришельцами и старыми дружинниками происходила борьба, в конечном итоге усиливавшая того же князя. При столкновении отдельных бояр с великим князем бояре, действуя во имя своего личного интереса, не встречали поддержки со стороны своих собратьев. К концу первой половины XV века в Москве появились князья, потомки Рюрика и Гедимина, оттеснившие старых бояр на задний план, своими действиями усилившие рознь внутри дружины. Прибывшие в Москву князья имели много притязаний, но не обладали средствами для поддержания этих притязаний. Вся знать была бедна средствами, в противоположность великому князю, который был силен тем, что «примыслил» себе множество земель. «Это земельное богатство дает средство великому князю окончательно утвердить свое могущество и наложить за раз преграду притязаниям князей и знати: средство к тому—п о м е с т ь е. Раздачею земельных участков во временное владение за службу великий князь создает себе свое многочисленное войско, вполне от него зависящее, от него получающее содержание. У князей и бояр нет во владении больших областей, городов, даже укрепленных замков, где бы они могли жить более или менее независимо... В XV, XVI и XVII веках отношения остаются те же, какие были в X и XI»[1]). С установлением единовластия право дружин на свободный переход от князя к князю потеряло всякий смысл, и «воля исчезла вследствие естественного хода событий». Борьба знати против нового строя кончилась ее поражением, и Рюриковичи и Гедиминовичи стали именоваться «холопами великого государя». Сильный урон потерпело боярство при Грозном. Еще большие испытания выпали на его долю в «смутное время». Далее последовали преобразования, осуществление которых было связано с ликвидацией остатков дружинных притязаний. Силы дружины неуклонно падали, могущество государя все более и более росло.

[1]) „История России", т. XIII, стр. 648.

Не могли соперничать с самовластием и города.

Вследствие родовых княжеских отношений княжеская власть не имела «оседлости», являлась чем-то непостоянным, изменяющимся, и во сколько она ослабела через это, во столько выиграло значение старшего города в волости, который представлял власть постоянную». Результатом было двоевластие. Подобно дружине, город в эпоху родовых передвижек князей, в случае притеснений со стороны князя, стремился перейти к другому князю. На Западе владелец жил в городе постоянно, и единственным способом избавиться от его притеснений являлось ограничение его произвола, установление такого порядка, который гарантировал бы населению известный минимум прав. На Руси же «города встречали препятствие к точнейшим определениям своего быта именно в возможности переменить дурного правителя и судью; призовут на его место хорошего..., и все пойдет хорошо» [1]).

Отношения, восторжествовавшие в XIII в. на севере, изменили положение городов лишь к худшему.

Преемники Андрея Боголюбского сломили упорство старого вечевого города, Ростова. Борьба княжеской власти с Новгородом, «неестественно вздувшимся в государство», кончилась победой первой.

Города севера представляли собой большие села, не имевшие средств, чтобы приобрести какое-либо самостоятельное значение. Страна, переживавшая процесс собирания земли, оборонявшаяся от врагов и на востоке и на западе, нуждалась в крупных средствах, самым немилосердным образом выкачивавшихся из карманов промышленного населения городов, и без того малочисленного и бедного. Города разорялись, общественная жизнь сходила на-нет.

В древности исход княжеских усобиц часто зависел от городовых полков. Но с организацией помещичьего войска горожане перестают участвовать в военных действиях, превращаясь в «невооруженное сословие». Это обстоятельство подорвало в корне значение городского населения, так как в ту эпоху только воин считался полноправным человеком.

Иоанн IV, желая опереться на горожан в своей борьбе со знатью, старался вызвать к себе благорасположение городского населения. Царь намеревался дать самоуправление жителям городов, но эта мера не могла привиться вследствие неразвитости городского быта. Несколько поднялось было значение горожан, но достигнутые успехи были уничтожены Борисом Годуновым. «В «смутное время» наблюдался

[1]) „История России“, т. XIII, стр. 638, 642.

некоторый под'ем самодеятельности московских жителей, но этот под'ем не мог оставить глубоких следов, так как в годы «смут» города подверглись крайнему опустошению.

Бедственное положение городов привело к взрыву в Москве и других городах при Алексее, заставившему поспешить с выработкой Соборного Уложения. Но любопытнее всего тот факт, что «Уложение Соборное, составленное с ведома, за подписью выборных изо всяких чинов людей, составленное под влиянием страха перед восстаниями горожан для их успокоения, с явными уступками их требованиям,— это Уложение является враждебным мирскому самоуправлению...» [1]).

Одной из первых мер Петра I было дарование самоуправления городскому промышленному народонаселению. О том, как мало было подготовлено городское население к этой мере, свидетельствуют многочисленные факты казнокрадства, пренебрежения интересами слабых, беспорядочного ведения дел и пр.

Всякие преобразовательные стремления, имевшие задачей повысить самодеятельность городского населения, обычно наталкивались на «слабость городовой общины, недостаточную еще способность к самоуправлению» [2]).

Сила городского населения подрывалась борьбой между «лучшими» и «меньшими», при чем «эту язву XVII век передал и XVIII».

Выливается ли классовая борьба в форму выступлений казачества против господствующего порядка, принимает ли она характер борьбы «лучших» и «меньших»,—всегда и при всех обстоятельствах классовая борьба, по мнению Соловьева, причиняет страшнейший вред, усугубляет народные настроения.

Ожесточенная классовая борьба свойственна или государствам «устаревшим», или государствам незрелым. «Во внутренних борьбах гибнут государства устаревшие; сильную внутреннюю борьбу видим и в государствах новорожденных».

Общая слабость городов резко контрастировала с возрастающей мощью самодержавной власти.

Каков был общий фон, на котором развивалась правительственная власть, явствует из того, что при повороте русского государства на Запад «все и со всем обращается в Москву, к великому государю... это обращение происходит необходимо от слабости, мелкости отдельных миров, от особенности их друг от друга, в то же время от внутрен-

---

[1]) „История России", т. XIII, стр. 659.
[2]) „Истории России", т. XXIX, стр. 1025.

ней розни, происходящей при всяком соединении сил, при всяком общем действии, одним словом, от детского состояния, от детской беспомощности... все тяглые, неслужилые люди называют себя сиротами государевыми; эта низшая рабочая часть народонаселения — мужики; но высшая, военные мужи, как себя называют?—Они называют себя холопами государевыми. Понятно, что ни в беспомощных сиротах, ни в холопах нельзя искать силы и самостоятельности собственного мнения. «Инициатива» должна явиться сверху: повести дело должен великий государь»[1]).

Русское государство строилось сверху, все важнейшие явления в жизни русского народа были обязаны своим происхождением деятельности государственной власти. Только с появлением правительственной власти началась на восточной равнине историческая жизнь, началось движение, взбудоражившее, подвергшее коренной переработке быт «темной безразличной массы населения».

Говоря о причинах крепостного права, Соловьев старается доказать, что именно государственная власть была источником закрепощения крестьян. Ошибочно думать,—утверждает Соловьев,- что закрепощение коснулось одних крестьян: государство закрепостило разные слои общества, принудив их, в интересах всего народа, к отбыванию разных повинностей.

Россия представляла собою бедное государство, окруженное сильными и опасными врагами и вынужденное ценою самых тяжелых усилий защищать свою независимость. Не располагая необходимыми денежными средствами, государственная власть раздавала военным служилым людям земли. Но земля не имела ценности без рабочей силы, недостаток которой давал себя чувствовать чрезвычайно остро. Богатые землевладельцы, вотчинники, монастыри переманивали к себе от мелких помещиков работников, ставя тем самым помещиков в чрезвычайно тяжелое положение: государство требует на службу, требует явки на коне, с определенным количеством людей, в полном вооружении, а обезлюженная земля не кормит. Помещик отказывается служить, так как у него нет средств к существованию, нет возможности являться по приказу государя «конен, людей и оружен». Единственный выход из положения, чреватого для государства самыми грозными последствиями, — прикрепление крестьян, обеспечивающее бедных помещиков постоянной рабочей силой, дающее им возможность своевременно откликаться на призыв власти, собирающей силы

---

[1]) „История России", т. XIII, стр. 804.

для отпора врагам, нуждающейся в служилых людях для отправления необходимейших государственных нужд. Если правительственная власть, с одной стороны, закрепощала крестьян, то, с другой стороны, она заставляла помещика служить государству, оборонять его от врагов.

Закрепощение не миновало и городов, промышленников, торговцев, посадских, тяглых людей. Промыслы и торговля имели весьма незначительные размеры, в то время, как подати и повинности были чрезвычайно велики и обременительны. В результате «часто тяглый человек бежал от невыносимой тягости, укрывался, вступал в зависимость от частных сильных и богатых людей, чтобы найти в ней льготу и покровительство... уход, укрывательство, закладничество тяглого человека лишает бедное государство последних финансовых средств... посадские люди жалуются, что товарищи их ушли, или заложились за бояр, за монастыри, тягла не тянут, вся тяжесть обрушивается на оставшихся, которым, разумеется, нельзя справиться и приходится самим брести розно, — и государство должно удовлетворять всем этим жалобам, должно ловить работника, тяглого человека, усаживать на одно постоянное место, стеречь, чтобы не ушел» [1])...

«Те самые крепостные отношения, которые существовали у нас до последнего времени, относительно крестьян и дворовых людей, в старину существовали относительно посадских или тяглых людей, крепких своему городу...» [2]).

Централизующая сила государственной власти сложилась у нас очень рано. Это обстоятельство наложило своеобразный отпечаток на всю нашу историю, в частности определило степень развития феодальных отношений.

Изучая историю Германии, Галлии и других стран, нельзя пройти мимо господства «частного союза» в форме закладничества, или феодализма.

Этот «частный союз» возник вследствие тягостных для бедного, немощного населения требований верховной власти и неспособности той же власти дать каждому жителю страны необходимую защиту, что вынуждало слабых становиться под непосредственную защиту сильных. Наши старинные «закладчики», «соседи», «надсоседники» и «захребетники» представляют собою начальную ступень «тех самых отношений, которые на Западе развились в феодализм».

---

[1]) Сочинения, стр. 986, 987.

[2]) „История России", т. XIII, стр. 706.

В России поземельные отношения сложились не в пользу дружины. Дружинники были бедны и не могли выделять из своих владений участков на условиях вассальных обязательств. Только один московский государь был в состоянии выделить из своих земельных владений многочисленные участки земли лицам, находящимся у него на службе, непосредственно зависящим от него.

У нас зародыши феодализма не получили достаточного развития, «потому что у нас сильные не были достаточно сильны для соделания себя центрами больших частных союзов; что эта сила сильных ослаблялась постоянно присутствием и непосредственным влиянием централизующей силы, начавшей развиваться очень рано» (разрядка моя. *З. Л.*)[1]).

Оценка, даваемая Соловьевым деятельности земских соборов, находится в полном соответствии с его «государственной теорией». Земские соборы не могут быть противопоставлены государственной власти, так как были созданы ею же самой, ради поддержки ее мероприятий. Представители «антиисторического направления» утверждают, что существовавшие до московского периода веча преобразовались в эпоху торжества единодержавия в земские соборы. По утверждению тех же историков, вернее «антиисториков», первым шагом Иоанна IV был созыв на Красной площади Земского собора; в 1566 году опять последовал созыв земского собора, последний же собор был распушен от имени Петра. По существу, — говорит Соловьев, — созыв выборных на Красной площади не находился ни в какой связи с существовавшим и прежде вечевым «институтом», отвечая лишь стремлениям государственной власти найти опору против дружины. По этому же поводу был созван собор в 1566 году. Утверждение о всероссийском характере собора противоречит фактам. В «смутные» времена, последовавшие после смерти Иоанна IV, началось время действительно всероссийских соборов, так как государство, для ликвидации неурядицы, нуждалось в помощи всей земли. При Михаиле Федоровиче было 12 соборов, при Алексее Михайловиче—только 3. Соборы вымирали, так как теряли свою силу обстоятельства, вызвавшие к жизни эти соборы. При Михаиле государство переживало очень тяжелое время, и правительство обращалось к соборам за средствами и помощью. Прошло некоторое время, благосостояние государства поднялось, страна стала успокаиваться, и соборы прекратили свое существование. По-

[1]) Сочинения, стр. 897.

следний собор был созван при Алексее Михайловиче, в связи с присоединением Малороссии. Таким образом, соборы были ликвидированы еще до Петра, вопреки утверждениям историков славянофильского лагеря, обвиняющих Петра в приведении страны из «бытия» в «небытие».

Через всю соловьевскую схему проходит красной нитью граничащее с экстазом благоговейное отношение к «государственному началу», этой «альфе и омеге» исторического процесса.

Государство осуществило в русской истории гигантские по размаху и трудности задачи. Самодержавному государству русский народ обязан своей независимостью, своей успешной борьбой с суровой природой, своей победой над азиатскими кочевниками, своим сближением с Европой. Вся история общества оттесняется на «задворки» историей государственной власти.

Яростные нападки вызвала в свое время соловьевская схема со стороны представителей славянофильского стана. Особенно рьяно и бурно метал ядовитые стрелы К. С. Аксаков. Последний утверждал, что под словом «род» летопись подразумевает не что иное, как семью. По мнению Аксакова, Соловьев чрезвычайно преувеличивает значение государства, забывая о великой роли самого русского народа. Соловьев обнаружил, с точки зрения Аксакова, непонимание русского исторического процесса, поскольку он игнорировал такой сугубо важный институт, как община.

Что в общем соловьевская схема исторического процесса не может нас удовлетворить, становится ясным с первого же взгляда. Классовая подоплека исторического процесса не была вскрыта Соловьевым. Метод Соловьева, это—оружие, взятое, конечно, не из нашего арсенала, где есть оружие поострее и покрепче, помогающее нащупать и те отношения и силы, которые стояли за соловьевским «внеклассовым», национальным государством. Чтобы установить как ошибочность всей концепции Соловьева, так и ошибки в отдельных, наиболее важных узловых пунктах его схемы, необходимо было бы проанализировать с марксистской, подлинно-научной, точки зрения весь ход русской истории. Такой анализ, по своей сложности и обширности, конечно, выходит за пределы нашей работы. Но достаточно бегло рассмотреть отдельные моменты, чтобы убедиться, какие серьезные ошибки заключает в себе соловьевская схема.

Как уже было выше указано, Соловьев придает огромное значение географическому фактору, но, исключая отдельные замечательные догадки, влияние географических условий трактуется в метафизическом смысле.

Соловьев начинает свой рассказ о древнейшей эпохе русской истории с очерка родового быта, основным, главным признаком которого служила кровная связь. Этому «кровному союзу» марксистская историография противопоставляет «большую семью» («печище» в северной России, «дворище» в юго-западной, «великая куча» у сербов), характерной чертой которой является соединение большого количества рабочих рук под главенством одного «большака». Сущность этой семьи не в кровной связи, так как известны случаи образования искусственных «больших семей», путем соединения нескольких маленьких семей, как и случаи приема в «большую семью» людей чужих, со стороны. Основой этой семьи было так называемое подсечное хозяйство, требовавшее для выполнения определенных хозяйственных работ соединения многих рук.

Начало крушения «родового быта» восточных славян Соловьев обусловливает не определенными переменами в системе хозяйства, а появлением князя и дружины.

Князей Соловьев изображает преимущественно как носителей порядка, как стражей правосудия. Такое утверждение ни в малейшей мере не соответствует исторической действительности. Например, в качестве судей князья начинают фигурировать не ранее XI столетия. Что князья были вождями рабовладельческих шаек, апологету «правительственного начала», разумеется, трудно было заметить.

Соловьев крайне преувеличивал подвижность населения древней Руси, игнорируя такой существенный момент, как «старожильство».

По вопросу о судьбе Киевской Руси важно отметить, что татарский разгром лишь завершил процесс, начавшийся задолго до татар. Киевщина в значительной мере сама подготовила свой конец путем хищнической эксплоатации русских же племен и земель.

По утверждению Соловьева Россия была форпостом Европы в борьбе с Азией. Славяне отстаивали грудью своей европейскую культуру от диких степняков—татар. Об'ективное научное исследование обнаруживает факты, явно идущие в разрез с соловьевской концепцией, свидетельствующие о весьма высоком культурном уровне татар.

Проф. И. Н. Бороздин резонно отмечает, что «к 700-летию пребывания татар в пределах теперешнего Советского Союза рухнула старая легенда, во многом питаемая прежними руссификаторскими тенденциями» [1]). Очень богатый материал дали недавние раскопки проф. Баллода в Поволжье, в районе б. Золотой Орды. По словам проф. Бал-

[1]) „Нов. Восток". 1926, кн. 13—14.

лода, раскопки «установили наличность в Золотой Орде земледелия, скотоводства, садоводства и фабр.-заводской промышленности (последнее, конечно, надо толковась ограничительно. *З. Л.*). Золотая Орда— вполне культурное государство, которое принимает и снаряжает торговые и дипломатические посольства в другие страны, особенно часто в мусульманский Египет, заключает торговые договоры даже с государствами Зап. Европы, напр., с Венецией» [1]). Выводы Баллода о высоком культурном уровне подтверждают и раскопки проф. Бороздина на месте первой столицы крымских татар (в 1925 г.), и археологические изыскания проф. Рыкова в Нижнем Поволжье (в 1924 г.) [2]).

Нам известно, какую роль играют в схеме Соловьева родовые отношения между князьями. В действительности же порядок княжеского владения отличался «неопределенностью и непрочностью, отсутствием твердых и нерушимых оснований» [3]). Изучая порядок княжеского владения, нельзя преуменьшать значение таких моментов, как влияние веча, «ряды» между князьями, случаи наследования по нисходящей прямой линии, многочисленные случаи «добывания столов» и пр.

Выясняя причины возникновения и развития нового порядка на северо-востоке, Соловьев явно преувеличивает роль князей в колонизации северо-восточной России. На самом деле князья находились в хвосте общей колонизации.

По представлению Соловьева, до прихода с юга княжеской власти, северо-восток был глухим, безлюдным захолустьем. С приходом князей появляются новые города, привлекаются с юга «насельники», начинается всеобщее оживление. Соловьев несколько преувеличивал степень отсталости и пустынности Ростовской земли в XII веке. Целый ряд данных свидетельствует о раннем и весьма широком развитии торговли по Волжскому пути. К этим данным проф. А. Е. Пресняков относит «обилие монет и вещей, шедших к славянам с востока в VIII—XI в.в., арабские известия о значительной русской торговле в болгарах, в Хозарском царстве, на Каспии и за Каспием, богатые находки западных монет X—XI в.в., известия о сборе Хозарии с Вятичей дани «шлягами», т.-е. западными шиллингами... раннее знакомство скандинавов с далеким северо-востоком Европы». Суздальская земля

---

[1]) „Н. В.“, 1924, кн. 6.

[2]) „Труды Нижне-Волжск. Обл. Научн. Общ. Краевед.“, 1926 г., вып. 35.

[3]) Н. Рожков. „Русская история в сравнительно-историческом освещении“, т. I, стр. 202.

играла известную роль в торговле Востока и Запада, через Суздальщину шел, напр., болгарский воск, с одной стороны, и немецкие сукна, с другой [1]).

Невозможно согласиться с положением Соловьева о «новых городах». Трудно найти какую-либо существенную разницу между «новыми» и «старыми» городами. И там, и здесь мы видим рядом вече и князя. Критикуя гипотезу о «новых городах», Кавелин писал: «Летописи представляют нам множество старых городов, которые безусловно подчинялись князьям, приходившим к ним без призвания, и множество новых городов, построенных князьями в с.-в. России, которые не повиновались князьям и своевольствовали» [2]).

Развитие феодализма в России Соловьев отрицает, считая, что дальше «зачатков феодальных отношений» дело не пошло. Целый ряд исследований, из которых необходимо особо выделить замечательную работу Павлова-Сильванского и труды историков-марксистов, блистательно показывает, что Россия знала не только «зачатки», но и «настоящий» феодализм в развернутом виде. Интересно вспомнить замечание М. Н. Покровского, что «история Грозного и Годунова будет для нас закрытой книгой, если мы забудем, что в XVI в. в России происходило то самое крушение феодальных порядков, какое имело место во Франции, например, двумя столетиями раньше» [3]). В России, как и во Франции, было что сокрушать центральной власти.

Развитие самодержавия Соловьев об'яснил и потребностью обороны от внешних врагов, и слабостью общественных сил, и недостатком «внутренней связи» между отдельными клеточками народного организма. Что самодержавие было диктатурой торгового капитала и отвечало интересам последнего, осталось, конечно, недоступным пониманию нашего историка.

Соловьев, несомненно, переоценил значение правительственного центра и слишком преуменьшил роль «местных центров» в прошлом.

Восточно-европейская равнина становится территорией единого русского государства сравнительно поздно, значительно позднее, чем это рисует Соловьев. «Только новый период русской истории (примерно, с XVII века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было... усиливающимся обменом между обла-

---

[1]) А. Е. Пресняков. Образование великорусского государства, стр. 30.
[2]) К. Д. Кавелин. Собрание сочинений, т. I, стр. 288.
[3]) М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, 1925, стр. 188.

стями, постепенно растущим товарным обращением и концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок» [1]).

Главы Соловьева о Петре I дали основание М. С. Ольминскому отозваться с высокой похвалой об историке. Клеймя вульгарный подход некоторых буржуазных профессоров к «эпохе Петра», т. Ольминский пишет, что «историки, видя энергию Петра в воинственном деле, стараются изобразить положение в таком виде: Петр любил воевать; для войны нужны деньги; для денег—реформы. Эту точку зрения проводят П. Милюков, Платонов и др... Не развитие производительных сил страны, не потребности ее экономической жизни вели к упорным войнам начала XVIII века, а будто бы как раз наоборот. А между тем, как легко могли бы наши историки избежать смешного положения, в которое они себя ставят. Им стоит только развить те мысли, которые уже давно высказаны довольно компетентным их предшественником—историком С. М. Соловьевым» [2]).

М. С. Ольминский вполне прав, говоря, что Соловьев в своем очерке «Петровской эпохи» выдвинул на передний план экономику. Весьма неплохо отчитывал Соловьев кой-кого из историков за неумеренное выпячивание персоны Петра на передний план. Вместе с тем взгляд Соловьева на «Петровскую эпоху» выявляет большую склонность Соловьева к метафизическим построениям. Петровские преобразования он рассматривает в связи со своей теорией перехода из «возраста чувства» в «возраст мысли». Переход этот,—догматически провозглашает историк.—был совершенно неизбежен в истории русского народа, поскольку последний является, согласно его терминологии, народом «историческим». Петровские пресбразования как раз и означали пресловутый переход в старший возраст. При всем внимании Соловьева к экономической стороне «эпохи Петра I» он не дает нам представления о том, на каком именно экономическом базисе выросли реформы XVIII века. Как мы уже видели, исходный пункт, корни петровских преобразований необходимо искать, по мнению Соловьева, в том, что «бедный народ сознал свою бедность и причины ее через сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению средств», обогативших западноевропейские народы. В этом об'яснении, конечно, много места уделяется экономике, но последняя здесь служит лишь для об'яснения той цели, к какой устремился «народ» в начале XVIII века. Подлинные же социально-экономические корни преобразований остались невскрытыми.

---

[1]) Н. Ленин. Собрание сочинений, т. I, стр. 84.

[2]) М. С. Ольминский. „Государство, бюрократия и абсолютизм в России“, стр. 88.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК СОЛОВЬЕВА МЕСТО СОЛОВЬЕВА В НАУКЕ

Западничество Соловьева.—Отношение к промышленному развитию и росту городской культуры.—Критика коммунистических „утопий".—Политический консерватизм.—Мнение о реформе 1861 года.—Социальные корни схемы.—Место Соловьева в русской исторической науке.

Яркий свет на социальный облик Соловьева проливают, помимо его научных трудов, изданные после его смерти «Записки», книга, читающаяся с неослабевающим интересом. Круг общества, в котором большей частью вращался Соловьев, был весьма узок, но те деятели эпохи, с которыми приходилось иметь дело Соловьеву, нарисованы мастерской кистью, с большим художественным талантом, встают перед нами, как живые. Больше же всего говорит нам эта книга о самом Соловьеве, об его социальной физиономии, об его общественных симпатиях и предубеждениях.

Соловьев родился в 1820 г. в Москве, в семье священника, преподавателя коммерческого училища. По окончании гимназии, в 1838 г., он поступил в Московский Университет, где пробыл четыре года. В 1845 г. Соловьев занял кафедру русской истории в Московском университете. Наряду с работой в университете, он занимался усиленной литературно-научной деятельностью, сотрудничал в ряде периодических изданий, одно время состоял директором Оружейной Палаты. Умер Соловьев в 1879 году. Большую часть своей жизни Соловьев провел в стенах университета, бучи весьма тесно связан с окружающей академической средой.

Деятельность Соловьева развернулась в переломную эпоху, знаменующуюся поступательным движением промышленного капитализма. На глазах историка происходила ломка старых отношений, связанных с нераздельным господством торгового капитала. Жизнь стремительно неслась вперед, становилась динамичней, интенсивней, всюду наблюдалось развитие новых начал. Кому же принадлежали симпатии Соловьева, какой порядок привлекал его на свою сторону?

В академических кругах происходила страстная, упорная борьба между западниками и славянофилами. В общем Соловьев принадлежал к лагерю западников, но к этому лагерю он пристал не без долгих колебаний.

По окончании гимназии Соловьев поступил учителем к детям князя Голицина, в семье которого провел лето 1838 года. Юношу Соловьева, по его собственному свидетельству, неприятно поразили обста-

новка аристократического дома, непривычные нравы и обычаи, заимствованные с Запада, пренебрежительное отношение к русскому языку. В своих «Записках» Соловьев жалуется на «эту безобразную крайность в образовании русской знати», увлекшую его «надолго, лет на шесть, в крайность противоположную, в славянофилизм».

В бытность свою за границей Соловьев поместил в «Москвитянине» статью о Парижском университете, написанную в резко славянофильском духе. Касаясь своего увлечения славянофильством, Соловьев рассказывает, что в университете и за границей он был действительно жарким славянофилом, и «только пристальное занятие русскою историей» спасло его от славянофильства. Диссертация «Об отношениях Новгорода к великим князьям» обнаружила переворот в убеждениях молодого ученого и вызвала взрыв восторга со стороны западников. В университете Соловьев примкнул к «западной партии», к которой принадлежали Грановский, Кавелин, Чивилев (проф. политэкономии и статистики). В 1846 г. Соловьев несколько сблизился с славянофилами. Это сближение было, по словам Соловьева, облегчено тем, что от прежнего увлечения славянофильством он сохранил «всю теплую симпатию к древней Руси, к ее лучшим людям».

Славянофилы произвели на Соловьева очень неблагоприятное впечатление. Славянофильский кружок слагался, согласно определению Соловьева, не столько из мыслителей, сколько из мечтателей-поэтов и дилетантов науки.

Очень едки и злы характеристики, даваемые Соловьевым отдельным представителям славянофильского стана. Юрий Самарин—«холодный, несимпатичный господин, сделался сначала славянофилом, по недостатку ученого образования, особенно в истории, потом укрепился в славянофильстве по самолюбию»... Петр Киреевский—«не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь—порок, которым страдали все эти люди вообще, в Петре Киреевском доходил до невероятных размеров»... Хомяков не робел «ни перед какой уверткой, ни перед какою ложью»... Константин Аксаков—человек «не без дарований, но тупоумный. Никакая самая чудовищная натяжка его не останавливала»...

Сближение со славянофильским кружком не могло подорвать западнические симпатии Соловьева. Как и прежде, он продолжал держаться того мнения, что серьезные занятия наукой и в частности русской историей способны оказать самое разрушительное влияние на славянофильские настроения.

Соловьев убежден, что русский народ, будучи единым из себя развивающимся организмом, в то же время является частью другого организма—европейского. Русский народ—народ европейский—защищал от диких «азиатцев» именно европейско-христианскую цивилизацию. В своих «Исторических письмах» Соловьев пишет, что «волею-неволею мы вошли в семью европейских народов, живем общею с ними жизнью». «Мы—европейцы, и ничто европейское нам не чуждо» [1]).

Примыкая к западникам, Соловьев занимал в их рядах место на крайнем правом фланге. Со славянофилами его, в первую очередь, сближали его взгляды на огромную роль религии в русской истории и его национализм.

Веру в то, что развитие России пойдет по путям, отличным от путей развития Западной Европы, Соловьев решительно отвергает.

На развитие промышленности и рост городской культуры Соловьев смотрит, как на положительное, благотворное явление. Сравнение городской жизни с сельской вызывает у Соловьева следующие характерные строки:

«Однообразие, простота занятий, подчинение этих занятий природным условиям, над которыми трудно взять верх человеку, однообразие форм быта, разобщение с другими классами народа, ведет в земледельческом сословии к господству форм давностью освященных, к бессознательному подчинению обычаю, преданию, обряду. Отсюда в этом сословии такая удержливость относительно старого, такое отвращение к нововведениям, осязательно полезным, такое бессилие смысла перед подавляющей силой привычки... Необходимое в государстве противодействие этой форме представляет город, как центр торговли, мануфактурной промышленности, умственной деятельности. Здесь разнообразие занятий именно таких, где человек вполне владеет предметом и может совершенствовать его до бесконечности, где, следовательно, он имеет полную возможность упражнять, совершенствовать свои умственные способности; беспрерывное столкновение с людьми из различных сфер общественной деятельности, из различных стран, расширяют горизонт, окрыляют мысль и ведут народ к успехам гражданственности» [2]).

С большим, непривычным полемическим пылом ополчается Соловьев на Риля, восхваляющего прелести докапиталистического строя. Он обвиняет немецкого ученого в «неумении сладить с прогрессом», сказывающемся в пристрастии к селу и непримиримой вражде к горо-

[1]) Сочинения, стр. 887.

[2]) Там же, стр. 1603.

ду. Между тем, «промышленность и торговля дают движимое богатство стране, ведут к широте деятельности, просвещению, дают средства к... новому...». Развитие промышленности и торговли повышает культурный уровень, расширяя сферу наблюдений, укрепляя международные связи. Страны, где преобладает сельское хозяйство, «необходимо бывают бедны и развиваются чрезвычайно медленно». Соловьев восхищается большими городами, как «могущественными органами прогресса, увеличивающими благосостояние страны». Он подвергает уничтожающей критике тех, кто хочет повернуть историю вспять, кто с тревогой наблюдает за развитием промышленности и торговли. Он с гордостью об'являет себя сторонником движения, развития, прогресса.

Если некоторые элементы общества мечтают о возврате «старых, милых» времен, то другие стремятся к такому строю, при котором не будет частной собственности. Подобные планы переустройства общества на коммунистических началах Соловьев считает плодом нездорового воображения и следствием игнорирования человеческого достоинства. «Утопию» Мора он с презрением именует «курьезной книгой», «протестом против прогресса». По поводу политических сочинений Платона Соловьев пишет, что мысль древнего философа об общественном переустройстве «могла явиться в языческом мире, когда господствовал самый низкий взгляд на достоинство человека. Человек, по этому взгляду, вечно ребенок, вечно нуждающийся в строгой опеке, обязанный вечно пребывать в школе, и общество должно быть устроено по образцу школы или, если угодно, по образцу лагеря, дисциплинированностью своей так близко подходящего к школе». У Платона «движимое имущество—это язва; от него больше всего надобно беречься, приобретение его надобно затруднять всеми средствами, ибо понятно было, что движимое имущество самое сильное средство движения, развития общественного» [1]). Соловьев с раздражением говорит о «разнузданной мысли, в своем отрицательном движении пробегающей путь от Лютера до Мюнцера и анабаптистов». Соловьев считает вредным утопизмом всякие планы, не считающиеся с двумя такими «могущественными двигателями» жизни, как собственность и семья. Как истый буржуа, он восхищается благодетельной ролью, которую играет в нашем обществе семья. С большим почтением он относится и к женщине, но... «преступно втягивать женщину в общественную деятельность и нарушать основное в человечестве разделение занятий, разрушать основу цивилизации».

---

[1]) Сочинения, стр. 852.

Соловьев противопоставляет высшие «образованные» слои общества народным массам. «Народный дух,—говорит историк,—обитает по преимуществу в сбразованных классах общества, ибо здесь высшая духовная область, область сознания».

Буржуазные симпатии Соловьева находят себе проверку на отзывах не только о фактах русской жизни, но и о событиях, имеющих место за рубежом.

В «Записках» встречаются отдельные отклики на зарубежные порядки и события. Живя в Париже, Соловьев сделался приверженцем Орлеанской династии. По умеренности своей он не мог понять, «что еще французам нужно!..».

Сильные огорчения причинила ему революция 48 года, крайне перепугавшая русское правительство, которое, под впечатлением французских событий, усилило свой гнет, и без того невыносимый. «Время с 48 по 55-й год было похоже на первые времена Римской империи, когда безумные цезари, опираясь на преторианцев и чернь, давили все лучшее, все духовно развитое в Риме».

Николая I Соловьев награждает самыми нелестными эпитетами. Время этого царя историк считает страшным и постыдным. Николай I—«воплощенная реакция... тому движению, которое знаменует русскую историю во все продолжение XVIII в. и в первую четверть XIX в. Начиная с Петра и до Николая, просвещение народа было целью правительства... но Николай I... инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное «не рассуждать». История его царствования—история тридцатилетнего гнета, превращения русских людей в палки, борьбы со всем живым и честным. Восточная война вызвала у Соловьева двойственные настроения: с одной стороны, «страшное унижение патриотического чувства», с другой—прямое... пораженчество. «Мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могли произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет». Соловьев с удовольствием вспоминает, как счастливый случай помог ему воздержаться от посвящения своей книги Николаю I.

Ошибочно думать, что недовольство Соловьева порядками, установившимися в царствование Николая I, имело какие-нибудь глубокие «конституционные корни». Так далеко историк в своей оппозиции не

заходил. Достаточно указать, что сороковым годам он противопоставляет в качестве «золотого времени»... XVIII и первую четверть XIX века.

В своей работе «Император Александр I» (1877) Соловьев заговорил о необходимости либеральной правительственной политики. Чтобы народ не упивался первым трескучим словом, не дурачился и не бил стекол «при первом порыве ветра», необходимо сильное правительство, которое привлекало бы к себе «лучшие силы народа». Что Соловьев был не более, чем умеренный консерватор, что его идеалом была в конечном итоге лишь твердая самодержавная власть, имеющая опору в «лучших силах» общества», об этом очень убедительно и недвусмысленно говорят его «Записки», свидетельство которых особенно ценно вследствие их недоступности «недреманному оку» цензуры.

Рассказывая об успехе, который имела его речь о Шувалове у либералов, Соловьев подчеркивает, что в царствование Николая I самые мирные и умеренные мысли считались смелыми и либеральными. Поэтому, со смертью царя, он «из либерала, н и с к о л ь к о н е м е н я я с ь (разрядка моя. *З. Л.*), стал консерватором».

В «Записках» мы часто встречаемся с упреками по адресу «шумливых и невежественных либералов, этой язвы нашего земского общества, убивающей в нем всякое правильное движение к свободе».

Александра II Соловьев упрекает в том, что он «перегнул дугу», начал «распускать», был застрельщиком новой пагубной моды—«либеральничанья». Нужно было «итти потише, поосторожнее»; а император «ослабил пружины власти и этим дал простор так называемому отрицательному направлению». Соловьев особенно подчеркивает слабость правительственной власти, очевидно, несоответствующую его общей концепции всемогущего «государственного начала». Надо было при поспешном спуске «тормозить экипаж», но эта операция была не по силам Александру II. «Преобразования производятся успешно Петром Великим; но беда, если за них принимаются Людовики XVI и Александры Вторые. Пресбразователи, в роде Петра Великого, при самом крутом спуске держат лошадей в сильной руке, и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и поэтому экипажу предстоит гибель». Все спешили, мчались, бежали, как угорелые, и никто,— с горечью жалуется Соловьев,—не задавал себе вопроса: «г д е о с т а н о в к а?».

Очень интересна и важна позиция, занятая Соловьевым по вопросу об отмене крепостной зависимости.

Крепостное право изображается Соловьевым, как зло, являющееся результатом экономической отсталости, бедности страны. Государство вынуждено было решиться на закрепощение крестьян, не имея, не видя другого способа поднятия своей мощи. Петровские преобразования должны были неизбежно вести к освобождению «села через поднятие города. Экономическое развитие, просвещение и жизнь в среде цивилизованных народов,—вот средства, которые были даны преобразователем для постепенного уврачевания старых зол русской земли, а в том числе и зла крестьянского состояния...» [1]).

Развитие ведет к отмене крепостного права, к освобождению крестьян, интересы которых должны пользоваться любовным вниманием правительства. «Земледельческое сословие, свободное, единонародное со всеми другими сословиями составляет необходимый орган государственного тела, и пренебрежение этим органам ведет неминуемо к падению государства...» [2]).

Взгляд Соловьева на реформу 1861 года наиболее четко выражен в «Записке о современном состоянии России», найденной в бумагах Соловьева после его смерти сыном его Всеволодом Соловьевым [3]). Эту «Записку» можно рассматривать, как нечто вроде новой редакции последних страниц «Записок». Написана «Записка» в 1879 году— в год смерти историка.

В этой «Записке» Соловьев констатирует, что «совершено было необходимое дело освобождения крестьян, своевременно по нудящим необходимостям политическим и нравственным, но рановременно относительно условий финансовых. С конца XVIII века здесь все твердило русскому, что он занимает не следующее ему место, что в Европе нет рабовладельцев; его принимали из милости; но при первом удобном случае замечали об этом. Русский чувствовал, что «noblesse oblige», и отговариваться становилось все труднее и труднее. Россия еще не доросла до освобождения труда, и самая внезапность перехода труда обязательного к свободному в такой обширнейшей стране грозила большими волнениями. Но уже предупреждение этих волнений посредством правительственной реформы было мудрою мерой государственной; чего дожидаться: перерезания помещиков крестьянами, зачем было оставлять у крестьян страшное оправдательное средство? Россия уже давно выступила на путь преобразований,—дорогих, еще не по средствам. Человек, вступивший в высшее общество и

---

[1]) Сочинения, стр. 1110.

[2]) Там же, стр. 860.

[3]) „Русский Вестник", 1896, кн. 5.

не имеющий средств вести себя как другие, продает вещи, кажущиеся менее нужными, и покупает кажущиеся более нужными».

Итак, делая очень существенную оговорку относительно «условий финансовых», Соловьев все же признает акт 19 февраля «необходимой» и «мудрой» мерой.

Симпатии Соловьева принадлежат отнюдь не всей массе землевладельцев. В «Записках» мы находим полные сарказма слова по адресу «благородного дворянства, привыкшего жить чужим трудом, ничего не делая».

В очень резком тоне отзывается Соловьев о «чумазых»: «На фабрике, в заведении, на каких-нибудь постройках крестьянин входит в зависимость от хозяина или подрядчика, своего брата, разбогатевшего всеми неправдами и стремящегося всякими средствами выжать из работника лишнюю копейку».

С одной стороны, Соловьев выступает против апологетов старины, горячо ратует за развитие промышленности и торговли, отмечает благотворную роль свободного сельского народонаселения, доказывает необходимость реформы 1861 года, с другой—перечисляет с сокрушением бедствия, вытекающие из дороговизны рабочих рук, обусловленной и сильно развившимся пьянством, и отвлечением работников в промышленность, на ж. д., и пр.

Соловьев не был крепостником, не отрицал насущной необходимости реформы, но он не был, вместе с тем, и ее восторженным поклонником.

Соловьев указывает, что, в результате реформы, сильно вздорожали рабочие руки. Раньше существовало зло опеки, и работника иногда заставляли работать более, чем следует. После реформы приходится констатировать другое зло, зло свободы, имеющее следствием стремление работника уклониться от тяжелого труда, возможно меньше работать. Удешевление водки способствует распространению пьянства. а последнее всегда «неразлучно с праздностью». В результате население стало меньше трудиться, предложение рабочих рук сократилось. Искусный, аккуратный работник стал очень редок и дорог. Его потребности увеличились: «лакеи, горничные стали одеваться почти так же, как господа; горничные стали носить шелк и шерсть, шляпы с цветами, зонтики; обувь покупали такою же дорогою ценой, как и госпожи их» (!). Сильно пошатнулась нравственность. Возвращаясь с заработков домой, крестьянин приносит с собой сифилис, привычку к пьянству, кутежу, разврату. Не стесняемые надзором своего господина, работники предаются всяким непотребствам.

Другой причиной дороговизны рабочих рук является «судорожная промышленная деятельность». Развился необычайный ажиотаж, страну стала трепать железнодорожная горячка. Крестьяне уходят на железную дорогу, на фабрики, в кабаки. В новых условиях крестьяне приучаются к роскоши: «до сих пор крестьяне носили то, что сами дешево приготовляли дома—теперь начали люди носить фабричные изделия». Соответственно этому возросла дороговизна.

Соловьев, ученейший профессор, лучшие годы своей жизни проведший в стенах архивов и за письменным столом в своем кабинете, сравнительно далекий от непосредственной политики, отражал, конечно, интересы известной социальной группы. Он смотрел на мир, быть может, не сознавая этого, глазами «культурного» помещика, переводящего свое хозяйство на новые капиталистические рельсы и встречающего на своем пути тяжелое препятствие в виде дороговизны рабочих рук и нехватки капиталов, по-барски ненавидящего «чумазого» и одновременно преисполненного презрения к «дворянам-бездельникам».

Схема русского исторического процесса, разработанная Соловьевым, вполне отвечает интересам той социальной группы, «бытие» которой определило «сознание» нашего историка.

Ведь теория «сильной самодержавной власти» прежде всего соответствовала интересам определенной части помещиков, не отвергавших реформы, но опасавшихся, что в случае, если государственная власть не окажется достаточно твердой, «освободительная реформа» повернется к ним своей отрицательной стороной. Историческая действительность призвана была служить этой помещичьей группе и ее идеологам подтверждением их веры во «всемогущее самодержавие, спасительная мощь которого определялась всем ходом русской истории». Мы уже имели, кстати, случай указать, что отдельные недостатки реформы 1861 года обусловливались, по мнению Соловьева, в первую очередь слабостью Александра II, не оказавшегося способным тормозить, как следует, «экипаж».

Указанная теория приобрела надолго «право гражданства» в русской историографии, так как она пришлась очень по душе русской промышленной буржуазии, неоднократно доказывавшей свою готовность искать себе опоры в «сильной правительственной власти».

Соловьев отражал интересы не помещиков вообще, а только той части их, которая, в общем и целом, старалась итти по линии буржуазного развития. Отсюда—преклонение перед «национальным государством». Эта апология «национального государства» станет нам

вполне понятной, если мы вспомним, что государство на национальной основе является предпосылкой капиталистического развития, необходимой формой буржуазного строя [1]). Как известно, в XIX веке, характеризуемом интенсивным развитием промышленного капитализма, «национальная идея» приобрела необычайную популярность. Как уже отметил М. Н. Покровский, в 60 годах «даже Наполеон III распинался в своем уважении к «принципу национальности»—и налицо было два таких факта, как национальное об'единение Италии и Германии... Идея национальности носилась в воздухе» [2]).

«Оборонческая» теория Соловьева тесно связана, непосредственно вытекает из его теории национального государства. По Соловьеву, борьба, которую вело русское государство с внешними врагами, определялась не стремлениями к захватам чужих земель и порабощению других народов, а исключительно необходимостью отстоять неприкосновенность и независимость единого национального государства от хищных набегов его соседей. С другой стороны, своей «оборонческой» теорией Соловьев подчеркивал внеклассовый характер русского самодержавия, в своей вынужденной борьбе с врагами отстаивавшего честь и независимость всего русского народа.

Само собой разумеется, что Соловьев начинал свою работу не на пустом месте. Среди его предшественников можно выделить ряд ученых, оставивших весьма значительный след в исторической науке. Но не было среди них ни одного, который мог бы, по богатству эрудиции, по об'ему проработанного материала, по силе исследовательской мысли, итти в сравнение с Соловьевым. Крупнейшим предшественником его был Карамзин, но труды последнего в значительной мере обесценены статичностью его взглядов, недостатком исторической перспективы, отсутствием критического подхода к изучаемому материалу, увлечением «литературщиной». Идея закономерности и органичности исторического процесса нашла себе выражение еще у Болтина и Полевого, но недостатки последних были так велики, что роль их в развитии русской исторической науки чрезвычайно трудно преувеличить. Болтину нехватало «специальных знаний и хорошего знакомства с источниками. Его работа очень сильно пострадала от попытки об'яснить единство русского исторического процесса из единства и «не-

---

[1]) Ср. Ленин, XIII, стр. 15, 48.

[2]) М, Н. Покровский. „Марксизм и особ. ист. разв. Росс.“, 1925 г., стр. 79.

изменности русских нравов» и русского законодательства (вплоть до эпохи Петра I). Излагая взгляды Полевого, Милюков отмечает, что во многих отношениях «История русского народа» «является непосредственным предшественником органических взглядов Соловьева и Кавелина» [1]). Но Полевой был очень слаб, как исследователь фактического материала, и не скупился по части ссылок на «таинственные судьбы провидения». Выдающееся место занял в развитии науки Эверс, но охват его наблюдений был весьма ограничен.

Актив жизни Соловьева чрезвычайно значителен. Чего стоит одна многотомная «История России с древнейших времен»! Соловьев подверг обработке колоссальное количество материала. В результате он дал обзор событий, охватывающий 23 века—от V века до христианской эры до 1774 г. По словам проф. Корсакова, ни один историк до Соловьева «не обнимал такого огромного хронологического пространства». Кроме «Истории» Соловьев оставил после себя об'емистый сборник чрезвычайно интересных, содержательных статей, такую зрелую работу, как докторская диссертация «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», и мн. др.

Тридцать слишком лет интенсивного, кропотливого труда над источниками, в пыли архивов, сделали труды Соловьева особенно ценными со стороны содержащегося в них фактического материала. Соловьев строил свою работу на подлинном историческом документе, в основу своих занятий клал изучение архивных материалов, стараясь придать своей работе критический характер и освободить ее от всяких поэтических увлечений. Карамзин когда-то наставительно писал о необходимости научного отношения к предмету, о том, что «здравый смысл установил неизменные правила и навсегда отлучил дееписание от поэмы, от цветников красноречия». Вопреки своей же мысли, Карамзин питал «влеченье, род недуга» к «цветникам красноречия», систематически смешивая плоды своей поэтической фантазии с подлинными фактами исторической действительности. Иначе обстоит дело у Соловьева. К пользованию источниками Соловьев подходит с известной осторожностью, и у него мы не найдем тех провалов, которыми изобиловали труды некоторых его предшественников, нередко поддававшихся чрезмерному увлечению в сторону слишком «вольного» «художественного» пересказа. Стремление «отлучить дееписание от поэмы» не гарантировало, конечно, Соловьева от ошибок—и весьма многочисленных—при воспроизведении хода исторического развития. Здесь не следует

[1]) П. Милюков. „Главные течения русской исторической мысли", стр. 304.

забывать о классовых «шорах», мешавших видеть жизнь «как она есть». Но, по сравнению с предшествующей историографией, Соловьевым был сделан огромный шаг вперед, к подлинно научному анализу исторических фактов.

Особенно полно и щедро изложена Соловьевым история государства. Эта сторона исторического процесса освещена нашим историком чрезвычайно широко, и интересующиеся историей русского государства находили в трудах Соловьева полезнейшие материалы и наблюдения, подчас дававшие почву для новых обобщений и выводов высокой научной ценности.

По совершенно справедливому замечанию Н. А. Рожкова, «История России»...—«прежде всего ряд просек в девственном тогда (в эпоху Соловьева. *З. Л.*) еще лесу исторических материалов, изданных и в особенности неизданных. В этом смысле без «Истории» Соловьева не может обойтись ни один даже из современных русских историков, а в свое время она была целым откровением».

Между прочим, обилие архивных данных, преподносимых нередко в малообработанном виде, в форме длинных текстуальных извлечений (особенно это бросается в глаза в последних томах «*Истории*»), делает иногда «Историю» суховатой и вялой по форме изложения

Помимо исключительного богатства фактического содержан работы Соловьева ценны его попытками обобщить разрозненные фак стремлением «найти их смысл».

То обстоятельство, что ученый держится точки зрения развития, настаивает на закономерности исторических явлений, требует изучать факты не в обособленном виде, а во взаимной связи, с соблюдением «исторической перспективы»,—в наши дни вряд ли способно произвести особенно сильное впечатление. Но в эпоху, когда имя Карамзина произносилось с благоговейным трепетом, и некоторые остроумные профессора, экономя время и труд, вместо самостоятельных лекций читали с пафосом выдержки из «Истории Государства Российского» [1]), подход к изучению прошлого с новой точки зрения означал определенный сдвиг в исторической науке.

Служившая еще недавно предметом риторических упражнений и барабанно-патриотических излияний, история под пером Соловьева принимала черты науки. Наука эта, разумеется, отвечала интересам известного класса и носила на себе печать всей его ограниченности. Но вместе с тем интересы этого класса еще совпадали до опре-

[1]) „Записки", стр. 56.

АРК. СИДОРОВ

МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ ТЕОРИЯ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

А. П. ЩАПОВ

ВВЕДЕНИЕ

В продолжение нескольких десятилетий исторические взгляды Щапова не изучались и не исследовались: буржуазные историографы «органически» не могли понять и оценить значение Щаповских теорий, а перо марксиста-историка не добиралось до него. Почин в изучении Щапова, как материалиста, принадлежит М. Н. Покровскому. Покровский трактует Щапова, как историка, который сделал первую попытку материалистически об'яснить исторический процесс России. Правда, эта попытка кончилась неудачно,—из круга идеалистических факторов, двигающих историческим процессом, ему вырваться не удалось, но самая попытка изучения России с материалистической точки зрения чрезвычайно знаменательна.

Буржуазная историография не признавала при жизни, не признала и после его смерти того Щапова, о котором говорят марксисты—историка-материалиста. В лучшую пору его деятельности в лице Щапова она видела оригинального ученого по расколу и «знатока» быта народного»—как высказывались о нем авторы некрологов. Наиболее «либеральные» из историков снисходили до признания некоторой оригинальности и самостоятельности за земско-областной теорией, относящейся к первому периоду его деятельности. Но в их же глазах Щапов пропал для науки, как только он повернул в сторону естествознания и материализма. Было бы нелепостью ждать от таких историков правильной оценки его федералистической теории. Козьмин, например, дает такую оценку Щапову: «Щапов был учеником так называемых славянофилов, воспитался на трудах исследователей народного быта, народной жизни» [1]). Эта оценка является типичной для целой группы историков, пытавшихся так или иначе понять теорию Щапова и ее отношение к другим школам. Дальше признания ее «славянофильской» никто из них не шел. Аристов также решает вопрос о теории Щапова в пользу славянофильства. В то же время не кто иной, как цитированный нами Козьмин, определивший Щапова по славянофильской части

---

[1]) Очерки прошлого и настоящего Сибири. Козьмин, стр. 104.

в начале той же своей статьи говорит: «Теории Щапова были новы, высказывались впервые им; учения своего он ни у кого не заимствовал, не был чьим-либо последователем» [1]).

С одной стороны—новизна и самостоятельность, с другой—вполне разделял славянофильские теории...

Такая путаница об'ясняется тем, что ни один из цитированных мною авторов даже не поставил вопроса о классовой подоплеке развиваемых Щаповым теорий. Один из рецензентов на книжку Аристова о Щапове, высказывает даже парадоксальное мнение: Щапов является у него и славянофилом и народником одновременно [2]).

Причислять Щапова к славянофильскому лагерю может лишь «профессор», абсолютно не понимающий классового смысла в исторической концепции. А концепция Щапова, взятая в целом, не выражает классовых интересов русских помещиков. Теория Щапова—это крестьянская, мелкобуржуазная теория. Печать демократизма, протеста против гнета «империи всероссийской» лежит на всех его произведениях. Сходство его теорий с славянофильскими такое же, какое может быть между ним самим, поднадзорным, политически неблагонадежным и сосланным в Сибирь арестантом и помещиками Хомяковым, Самариным или Киреевским.

Плеханов правильно оценил демократическое происхождение земско-областной федералистической теории Щапова. Для Плеханова Щапов является историком народнического толка; он ценит его за демократическую струю, которой насквозь пронизаны все писания Щапова. «Мы уверены, что пришла уже пора критической оценки всех элементов нашего народничества. Между этими элементами взгляды Щапова на взаимные отношения народа и государства, на раскол и общину заслуживают полного внимания наших социалистических писателей» (т. II, стр. 20).

О Щапове-материалисте—авторе работ, в которых он пытался поставить изучение русской истории на материалистические рельсы,—Плеханов даже не говорит.

---

[1]) Очерки прошлого и настоящего Сибири, стр. 103.

[2]) „Место Щапова в литературе наших исторических и народных учений можно было бы, кажется, характеризовать тем, что в нем, между прочим, должно бы искать своего родоначальника новейшее „народничество". Вестн. Евр. 1883, стр. 397, кн. III. Сначала у Щапова точка зрения обычная в нашей церковной историографии, потом он подчиняется влияниям славянофильским, и у него развивается (по нашему мнению) своя теория народной и областной стихии в образовании старого государственного строя и народного быта. Вестн. Евр. 1883, стр. 394, кн. III.

В противоположность этой односторонней точке зрения, унаследованной Плехановым от буржуазных историографов и биографов Щапова, М. Н. Покровский сосредоточивает все свое внимание на последующем периоде деятельности Щапова—на материалистическом. В материализме—особая ценность Щапова для науки и коренное отличие, выделяющее его из ряда других ученых.

Но для правильности исторической перспективы и для глубокого понимания материалистической схемы нельзя отказываться от рассмотрения и материалистической критики областной и земско-федеративной теории Щапова: она очень многое дает для уяснения политических воззрений автора, и притом в ней мы найдем отдельные элементы, которые целиком вошли в материалистическую теорию.

Невнимательное отношение ученых к идеям, которые развивал Щапов, нашло отражение и на судьбе его сочинений. В 1906 году было издано 3 тома его сочинений. Однако в них собрано не все даже из того, что в свое время было напечатано Щаповым. Архив Щапова после его смерти пропал благодаря невнимательности «общества». Не известно, почему редакторы не издали целого ряда блестящих публицистических статей, напечатанных в сибирской и в петербургских газетах. Они чрезвычайно много дают для понимания политических взглядов Щапова. Одна из этих ненапечатанных статей—«На рубеже двух тысячелетий» — считается лучшим произведением Щапова, а ее нельзя достать даже в Москве, в Ленинской библиотеке, хотя она и имеется в Ленинграде. Наконец, у Щапова есть и «нелегальщина»—статьи, не пропущенные цензурой. За 1861—62 г.г. цензура запретила целых семь статей, некоторые из которых он посылал напечатать в «Колоколе» Герцена. Отрывки из этой «нелегальщины» приведены даже в книжке Аристова. Издатель и редактора его сочинений внимательно обошли все эти ценнейшие статьи,—а равно и научные работы по этнографии, в том числе исследование о бурятской общине—издав неполно даже легального Щапова. Наконец, в последнее время, в Казанском архиве и архиве бывшего департамента полиции, обнаружены ряд рукописей, которые являются очень ценным дополнением к изданным сочинениям Щапова.

БИОГРАФИЯ ЩАПОВА

По своему происхождению Щапов не принадлежал даже к той разночинной мелкобуржуазной интеллигенции, представителями которой являются Чернышевский, Белинский, Добролюбов. Белинский был сын врача уездного города Пензенской губернии, Чернышевский и Добролюбов—дети протопопов Саратова и Нижнего. Все они являются настоящей «аристократией» по сравнению с сыном пономаря деревенского сибирского захолустья. Щапов вышел из того социального слоя русского общества, который теряет уже всякую связь с интеллигенцией и, наоборот, растворяется в крестьянской массе. Родился он в 1830 году в деревенской глуши восточной Сибири, в семье пономаря села Анги, Иркутской губернии, в двухстах слишком верстах от губернского города. Род Щаповых в конце XVIII столетия попал в Сибирь и с тех пор беспрерывно поставлял пономарей для Ангинской церкви. Некоторым из Щаповых удавалось подняться высоко на служебной лестнице, а один из родственников Аф. Прок. даже был московским митрополитом. Отец Щапова был женат на бурятке. В жилах Афанасия Прокофьевича текла кровь порабощенной нации, которая больше всего подвергалась угнетению со стороны централизующей силы московского самодержавия. Демократизм происхождения наложил отпечаток на Щапова.

Образование Щапов получил в Иркутской бурсе, которую можно сравнить с каторжной тюрьмой. Всем известна Петербургская бурса по Помяловскому. Иркутская же—«даже поотстала от других бурс». В ней Щапову пришлось провести шесть лет, перенеся все тягости бурсацкой жизни, «прихлебываясь» с товарищами одной ложкой за обедом и бегая по 40°-му морозу без одежды. Он голодал, холодал, но учился. Многие не могли вытерпеть каторжного режима, порки, бессмысленной зубрежки и убегали, или топились. Щапов отдыхал только на каникулах дома в деревне. Приехав в Иркутск, отец щепкой очищал вшей с головы и костюма своего сына. «Нищий, голодный, заедаемый вшами, он поддерживался в бурсе воспоминаниями о родных и деревне и надеждами на следующие каникулы» [1]).

Многие по шесть—семь лет сиживали в одном классе, обрастали бородой и семьями вне стен бурсы и не имели перспективы кончить ученье. Благодаря исключительно богатым способностям Щапову без книг удалось кончить бурсу в шесть лет и перейти в семинарию. Мате-

---

[1]) Новое Время. № 198. 1876 г.

риальное положение там было лучше, но режим и система воспитания были те же самые, что и в бурсе. Сечение и избиение преподавателями до потери сознания остались и в семинарии. Бессмысленная зубрежка 43 предметов, проходимых по курсу, была основой преподавания. «Мало давая знаний, семинария зато доканчивала то развращение юношеских душ, которые начинала бурса» [1]).

Из семинарии Щапов мало вынес знаний, но он там приучился много и самостоятельно работать, чем потом поражал товарищей по академии. Семинарию он кончил в таком возрасте, в каком обычно в то время кончали университет. В 1852 г. семинария была окончена, и Щапов был отправлен в Казанскую духовную академию для окончания своего образования. Блестяще выдержав испытание, он был зачислен третьим студентом. Время пребывания в академии оказало решительное влияние на всю дальнейшую судьбу Щапова. «Казанская духовная академия в то время была почти не лучше семинарии» [2]). Предметы читались более головоломным способом, чем в семинарии. Все светское, в том числе и математика с естествознанием, из академии изгонялось. Передовые профессора, старавшиеся вести свои курсы наравне с «духом времени» и его научными интересами, принуждены были уйти из академии. Щапов довольно равнодушно относился к существующему режиму. Он с головой ушел в работу: по шестнадцати часов простаивал у своей конторки, читая и делая выписки. «Щапов обладал той жаждой знаний, и той отвагой и неутомимостью ума, которая отличает все замечательные таланты, и всю жизнь свою продолжал учиться и развиваться» [3]). Благодаря режиму академии он изменил свои научные интересы: отказался от изучения естествознания, которым увлекся, и занялся русской историей. Среди слушателей академии было много сибиряков, у которых бродила в голове мысль о самостоятельности Сибири. Биографы предполагают, что это дало первый толчок мысли Щапова к его областнической теории [4]). Струя светского влияния проникла в академию от профессоров Гусева и Елисеева. Последний из них во всей дальнейшей судьбе Щапова играет выдающуюся роль. Гусев на дому знакомил студентов с идеями Штрауса и Фейербаха. Во время Крымской кампании у Щапова появился интерес к злободневным общественно-политическим

---

[1]) Щапов, т. II, стр. X, биогр.

[2]) Аристов, стр. 58.

[3]) Новое Время, № 212, 1876 г.

[4]) „Среди сибиряков студентов уже тогда жила мысль о желательности отделения Сибири от России, что могло дать толчок для последующего развития областной теории". Щапов, т. III, стр. XVII.

вопросам. Есть сведения, что в это время у него появилась особая охота к чтению различных секретных записок и списков, ходивших в то время по рукам. О характере этой нелегальщины нет известий, но проникла она в академию, несомненно, от студентов университета, настроенных все время чрезвычайно либерально. Для работы над диссертацией «Раскол старообрядства» Щапов впервые использовал богатейшую библиотеку Соловецкого монастыря, которая благодаря войне с Англией оказалась в Казани. Щапов занялся изучением рукописей и нашел там очень много интересных материалов. «За эту работу он, правда с трудом, был оставлен магистром при академии». Двойственность мировоззрения, невыработанность исторической концепции—все это отразилось на работе. Либеральные взгляды перемешивались с клерикально-церковными. Книжка Щапова получила лестный отзыв от корифеев нашей исторической науки, а непоследовательный либерализм был отмечен «Современником». Щапов в течение нескольких лет профессорствовал в академии и писал статьи на церковно-религиозные темы в «Православном Собеседнике». В 59 году заканчивается первая стадия в развитии мировоззрения Щапова, которая характерна преобладанием клерикально-религиозного направления. Веяния жизни, либеральные идеи, в которых тогда недостатка не было, слабо отражались на Щапове, а если и доходили, то преломлялись чрезвычайно своеобразно сквозь призму религиозно-церковной философии. Провинциальная глушь, отсутствие широкой политической жизни, среда академии—все это вместе взятое грозило окончательно засосать Щапова.

Период с 60 по 63 г.г. представляет вторую эпоху в развитии и теории и политических взглядов Щапова. В это время окончательно сложились его исторические взгляды. Еще в 59 году Щапов прочитал в академии «Очерк удельного периода», в котором изложил свое новое научное credo; одна эта работа,—по мнению Аристова,—могла бы его «обессмертить». Новые взгляды Щапова, особенно на колонизацию, сложились под сильным влиянием Ешевского, бывшего в то время профессором истории в Казанском университете и прочитавшего ряд лекций о колонизации северо-восточного края. Щапов имел с ним близкие отношения, но потом разошелся на почве пользования источниками. В 1860 г. в жизни Щапова происходит большая перемена, направившая его по другому руслу. Казанский университет остался без профессора русской истории. Ешевский уехал в Москву. Заменивший его Попов также уехал из Казани. Само студенчество обращалось с письмом к киевскому профессору Павлову, приглашая его в Казань.

Перед крестьянской реформой общественное настроение было приподнятым. Полемика между Костомаровым и Погодиным увеличила интерес к русской истории. Настроение казанского студенчества было резко либеральным. Щапов, профессорствовавший уже 5 лет в академии, не был известен среди широкой публики. Его научные работы разбирали вопросы церковной истории и не были известны широким слоям общества. Уходивший Попов рекомендовал, как своего преемника, Щапова, баккалавра духовной академии. Он дал ему лестную характеристику. Совет университета утвердил Щапова кандидатом на один год, предложив, в то же время, представить программу всего курса.

Осенью 60 года Щапов начал читать курс со вступительной лекцией на тему: «Общий взгляд на историю великорусского народа». Назначение «поповича» на кафедру истории оживленно обсуждалось в студенческих кругах. Студентам было хорошо известно схоластическое направление академии, а потому они составили предвзятое мнение о новом профессоре. В практике университета это был первый случай, когда на профессорскую кафедру входил человек из воспитанников духовной академии, из ее магистров. Естественно, что актовый зал был переполнен. Все современники, бывшие на лекции, в один голос говорят о том глубоком впечатлении, которое произвела лекция на слушателей. «Лекция представляла мастерский очерк и совершенно самостоятельный обзор исторической русской жизни древнейшего времени до освобождения крестьян» [1]). Первая его лекция «произвела общий восторг студентов и сопровождалась их аплодисментами»,—пишет жандармский полковник Ларионов своему шефу. Зато князь Вяземский, попечитель университета, бывший на лекции, «не одобрял тон оной». Лекция Щапова потому произвела такое потрясающее впечатление, что она была богата чрезвычайно ценными мыслями, которые, не будучи никем до сих пор высказаны, «носились в воздухе». Лектор прочел ее с такой искренностью, страстью и убедительностью, что целиком захватил аудиторию. Он излагал выношенную, продуманную и прочувствованную им самим теорию, в которой раскрывал такую систему взглядов, которые потом увлекали не одну тысячу молодого студенчества на службу народу. Лекции Щапова в университете продолжались всего по апрель 61 года. Он сделался известностью в городе и любимцем студентов. В это время благодаря общению со студенчеством он стряхнул с себя остатки клерикализма. Он вылез из профессорской конуры, заваленной древними

---

[1]) Аристов, стр. 57.

списками, и стал появляться на студенческих вечеринках, собраниях, где читал для студентов специально написанные доклады политического, противоправительственного характера. Одна из его нелегальных лекций—«О конституции»—разыскана и издана в Казани в 1926 г. Она чрезвычайно интересна, особенно в той части, где Щапов анализирует крестьянские движения. С 1860 года Щапов является сторонником демократической конституции. Не все мог он сказать с кафедры открыто в лекциях по русской истории. И в них он уже переходил дозволенные границы. Он—первый профессор истории, который рискнул с кафедры прочесть лекцию о декабристах и при том не по барону Корфу. Щапов излагал свою точку зрения так подробно, искренне и открыто, что молодежь поняла своего лектора и солидаризировалась с ним. «Всесторонний взрыв рукоплесканий, криков донесся, словно буря, с треском и громом и проводил смельчака-доцента» [1]).

Во время чтения Щаповым лекций в университете произошла крестьянская «реформа» 19 февраля 1861 года, которая сопровождалась масовым избиением крестьян и расстрелами. Самые крупные «недоразумения» произошли в селе Бездне, Казанской губ., кончившиеся расстрелом 7 апреля 1861 года. Результатом крестьянского восстания явилось «севастопольское побоище»—по выражению одного офицера—стоившее одной Бездне 126 человек. В знак протеста, по инициативе студентов университета, 16 апреля в Куртинской церкви была отслужена панихида, на которой Щапов перед студентами произнес речь. Сущность этой речи долгое время была неизвестна; считали, что она пропала, приводили приблизительное содержание речи—было несколько вариантов. Теперь она нашлась, и мы имеем возможность восстановить подлинное содержание речи по черновику, написанному Щаповым. Речь имеет политический и революционный характер. Она заканчивается лозунгом: «Да здравствует демократическая конституция». Не останавливаясь на изложении начавшегося дела, мы отметим лишь, что Щапова выслали в Петербург, где он и был арестован. 20 ноября 1861 года царь утвердил постановление синода, по которому Щапова (помимо штрафа и лишения должности) надо было «подвергнуть, сверх того, вразумлению и увещанию в монастыре по распоряжению св. синода». В перспективе была ссылка в монастырь Костромской епархии. Но арест Щапова прогремел на всю Россию. Общественное мнение возмущалось этой ссылкой больного ученого. За него вступаются литераторы: Чернышевский, Серно-Соловьевич, Краевский,

[1]) Аристов, стр. 59.

которые подняли целую кампанию за освобождение Щапова. Благодаря вмешательству общественного мнения Щапов 19 февраля 1862 года был освобожден. В том же 62 году он вторично привлекался к ответственности по делу о сношении с кружком лондонских пропагандистов, но был правительством отпущен.

В 1861—1862 г.г. им были напечатаны важнейшие исторические работы, характерные для земско-областной теории. Несколько работ не были пропущены цензурой и ряд работ, характеризующих его политические взгляды, не предназначался для печати. Его легальные работы рассматривались дворянством как призыв к мятежу. Муравьев так характеризует работы Щапова о расколе: «Это настоящий коммунизм с беспристрастными выходками против бояр и чиновников, требующий уравнения во всем, с частыми ссылками на раскольничьи книги, из которых приводятся целые тирады с народными песнями; одним словом, раскол выбран орудием или, лучше сказать, рычагом, чтобы все поднять для какой-нибудь новой пугачевщины» [1]).

Князь Вяземский (отец попечителя Казанского университета) еще в 61 году написал стихотворение, посвященное Щапову, в котором высмеивает нового Гракха «республики журнальной» и его стремления «верней любовь к свободе доказать». Московский митрополит Филарет также был озлоблен на Щапова за его теорию демократизации учения Христа. Поэтому в 1864 году Щапов был выслан из Петербурга в село Ангу, на родину. Министр народного просвещения высоко ценил талант Щапова, и благодаря его вмешательству Щапову было разрешено поселиться в Иркутске. Перед отъездом Щапов женился на О. Жемчужниковой, сыгравшей очень большую роль в его последующей жизни.

Приблизительно за год до высылки в Сибирь в мировоззрении Щапова происходит новый перелом. Под влиянием естествознания он вырабатывает материалистическое мировоззрение и, с точки зрения естественно научной, пытается перестроить всю русскую историю. Он увлекался вопросами народного образования и проявлял громаднейшую веру в силу естественных наук, которые, по мнению Щапова, должны были произвести переворот в положении народных масс.

Ссылка в Сибирь явилась трагедией для Щапова. Лишенный возможности иметь культурное общение с передовыми людьми своего времени, Щапов был предоставлен самому себе. Не раз, вероятно, ему

---

[1]) Щапов, т. III. Биографический очерк.

приходили горькие мысли: «Ни притока новых впечатлений, ни обмена мыслей, ни книг, ни образованных людей, никого нет для мыслящего человека в нашей мертвой и пассивно-неподвижной провинции. При такой постановке умственная работа — каторга, испытываемая ежеминутно тем, кто чувствует потребность в этой неугомонной работе» [1]). При отсутствии железных дорог почта приходила из Петербурга через несколько месяцев, журналы запаздывали, и ученый отставал от движения жизни. «Иногда ждешь-ждешь из Петербурга новых книг и журналов, новых материалов для работ и, не дождавшись ничего, невольно предаешься грустным воспоминаниям прочитанных прежде журналов, назад тому годов за пять» [2]).

Если прибавить сюда бедность Щапова, доходившую в последние годы жизни до невозможности приобрести себе белье, чай, сахар и свечи, то будет понятно, что научную литературу в достаточном для работы количестве Щапов выписывать не мог. Он принужден был довольствоваться привезенными с собой материалами, да случайно попадавшимися книгами. Естественно, что вместе со временем материалы иссякали и старели, Щапов исписывался—новые работы были вариациями ранее написанных и постоянно теряли научный интерес. Это опять, в свою очередь, отражалось на его материальном благосостоянии. Жизнь Щапова была однообразна и тосклива. В первые годы ссылки подбадривала надежда на возможное возвращение. Постепенно эта надежда терялась. Каждый новый год ссылки еще больше понижал научную квалификацию Щапова, как ученого. Щапов погибал. Окружающее общество относилось довольно равнодушно к ученому. Не раз, проходя по улице, ему приходилось слышать по своему адресу замечания в роде нижеследующего: «ишь, большеволосый или большелобый чорт, дурак, ишь как расхаживает; не видали мы что ли этаких людей, дураков, эка диковинка» [3]). Наконец, заболела жена, и заработки еще сократились. Щапов находился в буквальном смысле на границе нищеты. После смерти жены в 72 году он почти уже не был способен к работе. О. И. (жена) отучила его от пьянства—и он в течение нескольких лет не пил. После смерти жены он запил; здоровье быстро стало расшатываться, и физически и умственно он опустился. Последнее время перед смертью ему пришлось голодать.

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 154.
[2]) „ „ „ „ 157.
[3]) Новое Время, 1876 г., № 252.

А. П. Щапов умер 27 февраля 1876 года. Иркутская полиция не разрешила напечатать в газете некролога, и потому иркутяне узнали о его смерти только после его похорон. Никто «не догадался» послать телеграммы в Петербурге с извещением о смерти; в столице узнали об этом только в апреле месяце. После Щапова осталось интересное завещание, по которому он завещал схоронить себя «без всяких обрядов и церемоний» [1]). Все свои бумаги, книги он оставил в пользу Сибирского отделения Географического общества. Но разобрать свой архив поручает «честному человеку по поручению редакции «Отечественных Записок». Щапов поручает издать свои сочинения, а на вырученные деньги образовать стипендию имени его жены. Представители Географического общества проявили удивительную халатность к бумагам Щапова. После смерти Щапов оказался должником своего ученика Лаврова, который и пред'явил свои права на издание его сочинений. Хранителем бумаг и рукописей Щапова явилась полиция. «Она опечатала сундуки, не выбросила вон; но никто не дал сносного помещения этим сундукам, и они были брошены в сырой амбар. Рукописи эти валяются и до сего времени, хозяйка амбара жалуется на стеснение, прибавляя при этом, что рукописи надо бы пожалеть, ибо она не может поручиться за своих мышей» [2]). Некто Суворов написал в «Новом Времени» статью, в которой предлагает позаботиться о рукописях Щапова. Его поддержал некто N в № 214 «Нового Времени», считавший, что «труды нашего историка есть достояние общественное». Однако, несмотря на сделанное Лавровым об'явление в Сибирской газете о выкупе сочинений Щапова, «Литературная корпорация» отказалась от чести выкупить его произведения.

О его смерти были напечатаны десятки некрологов в журналах и газетах—даже провинциальных. Все они поражают бесцветностью и однообразием. Большинство из них совершенно неверно изображают жизнь умершего. Публика, которая не помнила его «Казанской истории», вероятно, недоумевала, почему собственно нужно писать о смерти какого-то Щапова. Из них ничего нельзя узнать о Бездне, аресте Щапова и переселении в Петербург. Дело изображается так, будто Щапов добровольно бросил профессуру и переселился в Петербург, поступив на службу по министерству внутренних дел. Вот как изображается этот период в некрологе, напечатанном в газете Гатцука: «Однако вскоре обстоятельства принудили его покончить с профессу-

[1]) Отечественные Записки 76 г., № 9—10.

[2]) Письмо из Иркутска. Отечественные Записки 76 г., № 9—10.

рой. Он оставил кафедру и в 1861 году поступил на службу в Петербурге, по М. В. Д.» [1]).

Даже в «лучших» некрологах, напечатанных в толстых журналах, авторы предпочитают ничего не говорить об этих «опасных» моментах жизни Щапова. Про ссылку Щапова в Иркутск «Голос» пишет просто, что «в 1863 году Щапов переселился в Иркутск». В «Киевском Телеграфе» весь некролог состоит только из перепечатанного из «Первого Шага» отрывка его вступительной лекции, прочитанной в Казанском университете. Историки обошли молчанием смерть своего коллеги и не напечатали ни одной статьи, в которой бы была дана оценка его историческим работам. Эта оценка была дана в некоторых некрологах. Резкого различия между Щаповым идеалистом и материалистом они не проводят. «Отечественные Записки» изображают дело таким образом, будто Щапов благодаря своим «увлечениям» каждый новый факт естествознания готов был положить «в основание русской истории и из него односторонне «об'яснять все ее события» [2]). Лучший некролог был напечатан журналом «Дело» 1876 г., № 4, и принадлежит перу ученика Щапова—Шашкова. Заслугу Щапова, как историка, он видит в том, что «он поставил изучение русской истории на твердую почву естествознания и расчистил путь тем своим будущим преемникам, которые могут повести это дело дальше».

ЗЕМСКО-ФЕДЕРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ

Прежде чем изложить конкретную схему русского исторического процесса, выработанную Щаповым, необходимо ознакомиться с вопросом о том, какие явления социально-экономической жизни—по мнению Щапова—входят в круг изучения русской исторической науки,—с основами щаповской «философии истории», на основе которой он развертывает картину исторической жизни России. Знакомство с его «философией истории» дает нам ключ ко всей системе взглядов Щапова.

Формулируя основы своего взгляда на задачи истории, он, естественно, не мог не выявить своего отношения к тем теориям и схемам, которые разрабатывались в то время в русской исторической науке.

Две схемы русского исторического процесса разделяли историков на два борющихся лагеря: славянофилов и сторонников «государственной» школы, примыкавших к «западникам». Первая схема больше отра-

---

[1]) Газета Гатцука 76 г., № 16.

[2]) Отечественные Записки 1876 г., № 5., стр. 178.

жала классовые интересы большинства русских помещиков, а вторая— развивающегося промышленного капитала и капиталистической части помещиков.

Щапов выдвинул новый принцип, по которому и делил исторические школы: централизация и федерализм.

«Кроме славянофильства и европеизма, наше мыслящее меньшинство подразделяется еще на централистов и федералистов, или на защитников централизации: политико-географической, административно-бюрократической, законодательной, народно-экономической, народно-образовательной, и на приверженцев федеративной областности или областной автономии и федерации» [1]). Наиболее типичным представителем централистической государственной теории Щапов считает Чичерина, который является «типом ультра-государственного фанатизма, рьяным проповедником строгой, систематической государственной унии и централизации или централизационно-бюрократического государственного пантеизма» [2]). Централистическое построение истории он считает господствующим. «У нас доселе господствовала в изложении русской истории идея централизации; развилось даже какое-то чрезмерное стремление к обобщению, к систематизации разнообразной областной истории. Все особенности, направления и факты областной исторической жизни подводились под одну идею правительственно-государственного централизованного развития. С эпохи утверждения московской централизации в наших историях всеобщее и общее говорится о внутреннем быте провинций... Местное саморазвитие, внутренняя жизнь областей оставляются в стороне или становятся на втором плане; а вместо того на первом плане рисуется политическая деятельность правительства, развитие централизационного устройства и быта России, биографии царей и пр.» [3]).

Себя он причисляет к сторонникам федералистической теории, а поэтому принцип областности выдвигает и подчеркивает особенно сильно. Первые слова его вступительной университетской лекции были: «Не с мыслью о государственности, не с идеей централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на университетскую кафедру русской истории»... В позднейших работах, а особенно в статье «Великорусские области в смутное время», он еще более оттенил значение областности в своей теории. «Русская история, в самой основе своей,

[1]) На рубеже 2-х тысячелетий.
[2]) Щапов, т. II, стр. 157.
[3]) Там же, т. I, стр. 648.

есть по преимуществу история областей, разнообразных ассоциаций провинциальных масс народа—до централизации и после централизации. С этой точки зрения даже вся русская история представляет не что иное, как историческое развитие и видоизменение разнообразных областных общин в двух последовательно-преемственных формах» [1]).

Щапов дает схему русской истории. Но в основу своей схемы он не кладет заимствованной философской формулы или метафизических религиозно-нравственных принципов. Он понимает, что историю надо строить на каких-то новых реальных основах, потому что «жизнь тащится сама по себе», она не укладывается в рамки искусственно-сочиненных теорий, которые выдумываются в кабинетах учеными.

Изучая рукописи Соловецкой библиотеки, он находил в документах присутствие на арене истории масс народных, которые как раз обойдены в истории. Поэтому он провозглашает новый принцип, который кладется им в основу своей исторической концепции. Этот принцип—жизнь многомиллионной трудящейся массы. «Да ведь пора же не забыть и ту черную рабочую массу, которая в истории так долго и так бессмысленно была забыта, а между тем она составляет главную громаду, почти все» [2]). Этот новый принцип вытекает из основ его демократического мировоззрения. Щапов «открыл» крестьянство, как определяющий фактор русской истории.

У Щапова нет Киевской Руси, нет желания разбираться в вопросе, как жили славянские племена на Карпатах. Его интересует сравнительно новый период истории русского народа. Щапов старается определить форму социального общежития славянских народов и инородцев в эпоху, предшествующую образованию Московского государства. На основании изучения материалов он устанавливает, что эта форма «земского устроения» есть форма особно-областная.

Основным принципом особно-областного земского устроения является правило: «вольным воля». Свободный человек мог переходить с одного места на другое и селиться, где находил лучшим. «Свобода была основой земского территориального устройства народной жизни» [3]). Благодаря господствовавшей свободе, «развился в народе колонизационный дух, широкий разгул, простор воли [4]). Появлению областного строя России предшествовал чрезвычайно длинный колонизационный процесс, во время которого происходило смешение славян-

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 648—649.
[2]) Там же, т. II, стр. 156.
[3]) Там же, т. I, стр. 486.
[4]) Там же.

ских племен с племенами финскими и тюркско-татарскими. «Эта колонизационная, географическая и этнографическая основа областей была первоначальною естественно-историческою основою, закладкой всего областного строя Великой России» [1]). Основой колонизационного движения народа являются реки. «По речным системам и волокам областные общины группировались в форме земско-областных федераций»... Нащупав основную артерию колонизационного потока. Щапов стремится найти известную систему речных бассейнов в Европейской России, которые бы определяли основные вехи колонизационного движения и намечали бы основания для областного деления. Это ему легко удается сделать. Рельеф поверхности определяет направление этих реко-озерных бассейнов. Он замечает, что «северные увалы, разделяющие речные системы северо-двинскую и волжско-камскую и составляющие в древней нашей истории разграничительную черту в ходе и направлении новгородской и московской колонизации,—северные увалы и образовали вместе с тем и этнографическую границу области» [2]).

Остановимся пока на Новгородской области. Она образовалась, благодаря колонизации «по земле и по воде» северо-двинской речной системы, тяготела к Новгороду, называлась согласно исторических актов «землею новгородскою», а на народно-вечевом языке — «государством новгородским». Благодаря дальнейшему расширению колонизации мы видим, как единая новгородская земля делится на пятины, на меньшие общины, каждая из которых тяготеет к особому концу Новгорода. «И тут опять основа подразделения была естественная, географическая и этнографическая.... отдельные места общины колонизировались и распадались по отдельным, побочным речным водоразделам и волокам его и также назывались землями [3]). Этот анализ связи и взаимоотношений Новгорода с его колониями Щапов углубляет и приходит к выводу, что эта связь и явилась основой новгородского могущества. Он приходит к правильному пониманию причин борьбы между Новгородом и Москвой. Борьба шла за господство над колониями Новгорода, которые находились с самой метрополии в федеративной связи... И Новгород не делал попыток «нарушать свободного развития местных общин». Он и сам чувствовал экономическое значение своих колоний, а потому всячески оберегал их от притязаний Москвы; с «энергическою мощью и жизнен-

[1]) Щапов, т. I, стр. 654.
[2]) Там же, стр. 666.
[3]) Там же, стр. 656.

ностью возбуждался, потрясался весь организм вольной новгородской общины при малейшем покушении московских князей порвать федеративную связь Новгорода с его волостями» [1]).

Совершенно верно понимая, что борьба шла из-за об'екта грабежа, в котором заинтересованы и Москва, и Новгород, Щапов все же не видел главной действующей силы там и здесь—торгового капитала.

Другой бассейн рек, лежащий к югу от северных увалов,— бассейн Волги с притоками образовал особую область, «или особую федерацию городских и сельских общин». В XII и XIII веках там было образовано несколько городов. Из них «бояре, владыки и монастыри выводили по бортным, пашенным, рыболовным, сокольничьим, соляным и другим хозяйственным путям, ухожаям и станам свои починки, села и волости бортничьи, сокольничьи и пашенные» [2]).

Следовательно, направление дальнейшей колонизации и расселения определялось мотивами хозяйственного порядка, возможностью вести земледелие, пчеловодство, заниматься рыболовством. Это, главным образом, сельская колонизация. Щапов подробно исследует бассейн тех рек, которые ограничивают область Суздальской земли: Владимир, а потом Москва—вот два центра всей этой области. Благодаря этой-то «колонизационно-географической» связи удалось московским князьям развить начало централизации и нарушить принцип федеративного устройства русской земли.

Здесь же, в Московской «земле» было положено начало «постепенного нарождения, нарастания великорусской народности, посредством принятия в состав ее в различных областях разных инородческих элементов» [3]). Поэтому великорусский народ не представляет из себя чисто славянской народности, а образовался путем ассимиляции с славянами различных финских племен. Отсюда основной стержень истории великорусского народа, примерно до XVI века, Щапов видит в нарастании элементов, характеризующих великорусскую народность. Этот процесс совершался в теснейшей связи с процессом «областного саморазвития». Нечего говорить о Казанском царстве, где «татарщина» всецело преобладает. Можно бы продолжить и увеличить количество областей, которые подверглись анализу Щапова и на которые разделилась русская земля. Но можно сделать уже и вы-

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 657.
[2]) Там же, стр. 661.
[3]) Там же, стр. 663.

вод. На основе колонизационного расселения русская земля распалась на ряд областей, расположенных «большею частью по речным системам, с особым хозяйственным строем». Каждая из таких областей представляет федеративный союз. «Каждая федерация и в ней местная община стремилась к территориальной особности, не прерывая федеративной связи между собой, основанной на колонизационной общности, союзности» [1]). Области имели не только различные хозяйственные физиономии, но и религиозные. На этой основе сложились различные течения в расколе. Выражением принципа областности в религии являлось: «каждая область своих блажит».

На колонизационно-географической основе Щапов об'ясняет возвышение Москвы, которое нарушило «развитие федеративного устройства России». Сжато, но чрезвычайно метко, он характеризует ту обстановку, которая способствовала централистическим стремлениям Москвы. Вы здесь найдете «фаворитство, и содействие орды», и помощь церковной иерархии, и, наконец, содействие монастырей не только своей области, но и соседней. Благодаря действию всех этих факторов, «все великорусские области, мало-помалу, были собраны, централизованы в одно Московское государство [2]). Разобщенность областей, стремление их жить особо и независимо, отчасти племенная вражда между отдельными областями, все это способствовало скорейшему подчинению их Москве и потере их областной самостоятельности. Но после этого дух самобытности и самоустройства областей не уничтожается окончательно. По временам области активно протестуют против насилий, гнета, эксплоатации со стороны Москвы, которая для достижения централистических целей построила довольно сильный аппарат государственной власти. Дух общинной свободы, самоуправления особенно сильно был развит в городах Новгородской и Северной области, где, естественно, сильнее развилась оппозиция против приказного управления Москвы. Отзвуки вечевой вольности выражались в бойкоте присланных чиновников и их избиении. Чтобы не потерять приобретенной области, Москва принуждена была итти на уступки. Вновь завоеванные царства Казанское и Астраханское вовсе не походили на мирных овечек, которые спокойно позволяли себя стричь Москве. Инородцы, «тяготившиеся русской колонизацией, выходили из повиновения, возмущались против русского правительства и против русских колоний» [3]). «Шаткость великая» между инородцами не прекра-

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 663.
[2]) Там же, стр. 674.
[3]) Там же, стр. 676.

щалась в течение XVI и XVII веков. Недовольство инородцев хозяйничаньем Москвы нашло свое выражение и в Пугачевском движении.

Противоречие интересов между областями и Москвой, их стремление к самобытному самоустройству, наконец, слабость связи между отдельными частями Московского царства—нашли свое выражение в смутное время. «Грубо, дико, бурно, хаотически сказался в смутное время областной элемент—но сказался, заявил свое историческое значение и в новой государственно-союзной России» [1]).

В об'яснении хода и развития смуты у Щапова нет углубленного понимания, приближающегося к марксизму. Многие его положения часто парадоксальны. Но марксисту-историку легко установить то, что для Щапова непонятно и что необходимо ввести для правильного понимания. Разберем об'яснение Щаповым переломного момента в развитии смуты.

Смутному времени Щапов приписывает чрезвычайно большое значение. Он считает его гранью «между древней особно-областной и новой соединенно-областной, централизованной Россией. В смутное время областность, разнообразная областная жизнь народа, еще раз выразила реакцию против централизации: еще раз вскрылась, обнаружилась старая, естественно-историческая особность, рознь областных общин. Обнаружилась рознь этнографическая: восстали и забунтовали области инородческие, юго-восточные, поднялись татары, чуваши, черемисы и др. инородцы. Обнаружилась рознь юридическая: во всех областях открылось местное народосоветие, открылись разрозненные областные земские советы... Наконец, обнаружилась и рознь земская, географическая: обозначилась территориальная, колонизационная особность областей» [2]).

Исконная недоверчивость областей «к Москве и ненависть к боярской олигархии», соединенная с протестом против ограничения права «в устройстве правления и выборе царя»,—являлись ближайшей причиной смуты.

Едва ли дело обстояло так просто, как кажется Щапову. Да и сам он в дальнейшем принужден признать особую важность национального вопроса, обнаружившегося во всей остроте во время смутного времени: «весь инородческий мир в смутное время находился в хаотическом движении». Причина этого движения отнюдь не та, что Москва избрала на престол князя Шуйского, не спросив инородцев.

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 683.

[2]) Там же, стр. 682.

а в особенной тягости московского режима. Протест и ненависть инородцев не раз проявлялись против рыцарей первоначального накопления в движениях до и после Шуйского. Щапов считает нужным особо подчеркнуть «полное равнодушие, не крепость областей к Московскому государству, во-вторых, рознь областей между собой»[1]). Области были настроены против Шуйского, а многие из'явили даже готовность признать самозванца. Антагонизм областей к Москве выявился еще в том, что они занимались защитой не общегосударственных дел, а «советуются об обереганьи своих мест». Таков смысл смутного времени с точки зрения Щапова. Нельзя сказать, чтобы Щапов обнаружил ясное понимание исторических причин, подготовивших смутное время, но нельзя отказать в цельности и последовательности взглядов Щапова при об'яснении такого большого исторического явления, как смута. Об'яснение ее вытекает из существа его теории. Общеисторическая схема его мешает заняться более детальным анализом социальной обстановки. Социальный анализ его слишком груб и общ: с одной стороны, московская централизация и притязания боярства, с другой—все земство, все области, выступившие против боярства, присвоившего себе полномочия, принадлежащие только всей земле. Примитивность щаповского анализа особенно ярко бросается в глаза, когда он говорит о ближайших причинах, вызвавших смуту. Смутное время, по Щапову, начинается с того момента, когда, «помимо земского собора, провозглашен был царем Шуйский». Воцарение Шуйского без голоса земли земство оценило, как умаление своих прав.

Рознь отдельных областей между собой и их борьба с московской централизацией продолжались будто бы до тех пор, пока место московской централизации не заняла польско-литовская. С появлением ее «началось в областном народосоветии новое, лучшее направление»[2]).

Это «лучшее» направление выражалось в их стремлении договориться, созвать «общий единомысленный земско-областной совет». Наконец, в 1613 г. такой общеземский собор, или совет всей земли, был созван. Однако вместо закрепления принципа народосоветия, как постоянно действующего института, с организацией «центрально-федеративного» общеземского совета, он выбрал себе царя. Что за парадокс? Только что Щапов на протяжении полуторы страницы повторял в различных вариациях о склонности областей к

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 690.

[2]) Там же.

«земской общинной организации», о протестации против «насильственной цивилизации», о необходимости об'единения в федеративный союз; когда же представился случай окончательно осуществить свои многовековые мечты, области избирают царя.

Щапов об'ясняет это тем, что благонамеренные люди областей решили за лучшее избрать царя, «для устранения исключительных удельно-олигархических притязаний боярства и военно-демократических стремлений казачества, для сохранения русской земли от распадения на части» [1]). Победителем из смуты вышел средний общественный класс—поместное служилое дворянство, которое и поставило «своего» царя.

Непонимание роли торгового капитала приводит Щапова к странному об'яснению итогов смуты: выборы царя на соборе 1613 г. Земский собор 1613 года завершает принцип федеративного земского построения государства. Сначала на земских областных советах были разрешены свои областные дела. «Потом от местных, областных, частных интересов сфера областного народосоветия расширилась до взаимных, общих интересов всех областных общин и, наконец, в исходе 1612 года, возросла до интересов всенародных, всерусских, до выражения земского единства» [2]). Необходимо было организовать сильное союзное государство; эта необходимость диктовалась, по мнению Щапова, внешней опасностью. Организация земского государства закончилась избранием Михаила Романова в качестве царя «на полном земском выборном праве всего народа». Оказывается, Романов вовсе не царь, а первый президент русского государства. Щапов не понимает того факта, что организация романовского государства была результатом соглашения между торговой буржуазией и классом помещиков. Дельнейшее развитие абсолютной монархии вовсе не является результатом нарушения Романовыми данной «народу» конституции, а является исторически неизбежным следствием дальнейшего роста в России торгового капитала. Все абсолютные монархии Запада возникали на базе торгового капитала. Господство в области экономических отношений новой силы приводит к соответствующей перестройке и изменению политической надстройки—государства.

Чтобы яснее представить всю историческую теорию Щапова, остановимся на вопросе о земском устройстве областей.

---

[1]) Щапов. т. I, стр. 703.

[2]) Там же. стр. 704.

Вопрос о земстве, о земском строении особенно интересовал Щапова в первый период его исторических работ (по 62-й год включительно). О нем он писал много и с любовью. Под ним он понимал— «весь поземельно-общинный союз, всю совокупность или массу народонаселения, связанного единством или географическою нераздельностью, цельностью занятий или земли, единством земских интересов и, как говорили наши предки, «любовью, советом и соединением, без различия чинов, сословий и этнографического разнообразия» [1]). Здесь, в противоположность славянофильскому общинному союзу, основанному на нравственном принципе, выдвигаются моменты географического и производственного характера. Это уже громадный шаг вперед. Земство строится на реальных основаниях, понятных для каждого участника и члена его. Первым кругом земского строения, или низшими ячейками, являются сельские, волостные и городские миры с сельскими сходами, волостными думами и городским вече. Высшей ступенью земского строения являются «областные миры или земли» с их земскими советами. А вся земля русская представляет собой совокупность земских и областных миров. Из представителей всех областных земских советов собираются советы всей земли, или земские соборы.

По мнению Щапова, «мир» распоряжался всеми делами общины, был ли то вопрос распределения земли, сбор мирских денег, или сношения с правительством. Мир сносился с ним непосредственно, помимо землевладельцев. В качестве исполнительного органа он выбирал «излюбленных голов и старост». Но выбрав свои исполнительные органы, мир не уходил от работы. С ними вместе он «и сам действовал». Как в селе и волости мир был верховным господином, так и в городе им было вече. «Принцип вечей получил более полную, цельную организацию и многосторонне проявился в Великом Новгороде» [2]). Вече являлось верховным господином, каждый новгородец имел право быть на нем. Вече решало не только светские, но и церковные дела. Не мог быть незамеченным и элемент борьбы, которая проявлялась на вече, особенно резко в Великом Новгороде. Правильно констатируя борьбу «земства с боярством, меньших людей с вятшими», Щапов совсем не может ее об'яснить. Он боярство считает пришлым, чуждым элементом, да притом «иноплеменным».

---

[1]) „Заметка о самоуправлении". Очерки № 2—3, 1862 г. В отдельных и очень важных местах исследования смуты работа Платонова развивает положения, выдвинутые Щаповым.

[2]) Щапов, т. I, стр. 786.

Поэтому оно «мутило, нарушало органическую целостность, единство, равенство мира, неестественно исчужа, со стороны нелегало на земство тяжестью своей власти и кормленья»[1]). Отмечая чрезвычайную жизненность принципа веча, Щапов все же признает, что организация «бурмистерских палат», ратуш, земских изб кладет конец проявлению вечевых порядков. Гильдии, цехи и магистраты—все это проявление государственно-бюрократического начала. Разделительные тенденции начинают появляться в миру значительно ранее развития московской централизации,—это «служивое» сословие. Оно принесено из Греции и варягов и совершенно чуждо славянскому населению. Но разделительные тенденции, привнесенные пришлыми сословиями, не могли при мирском житье, при господстве принципа «вольным воля» сказывать большое разрушительное влияние. Как простонародье свободно переходило с одного места на другое, так и дружина, боярство могло переезжать от одного князя к другому. Крестьяне не являлись тогда крепостными, а бояре «не могли образовать твердооседлую, наследственно-родовую, земледельческую аристократию»[2]). Земля принадлежала всему народу—земству, и каждый крестьянин имел равное с боярином право владеть не только землями, но и «населенными деревнями». Но вот приходит татарщина, и «с возрастанием власти великого князя, старинная равноправность областей стала нарушаться, и Москва стала указывать другим землям, как и что делать. Характер прежнего самостоятельно сложившегося управления стал изменяться, вместо естественного сделался искусственным, вместо излюбленных выборных правителей являются новые лица, кому государь прикажет править: приказные и бояре московские[3]).

Но несмотря на рост могущества Московского государства, на подавление им местной инициативы, все же принцип самоустройства областных советов продолжал жить в народе; проявлялся он в земских соборах, которые правительство принуждено было созывать время от времени. Щапов рассматривает только соборы, которые созывались после смутного времени, начиная с 1613 года и кончая Екатерининской комиссией 1767 г. До этого момента принцип областности настолько резко проявляется в истории, что он не находит нужным разбирать земские соборы до смутного времени. В переводе на современный язык земский собор есть не что иное, как представительное собрание, парла-

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 789.
[2]) Там же, стр. 755.
[3]) Щапов. О русском управлении XVIII века.

мент. «Они естественно сложились вследствие московского собрания всей земли, из обычаев, из починковых старых областных земских вечей и советов» [1]). В XVII веке не было никакого писаного положения, которое бы определяло время их созыва и порядок работы. Они созывались или по инициативе самих областей, или по инициативе правительства, от времени до времени, смотря по надобности.

На земских соборах обнаруживались противоречия «земли» и государства. Представители земств отличались «практическим смыслом» не в понимании общегосударственных нужд, а в умении противопоставить себя, как представителя областей, государственному началу, интересам правительства, в умении отказаться служить «нуждам и запросам государевой казны, в ущерб своих нужд и интересов» [2]).

Правительство первых Романовых не менее жестоко расправлялось с делегатами «представительного собрания», чем и их последний представитель—Николай II: 120 делегатов с собора 1648 года, недовольных Уложением, были отправлены в Соловки «и там, спустя несколько лет, под знаменем раскола, произвели бунт против царя» [3]). Щапов с глубоким уважением относится к системе соборной «парламентарной» работы. Несмотря на своеволие правительства, выразившееся в высылке депутатов, он все же считает Уложение 1649 года, принятое на этом соборе, опытом «народного законодательства». Однако процесс дифференциации общества идет своим чередом; растет—по выражению Щапова—разночиновность, что находит свое отражение даже на соборах XVII века. С начала XVIII века до Екатерининской комиссии более не слышно «голоса народа». В этот промежуток совершается процесс превращения «Московского государства в империю всероссийскую». Начиная с Петра, «многосложный, бюрократический, шведско-немецкий, петербургско-губернский, военно-чиновничий механизм окончательно перестраивает весь русский земский мир, преобразуя его в шведско-немецкие формы империи...». «... С тех пор принцип абстрактно-немецкой, бюрократической формации русской жизни, принцип указов и предписаний, система регламентации, бюрократического сочинения комиссий, учреждений, всецело исключает принцип свободного, земского, мирского самоустройства и саморазвития народной жизни. Секретная

---

1) Щапов, т. I, стр. 734.
2) Там же, стр. 717.
3) Там же, стр. 722.

для народа, многосложная, официально-чиновничья, петербургско-губернская, бюрократическая лаборатория централизованного механизма империи, бюрократический процесс секретного решения вопросов народной жизни, сочинительства уставов, регламентов и проектов народной деятельности и пр.—всецело воспреобладали над живой саможизненной выработкой быта народного, над свободным самоустройством и саморазвитием жизни народной» [1]). Здесь вы видите у Щапова наиболее резкую характеристику послепетровской государственности и методов ее управления русским народом. Восемнадцатый век—время увеличения привилегий дворянства, тягчайшего гнета народных масс. Именно в это время «протестации» недовольного населения против разнообразных проявлений государственности достигают высшего предела. Крепостной гнет усиливается: крестьянин «вопиет», подает челобитные государю, но от этого его положение нисколько не улучшается. Проносится волна крестьянско-казацких и раскольничьих бунтов. Земско-областная жизнь совсем замирает. И вот в обстановке общей придавленности Екатерина созывает собор. Как нам известно, результат работ Екатерининской комиссии—круглый нуль. Но Щапова, конечно, увлекают разговоры об освобождении крестьян, поэтому он переоценивает ее значение. Когда же он более внимательно присматривается к тем речам, которые там произносились, и к требованиям, пред'явленным правительству различными депутатами, то должен признать, что «представления эти не отличаются особенно резким политическим либерализмом». Екатерининская комиссия—последний отзвук былого областного имущества и земского народосоветия. После нее мы не видим уже созыва земских соборов. Могущество и сила правительства достигают таких размеров, гнет так силен, что разрядка получается громадной силы в форме Пугачевского бунта. Но из этого бунта государственность вышла победительницей.

Придавая чрезвычайно важное значение закрепощению крестьян, Щапов в то же время научно не разработал этого вопроса. Если вы захотите узнать, как произошло закрепощение, то больше того, что сперва был свободный переход, «но вот уничтожен мало-помалу, с тяжелым вековым трудом, свободный переход крестьянский» [2]), вы ничего не узнаете. Из ряда косвенных замечаний, разбросанных в других местах, можно установить, что активная роль в уничтожении свободы перехода принадлежала правительству. Решающую роль в усилении крепостного гнета Щапов придавал ревизиям. «На основании ревизии помещик по-

[1]) Щапов. „О русском управлении XVIII века".

[2]) Щапов, т. I, стр. 515.

лучил право, обеспеченное силой закона, воспрещать крестьянам и выход из его поместья, и свободный выбор промысла, и вступление в брак или избрание холостой жизни» [1]). Влияние государства на крестьян и усиление крепостного гнета идут по одной и той же восходящей линии вместе с ростом торгового капитала. «Манифест императора Петра III о вольности дворянства, изданный 18 февраля 1762 года, окончательно обратил крестьян в полную собственность помещиков» [2]). Если наши историки—как Ключевский—пытались представить процесс образования крепостных отношений исключительно из частно-владельческих отношений крестьян к землевладельцам и совершенно игнорировали роль государственного фактора, как силы, стоявшей на стороне господствующего класса, то Щапов игнорирует именно эти частно-хозяйственные отношения и тем самым отрезает себе путь к экономическому об'яснению происхождения крепостного права, одновременно переоценивая роль государственого фактора.

Но гораздо интереснее взгляды Щапова на характер крестьянских движений.

Хотя подробного очерка крестьянского движения—в частности, Пугачевщины—Щапов и не дал, но его принципиальная точка зрения совершенно ясно изложена в докладе «О конституции». Щапов считает, что если историки изучают борьбу боярства и дворянства при Грозном и борьбу внутри дворянства в последующие столетия, то тем более «народный историк должен следить за политическими движениями и проявлениями низших масс народных, этого огромного большинства». В народных бунтах выражается вся его «политическая философия». Поэтому надо вдумываться и изучать характер крестьянского движения, «речи бунтующего народа», личности главарей, зачинщиков и агитаторов. Щапов считал, что причины, толкавшие низшие массы на бунты, имелись в наличии и ко времени «реформы» 61 года. Анализируя крестьянское движение, он сосредоточивает свое внимание на двух важных элементах: на «монархизме», под знаком которого происходила Пугачевщина, и на роли солдат в крестьянском движении. «Монархизм» он считал революционным фактором, так как его создает народное сознание, и под его ореолом должен выступить руководитель движения «из рода крестьян». Организующим центром крестьянского движения, его политическим вождем, Щапов считал «крестьянина-солдата», который «может наделать чудеса в возбуждении и движении масс». Эти заметки

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 517.
[2]) Там же, стр. 520.

Щапова поражают чрезвычайно глубоким пониманием «стихийного» крестьянского движения, политической свежестью, и свидетельствуют о революционном чутье историка.

ОБЩИНА И РАСКОЛ

Щапов фанатично был предан своей теории. Он был уверен, что его историческая теория областности не только осветила прошлую историческую жизнь, но и дает реальные указания о том, как она должна строиться в настоящем. С этой теорией он подходил к оценке событий, современником которых он являлся: к так называемой «крестьянской реформе».

«И вековой исторический, — пишет Щапов, — современный опыт показывает ясно, как день, что областные общины, расположенные на огромных пространствах обширнейшего в свете государства, до тех пор не могут достигнуть надлежащего равномерного экономического благосостояния и прочего, покуда нет децентрализации и покуда централизация не замещена федерацией» [1]).

В этой формуле в самой общей форме дается принципиальная оценка всем правительственным начинаниям, и развивается практическая программа действия. Только то жизненно, практично и имеет значение, что строится на основе местной инициативы, по принципу: «децентрализация и федерализм» [2]). Под этот общий лозунг у него подведено теоретическое обоснование. Московская централизация торжествует: она задушила инициативу областей и областные советы. Земские соборы больше не собираются; место областного совета занимает агент центральной власти, но... не все еще погибло. Основной принцип, основная ячейка земско-областного строения живет. Этим корнем, основой земского строения Щапов считает крестьянский мир, общину. «Но корень вольно-народного, земско-вечевого, самим народом созданного мира уцелел в могучем крестьянском мире, в сельской общине... Народ всячески сохранял основу мира, как святыню, от всех буреломных, сокрушительных стихий. Старый, неумирающий, вековеч-

---

[1]) Щапов. „О земском строении". Аристов, стр. 188.

[2]) Что эта мысль Щапова отнюдь не случайная, и что ее надо понимать именно так, можно подтвердить другими цитатами, одну из которых я и привожу: „Можно ли ждать производительности городов до тех пор, пока области не будут иметь автономии местного самоуправления, пока города не получат все равные права..., пока земские думы не вытеснят из городов приказное чиновничество, и не будет „строгой отчетности"... и т. д. См. „Дума и гражданская грусть".

Обе цитируемые работы написаны Щаповым в Петербурге в одном году.

ный мир крестьянский—твердыня всего русского мира — представляет первооснову и первообраз для нашего саморазвития» [1]). Это единственный из трех элементов земского строения, уцелевший до настоящего времени.

Вообще же земское строение складывается из трех ярусов: низший или первооснова, сельский мир, община с сельским сходом и город с вечем. Эта община имеет колонизационное происхождение. Федеративный союз общин, ячеек, образует область с областным советом,—это второй круг, и, наконец,—союз областей составляют всю землю, с земским собором во главе. Здесь важно подчеркнуть, что город первоначально строился по тому же типу, что и сельская община—по принципу самоуправления. Самоуправление в селе происходило через крестьянский сельский сход, а в городе через вече... Общая линия земского строения идет от сельской общины до государства и от сельского схода до земского собора. Два верхних яруса земского строения утратили свое жизненное и практическое начало: их вытеснила и заменила московская государственность, превратившаяся потом в «империю всероссийскую». В городах сравнительно легче было одержать победу самодержавию. Не все города образовались путем «свободно экономического самоустройства и самоуправления их из сел, из слобод, вследствие свободного торга и промысла» [2]), как Новгород и Псков. Очень много городов образовалось путем княжеского «рубленья». Естественно, что в них легче было восторжествовать принципу централизации. Московское правительство вывело принципы земского самоустройства, заменив их бюрократией. Но основная, первичная, клеточка земского строения осталась и существует до сих пор. Несмотря на время, «чуждые» миру элементы хотя и проникли в него, «но не вытеснили мира». Поэтому понятно, почему Щапов считает необходимым даже в период централизации изучать не государственность, а проявление народной инициативы и принцип областности.

«Сельский мир, как излюбленный народом вековой самородный корень—отросток вольно-народного вечевого мира на земле русской—представляет нам естественно-историческую, заветную народную первооснову, или точку отправления для нового вольно-народного самоустройства и саморазвития всего русского земного мира» [3]). Недаром история сохранила принцип мира до нашего времени. Щапов считает, что община не прозябает, не доживает свои последние дни, а полностью

[1]) Щапов, т. I, стр. 762.
[2]) Там же, стр. 783.
[3]) Там же, стр. 763.

сохранила свое былое величие, силу, принцип выборности и самоуправства. Она снова «воскресает и всех нас теперь зовет к мировому сближению...». На этой основе Щапов и строит не только свою историческую теорию, но и свою политику. Путем энергичной поддержки активного вмешательства интеллигенции, он предлагает развить в народе «дух мирской инициативы и мирской круговой поруки». Он смеется над лицами, занимающимися отвлеченными рассуждениями «о разных формах ассоциаций», и предлагает им учиться «у сельского мира». Давая убийственную характеристику интеллигентских кружков, которые вырождаются, чахнут или обращаются «в смешные типы повестей и романов», он противопоставляет им крестьянсдую общину. «Что нужды, что пока груб и невежественен сельский мир. Зато он здоров и могуч и физическими и нравственными силами. Социальный принцип мира полножизнен и плодотворен [1]). Статья оканчивается демонстрацией против самодержавия, с призывом: «Нам нужны такие же новые мирские сходы, земские советы и такой же новый великий собор...» и конституция. Но об этом писать в легальной статье Щапову было нельзя...

Подчеркивая жизненность крестьянской общины, Щапов считал ее отправной точкой переустройства общества и государства. Его взгляды на роль общины приближаются к точке зрения Герцена и Чернышевского. Щапов не социалист; он только стихийно отражает ту силу протеста, которым полно крестьянство против гнета самодержавия. Он сторонник старины, и его идеал вовсе не социализм типа русских и западно-европейских утопистов, а введение демократического устройства в государстве путем создания земских советов, начиная с волости и кончая общероссийским.

Теперь перейдем к рассмотрению взглядов Щапова на раскол.

Крестьянское движение не только в России, но и на Западе проходило под флагом религии. За борьбой различных церковных групп, за спорами о догматах скрывалась классовая борьба. Протестантизм родился в результате длительной классовой борьбы. Движения коммунистических групп средневековья имели религиозную окраску. Связь религиозных движений с социальным кризисом для марксиста совершенно очевидна. Поэтому русский раскол не может не интересовать нас. Одним из лучших знатоков раскола являлся Щапов. Естественно, нас интересует не исследование догматическо-богословской стороны вопроса, а социальное содержание в расколе, его увязка с общими усло-

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 766—767.

виями эпохи и классовой борьбы. Интересно также посмотреть, какую увязку Щапов делал при исследовании раскола с общим своим взглядом на исторический процесс.

Щапов много занимался расколом, особенно в первый период своей ученой работы. В процессе работы над расколом складывалась его историческая точка зрения. С другой стороны, по мере того, как все яснее делалась для него схема русской истории, оценка раскола им уточнялась. После того, как Щапов стал материалистом, он не дал нам систематических трудов по расколу, однако во многих местах, как бы мимоходом, делал замечания.

Первое ученое произведение, с которым Щапов вышел на литературную арену, была его магистерская диссертация по окончании академии—«Русский раскол старообрядства». В нем он впервые сформулировал свою точку зрения на раскол. Вторая основная работа—это «Земство и раскол». Появление «Раскола» вызвало различную оценку. Корифей исторической науки Соловьев «одобрил» эту книгу и сразу признал в авторе талантливого ученого. Бестужев-Рюмин взял его под свою защиту от нападок «Современника». Только один голос Добролюбова (или Антоновича—есть разные мнения) резким диссонансом нарушал хор похвал и восхвалений. Добролюбов никак не соглашается послать Щапову «сочувственного привета», которым так поспешили наградить его другие, потому что Щапов «хотел быть современным и либеральным, но не сумел быть им вполне» [1]). Мы должны сказать, что публицист проявил больше понимания в оценке раскола, чем записные историки. Щапов в первой своей работе не справился с задачей «раскрыть историческую основу раскола старообрядства, этого многосложного явления в русской истории, показать те элементы в исторической жизни народа, из которых он сложился» [2]). Щапов сбивался к идеалистическо-богословской трактовке вопроса, к церковной точке зрения, что и было отмечено Добролюбовым. Но на ряду со слабыми сторонами уже в этой работе было так много нового, свежего, что совершенно перевертывало обычную точку зрения. В последующих работах Щапов освободился от слабых сторон своей первой работы и развил, уточнил ее сильные.

«Раскол», по Щапову, имеет двоякое происхождение: церковное и гражданское. В первом случае он представляет протест против церковных нововведений, во втором он представляет уже противогосудар-

---

[1]) Современник, 1859 г., кн. 77. № 9, отд. 3.

[2]) Щапов, т. I, стр. 174.

ственное течение и направлен против гражданских порядков. Гражданский характер раскола придал этому движению особую силу и демократический характер. В XVII веке раскол широко распространился, а в начале XVIII века, при Петре, он окончательно принял «характер национально-гражданского демократизма, религиозно-народной оппозиции против нового правительства, против устроенной по западно-европейским началам империи» [1]). Хотя и смутно, но все же Щапов понимает сложный социальный состав раскола. Помимо народных низов, казачества, деревенского церковного причта, раскол захватил и боярство и купечество. Останавливаясь на географии раскола, Щапов подтверждает тот факт, что раскол сильнее всего распространился в районах с широко развитой торговлей. Несмотря на различие интересов различных слоев, охваченных расколом, была между ними внутренняя связь, которая об'единяла все течения: этим общим была борьба с правительством и церковью. Характерно, что в общей оценке раскола Щапов в данном случае не расходится с Никольским [2]).

Раскол является реакцией различных слоев народных масс против тягот государства. Раскол усиливался параллельно с ростом империи Петра, параллельно с уничтожением земских общинных свобод по самоуправлению. В конце концов Щапов отождествляет борьбу раскольников с общеземской борьбой против государства. Под знаменем раскола подготовлялась революция в России против царизма, против государства. Вопрос церковный «стал вопросом народным—земским». В казацком движении Разина раскол был уже об'единяющей силой: «в бунте Стеньки Разина, раскол явился уже об'единяющей силой, душой движения. Бунт С. Разина был уже и бунтом раскола, первым явным народным движением его, так как донское казачество тогда уже обратилось в раскольничью общину» [3]). Близость раскола к народным массам явилась источником его силы. Строительство Петровской империи, войны, которые он вел, ревизии, тяжелые налоги—все это бременем ложилось на народные низы, вызывая с их стороны еще большую реакцию. Раскол окончательно сливается с жизнью и бытом народа.

---

[1]) Щапов, т. I, стр. 226.

[2]) „При всем разнообразии идеологий, провозглашавшихся в качестве старой веры, между ними было тем не менее нечто общее, что их об'единяло, и это общее—оппозиция против крепостнического государства и церкви, как орудия его господства". „Русская история с древн. времен", т. II, стр. 173. Статья Никольского.

[3]) Щапов, т. I, стр. 466.

Раскол являлся выражением революционного протеста крестьянства в борьбе с самодержавием. «Раскол все недовольство народное, все горе-злосчастье, все элементы бунтов народных возвел в вековой народный заговор, в согласья, доктрину. Дух Стеньки Разина, дух стрельцов воплотился в живучую, неумирающую оппозицию раскола [1]). Щапов сосредоточивает все свое внимание на выяснении социальной обстановки в происхождении раскола. Победа централизации в XVIII в. вызывает разные течения среди раскола. Одни «мирятся» с государством, другие, разочаровавшись в возможности добиться освобождения (Селивановщина), уходят в мистицизм, третьи (Бегуны) «отрицают» все основы «всей государственной системы». Печать протеста, симпатии к угнетенным видны во всех его произведениях о расколе. Мы видим, что «теория раскола» у Щапова органически вытекает из исторической теории. Щапов не видит борьбы классов—в этом решительный недостаток и его исторической теории и теории раскола. У него в истории есть борьба и между «классами» (Новгород)—между богатыми и бедными, но с появлением государства он становится при анализе исторических фактов на «внеклассовую» точку зрения. Есть народ, который угнетается, и есть государство, которое угнетает. Таким образом государство фетишизируется. Отсутствие классовой точки зрения «скрыло от него, однако, религиозную идеологию раскола и стерло моменты различия между выражениями оппозиции различных социальных слоев раскола» [2]).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЩАПОВА И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Заниматься фактической критикой схемы Щапова с точки зрения современной материалистической историографии—было бы в значительной степени лишним. Можно отметить лишь самое основное. Схему Щапова можно назвать федералистической, но это название не будет полностью характеризовать все главнейшие части его теории. Вернее ее назвать земско-областной. Такое название будет полностью охватывать и момент колонизационный, который играет первенствующую роль в его теории, и особый принцип социального строения областей — это принцип земства. Положительной стороной его теории и

[1]) Щапов, т. I, стр. 470.

[2]) Русская история, т. II, стр. 124. Глава, напис. Никольским.

его научной заслугой является выдвижение значения колонизационного фактора в истории. Несомненно, что это начало материалистическое; оно облегчило переход Щапова к материализму.

Если сравнить марксистский взгляд на областность (вернее, на экономический район), то оказывается, что марксистский принцип областности более совершенный чем щаповский, так как решающее значение он придает экономическому лицу района, которое изменяется в зависимости не только от географической основы, но и от степени развития производительных сил в стране. Щапов не дошел до экономического фактора в истории—в этом основной недостаток его теории.

Однако вся его теория в целом представляет здоровую реакцию против тех взглядов, которые развивали и историки-юристы и славянофилы. Правда, эта реакция чрезвычайно своеобразная и сложная. Его теория—полнейшая противоположность «государственной». С этим согласны все историки. Но были попытки причислить Щапова к славянофильскому лагерю. Поэтому остановимся на различиях между славянофильской исторической теорией и земско-областной — Щапова. Чтобы более точно выявить классовую подоплеку исторического мировоззрения Щапова, необходимо произвести не только общее сравнение основных принципов обеих теорий—эти принципы взаимно противоположны,—но и подвергнуть формально логическому сличению и исследованию их. Только после этого будет, наконец, выяснен и вопрос о влиянии славянофильства на Щапова.

Щаповская теория «земского строения» более выдержана и более подробно разработана. Принцип народосоветия последовательно проводится от общины до всей земли через область. У славянофилов этой посредственной ступеньки нет. Отсутствие областей и областных советов для их теории ущерба не приносит, так как взгляд на государство у Щапова иной, чем у славянофилов, поэтому ему и понадобилась область. Об общине и мирском устройстве славянофилы пишут: «Вначале Россия состояла из отдельных общин с отдельными своими князьями» [1]). После этого они переходят к характеристике совещательного элемента. «Устройство сельское, беспрестанные выборы, губные старосты и целовальники—все это ясно указывает на общинный, совещательский элемент. Элемент не мог исчезнуть в последующее затем время, и не исчезал; но с наибольшей силой проявился он в эпоху междуцарствия, ибо государство,

[1]) Русская Беседа, № 7, 1857 г.

разрушившись, обнажило его, так сказать, и вызвало его на широкое поприще. Тут мы видим, как города эти, отдельные общины, не сомкнувшиеся в одно целое при нашествии татар, теперь, при обстоятельствах несравненно труднейших, ссылаются, совещаются, соединяются друг с другом в одну великую силу, силу одной общины, спасают Москву, русскую землю и вновь воздвигают государство» [1]). Если к этой цитате добавить еще славянофильскую точку зрения на земские соборы, на петровские реформы, то мы и будем иметь полную схему истории славянофилов. Община у них «думает, совещается». После такого «совещания» приглашаются к нам князья. С преобразованием княжеской власти в царскую «первый царь собирает земский собор» для определения отношений земли к государству. Никакой классовой борьбы на земском соборе славянофилы не видят, там «мнение» проявляется только через «слово». Так, в самобытности, Россия дожила до Петра. Начиная с Петра, Россия идет по ложному пути, потому что преобразования Петра не «заимствование», а «есть решительно уже п е р е в о р о т, р е в о л ю ц и я, а в этом и заключается особенность и историческое значение его дела [2]).

Благодаря совершенной Петром «революции», Россия была оторвана от «родных источников». Конечно, во всех неустройствах, которые сейчас обнаруживаются у нас, виноват Петр. Крепостного права до Петра у нас не было: «крепостное состояние есть дело преобразованной России... барин не известен в древней России; барин есть также произведение преобразованной Петровской России» [3]).

В понимании роли «совещательного элемента» Щапов и славянофилы стоят на разных точках зрения. Щапов рассматривает земские соборы, как «парламент», как своеобразную форму ограничения монархического принципа, и считает необходимым бороться за восстановление былых свобод. Он провозглашает лозунг: «Да здравствует демократическая конституция», а славянофилы протестуют против ограничения монархического принципа, или, как они выражаются, против «гарантий». «Гарантия не нужна. Гарантия зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла. Вся сила в идеале. Да и что значат условия и договоры, как скоро нет силы внутренней. Никакой уговор не удержит людей, как скоро нет внутреннего на это желания. Вся сила в нрав-

---

[1]) Русская Беседа, № 7, стр. 140.
[2]) Там же, стр. 47.
[3]) Там же, № 11, 1858 г. К. Аксаков, стр. 31.

ственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому что она всегда в него верила и не прибегала к договорам»[1]).

Все предыдущее в достаточной степени дает нам возможность разобраться в вопросе о том, был ли Щапов славянофилом, или нет. Совершенно не правы те историки, которые приписывают его теорию (включая сюда и его материалистические произведения) к славянофильской школе. Он столько же славянофил, сколько и все русские народники. Славянофилы, по словам Герцена,—со своей теорией приходили «к политическому и моральному рабству; при всей симпатии к славянской национальности они очутились в двери, противоположной этой национальности»[2]).

В то время, как славянофильская теория социально связана с консервативным слоем русского помещика, весь «либерализм» которого позднее ограничивался лишь желанием отстоять помещичью собственность от притязаний крестьянства, щаповская теория своими классовыми корнями связана именно с этим крестьянством, а в лице Щапова—автора этой теории—мы видим идеолога крестьянства, призывающего к захвату помещичьей земли. Щаповская земско-областная теория русского исторического процесса является лучшим историческим обоснованием русского народничества или «крестьянского социализма». Представители русского народничества имели свою «философию истории», свою (просто) философию, но научно и систематически разработанного исторического обоснования «социализма» в России они не дали. «Народническую» теорию русского исторического процесса дал Щапов.

Из исторического арсенала Щапова народники 70 годов щедрой рукой черпали материал для теоретического обоснования своей народнической тактики. С любовью и уважением Плеханов приводит имя Щапова и несколько десятков раз ссылается на него. Историко-публицистские взгляды Плеханова в период народничества почти ничем не отличаются от основ щаповской теории. Как и у Щапова, у Плеханова «вся внутренняя история России есть, по на-

---

[1]) Аксаков, т. I, стр. 18.

[2]) Герцен, т. VI, стр. 380. „Славянофильство, ожидавшее спасения России только при восстановлении византийско-московского строя, не освобождало, а только связывало; шло не вперед, а назад". Герцен, т. VI, стр. 382.

шему мнению, не что иное, как длинное, полное трагизма повествование о борьбе на жизнь и смерть между полярно-противоположными принципами народно-общинного и государственно-индивидуалистического общежития» [1]). Он подробно характеризует общинный принцип, с которым «с самых ранних времен своего существования государство вступило в противоречие» [2]). Плеханов мастерски описывает кровавый путь, который оставило государство на протяжении нескольких столетий его борьбы с народом. Он призывает к окончательному разрушению государства, чтобы крестьянство смогло устроиться «на всей своей воле». Посмотрите его корреспонденцию из Каменской станицы, она насквозь пропитана «щаповщиной» [3]). Больше того: Плеханов пишет, что во взгляде на общину Щапов пошел дальше Чернышевского, а во взгляде на государство сходился с Бакуниным. «Щапов и Бакунин видели в государстве отрицание народного идеала, посягательство на самоуправление общин и на свободную федерацию этих общин «снизу вверх» (Плеханов, т. IX, стр. 15). Черты сходства у Бакунина и Щапова несомненно есть, поскольку они оба выражали мелкобуржуазную идеологию, но обоснование их положительной части программы—различно.

Достаточно взглянуть на те черты, которые «лежат в основании русского народного идеала», чтобы понять, как много революционного заключала в себе щаповская теория. В период народничества сам Плеханов в сущности целиком стоял на точке зрения Щапова, признавая и принцип областности и децентрализации. Отмечая этнографическое различие отдельных частей империи, он подчеркивает, что «каждая из этих составных частей Российской империи имеет свои народные особенности, требует самобытного, автономного развития» [4]).

Перейдем теперь к выяснению политических взглядов Щапова, которые удобнее всего рассматривать в связи с его «земской» теорией. Политические взгляды Щапова находят полное выражение в период 61—63 годов. Речь Щапова в Куринской церкви, записка на имя Александра II из крепости и ряд документов, в свое время не напечатанных, дают полную возможность обрисовать полити-

---

[1]) Плеханов, т. I, стр. 111.

[2]) Там же, стр. 112.

[3]) Там же, стр. 29. Эта корреспонденция так и начинается с резюмирования основного стержня исторического процесса: „вся русская история представляет не что иное, как непрерывную борьбу государственности с автономными стремлениями общины и личности.

[4]) Плеханов, т. I, стр. 109.

ческие идеалы Щапова. Самое левое крыло шестидесятников—это социалисты. Среди помещиков была оппозиция «его величеству» на почве проведения реформы. Естественно, что демократ Щапов не мог примыкать в своих политических взглядах к либералам, но он не был и с социалистами. Его программа своеобразна. В оценке значения крестьянства у Щапова есть родственность взглядов с Герценом. Герцен почти одновременно со Щаповым провозгласил: «человек будущего в России—мужик». С этим основным лозунгом соглашается Щапов, для которого «крестьянство составляет самый многочисленный, самый здоровый, жизненный, рабочий и производительный элемент всего народонаселения России» [1]). Крестьянство недовольно реформой. Оно пробуждается и способно к политическому движению. Эта мысль им впервые была сказана в речи по расстрелянным в Бездне. «Вы первые разрушили наш сон, разрушили своей инициативой наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений» [2]) — вот первый вывод, который сделал Щапов из Бездненского восстания. Общая обстановка Щаповым оценивалась несомненно как революционная. Противоречие и антагонизм между дворянством и крестьянством не сгладились. Основная причина крестьянских волнений, бывших в XVI—XVII веках. существует и сейчас. Каждую минуту могут взбунтовать «эти могучие силы здоровой сельской Руси, под руководством ее удалых, буйных, добрых молодцев, если не подадим этому забитому, огромному большинству народа мирную руку свободы, братства, если равенство еще мечта» [3])... Щапов правильно оценил значение земельного вопроса в крестьянском недовольстве, вернее—в крестьянской революции: «земля вызовет народ к восстанию и к свободе». Анализируя настоящую обстановку в России. он всюду видит печальную картину. Несмотря на свое численное превосходство и преобладающую роль в хозяйстве страны, крестьянство не только не играет соответствующей его значению политической роли, но, наоборот—«как будто природой назначенная, вечная доля их—кормить, обогащать роскошно одетых барынь, барышень и бар, да вдобавок терпеть палочную управу становых, самодурство бумажных душонок писарей, отдавать молодых, работящих и единственных парней в рекруты, не иметь ни времени, ни средств подумать об обученьи детей». Щапову чрезвычайно обидно за «мужичка», которому приходится на Невском сторониться и давать

---

[1]) Щапов. „Гражданская грусть".

[2]) Речь Щапова. Красный Архив, кн. 4.

[3]) Щапов. „Ученая Беседа".

дорогу «размалеванным, разукрашенным барыням, князьям, генералу и офицеру». Как известно, последних Щапов особенно не выносил, что иногда выражал довольно резко. С сердечной грустью Щапов восклицает: «Люди ли и такие же ли люди, как и они, эти мужички?!». Щапов ставит вопрос о причинах неравенства, расчленения общества на классы и сословия. Он с радостью сообщает, что это неравенство создает не сама природа, но оно является результатом причин другого порядка. Природа «не создает бояр и князей, а создает людей». Она часто обижает аристократов и бывает щедрой к простонародью. Как же рисуется Щапову улучшение положения народных масс? Для него ясно, что надеяться народу на дворянство, на господствующий класс нельзя. Дворяне не могут «подумать о попадающихся на каждом шагу оборванных, забитых, нищих мужичках и их возах горя и печали». Щапов думает над вопросом перестройки общества на таких началах, где бы эта явная несправедливость была устранена. Он глубоко верит в лучшее будущее; оно представляется ему, как сочетание «с законами природы, разума свободы, братства и равенства» высших форм социальной гражданственности. Утопический социализм, рисующий все отвратительные стороны современного социалистического строя, не указывает выхода из создавшегося положения. Тогда его внимание переносится к русским революционерам. У Радищева он находит знакомый мотив гражданской грусти, основной мотив, который представляет «глубокое отрицание деспотических и варварских принципов и форм существовавшего тогда общественного склада и социально демократическое настроение идей Радищева». Но и Радищев, по мнению Щапова, не дает пути к освобождению от гнета и несправедливости. Тогда Щапов обращается к истории, и на основе изучения прошлого русского народа старается найти жизненные принципы для новых форм общества. Ему казалось, что его теория федеративно-земского строения дает ответ на вопрос о том, как нужно реформировать и перестроить существующие отношения. Щапов защищает не старину, не допетровское устройство. «Для нас только дорог народно-жизненный принцип их (советов. *А. С.*). Для нас важен тот исторический опыт и факт, что областные общины и в эпоху бессознательной, непросвещенной политической самодеятельности, притом в эпоху самую страшную, безгосударственную, все-таки обнаружили хоть непосредственно природную способность к местному земскому народосоветию» [1]). В настоящий момент, «в век начинающегося просвещения»

[1]) Из статьи Щапова о земском строении.

масс областные общины,—по мнению Щапова,—...могут быть способны к местному народосоветию и саморазвитию» [1]).

Следовательно, идеалом Щапова является строй областных самоуправляющихся миров-земств, об'единенных в демократическое государство.

В соответствии с этой основной мыслью он требует в записке на имя Александра II избрания всех общественных должностных лиц, от полицейского до губернатора включительно. Выборы должны производиться путем бессословного», т.-е. всеобщего голосования. Для областей Щапов считает необходимым возрождение «областных советов из членов, выбранных народом, и центрально-земского собора из членов, выбранных областными советами» [2]). Депутаты в областные «советы», по мнению Щапова, должны выбираться по волостям на основе представительства «всех интересов», т.-е. крестьянства, купечества, землевладения и т. д.

«Центральный земский собор», или «Совет», должен был бы обсуждать «общие дела государства». К таким «общим» делам Щапов относил: бюджет, законодательство, пути сообщения, железные дороги, телеграфную сеть, войска и т. д. Центральный же «Совет» представлял бы и интересы провинций. Получается довольно стройная система, в которой «Совет» должен был играть роль законодательного парламента. В дополнение к административным реформам Щапов предлагал провести децентрализацию кредита: основать областные земские банки, так как централизация капиталов оказывается «неудобною и вредною для провинций».

Щапов требует уничтожения цензуры и введения полной свободы печати. Пусть каждое сочинение издается под личною ответственностью его автора. Он предлагал даже проект особого учреждения, куда представлялись бы произведения «либерально-политического характера», касающиеся изменения государственного устройства России. В теснейшей связи с общеисторическими и политическими взглядами Щапова были и его взгляды на роль интеллигенции и ее взаимоотношения с народом. Он считал, что между идеями просвещенного меньшинства и народными идеалами нет полного единства, существует «разрозненность», которая не скоро уничтожится. И если ждать, пока народ умственно вырастет, поднимется до уровня интеллигентных идеалов, это значило бы «забыть практическую сторону из приверженности

---

[1]) Из ст. Щапова о земском строении.

[2]) Дело 149. Критика митрополитом Филаретом записки Щапова. Архив синода.

к теоретической цельности программы». Единство народа с интеллигенцией необходимо, без этого единства все усилия интеллигенции были бы бессильны. Но полностью это понимание будет достигнуто не скоро. Благодаря «разрозненности» идейной может получиться для интеллигенции чрезвычайно неприятная вещь: «самое пробуждение народное может ускользнуть из рук просвещенного меньшинства» [1]). Ведь, кроме общинного начала, народу свойственны и другие стремления, которые развились и окрепли благодаря господству крепостного права. Развитие этих тенденций может привести к тому, что заставит народ «обратиться против своих учителей». Поэтому тактика интеллигенции не может быть хвостистской, она не может принижать себя до народа и итти позади него; она должна быть руководителем, передовой частью, развивая одновременно и его инициативу. Эта самостоятельность тактики интеллигенции должна привести ее к осуществлению «нравственной диктатуры». В истории Щапов видит примеры, когда диктатуру осуществляли—вот, например, Петр Великий... «Но наша диктатура, — пишет Щапов, — будет существенно отличаться от диктатуры петровской. Она вызвана разрозненностью, но поведет к единению с народом; народ, не примкнувший к петровской реформе, примкнет к нам. Мы не дадим ему ничего органически чужого, развитие гражданской жизни не поведет ее к каким-либо абстрактным, сложным и слишком мудреным для народа формам». Задача интеллигенции и заключается в том, чтобы найти, определить родственные народу формы. «Посредством народа вы, может быть, никогда не придете к ним. Но дайте ему сродное децентрализационно-общественное устройство, и вы увидите, как он сольется с ним. Он примет эти формы и постоит за них, как теперь он постоит за краеугольные убеждения свои—за веру и царя. Тогда единение в убеждениях произойдет мгновенно; но оно должно произойти посредством вашего дела, а не посредством его подвигов» [2]).

Щаповские проекты реформы докладывались Александру II, а потом передавались на «консультацию» виднейшим представителям знати. Один из таких консультантов, Рувалов, написал: «Щапов несколько записался». Александр целиком согласился с этой резолюцией, а от себя добавил: «За ним придется зорко следить, когда сочтем возможным выпустить на свободу». После освобождения за Щаповым был установлен тайный надзор полиции. На вопрос о том, чем Щапов занимается, сыщики сообщали: «или пишет, или пьет». В записках на имя Александра II Щапов просил об освобождении, чтобы заниматься на

[1]) На рубеже двух тысячелетий.

[2]) Новая эра. На рубеже двух тысячелетий. Газ. „Современное Слово". 7 января 1863 года.

свободе русской историей. Но его писания казались настолько опасными, что правительство выслало его в Сибирь.

Политический идеал Щапова представляет образчик того как писатель, отражающий интересы крестьянства, на заре промышленно-капиталистического развития России бьется над вопросом о дальнейших путях экономического развития. Слабая дифференциация крестьянства, слабый рабочий класс, господство торгового капитала и помещика — промышленный капитал еще не замечается в качестве главного экономического фактора—значительная роль интеллигенции—все это приводит к созданию своеобразной «крестьянской» исторической теории.

Но в области политических выводов Щапов делал большую ошибку в том, что считал возможным мирным путем добиться осуществления своих идеалов. Поэтому лично, суб'ективно будучи сторонником демократической конституции и «земского народовластия», он был против революционных методов действия.

Оправдываясь от обвинений в революционности, он 8 мая 1861 года писал на имя Александра II: «Я против ножей-то, против крови-то народной и сказал речь. Я всегда твердил, что только мирным и разумным путем, приложением к практике разумных и мирных реформ можно и должно устранять кровавые стремления народа, что кровавые революции, по моему глубокому убеждению, не в духе гуманизма и либерализма второй половины XIX века, что без развития историко-политического самосознания кровавой революцией мы не создадим народного самоуправления». Образ новой «пугачевщины» всегда вырисовывался перед его глазами, и он предупреждал правительство, что если оно не пойдет по пути демократических реформ, то нового взрыва крестьянского бунта не избежать. Щапов думал, что боязнь крестьянских движений заставит правительство пойти по пути демократических реформ. Революционная интеллигенция 70 годов делала из исторической теории Щапова более революционные политические выводы, чем сам ее автор.

Поэтому, несмотря на политический оппортунизм Щапова, его исторические произведения имели большое революционное значение, так как они давали историческое обоснование политических идеалов и тактики русского народничества.

ПЕРЕХОД ЩАПОВА К МАТЕРИАЛИЗМУ.

Шестидесятые годы для историка русской общественной мысли представляют особый интерес. В 30—40 г.г. в России быстро развиваются идеалистические теории. К конец 60-х и начало 70 г.г. нахо-

дятся под влиянием Лавровских идей о «критически мыслящих личностях» и его же идей о прогрессе, как о развитии личности в «нравственном» и прочих отношениях. За это время идеализм свил себе прочное гнездо. И только в 90 г.г. Плеханов дал первый серьезный бой идеалистам в своем «Монистическом взгляде на историю». Можно сказать, с 90 годов материализм в России встает на твердую почву как в области философии, так и материалистического понимания истории. Появление материализма связывается с выступлением на арену истории русского рабочего класса и развитием социалистических идей. Однако это была уже не первая волна материализма. Первый всплеск его приходится как раз на конец 50 и 60 годов. При чем материализм 60 годов появляется не только в грубо утрированном виде Фогта и Молешотта. Такой представитель русского социализма, как Чернышевский, поднялся на высоту философского материализма: материализм он сделал основой своего философского мировоззрения. Но попытка применить «философский» материализм к истории кончилась неудачно. В области понимания исторического процесса даже Чернышевский оставался идеалистом. О Писареве даже говорить не приходится: он является в России чуть ли не основоположником субъективного метода в социологии. Развитие материалистических идей связывается с быстрыми успехами естествознания — особенно в Западной Европе. Блестящие открытия в области физики, химии, биологии и др. естественных науках выдвинули их на первый план. Но это одна сторона быстрых успехов материализма, другая причина — в том, что как раз в это время капитализм в России сделал довольно большие успехи, а в общественной жизни большую роль стала играть интеллигенция. Не случайно, что материализм в России связывается именно с идеологией мелкобуржуазной, разночинной интеллигенции. Поэтому переход Щапова к материализму вовсе не является каким-либо исключением или совершенно случайным явлением. Наоборот, Щапов занял общую позицию со всеми передовыми людьми нашей интеллигенции. Идеи Фогта, Бокля естественно носились в воздухе, и странно было бы, если бы Щапов, демократ с ног до головы, остался на традиционной точке зрения. Дух материализма проник далее в такое консервативное учреждение, как Казанская духовная академия. Среди ее профессоров были адепты нового течения. Вырвавшись из провинциального захолустья в столицу, Щапов естественно еще больше должен был поддаться влиянию «духа» времени.

В 1863 году в мировоззрении Щапова происходит решительный переворот. Он увлекается естественно-научной литературой, которую

читал в русском переводе. Находясь в клинике, Щапов не чем другим, кроме естественно-научных книг и споров, не занимался. Ознакомившись с последними достижениями естествознания, он сразу почувствовал всю отсталость тех теорий, которые преподносились русскими учеными и им самим. «Гумбольд, великий географ Риттер, Кетле и Либих первые осветили лучом естественной истины, естественных законов истины и законы истории,—а там явился Бокль. А у нас кто осветит нашу историю? И будем в потемках бродить по архивам и коптеть на варяго-руссах и т. п.» [1]). Бокль оказал чрезвычайно сильное влияние на оформление новых взглядов Щапова—теория прогресса им взята у Бокля. Щапов сознает, что проблема, которая теперь встала перед ним, чрезвычайно сложна—«я стал думать не по своим силам о взаимодействии и взаимно-отношении сил и законов внешней, физической природы, и сил и законов природы человеческой, о законах этого взаимодействия внешней и человеческой природы, о проявлении их в истории, о значении их в будущем социальном строе и развитии народов» [2]). Поняв несостоятельность историко-юридической и прочих теорий, Щапов захотел построить историю на основах естественно-научных, или, как он выражался,—«физико-антропологических». Из русских историков впервые эту мысль выдвинул Грановский лет на десять ранее Щапова. Насколько эта идея «стучалась в дверь, видно уже и потому, что через пять лет ее же повторяет Ешевский в Казани. Он настаивает на необходимости использования историей «богатых сведений, которые даются современным состоянием наук естественных». Он, как и Грановский, с глубоким сочувствием цитирует датского писателя Генрихсона, который подчеркивает влияние природы на человеческую историю. Еще через пять лет вышел русский перевод «Истории цивилизации» Бокля, который оказал сильное влияние на Щапова. Поэтому вполне естественно, что в своем стремлении построить историю на началах естественно-научных Щапов идет опять-таки по следам Бокля, который писал: мы «не должны также думать, что если естествознание не было до сих пор применено к истории, то оно и неприменимо к ней. И в самом деле, в виду беспрестанных столкновений человека с внешним миром, нам становится ясным, что должна существовать связь между действиями человеческими и законами природы, и что если естествознание не было до сих пор применимо к истории, то это потому, что историки или не заметили этой связи,

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 367.
[2]) Там же, стр. 158.

или заметили самую связь, но не имели достаточных познаний, чтобы проследить ее действие» [1]). Щапов решительнейшим образом восстает против чичеринских идей, против славянофильства и земской теории. Дав мастерскую картину нищеты, гнета, отсталости и бесправия русского народа, он спрашивает: «где же после этого искать помощи, спасения и улучшения народной жизни и деятельности в области экономии и природы? Ужели в области историко-юридических или чичеринских идей» [2]). К чичеринским идеям он и раньше относился довольно враждебно. Но тогда он противоставлял им свою «земскую» теорию. «До издания «Очерков» земство и земское саморазвитие было моей idée fixe» (стр. 158, т. II). Тогда он был уверен, что земская теория дает ответ на те вопросы, которые обходила историко-юридическая теория и которые ближе всего затрагивали интересы масс. Теперь же с тяжелым сознанием он приходит к выводу, что и его теория не менее беспочвенна, чем и славянофилов, которые являются сторонниками «историко-паутинного плетения народного развития». Единственно надежная теория может быть построена только на «естественно-научных основах». Выработка ее может быть медленная, «тут же здание не рушится, хоть и медленно будет воздвигаться. Реальный, естественно-научный путь хотя и многотрудный, но единственно прямой и верный» [3]). Естествознание дает твердые научные основы для исторической теории, в то время как в построениях любого историка-юриста господствует произвол. Каждый из них кладет в основание своих теорий любые идеи, а между тем где об'ективный критерий их правильности? Не имея об'ективно-научной базы, одни теории быстро сменяются другими.

Нельзя сказать, что историки совсем не касаются влияния внешних историко-географических факторов на историю. Щапову было хорошо известно, что «касаются». Но это влияние природных условий на историю обычно только механически соединяется с дальнейшим ходом исторического процесса. История развивается в дальнейшем «сама по себе», без географии и природы. У нас «многокнижные русские истории только в первой главе обыкновенно выскажут несколько слов о русской географии или географическом влиянии на историю,—как будто племена и народы вдруг исчезают потом бесследно с лица русской земли, не оказав никакого влияния на русский народ, на русскую историю, и как будто

---

[1]) Бокль, стр. 15.
[2]) Стр. 158, т. II.
[3]) Щапов, т. II, стр. 159.

география не сопутствует потом истории на каждом шагу и в каждой области» [1]).

Для Щапова совершенно очевидно постоянное влияние климатических и прочих географических условий на жизнь и образ занятия жителей, а поэтому влияние этого фактора должно быть учтено в качестве особого закона. Но Щапов подошел не только к вопросам географии, но и к вопросам экономии. Все его симпатии явно на стороне теории «экономической», представителем которой в России был Чернышевский (Щапов не мог назвать его по имени, а потому написал—переводчик и критик «Полит. Экономии Милля»). Он усвоил основную мысль этой теории: «прежде всего хлеб насущный, прежде всего нужно, чтобы все были сыты, обеспечены и довольны. Да, подумали мы, и в самом деле вопрос хлеба есть вопрос жизни и, следовательно, мысли, литературы и науки. От разрешения его зависит разрешение всех других социальных вопросов. Великие реалисты-естественники, когда мы их стали читать, подтвердили нам эту истину» [2]). Щапов пришел к основному вопросу о влиянии экономики на социальное развитие общества.

С точки зрения Щапова экономическая теория в достаточной степени подрывает основы до сих пор господствовавших теорий; она доказывает, что они не в состоянии «перестроить, преобразовать экономический склад общества»... Экономическая теория воспринимается Щаповым так же, как и в свое время революционную теорию Маркса воспринимали легальные марксисты. Выбрасывая совершенно революционное существо ее, они приходили к замазыванию классовых противоречий, к отказу от идеи гегемонии пролетариата, и превращались в грубых апологетов капитализма. Нечто подобное происходит и с экономической теорией у Щапова. У Чернышевского из «экономической теории» вытекала необходимость социализма, уничтожающего все противоречия существующего порядка. Правда, он аргументировал больше мотивами моральными, чем об'ективной необходимостью замены капитализма социализмом, исходя из тех противоречий, которые существуют внутри капитализма, но все же Чернышевский делал из экономической теории социалистические выводы. А Щапов эту сторону экономической теории просмотрел. Ему нравится экономическая теория именно той своей частью, где она говорит о конкретных вещах, с которыми связано благосостояние широчайших слоев народа.

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 367.

[2]) Там же, стр. 160.

Щапов решает, что «и абстрактная философия, экономическая теория сама по себе еще не может разрешить вопроса жизни и развития человеческих обществ... Переделать же настоящий экономический мир она не в силах»[1]). На первый раз покажется, будто Щапов ухватил за самое слабое место экономической теории Чернышевского и сейчас даст такую поправку, которая действительно даст научное обоснование социализма и формулирует законы движения капитализма. Но наши надежды напрасны: Щапов не видит слабого места теории Чернышевского, и потому его поправка делает шаг назад от Чернышевского. Его вывод гласит: «Главный недостаток этой теории, по нашему мнению, заключается в том, что она сама еще не имеет прочных или достаточных естественно-научных основ» [2]).

Совершенно правильно негодуя на те буржуазные апологетические выводы, к которым приходят представители экономической теории вроде Рошера, Милля и Мальтуса, он, в то же время критикуя их, обеими ногами стоит на буржуазной точке зрения, а не на социалистической, не ближе Чернышевского к Марксу, а еще дальше от него. Именно поэтому он приходит к «поправке» экономической теории, смысл которой в том, что законы естествознания должны дать разрешение всем вопросам социальной жизни. Он провозглашает примат законов естественных над законами общественными. В результате вполне понятно, что Щапов будет материалистом до тех пор, пока ему приходится иметь дело с человеком, противостоящим природе, или с взаимодействием человека и природы.

Несомненно, что вопрос о влиянии физико-географического фактора на человека он рассматривает материалистически, теория колонизации также получается материалистическая (конечно, не в смысле материализма Маркса и Энгельса, а материализма XVIII века). Но когда он переходит к решению законов социального порядка, вытекающих не только из взаимоотношения человека к природе, а из отношения человека к человеку, его социальной жизни, он скатывается в русло идеализма, к тем французским материалистам, у которых в истории «мнение правит миром».

В известной статье «Естествознание и народная экономия» Щапов пишет: «Да, в естествознании скрывается тот искомый ключ ко всем кладовым и мастерским, ко всем лабораториям и фабрикам продуктивной и динамической экономии природы, ко-

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 163.
[2]) Там же.

торый ведет прямо в область рациональной народной экономии» [1]). Здесь Щапов блестяще охарактеризовал прикладную роль естествознания. Но марксисты и Щапов понимают роль естествознания совершенно иначе. С марксистской точки зрения естествознание громаднейшее, могучее средство в руках человека, которое дает ему возможность властвовать над природой. Но одно естествознание еще отнюдь не решает социального вопроса. Вместе с ростом техники увеличивается возможность эксплоатации капиталистом рабочего. Щапов не оценивал с этой стороны роли естествознания. Он думает, что рост естественных наук непосредственно, сам по себе, без социально-политических изменений и революций восстановит равенство среди людей. «Бедность исторически развилась и утвердилась в мире оттого главным образом, что исторически господствовало и наказывало людей самое величайшее из зол — незнание природы и ее экономии» [2]). Оставаясь вполне логичным, он ударяется в другую крайность—естествознание. Раз до сих пор бедность была от незнания, то надо стремиться к развитию естествознания и естественно-научного образования среди трудящихся—в этом он видел выход из положения. Итак, естественно-научная система народного образования — вместо земства и народосоветия. Щапов, попрежнему оставаясь идеологом крестьянства и мелкой буржуазии, превращается в культурника и «просветителя».

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛИЗМА К РУССКОЙ ИСТОРИИ

Вышеизложенных замечаний вполне достаточно для более полного понимания теории Щапова. Переход к материализму отнюдь не уничтожает значения всех его прежних работ. Ранее я писал, что вопрос колонизации им был рассмотрен в первой теории с точки зрения материалистической. В новой работе Щапов подходит к рассмотрению колонизации более широко. Если раньше он ставил распространение колонизации в зависимость от влияния речных систем, то теперь он исследует зависимость колонизации от действия физико-географических условий в самом широком понимании этого слова.

Каково же влияние окружающих человека физико-географических условий на человека и его хозяйство? Какие из них играют первенствующую роль и какие второстепенную?—Признавая влияние климата, почвы и гор на человека несомненным, Щапов в то же время не

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 161.

[2]) Там же, стр. 163.

дает ответа на поставленный вопрос вполне точно, не оценивает степени важности влияния одного фактора на другой. В самой общей форме мы можем получить следующий ответ: «Пока человек не одолеет ее (природы. *А. С.*) сил, не подчинит их своему влиянию, эти естественные силы неотразимо действуют на развитие всех его умственных и нравственных способностей. Он подчиняется этим силам наравне с другими животными; он принимает от них вместе с необходимыми средствами жизни и первые понятия, верования, надежды и отчаяния; так что по характеру местности и окружающих физических явлений мы совершенно верно можем судить о самом характере первых приморских или нагорных поселений. Только впоследствии, когда историческая жизнь проходит длинное пространство веков и развивает самые прочные общественные формы, это влияние ослабевает, но оно никогда не исчезает в народном типе» [1]). В данном случае Щапов дает общее решение вопроса о влиянии географической среды и на хозяйство и на народную психологию. Из приведенной цитаты видно, что влияние природы определяет и хозяйственный строй народа и его идеологию. Но это влияние вовсе не неизменно. Влияние природы со временем ослабевает, когда увеличивается господство человека над природой. Но чем измеряется степень господства человека над природой? На этот коренной вопрос вы у него не найдете ответа. В других случаях он логически продолжает свою мысль и приходит к идеалистическому выводу. Бокль более дифференцирует влияние окружающей среды на человека. Он решающее значение приписывает климату и почве. В европейской истории большее значение имеет климат, а в древнем мире—плодородие почвы. Щапов также старается выделить то тот, то другой фактор—смотря по обстановке. Так, он чрезвычайно верно схватывает значение береговой линии для Европы. «Не будь представляемого Европой богатого географического расчленения—история ее была бы другая» [2]). Это несомненно верно. Но отдельно констатируя влияние различных географических факторов, Щапов боится выделить историческое значение одного по сравнению с другим и склонен решать вопрос в «общем». Он верно оценивает значение Уральских гор, как разделительной линии между европейской культурой и Востоком. Его пример с бегунами показывает, как в зависимости от горной обстановки изменяются люди. Они из лиц, жаждавших лишь «спасительного скрытия», превратились в «согласие

[1]) Щапов, т. II, стр. 181.
[2]) Там же, стр. 183.

хищническое, в банду разбойничью». Из этого частного факта Щапов делает совсем неверное обобщение, будто «буйных хищников заманивают и воспитывают скалистые горы и дебри» [1]).

Мы видим, что, по мнению Щапова, влияние географической среды действует прямо непосредственно на человека, на его психо-физиологическую организацию, а не на его хозяйственную деятельность и не через посредство производственных отношений. Переходя к рассмотрению народов приморских, Щапов обращает уже внимание не только на склад характера жителей, но и на хозяйственную деятельность, а последняя сказывается в самой непосредственной связи с окружающей обстановкой. «Море преобладало над сушей, над матерой землей поморья, следовательно, и морские формы и источники жизни должны были преобладать над развитием скудных, исключительно материковых форм жизни» [2]). Хозяйственная зависимость населения от моря нашла свое выражение в известной формуле: «У моря жить, морем и кормиться». Оказывается, что и физическая организация поморцев имеет преимущество над своими соседями лопарями, жившими по болотам тундры.

Переходя к вопросу о колонизации, Щапов пытается поставить в связь переселение народов со строением поверхности Азиатского материка. Характерной особенностью его является постепенное склонение к Ледовитому океану. Начиная с нескольких тысяч футов высоты поверхности, оно постепенно снижается до 72½. «Этим склонением образовался тот великий историко-географический путь, который Риттер называет великой проходной дорогой из мировой проходной страны центральной нагорной Азии» [3]). Благодаря этому склонению из центральной Азии народы шли в Сибирскую низменность, а уже оттуда через Каспийские ворота в пределы Европейской России и дальше на Запад. Щапов насчитывает четыре расы, вышедших из Азии, в том числе и славянскую. Они поселились на Дунае, но дальнейший напор выходцев из Азии заставил их сняться и двинуться на северо-восток, где им пришлось встретиться с различными финскими племенами, которые частью смешались со славянами, частью отступили на север или вымерли. Колонизационный процесс представляет основной стержень русской истории. Лишь при помощи его об'ясняется образование русской народности. Закон

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 176.
[2]) Там же, стр. 179.
[3]) Там же, стр. 369.

борьбы за существование в животном мире, по мнению Щапова, проявляется и в человеческом обществе в борьбе племен «за господство племенной крови, на землю и воду, за средства существования» [1]). На великой русской равнине происходила жесточайшая борьба между двумя расами — славянской и тюркско-татарской, кончившейся победой первой. Причины победы славянской расы над татарской отнюдь не морального или религиозного порядка, а большая крепость, организация, сплоченность в общины, большой культурный уровень славянских народов, что в свою очередь об'ясняется характером наших соседей и выгодностью окружающих физико-географических условий...

Процесс колонизации растягивается хронологически на несколько столетий. Он начинается при передвижении славянских племен с Дуная на Днепр и продолжается до XVII и XVIII столетий. Правда, первоначальный вольный характер колонизации сменяется государственным. Обилие удобной для земледелия земли, сравнительная легкость прокормиться при помощи земледелия, физико-географические условия—все это определило по преимуществу земледельческий характер нашей колонизации. «Не умственные побуждения и расчеты, не естественно-научные исследования хлебных растений, не высшие рациональные понятия о сельском хозяйстве побудили как германские, так и славянские племена к земледельческой культуре и колонизации, а просто самое географическое распространение хлебных растений на великом проходном пути народов из Азии в Европу невольно обусловило первоначальное происхождение и географическое распространение земледельческих поселений германцев и славян» [2]). Причиной колонизации являются соображения материалистического порядка: «желудочные потребности и побуждения». Эту основную мысль Щапов никогда не забывает— рассматривает ли он колонизацию в России или в Сибири. «Потребность хлеба была сильнейшим рычагом ее последовательного географического движения и распространения по Сибири». Однако, земледельческая колонизация, являясь главнейшей, не исключала и других видов: соболиной, бобровой и т. д.

Характер земледельческой колонизации определял и темп культурного развития нашей страны. Щапов верно понимает связь в развитии культуры с образом промышленной деятельности страны. Народ наш отстал от западных «именно оттого, что он всегда был главным образом земледельческим народом. А нации и государства чисто земле-

---

1) Щапов, т. II, стр. 371.
2) Там же, стр. 192.

дельческие всегда развиваются с особенною медленностью и долго костенеют на одной и той же ступени умственного состояния» [1]). «Власть земли» благоприятствует развитию предрассудков и суеверия.

Каков район сельскохозяйственной колонизации? Район этот отнюдь не ограничивается Уральскими горами. Главнейшая причина к этому в том, что экстенсивное хищническое хозяйство приводило к скорому истощению почвы; нужда в хлебе вырастала, а при отсутствии промышленной деятельности приходилось переходить на новые места. «Потребность хлеба толпами погнала гулящих людей и пашенных крестьян из нехлебородных и малоземельных мест России на свежие, просторные и хлебородные земли Сибири» [2]). Щапов чрезвычайно подробно останавливается на анализе сельскохозяйственной колонизации в Сибири. Нас она в настоящий момент не интересует. Для нас важное значение имеет следующее. Культура сельскохозяйственных растений определяется климатическими и почвенными условиями. Поэтому Щапов старается определить линии возможных посевов различных сельскохозяйственных хлебов. У него мы находим богатейший материал средних годовых температур, он исследует количество выпадающих осадков и т. д. для различных районов страны и для различных времен года. В разных районах различные культуры играют решающую роль в хозяйстве. Такую же роль, какую ячмень играл в северной колонизации, на юге имел виноград.

Несомненно, Щапов переоценивает значение сельскохозяйственной колонизации Сибири. Если она и имела место, то вовсе не такое значительное. Массовому перенаселению крестьян за Урал даже в XVII веке способствовала тягота крепостного права. Крестьянин бежал от помещика туда, где его было труднее достать. Таким районом являлась и Сибирь. Тут, кстати, следует остановиться на одном интересном замечании Щапова. Он отмечает еще одну особенность нашей колонизации, которая имеет большое значение, так как дает ответ на вопрос о том, как образовалась наша община и что лежит в ее основе. Эта особенность вытекает из обилия лесов, благодаря чему «лесная, деревенская, земледельческая колонизация должна была преобладать над колонизацией полевой, торгово-промышленной, городской, и притом долго должна была иметь характер з а й м и щ н ы й и п о ч и н о ч н ы й» [3]). Колонизаторам при-

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 246.
[2]) Там же, стр. 195.
[3]) Там же, стр. 237.

ходилось распахивать новину среди леса, а больше всего путем очистки от леса добывать для посева необходимую землю. Из необходимости совместной, коллективной работы и вырастала община. В виду важности и интереса вопроса приведу довольно большую выдержку: «Сама природа русской земли, дикая, невозделанная, суровая по климату, скупая на произведения, естественно, научала русский народ организовать естественно-рабочие общины и артели, чтобы с о о б ч а, совокупными, коллективными силами побороть и покорять дикую и суровую природу культуре. Чем труднее была физическая работа по борьбе с природой, чем трудно доступнее была естественная экономия русской земли, тем необходимее было общинное, кооперативное или коллективное напряжение и сосредоточение рабочих сил в борьбе с природой» [1]). В то время, когда историки-юристы говорили о «государственном» происхождении общины, Щапову удалось дать производственно-материалистическое об'яснение ей. Марксистская историография также стала на его точку зрения.

Кроме колонизации сельскохозяйственной, важное значение имела колонизация промысловая или животная, об'ектом промысла был ценный пушной зверь, которого при обилии лесов было довольно много. По степени важности на первом месте стоят бобр и соболь. С их истреблением население передвигалось все дальше в глубь Сибири и на север. По выражению Щапова—соболь провел русские колонии через всю Сибирь до Камчатки, а морской бобр повел еще дальше—«через весь ряд Алеутских островов до материка Америки». Если мы учтем тот факт, что драгоценных металлов внутри страны почти не добывалось,то значение пушного зверя, а особенно дорогого, должно еще больше вырасти. Бобр, соболь являлись главными статьями экспорта Московского государства. В заграничной торговле они заменяли золото и другие драгоценные металлы. Быстрое уничтожение наиболее ценных пород пушного зверя приводило к изменению основ «финансовой экономии» метрополии. По тем данным, которые приводит Щапов, видно, что почти вся государственная казна русских царей конца XVI и XVII в.в. состояла из шкурок пушного зверя.

На более мелкие факторы колонизационного движения русского народа мы указывать не будем. Важно следующее. Благодаря хищническому истреблению наиболее ценных животных и рыб, а особенно в районах густонаселенных, начинается кризис, промыслы падают, «там теперь большею частью царство голода и бедности» [2]).

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 382.
[2]) Там же, стр. 344.

Выходом из создавшегося положения может быть только путь интенсивного хозяйства, рационального использования оставшихся запасов природы. Этому нас должен был научить «естествоиспытующий разум Запада».

Попутно с историей колонизации Щапов разрешает и вопрос о крепостном праве. Он не останавливается на нем отдельно, а в разных местах дает несколько замечаний, которые, будучи сведены вместе, дают возможность уяснить его точку зрения. В противоположность своей прежней теории, которая игнорировала экономические причины закрепощения и переоценивала роль государства, новая теория его более выдержана в материалистическом духе. Необходимо оттенить несколько моментов в его взглядах на происхождение крепостного права. Первый момент—естественно-исторический. Он является общей предпосылкой для образования крепостного права. Суть его сводится к истощению естественных богатств как земли, так и рыбной, пушной продукции. Кризис сельского хозяйства во всех областях—вот тот фон, на котором складывалось крепостное право. Однако, экономические последствия этого истощения почвы настолько значительно изменили экономическое положение крестьянского хозяйства, что Щапов переходит к анализу экономических причин закрепощения. Процесс закрепощения начался тогда, когда в главном кончился колонизационный процесс; «тогда кончилась и вольным воля, и богатырскому, землеустроительному крестьянству, за его вековую страдомную работу, воздано было крепостным правом» [1]).

Главная причина закрепощения—экономическая нужда и необеспеченность широких слоев народных масс, которая возросла еще на фоне кризиса. Они принуждены были обращаться за «подмогой» к боярам и монастырям, в распоряжении которых были и средства и территория. Общая обстановка хозяйства была такова, что требовала от крестьянина, если он хотел вести свое хозяйство, довольно значительных материальных средств. «И вот, не имея решительно никакой возможности справиться с лесом, для того, чтобы распахивать пашню, добывать свой хлеб насущный и обстроиться своим двором, бедняки волей-неволей должны садиться на чужой земле, «наряжаться во крестьяне» к богатым собственникам-землевладельцам для того, чтобы иметь готовый двор, избу, рабочий скот и даже денежную подмогу или ссуду [2]). Экономическая зависимость вела «к несвободному зависимому положению». Но дело не ограничивалось только одними частно-хо-

[1]) Щапов, т. II, стр. 241.
[2]) Там же, стр. 240—241.

зяйственными отношениями крестьян к помещикам. Интересы помещиков защищались и государственной властью. Они испугались, «что слишком много рабочего народа устремилось в Сибирь,—признана была необходимою сдержка рабочего народа; совершилось прикрепление его сначала к земле, потом к землевладельцам,—и отсюда произошла новая, тяжелая работа для народа—крепостная» [1]). Юридические формы появились позднее, они должны были санкционировать уже сложившиеся отношения. Что государство в этом длительном процессе закабаления вовсе не являлось нейтральным наблюдателем, показывает введение крепостного права на Украине в XVIII веке.

В изложенных нами словах в сущности вся «новая» материалистическая теория русского исторического процесса у Щапова. Она сводится в конечном счете к одному моменту—к колонизации. Такое упрощенство об'ясняется многими причинами. Оторванный от источников, от культурного общения, брошенный в такую обстановку, где нельзя вести никакую научную работу—Щапов был ограничен выбором круга вопросов, которые он мог разрабатывать. Поэтому естественно, что он сосредоточил все свое внимание на стержневом вопросе своей схемы, который у него был разработан и раньше и о котором у него были материалы. Он дал широкую картину развития колонизационного процесса, в зависимости от физико-географических условий страны. В связи с этим он разрешил и вопрос о происхождении общины и крепостного права. В сущности важнейшие вопросы его прежней схемы получили новую оценку. Выпал лишь вопрос о земском строительстве, который в новой схеме является совершенно лишним, так как центр внимания ее переносится на другой вопрос. Вопрос о «народосоветии» потерял свою остроту и то значение, которое уделял ему Щапов раньше. Если раньше Щапов подробно останавливался на анализе внутреннего устройства общин, сельских и городских, то теперь он сосредоточивает внимание на материально-производственном значении тех же институтов.

Для нас теперь очевидно, насколько примитивна и не разработана схема Щапова. Много помешала сибирская обстановка, в которой он находился по милости самодержавия. Неразработанность схемы резко брасается в глаза даже при сравнении с земско-областной его теорией. Мы должны рассматривать новые работы Щапова не как готовые законченные теории, но как попытку материалистического изучения истории, и не изолированно, а в связи с его другими работами, в которых разрабатывался главным образом момент культурного развития России.

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 513 (см. об этом же стр. 241, 250).

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Перейдем теперь к характеристике культурного развития России. Этим вопросом Щапов особенно интересовался и посвятил ему большую часть своих работ. К вопросу «интеллектуального», по выражению Щапова, развития он подходил с разных точек зрения. Он давал общий очерк интеллектуального развития и с «естественно-психологической» точки зрения, и с физической и др. Но если, не смущаясь различными названиями статей, просмотреть их, то материал там в большинстве один и тот же. Надо не забывать, что большинство из них было написано в ссылке, уже через несколько лет пребывания в Сибири, что несомненно отразилось на достоинстве работ, особенно на их фактической стороне. Наиболее характерной работой этого периода являются «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа». Кстати, в литературе она больше всего наделала шуму. Целый ряд других работ Щапова-материалиста прошел совсем, или почти совсем, незамеченным. Эта же работа вызвала ряд критических статей и заметок. Ключевский задачу автора понимает, как изображение «главных условий», общих направлений русской умственной жизни в указании их источников, элементов и результатов их исторического значения» [1]). Ключевский совершенно правильно понял общие задачи работы Щапова, который намерен обрабатывать не мелкие факты культурной истории, а, останавливаясь на фактах уже общеизвестных, но главнейших, дать схему, наметить с точки зрения материалистической общие линии умственного развития России. Ключевский оценивал работу Щапова довольно высоко, так как «содержанием своим она вводит читателя в сокровищные глубины народной жизни, куда неохотно заглядывает наша ученая литература; по концепции и основному приему исследования она отличается философским характером, восходит в высшие сферы исторического ведения, где наша исследовательность вообще чувствует себя не как дома; то и другое только возвышает цену рассматриваемого трактата» [2]). Когда просматриваешь все критические замечания его самого на указанную работу Щапова, то видишь, что «философия» Щапова во многом сходится с философией Ключевского.

---

[1]) Ключевский. Отзывы и ответы, стр. 131.

[2]) Там же, стр. 125.

Критические замечания Пятковского более ценны. Он замечает, что работа Щапова принадлежит к тому же направлению, что и работа Бокля. хотя обладает бо́льшими недостатками, чем работа последнего. «Значению личности Петра отведено у г. Щапова гораздо более места, чем сколько предоставил его Бокль другим подобным же, влиятельным лицам западно-европейской истории[1]). Действительно, Щапову не удалось удержаться даже на уровне Бокля. Оценивая значение петровских реформ, он целиком стоит на индивидуалистической и идеалистической точке зрения. Все же, благодаря «философскому» характеру работы, «иногда одною меткою страницей целые периоды русской истории об'ясняются удачнее, чем в каком-нибудь специальном трактате. преисполненном сухих фактов и бесплодной учености»[2]).

При об'яснении культурного развития России мы сталкиваемся во всем об'еме с проблемой влияния надстройки на базис. Исторический материализм разрешил этот вопрос давно. Не отрицая значения политического фактора, науки и вообще идеологий в деле развития общества, он все же р е ш а ю щ е е значение придает экономике, и в ней в последнем счете ищет разгадки культуры своего времени. Марксисты никогда не признавали в качестве важнейшего фактора культурного развития влияния природы. У них на первом месте стоит развитие производительных сил. Окружающая человека «среда» действует на него только через хозяйство. Этого тонкого различия. конечно, и Щапов и Бокль не понимают.

Поэтому они оба приходят в конце концов к идеалистическому об'яснению культурного развития.

Щапов неоднократно повторяет одну и ту же мысль: «Бесспорно, что главный фактор в истории человеческого развития есть разум, обращенный к изучению природы, творящей открытия в области естествознания и в сфере умственной и материальной цивилизации»[3]), а Бокль считает «духовные факторы» главной причиной прогресса. Принципиального различия с формулировкой Бокля нет. У обоих основа одинаково идеалистическая: «мнение правит миром».

Перейдем теперь к схеме культурного развития России. В ней Щапов различает два периода: первый период—допетровский, период самобытного и культурного прозябания. и второй—начиная с Петра до наших дней, когда Россия вступила на путь европейского развития.

---

[1]) Пятковский. Из истории нашего литерат. и обществ. разв., т. I, стр. 197.
[2]) Там же, стр. 213.
[3]) Щапов, т. II, стр. 398.

Умственное развитие допетровской России находится в самой непосредственной связи с колонизацией, когда трудовые слои народа производили обстройку России. Значение географического фактора здесь выдвигается на первый план. Под действием холодного климата складывается главным образом характер русского народа. «Холодный климат, вековая борьба с суровой физической средой рабочей жизни, постоянная, вечная необходимость работать из-за корма и работать много «накладных» работ, не на себя, и вдобавок разные исторические тягости рабочей жизни—все это невольно развило в народе раздражительность, озлобленность, нравственное ожесточение, вспыльчивость — черты, господствующие в народном характере»[1]). Одной из важнейших причин нашей культурной отсталости является чрезвычайно длительный процесс образования русской народности, в которую включено много восточных элементов. Щапов убежден, что народы должны иметь некоторые физиологические и психологические особенности, которые об'ясняются физико-географическими и этнологическими обстоятельствами. В данном случае для культурного развития России определяющую роль играла именно эта среда, под влиянием которой складывался и характер народа, от которой тем более зависел образ жизни и хозяйства народа-колонизатора. В период колонизации весь народ «страдальчески занят был страдомной работой земского строения или колонизации, первоначальным самообеспечиванием и самообзаведением, разделью и расчистью лесов, распашкой насущных пашен и постановлением починков и деревень среди лесов»[2]). Можно найти десятки мест, где эта мысль у Щапова повторяется в той или другой вариации. Значение этого факта в мировоззрении Щапова чрезвычайно большое, потому, что им об'ясняется преобладание «рабочего народа», у которого развита «сила мускулярная, а не умственная». Процесс колонизации, расчистки и вырубки лесов, постройки новых поселков продолжается, по мнению Щапова, до Петра Великого. Характерною особенностью всего этого периода было господство «старины», обычаев да поверий «как в государственном, так и во всем домашнем быту русского народа».

Из всего вышеизложенного вытекает несколько важных выводов. Благодаря грубо физическому труду большинству населения было не до науки. Научные занятия требуют известной материальной обеспеченности, которая давала бы возможность «изощрять» мыслительную

---

1) Щапов, т. II, стр. 322.

2) Там же, стр. 484.

способность. Ничего подобного не было в России, а поэтому, в противоположность Западной Европе, у нас «много веков вовсе не было мыслящего класса» [1]). Преобладание рабочего народа над классом «умственным» вело к преобладанию практической работы над теоретическим обобщением, чувства над разумом. Итог всего этого такой: сам народ «сам собой никак не мог дойти до научно-рационального, индуктивно-теоретического естествознания» [2]), которое помогло бы ему более рационально построить свое хозяйство. Громаднейший опыт практической работы дал русскому народу лишь поверхностное знакомство с природой, с отдельными конкретными вещами через внешние органы чувств. Но чувственные восприятия не получили дальнейшей обработки, из них не получилось «никаких логических выводов и обобщений» [3]). Научное познание без абстракции, без отвлечения, без способности мыслить не только конкретно, но и отвлеченно невозможно. Из всего этого получается у Щапова вывод о необходимости государственной опеки; государство должно само думать за народ.

Им формулирован закон, который об'ясняет «все главные, существенно выдающиеся и более или менее общественные, факты умственной и социальной истории русского народа» [4]). Если с точки зрения естествознания шестидесятых годов этот «закон» имел какую-либо научную ценность, то в наше время он никакого практического значения не имеет. Наша культурная отсталость по этой теории об'ясняется слабостью и медленностью «возбуждения нервной восприимчивости русского народа». Действием этих же причин он об'ясняет господство консервативных партий во главе русского государства. Дворянство господствовало в течение нескольких столетий в русской истории. Консервативное влияние дворянства отзывалось на всем строе русского государства, начиная от экономики и политики и кончая научными теориями, которые создавались его идеологами. Господство дворянства на все отложило печать медлительности и застоя. «В новой, послепетровской, России интеллигенцию государственной деятельности представляло рабовладельческое дворянство. Его философия, его «мнения» проникают все

Щапов, т. II, стр. 595.

[2]) Там же, стр. 125.

[3]) Там же, стр. 123. „Рабочий народ во время своей физической работы, только созерцал в отдельности и наружности разные физические предметы, видел, осязал, слышал то или другое в сфере природы, но не соображал умозрительным сравнением всех этих разнообразных чувств, впечатлений, не вырабатывал из них своим мышлением никаких логических выводов и обобщений" (Щапов, III, стр. 129).

[4]) Там же, III, стр. 2.

наши законодательства, все наши государственные учреждения. Всякое новое государственное учреждение или узаконение проходило сквозь фильтр «мнений» и «рассуждений» этого дворянства. И в этом-то и заключается одна из существенных причин, что машина нашего государственного и общественного развития, как выразился граф Завадовский, всегда шла тихо и медлительно. Консервативный элемент, представляемый дворянством, всегда преобладал в управлении всеми высшими функциями общества. Традиционный консерватизм—общая черта мышления рабовладельческого и землевладельческого класса. Многие из дворян любили философствовать о судьбах России, о политической экономии, о благоустройстве общественном и прочем; но все они мыслили по предвзятым и неподвижно установившимся началам исторической традиции и государственной догматики. В прошедшей истории, в допетровской старине, где коренятся зародыши и основы всех антисоциальных аномалий, в том числе крепостного права, они видели вековечную санкцию и оправдание своих эгоистических, крепостнических умствований. Мысль их не двигалась дальше этих стационарных, регрессивно задерживающих начал. Всякая живая, быстрая, свободная работа мысли была совершенно незнакома их уму и потому непонятна, даже ненавистна. Вообще, и наиболее мыслящие, образованнейшие дворяне вполне держались строго консервативного образа мыслей. Самые либеральные идеи их не выходили из пределов строго консервативной постепенности, из рамок идеи санкционированного, утвержденного историей порядка или идеи учреждения и т. п.» [1]). Щапов верно и материалистически дает характеристику дворянской идеологии и «либерализма». Но основа идейного господства дворян у Щапова кроется не в экономике, а в психологии и «физиологии» народа, в том, что его нервная система под влиянием климатических условий отличалась слабой восприимчивостью. Отсюда вытекают и умственная отсталость и политическая зависимость народа от дворянства.

Какой характер русская культура имела до Петра, под чьим культурным влиянием развивалось наше образование? На это Щапов отвечает довольно подробно. Двумя господствующими культурными «классами» в древней России были варяги и греки. Почему именно они, а не какие-либо другие? Щапов связывает их господство с великим речным путем из «варяг в греки». Собственно варягам принадлежала роль «организаторов», а не настоящих культурных сил, поэтому о их влиянии на наше образование Щапов много сказать не может. Главная роль в

[1]) Щапов, т. III, стр. 28—29.

деле культурного развития России принадлежит, несомненно, грекам. Они пришли вместе с православной религией и составили «иерархию новосозданной русской церкви, и жалованными десятинами, землями и работам народными мало-помалу организовались в самобытный византийско-славянский церковно-учительский класс, ставший надолго во главе умственного воспитания и направления русского народа» [1]). Щапов характеризует то направление мысли, которое принесло с собой греческое духовенство, как клерикальное, не имевшее практического значения для России. Кроме догматики, с Востока к нам ничего не принесли. Когда же в XVII веке в духовных академиях приступили к классицизму—он так отстал от развития естественных наук, что превратился в «мертвую букву». Византийское образование царствовало безраздельно: «У нас мыслительность народная всецело была эксплоатирована византийским догматизмом» [2]). Вся цель византийского просвещения сводилась к тому, чтобы воспитать в православии и внушить идеи отчуждения и ненависти к лютеранскому Западу, не только религиозному, но и научному. Религия и наука играли роль своеобразного кордона, который отделял отставшую страну от своих культурных соседей. Это не значит, что Россия ничему у Византии не научилась и не могла научиться. В первые века ее культурного влияния роль Византии по отношению к России была такой же, какую играл Запад во время Петра. Но со временем культурный центр передвинулся с востока на запад. Естествознание сделало громадные успехи, а наши академии попрежнему являлись проводниками «схоластико-теологический эрудиции». В XVI и XVII веках в России начинают появляться иностранцы, а вместе с ними и западные идеи, которые сталкиваются с русской образованностью и русской церковью. Влияние иностранцев должно было быть сильным, так как—вопреки сопротивлению «народности»—царевичи уже воспитывались иностранцами. Но этот факт все же частный. Чем ближе становилась наша связь с Западом, чем больше мы знакомились с иностранцами, тем яснее становилось нам их культурное преимущество, и тем более мы приходили к мысли у них учиться и заимствовать.

Перед Щаповым сейчас встает факт большой исторической важности — культурные изменения, которые происходят в России в XVIII веке. Резким поворотным пунктом считается петровское царствование. Все историки-идеалисты для об'яснения культурного переворота

---

[1]) Щапов, т. III, стр. 131.

[2]) Там же, стр. 150.

в России достаточно много обращают внимания на личность Петра. Одни выставляют его сверхличностью—реформатором, сумевшим повернуть колесо русской истории в другом направлении. Другие, защищающие закономерность исторического процесса, об'ясняют этот переворот не личными достоинствами Петра, а назревшею необходимостью этих реформ. Ничего неожиданного они в них не видят. Вся предшествующая эпоха культурно-политического развития России подготовила все, чтобы сделать следующие большие шаги. Надо сказать, что только историкам-марксистам с достаточной убедительностью удалось показать всю историческую обусловленность реформ Петра развитием экономики. Щапов сознает важность перемен, происшедших в России в XVIII веке. Он старается дать им об'ективное об'яснение. Сторонник школы Бокля, исключающей случайные явления в истории, он не может принять старые схемы, но, с другой стороны, и его новая, материалистическая теория настолько слаба, что не может справиться с таким большим культурным фактом. Конечно, никакого капитализма и никаких потребностей, вытекающих из сферы экономии народного хозяйства, он не видит. Климат тоже изменился недостаточно сильно, чтобы разрешить проблему ссылкой на него. Положение народных масс не улучшилось, а ухудшилось. Поэтому Щапов создает своеобразную идеалистическую теорию, которая насквозь индивидуалистична. Ему приходится выпячивать непомерно роль государства и личности. Вся эта теория противоречит всем материалистическим принципам, а с другой стороны, логически вытекает из всего того, что до сего времени писал Щапов; она—своеобразное дополнение к тому материализму, который не в состоянии разрешить вопросов исторического развития.

Если в допетровские времена решающую роль в деле культурного развития играла церковь, то теперь в качестве посредствующего звена, от которого он может перейти к личности Петра, он выдвигает государство. На самом деле, народ, вследствие «колонизационного земского строения» не имел возможности заниматься отвлеченной материей—наукой. Возможность «думать» он должен был предоставить «думе правительственной», «царской думе» [1]). Отсюда вытекает необходимость государственной опеки и регламентации. «Отсюда произошел и тот основной, краеугольный факт русской истории, что во главе народной деятельности всегда стояло правительство...» [2]). А так

---

[1]) См. об этом стр. 160, 161 и 38 III тома.

[2]) Щапов, т. III, стр. 38.

как во главе правительства стоит царь, то, значит, все зависит от царя. Появился у нас царь гений—и все пошло иначе; не будь его, может быть, еще столетия бы прошли, пока Россия проснулась от сна. Культурное возрождение России совершилось «по указу и регламентации самодержавного, даже деспотического гения Петра Великого» [1]). Правда, Щапов делает попытку сослаться и на об'ективную обстановку и на культурное влияние наших образованных соседей, но все эти аргументы притягиваются совершенно понапрасну, так как об'ективные условия, с точки зрения его теории, именно не способствовали под'ему культуры, а влияние Запада, оставаясь постоянным до Петра, все же не прививалась. «Петр Великий»—гений; он является в русской истории своеобразным ускорителем развития масс. Его личная организация, впечатлительность, восприимчивость к «западной жизни, цивилизации и науке»—вот где коренится разгадка.

Щапов всячески стремится свое индивидуалистическое об'яснение, где только возможно, сгладить. Говоря о преобразовательной деятельности гения, он об'ясняет ее особенностями его личности, но тут же подчеркивает, что та же самая черта «свойственна нервной организации всего русского народа» [2]). Но в данном утверждении он противоречит своим же собственным взглядам. В другом месте той же статьи он об'ясняет появление Петра вследствие «случайного, индивидуального уклонения от общей нормы нервной организации русского народа».

Раз такие «отклонения» бывают во всей «органической природе», говорит Щапов, то почему им не быть в человеческом обществе? На этой «случайности» Щапов строит об'яснения петровских реформ.

Щапов создает особую теорию культурных переворотов. Для того, чтобы Россия могла подняться из «небытия» и войти в ряд передовых народов, необходимо только два условия. Первое—иметь культурных соседей, которые могли бы дать культурный импульс, и — гения, способного дать начало нового «интеллектуального типа». В начале XVIII столетия оба эти условия были налицо: Западная Европа давно стучалась к нам в двери, но ничего не могла сделать, до тех пор, пока история не подарила Петра. Открытие Щапова сводится к тому, что России «необходим был такой государь, который бы вместо перевода греческих церковных книг специально занялся введением европейских книг и наук, и перевод европейских книг узаконил бы указом своим, как великое национальное и государственное дело и т. д. И вот таким

[1]) Щапов, т. II, стр. 504 и 482, и т. III, стр. 38, 40 — 43.

[2]) Там же, т. III, стр. 78.

гением явился «Петр Великий». Мы не будем иронизировать над этой «теорией», так как для нас совершенно очевидна необходимость такой субъективной точки зрения, которая вытекает из основ воззрения Щапова.

Чрезмерное выпячивание роли личности Петра было отмечено Пятковским. В данном случае Щапов отошел даже от Бокля, который энергично протестует против приписывания непомерно большого значения как государственным деятелям, так и государству в умственной жизни народа. «Такая теория,—говорит Бокль,—должна казаться до такой степени дикой, что весьма трудно опровергать ее с приличной серьезностью. Действительно, из всех общественных теорий, когда-либо появившихся на свет, нет ни одной, которая была бы до такой степени шатка и гнила во всех своих частях» [1]).

Каково же было влияние Петровских реформ на культурный уровень низших слоев народа? Анализируя развитие образования в послепетровское время, Щапов приходит к выводам совсем не утешительным. Реформы простого народа не задели, они даже увеличили его тяготы, повинности и работы. «Народ в Петровской реформе был только чернорабочим, а не был, и не имел вовсе досуга быть, учеником великого училища реформы—Запада» [2]). Это уже одно в значительной степени обесценило в глазах Щапова значение реформы. Массы народные занимались «рукоделием, еже стужати, чем живот кормить»—им было не до науки. Интеллигенция жила и работала совершенно отдельно от народа, «развивалась и туго и медленно». Она численно была незначительна, подготовка ее тоже была не велика — особенно среди русских, из которых очень мало было людей способных к занятию профессорского звания. Здесь нельзя пройти мимо такого факта, как крепостное право, и не оценить его влияния на культурное развитие страны. Конечно, это было величайшее препятствие и тормоз развитию образования, не только потому, что увеличивало рабочее время крестьянина, но и потому, что оно «до такой степени самую мысль крестьян закабаляло игом крепостнического ученья, или преподавало им такую тяжелую, отвратительную, убийственную дисциплину умственного рабства, что они бежали от крепостного ученья, как от барщины» [3]). Бироновщина и пугачевщина, бывшие уже после Петра, лишний раз свидетельствуют о том тяжелом материальном и правовом положе-

---

[1]) Бокль, т. I, стр. 114.
[2]) Щапов, т. II, стр. 516.
[3]) Там же, стр. 194.

нии, в котором находился народ. После Петра Щапов рассматривает образование в России до половины XIX века. Особенное внимание его привлекает развитие материалистических идей. У него приводятся интересные материалы о составе наших университетов, о количестве учащихся, о профессорах. Естественников-экспериментаторов у нас немного, но зато «класс схоластиков или всякого рода метафизических систематиков еще повсюду составляет преобладающий и большей частью деспотически господствующий класс» [1]).

Пускаясь в философские рассуждения, он приходит к выводам, будто распространяющийся позитивизм вытесняет у нас идеализм и является основой нового мировоззрения. Все его симпатии на стороне материализма и естествознания. Грановский положил начало изучению в истории взаимодействия «законов природы внешней и человеческой». Щапов сочувственно цитирует Кавелина, где говорится о победе материализма в России. В пылу увлечения он высказывает несколько мыслей о философии Канта и Вольтера, которые свидетельствуют, по меньшей мере, об их поспешности.

Все исследования о развитии образования в России для Щапова представляли не только академический интерес. По мнению Щапова, верившего в силу естественно-научного разума, здесь можно найти разрешение всех больных вопросов современности. Как раньше он видел в принципе народосоветия, существовавшем в истории, указание на направление своей общественной деятельности, так и теперь, увлекшись естествознанием, в нем он видел средство вывести народные массы из приниженного положения, из бедности и нищеты, в которых они сейчас находятся. Особенная черта мировоззрения Щапова заключается в том, что свои научные работы и исследования он всегда стремился увязать с вопросами практически жизненными, касающимися, главным образом, широчайших слоев народа, и, в первую очередь, крестьянства, как наиболее многочисленного слоя общества. В изучении исторического прошлого народа он думал найти вернейшие указания относительно задач сегодняшнего дня. Так и с народным образованием. Он видит известное родство между естествознанием и стремлениями «народа рабочего». Оно (естествознание. *А. С.*). демократично, а стремления народа—«естественно научны».

Увязка их диктуется самой жизнью. Щапов—сторонник уничтожения всех перегородок, существующих для низших слоев. Серьезнейшим недостатком реформы Петра он считает, что тот «не ввел и не уза-

---

[1]) Щапов, т. III, стр. 372.

конил в России однажды навсегда систему всенародного, всесословного, высшего научного образования» [1]). Будущее России целиком зависит от развития умственных способностей крестьян и крестьянок. От этого зависит «благосостояние всех сословий, все-все зависит» [2]). Черта всесословности и всенародности свидетельствует, несомненно, о демократизме и мелкобуржуазности Щапова. Он—сторонник демократизации оторванной от народа научной касты. Когда крестьянин и рабочий, получив возможность быть в высшей школе, будут физиками, химиками, математиками или технологами, тогда «научно-рабочий класс, интеллектуальный класс не будет меньшинством, а будет всенародной интеллигенцией, всесторонним, цельным интеллектуальным классом, думающей и работающей головой общественного организма» [3]). Систему народного образования надо строить на опыте тех навыков и обрывков знания, которые уже есть у народа. Он приобрел его в долгий и утомительный период колонизационной деятельности обстраивания России. Навыки у народа реалистичны и конкретны. Поэтому «естествознание и положительная наука для него были первыми руководителями на первых его шагах к образованию. И кто хочет навязать ему схоластические, эстетические и тому подобные мертвые знания, тот, значит, не понимает ни его истории, ни его настоящих нужд и потребностей» [4]). Но Щапов не просто сторонник естественно-научного образования. Для него очень большое значение имеет увязка естественно-научных теорий с жизнью—их прикладное применение. Это особенно важно для широчайших слоев крестьянства, занятых физической работой. Необходимо, чтобы школа дала реальные знания, которые бы помогли рационализировать хозяйство, подняли бы материальное положение народа. Поэтому Щапов—сторонник утилитарного образования. Он пишет: «Насущная необходимость устройства всей системы реального, естественно-научного учения русского народа — на основах утилитарно-практического, рабоче-промышленного, вообще экономического приложения физико-математических наук» [5]). Он—сторонник школ фабзавуча при фабриках и заводах, сельскохозяйственных техникумов, научно-показательных ферм, огородов, садов и полей—в деревне. «Рабочий

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 522.
[2]) Там же, стр. 555.
[3]) Там же, стр. 556.
[4]) Там же, стр. 569.
[5]) Там же, стр. 310.

народ ждет и рабочего естествознания». Но как можно осуществить свои идеалы? Давая ответ на вопрос, Щапов выступает беспочвенным мечтателем и идеалистом. Конечно, государство ничего подобного не сделает. До необходимости революции для осуществления своей программы он не дошел. В результате своеобразный фурьеризм—надежда на господ капиталистов и миллионщиков. «Между тем, как если бы эти богачи, русские купцы-миллионщики, богатые фабриканты и заводчики, все сознали высокую важность умственных, научных работ и сложились на дело распространения в народе научных занятий и изысканий, составили общество материального воспомоществования научным работам и изысканиям и образованию бедных классов, то скоро разрешился бы в России громадной важности вопрос об интеллектуальном развитии массы рабочего народа»[1]). Это не буржуазный либерализм, а оторванные от жизни мечтания идеалиста-просветителя, в которых видно все его мелкобуржуазное классовое содержание.

МАТЕРИАЛИЗМ ЩАПОВА И ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

> „Изучение внутренней логики общественных и, главным образом, экономических отношений обязательно никак не меньше, чем изучение географической подкладки всемирной истории. Эти два рода изучения дополняют одно другое, и под их соединенным напором мало-помалу откроются интимнейшие тайны истории".
>
> Плеханов, т. VII, стр. 29.

В каком отношении материализм Щапова находится к историческому материализму — вот вопрос, который мы должны разобрать. Все предыдущее изложение показало нам, что, по Щапову, главнейшим фактором исторического развития, можно сказать определяющим, является географический фактор в самом широком его понимании, т.-е. климат, почва, наличие естественных богатств. Действие различных сторон этого фактора различно и многообразно, но в общем можно сказать, что в зависимости от него складывается хозяйственная жизнь человека. Даже больше: географический фактор определяет не только хозяйственную жизнь человека, но и природу челове-

---

[1]) Щапов, т. II, стр. 527.

ка. В зависимости от географических условий складывается тот или иной тип человека, вырабатывается психо-физиологическая организация, с определенными рефлексами, или — как говорил Щапов — с той или иной нервной возбуждаемостью, которая определяет, в свою очередь, развитие различных идеологий. В качестве примера воздействия природы на хозяйство мы можем сослаться на теорию колонизации, в которой Щапов показал, как во время колонизационного процесса складывалась хозяйственная жизнь русского народа. Наличие плодородной почвы определяло сельскохозяйственный тип нашей колонизации, а в зависимости от температуры и осадков сельское хозяйство дифференцировалось: в одном месте приобретала господствующее значение одна культура, в другом—другая. Наконец, Щапов показал нам, как в других районах, где занятие сельским хозяйством—по почвенным, климатическим и прочим условиям — было невозможно, как там складывался иной тип хозяйства: рыболовство, охота, бортничество. Является ли такая постановка вопроса материалистической? Несомненно. Ни Маркс, ни Плеханов не думали отрицать значения географического фактора для хозяйственной жизни. Но зато исторический материализм не решает этого вопроса так просто, как Щапов. Признавая влияние географического фактора, исторический материализм ставит вопрос о том, каково это влияние: постоянно неизменное или меняющееся, и не определяется ли в свою очередь влияние географической среды каким-либо другим фактором? Теория Щапова страдает «географическим схематизмом». Такой же случай повторился с другим крупным ученым, который исследовал влияние рек на хозяйственную и культурную жизнь народов—Л. И. Мечниковым. Оценивая его работу, Плеханов писал: «Хотя книга его вообще не оставляет сомнения в том, что географическая среда влияет на человека главнейшим образом через посредство возникающих под ее действием экономических отношений, но экономическая сторона дела выяснена им в этой книге все-таки очень мало... Но как только речь заходит о характере общественных отношений, создаваемых этими особенностями (географическими. *А. С.*), изложение становится очень кратким. Оно становится слишком кратким, когда автор касается внутреннего развития выросшего на берегах географических рек общественного порядка» [1]). Мечников писал четверть века после Щапова и допустил серьезнейшую ошибку, обойдя анализ общественных отношений. Точно таким

[1]) Плеханов, т. VII, стр. 28.

же недостатком страдают и работы Щапова. Человек не один противостоит природе в процессе труда, но, обычно, он трудится коллективно—это нам блестяще показал сам Щапов при анализе происхождения общины. Человек оказывается зависимым не только от географической среды, но и от тех общественных отношений, которые на данной экономической и производственной основе возникают. Марксисты всегда говорили, что «первоначальный толчок для развития общественных производительных сил дает сама природа: их рост в значительной степени определяется свойствами географической среды» [1]). Но они никогда не останавливались только на констатировании этого факта. Они сосредоточивали свое внимание на анализе развития производительных сил. С развитием производительных сил изменяется и отношение человека к природе. На основе роста производственных отношений возникают все другие общественные отношения. Раз возникнув под влиянием данной географической обстановки, производительные силы имеют собственную логику дальнейшего развития. «Именно этой-то внутренней логике развития производительных сил и подчиняется в последнем счете все общественное развитие, подчиняется по той простой причине, что общественные отношения, не соответствующие данному состоянию производительных сил, неизбежно устраняются» [2]). Таким образом, хозяйственная жизнь России складывалась не только под влиянием одного фактора — географической среды, но и уровня развития производительных сил. Щапов игнорировал, не понимал этой сложной механики и проходил мимо производительных сил, мимо техники, сосредоточивая все свое внимание на географическом факторе. Простой фактор обмена уже в значительной степени суживает влияние географической среды, освобождает от нее человека и ускоряет ход общественного развития. У Щапова географическая среда прямо действует на хозяйство, на экономику, у марксистов — через развитие производительных сил, «первым условием развития которых являются свойства этой среды» [3]). Таким образом, даже в учении о географической среде между Щаповым и историческим материализмом существует большая разница. Щапов и сам чувствовал, что влияние географического фактора не неизменно, недаром он так ратовал за успехи естествознания. Выход из положения он видел только в «естествоиспытующей силе, силе разума». Стараясь разрешить ту же проблему, которую разрешил

---

[1]) Плеханов, т. VIII., стр. 228.
[2]) Там же. стр. 228.
[3]) Там же, стр. 210.

исторический материализм, он скатывался к идеализму, об'являя в конечном счете ум главной силой прогресса. Естественно, что на поставленный мною вопрос—чем определяется господство человека над природой—Щапов или ничего не мог ответить и обходил этот вопрос, или апеллировал к успехам науки, к умственному прогрессу, тогда как марксизм отвечает на этот вопрос: «Степень развития производительных сил определяет меру-власти человека над природой». Из непонимания этого коренного факта вытекают все последующие ошибки Щапова, которые привели его к идеалистическому об'яснению культурного развития России. Марксисты утверждают, что «материалистическое понимание природы еще не означает материалистического понимания истории».

Точно так же и в вопросе о влиянии природы на человека. Щапов признает непосредственное влияние природы на человека: холодный климат определяет характер русского народа и реакцию его нервной системы. Общественные отношения для Щапова не существуют. Для марксиста влияние природы на человека ослабляется и видоизменяется через развитие производительных сил и возникших на этой основе общественных отношений. По Щапову общественная психология определяется непосредственно климатом, для марксиста—социальной средой, которая изменяется в зависимости от изменения производительных сил. Это различие имеет громаднейшее значение при об'яснении культурной истории. развития идеологии. Почему Щапову потребовался гений Петра, чтобы об'яснить большой культурный сдвиг России начала XVIII столетия? Да потому, что из его основной позиции вытекает, что экономические отношения являются «функцией человеческой природы». На такой точке зрения стояли все утописты, ее же держались Луи Блан, Роджерс. Это—идеалистическая точка зрения, которая приводит к об'яснению развития экономики от человеческой психологии, от ума. «Если история об'ясняется психологией, то ясно, что великие исторические деятели, стоявшие выше своей среды, внесли в историю нечто свое, нечто такое, чего в этой среде не было» [1]). Без Петра, со своей психологической точки зрения, без «человеческой природы», Щапов не мог двинуться в об'яснения культурной эволюции России. Развитие идеологии вовсе не об'ясняется так просто, как это казалось Щапову. Она в каждый данный момент не определяется экономикой непосредственно. Между экономикой и идеологией в схеме марксистов помещаются социально-политиче-

[1]) Плеханов, т. VIII, стр. 235.

Г. ЛАДОГА

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ П. Л. ЛАВРОВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЭЛЕМЕНТЫ СУБ'ЕКТИВНОЙ СОЦИОЛОГИИ У ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЛАВРОВА

1. П. Л. Лавров и шестидесятники

В истории развития русской общественной мысли Петр Лаврович Лавров занимает видное место, как один из идеологов народничества, этого массового (по дореволюционному масштабу) движения интеллигенции и учащейся молодежи, которое наложило своеобразный отпечаток идеализма и революционной романтики на весь пореформенный период общественной жизни. Лавров дал народничеству «философию истории», он—пусть не надолго—сделался выразителем его идей и настроений. В годы тяжелой реакции, последовавшей за неудачной народнической революцией, почти все заграничные предприятия народовольцев связывались с его именем, и он был для падавших духом и сомневавшихся «надежды и правды отрадным лучом».

В области социологии и истории Лавров является, как известно, родоначальником так называемой суб'ективной школы. Его исторические и социологические воззрения представляют в настоящее время исключительно научный интерес, так как они остались в стороне от общего русла исторической науки и заметного влияния на русскую историографию не оказали. Единственной стороной воззрений Лаврова, не потерявшей известного практического интереса, представляются его методологические построения, в области которых он является предшественником виндельбандовско-риккертовской теории. Наши отечественные риккертианцы, ввозя в Россию писание своего учителя, как «последнее слово» науки, повидимому, не подозревали того обстоятельства, что их авторитет «твердит зады», обоснованные в свое время родоначальником суб'ективной социологии. И поскольку историко-философские построения школы Риккерта не могут быть просто отброшены, а должны быть преодолены, постольку методологические взгляды Лаврова представляют не исторический только, но и практический интерес.

Одною из характерных особенностей мировоззрения Лаврова является крайний эклектизм. Это обстоятельство чрезвычайно

затрудняет понимание и изложение его теорий и порою способно ввести в заблуждение невнимательного исследователя. В марксистской литературе поэтому, на ряду с верными оценками характера и социальной сущности теорий Лаврова, можно встретить подчас взгляды совершенно неправильные. Таково, например, мнение, будто бы Лавров, являвшийся первоначально идеалистом, впоследствии освободился от идеалистических воззрений и сделался марксистом, хотя и не совсем последовательным. Подобный взгляд не может быть ни в какой мере обоснован изучением литературного наследства, оставшегося от Лаврова. Наоборот, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на колебания в частностях своих воззрений, в основных положениях исторической теории Лавров до конца своих дней остался тем, чем он был в «Исторических письмах». Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить «Исторические письма» и одну из его последних работ «Задачи понимания истории», которая была напечатана в 1898 году под псевдонимом С. С. Арнольди.

Итак, в общем и целом исторические и социологические воззрения Лаврова отличаются известным единством на протяжении его долгой научной и публицистической деятельности. Однако нельзя отрицать, что отдельные частности, иногда довольно существенные, трактуются Лавровым в разное время неодинаково. От намерения проследить эволюцию мировоззрения Лаврова я вынужден отказаться в силу обширности этой задачи. Поэтому в дальнейшем изложении я ставлю своей задачей передачу основных идей мировоззрения Лаврова, отбрасывая частности и останавливаясь на эволюции его взглядов лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания особенностей обоснованной им теории.

Но для того, чтобы уяснить историческое значение обоснованной Лавровым суб'ективно-идеалистической теории, необходимо проследить ее возникновение, условия развития и влияния, которые определили ее оформление. Словом, надо поставить теорию Лаврова в историческую связь с предшествующим развитием общественной мысли.

Народническое движение имеет не только свою историю, но и пред'историю. Основные стороны народнической теории непонятны без изучения предшествующего развития общественной мысли. Весь арсенал идей, которыми народничество пользовалось в своей борьбе, выкован и пущен в обращение деятелями пятидесятых и шестидесятых годов. Народники и народовольцы только видоизменили эти идеи, приспособили их к потребностям борьбы, к условиям момента. В частности, чтобы дать анализ социологической теории Лаврова, необходимо

хотя бы бегло остановиться на разборе исторических воззрений его ближайших предшественников.

В эволюции исторических воззрений шестидесятников можно проследить отчетливо выступающую борьбу материалистической и идеалистической тенденций в области об'яснения фактов общественной жизни. У Добролюбова преобладает материалистическая тенденция; у Чернышевского—идеалистические элементы. Писарев же целиком становится на идеалистическую точку зрения. От писаревского «реализма» прямая дорога к суб'ективному методу в социологии Лаврова. Таково в нескольких словах развитие исторической мысли от Добролюбова к Лаврову. Между шестидесятниками и Лавровым—тесная преемственная связь. Все основные элементы его теории в зачаточном виде имеются у Добролюбова и Чернышевского, а главным образом у Писарева. Ближайшее рассмотрение их взглядов будет служить обоснованием этого тезиса.

2. Н. А. Добролюбов

Н. А. Добролюбов был ближайшим соратником и, пожалуй, последователем Чернышевского. Но как раз в разработке вопросов истории он был самостоятелен. Более того. В области истолкования хода исторического развития Добролюбов пришел к более верным результатам, нежели Чернышевский. Рассмотрим подробнее его взгляды.

В общефилософских вопросах Добролюбов определенно стоит на материалистической точке зрения. Он протестует против «тяжелой опеки», которая налагается «идеологами» на все проявления жизни. «Непременно хотят, — пишет он, — дуализма, хотят делить мир на мыслимое и являемое, уверяя, что только чистые идеи имеют настоящую действительность, а все являемое, т.-е. видимое, составляет только отражение этих высших идей. Пора бы уже бросить такие платонические мечтания и понять, что хлеб не есть пустой значок, отражение высшей отвлеченной идеи жизненной силы,—а просто хлеб — об'ект, который можно с'есть»[1]). Человек, как и все существующее в природе, подчинен законам природы. Отсюда ясно, что действия человека строго обусловлены, что абсолютной свободы человеческой воли не существует. Добролюбов заявляет: «Самое маленькое размышление может убедить всякого, что поступков совершенно

---

[1]) „О степени участия народности в развитии русской литературы". Первое полное собр. соч. Добролюбова под ред. Лемке, изд. Панафидиной, 1912 г., т. I, 630—631.

свободных, которые бы ни от чего, кроме нашей воли, не зависели, никогда не бывает. В решениях своих мы постоянно руководимся какими-нибудь чувствами или соображениями. Предложить противное значит допустить действие без причины» [1]).

Приведенные выписки не оставляют никакого сомнения. Материалистическая позиция в общефилософских вопросах для Добролюбова—исходный пункт в борьбе с идеалистическим мракобесием. Однако этот факт еще отнюдь не предопределяет его исторических воззрений. Французский материализм конца XVIII столетия наглядно свидетельствует о том, что материалистические взгляды в области общих вопросов философии и естествознания могут сочетаться с идеалистическим толкованием хода общественной жизни. Как же в этом отношении обстоит дело у Добролюбова?

Две коротенькие выписки могут показать, что Добролюбов применение материалистических принципов не ограничивает областью общих вопросов, а оперирует ими и в об'яснении фактов общественной жизни. Характер человека, образ его действий он совершенно материалистически об'ясняет воздействием окружающих условий. «...Людей путных или непутных,—замечает он,—делает жизнь, общий строй ее в известное время и в известном месте» [2]). В другом месте он так формулирует соотношение между общественным бытием и общественным сознанием: «Поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии» [3]).

В основе исторического процесса лежат, по Добролюбову, материальные факты, общественные отношения. Они порождают соответствующие идеи, определяют линию развития. Идеи бессильны преобразовать жизнь, если они расходятся с жизненными фактами. В статье «Литературные мелочи прошлого года» («Современник» 1859 года) он пишет: «...Не частные явления жизни и истории вытекают из каких-то общих начал и отвлеченных стремлений, а сами-то начала и стремления слагаются из частных фактов, определяются частными нуждами и обстоятельствами» [4]). Еще отчетливее говорит Добролюбов о взаимозависимости идей и фактов в своем, так сказать, программном произведении «Когда же придет настоящий день»? «Идея и их постепенное развитие только потому и имеют свое значение, что

---

[1]) „Органическое развитие человека", собр. соч., т. I, 924.

[2]) „Когда же придет настоящий день?" Собр. соч., т. IV, 85.

[3]) „О степени участия народности в развитии русской литературы", собр. соч., т. I, 630.

[4]) Собр. соч., т. II, 846.

они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми потребности» [1]).

Добролюбов не ставит вопроса — чем же определяются факты, из которых слагается общий строй жизни? Его анализ не идет дальше установления того принципа, что жизненные факты определяют идеологию общества. Несомненно, однако, что в его концепции мы имеем попытку материалистического подхода к об'яснению общественных явлений, хотя эта попытка недостаточна, примитивна. Тем не менее даже этот грубый подход дает определенные результаты. Добролюбов, благодаря очерченным выше принципам исторической концепции, рассматривает народные массы не как об'ект, на который направляется воздействие тех или иных исторических личностей или общественных групп, а как суб'ект истории. Исторические личности—не творцы истории, а лишь выразители народных нужд и стремлений в определенный период.

Постановка вопроса о роли личности в истории у Добролюбова четкая и в основном совершенно материалистическая. Он издевается над историками, которые придают личности преувеличенное значение, приписывают историческим деятелям мысли, которых те никогда не имели, оценивают действия полководцев и законодателей с точки зрения того нравственного идеала, последователем которого является данный историк. «По мнению наших историков,—пишет он,—захотела великая личность совершить что-нибудь и совершила: ей честь и слава. Если же она произвела что-нибудь не по нраву нашим историкам, беда исторической личности! Окажется, что это был обманщик, безнравственный человек, злодей и т. д. Не хотят понять, что ведь историческая личность, даже и великая, составляет не более, как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенит камней и сама тотчас потухнет, если не встретит материала скоро загорающегося. Не хотят понять, что этот материал всегда подготовляется обстоятельствами исторического развития народа и что вследствие исторических-то обстоятельств и являются личности, выражающие в себе потребности общества и времени» [2]). В другом месте Добролюбов пишет: «Не тогда изменяется известная мера, установление, вообще положение

---

[1]) Собр. соч., т. IV, 45.

[2]) „Жизнь Магомета", собр. соч., т. I, 688.

ей, когда гениальный ум сообразит, что оно может повести к ным последствиям через несколько столетий, так как повело к ним за несколько веков перед тем. Нет, оно изменяется тогда, когда уже делается несоответствующим настоящему положению вещей, когда неблагоприятное его влияние уже не некоторыми только предвидится, а делается ощутительным для большинства. В это-то время и являются энергические деятели, становящиеся тотчас во главе движения и придающие ему стройность и единство. Они одни заметны в историческом рассказе и для невнимательного взора представляются единственными и первоначальными виновниками событий, происшедших при их участии. Но более внимательное рассмотрение открывает всегда, что история в своем ходе совершенно независима от произвола частных лиц, что путь ее определяется свойствами самих событий, а вовсе не программою, составленною тем или другим историческим деятелем. Напротив, деятельность всех исторических лиц развивается не иначе, как под влиянием обстоятельств, предшествовавших появлению их на историческом поприще и сопровождавших его» [1]).

Отсюда совершенно понятным становится презрительное отношение Добролюбова к интеллигенции («образованному обществу») и его преклонение перед простым народом. «Да, в этом народе, — пишет он о русском крестьянстве, — есть такая сила на добро, какой положительно нет в том развращенном, полупомешанном обществе, которое имеет претензию одного себя считать образованным и годным на что-нибудь дельное. Народные массы не умеют красно говорить: оттого они не умеют и не любят останавливаться на слове и услаждаться его звуком, исчезающим в пространстве. Слово их никогда не праздно; оно говорится ими как призыв к делу, как условие предстоящей деятельности» [2]). Противопоставляя простой народ «лишним людям» из дворянской среды, Добролюбов восклицает: «...Не такова эта живая свежая масса: она не любит много говорить, не щеголяет своими страданиями и печалями и частенько даже сама не понимает их хорошенько. Но зато уж если поймет что-нибудь этот «мир» толковый и дельный, если скажет свое простое из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово и сделает он, что обещал. На него можно надеяться» [3]).

Историческая наука, если она имеет притязания на подлинную научность, должна начинать прежде всего с изучения народа, она долж-

---

[1]) „Первые годы царствования Петра Великого", собр. соч., II, 81 – 82.
[2]) Н. А. Добролюбов. „Народное дело", собр. соч., III, 608.
[3]) „Губернские очерки", собр. соч., I, 530.

на быть пронизана мыслью о зависимости между историческими событиями и положением, развитием и деятельностью народа. «...История самая живая и красноречивая будет все-таки не более, как прекрасно сгруппированным материалом, если в основание ее не будет положена мысль об участии в событиях всего народа. Участие это может быть деятельное или страдательное, положительное или отрицательное, но, во всяком случае, оно не должно быть забыто историей» [1]).

Наблюдая развитие общественной жизни в России и на Западе, Добролюбов не мог не отметить такого важного исторического явления, как наличие в современном обществе классовой борьбы. Однако в этом вопросе его представления очень расплывчаты. Тут он не подымается выше утопистов, которые также констатировали существование классов и классовой борьбы, но не оценили ее значения в истории общественного развития. В понимании Добролюбова классовая борьба и классовые интересы—не двигатели развития, а препятствия на пути поступательного движения общества. «Нам кажется. — пишет он,—что совершенно логического, правильного, прямолинейного движения не может совершать ни один народ при том направлении истории человечества, с которым она является перед нами с тех пор, как мы ее только знаем... Ошибки, уклонения, перерывы необходимы. Уклонения эти обусловливаются тем, что история делается и всегда делалась—не мыслителями и всеми людьми сообща, а некоторою лишь частью общества, далеко не удовлетворявшею требованиям высшей справедливости и разумности. Оттого-то всегда и у всех народов прогресс имел характер частный, а не всеобщий. Делались улучшения в пользу то одной, то другой части общества; но часто эти улучшения отражались весьма невыгодно на состоянии нескольких других частей. Эти, в свою очередь, искали улучшений для себя и опять на счет кого-нибудь другого» [2]).

Добролюбов отмечает, что во всей предыдущей истории человеческого общества наблюдалась эксплоатация одних классов другими и только форма эксплоатации менялась. С добродушной усмешкой говорит он о попытках Оуэна мирным путем преобразовать человеческое общество, тогда как господствующие классы заинтересованы в эксплоатации рабочих. Добролюбов не возлагает надежд на успехи просвещения. Не идеи, а жизненные факты могут преобразовать общество. Выход не в теориях и распространении знаний, а в особенных,

---

[1]) „Первые годы царствования Петра Великого“, собр. соч., II, 12.

[2]) „От Москвы до Лейпцига“, собр. соч., т. III, 836.

необыкновенных обстоятельствах» (подцензурный псевдоним народной революции). «Всеми средствами образованности, всеми преимуществами новейших открытий и изобретений владеют неработающие классы общества, которым нет никакой выгоды передавать оружие против себя тем, чьим трудом они до сих пор пользовались даром. Следовательно, без участия особенных, необыкновенных обстоятельств нечего и ждать благотворного распространения образования и здравых тенденций в массе народа» [1]).

Но если с вопросом распространения образованности и «здравых тенденций» среди народной массы в пределах общества, основанного на эксплоатации, дело обстоит безнадежно, то можно ли надеяться на наступление «особенных, необыкновенных обстоятельств», т.-е. революции? Добролюбов отвечает на это утвердительно. Дело не в идеях, а в фактах. «Не одно скромное учение под руководством опытных наставников, не одна литература, всегда более или менее фразистая, ведет народ к нравственному развитию и к самостоятельным улучшениям материального быта. Есть другой путь—путь жизненных фактов, никогда не пропадающих бесследно, но всегда влекущих событие за событием неизбежно, неотразимо» [2]). «Образованность именно ведет к большей или меньшей степени ясности сознания и затем к уменью формулировать то, что сознается... Но и неформулированное страдание—все-таки страдание. Пусть оно таится, пусть не принимает определенного выражения, это не должно обманывать нас: есть предел, за которым оно может ярко обозначиться, и тогда, без всяких книг, без всяких отвлеченных соображений, не говоря никаких фраз, даже не принимая особого имени для себя, оно проявится на самом деле. Действительный факт, отразившись на практической жизни деятельного рабочего человека, породит тоже действительный факт, тогда как книжные теории и предположения образованных людей, может быть, так и останутся только теоретическими предположениями» [3]).

Последняя цитата, взятая из той же, чрезвычайно важной для характеристики мировоззрения Добролюбова статьи «Народное дело», особенно замечательна. В этом месте Добролюбов вплотную подходит к марксистскому об'яснению отношения между классовым положением и развивающимся на основе этого положения сознанием. Теория научного коммунизма является синтезом последних достижений

---

1) „Народное дело“, собр. соч., т. III, 567.
2) Там же, 567.
3) Там же, 570.

философии и исторической науки и классовых интересов пролетариата. В этом смысле недооценка теории несовместима с научным материалистическим пониманием истории. Но теоретики марксизма только потому смогли обосновать материалистическое понимание истории, что они стали на точку зрения определенного класса, пролетариата. Пролетариат с своей стороны воспринимает научный коммунизм вследствие того, что эта теория является по существу наиболее глубоким и верным обобщением тех тенденций, которые заложены в его классовом положении.

Добролюбов выводит возможность и неизбежность определенных действий угнетенного народа не из факта пропагандистской деятельности интеллигенции, а из об'ективного положения народных масс. Революционность народа, его воззрения определяются, по мнению Добролюбова, не распространением в народе просвещения, а положением, жизненными фактами. Добролюбов отнюдь не считает, что народные действия вытекают автоматически из обстановки, жизненных фактов; он утверждает только, что известное положение народа, несмотря на отсутствие просвещения, а значит и отчетливой идеологии, приведет тем не менее к определенным взглядам и действиям. Теории интеллигенции останутся в большинстве без всякого практического применения в виду того, что они не связаны тесным образом с бытием этого слоя и являются в значительной мере чем-то внешним; наоборот, народные массы, несмотря на неумение сформулировать отчетливо свои интересы, поставлены в такое положение, что их идеи претворятся неизбежно в соответствующие действия.

В угловатой и грубой форме Добролюбов подходит здесь к той совершенно правильной мысли, что революционное сознание в первую очередь определяется положением класса, его бытием и лишь в дальнейшем тем, насколько распространено просвещение среди членов данного класса.

Любопытно отметить, что в вопросе о путях развития России Добролюбов стоял на определенно «западнической» точке зрения. Вопреки славянофилам и Герцену, он считал несомненным прохождение Россией тех же этапов и форм развития, какими шел Запад. Только наше сравнительно позднее выступление на арену истории является некоторым преимуществом.

«Да, счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни, — писал он; — присматриваясь к ходу развития народов Западной Европы и представляя себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь

будет лучше. Что и мы должны пройти тем же путем—это несомненно и даже нисколько не прискорбно для нас» [1]).

Преимущество России, по мнению Добролюбова, состоит в том, что «наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное—мы можем и должны итти решительнее и тверже потому, что уже вооружены опытом и знанием» [2])...

На основе разбора исторических воззрений Добролюбова, сделанного выше, можно вывести следующие заключения. Его историческая теория, не взирая на известную неразработанность и схематичность отдельных положений, чрезвычайно любопытна, как попытка применения материалистического метода к истолкованию исторических событий. Если принять во внимание то обстоятельство, что Добролюбов занимался вопросами истории лишь попутно, поскольку это было необходимо для публициста, и что его деятельность пресеклась слишком рано, то результаты, к которым он пришел в этой области, представляются прямо замечательными.

3. Н. Г. Чернышевский

Исторические воззрения другого замечательного деятеля пятидесятых-шестидесятых годов, знаменитого ученого, экономиста и публициста Н. Г. Чернышевского, носят иной характер. Несмотря на близость политических взглядов и совместную работу в «Современнике», Добролюбов и Чернышевский в области истории пришли к различным выводам. У Чернышевского нет той цельности и последовательности исторических взглядов, которая так характерна для Добролюбова. Чернышевский в своих исторических построениях часто глубже Добролюбова, иногда он очень близко подходит к правильному материалистическому об'яснению явлений общественной жизни, но в истолковании общей связи исторических явлений он делает шаг назад от Добролюбова, становясь на идеалистическую точку зрения.

В исторических взглядах Чернышевского можно явственно проследить две противоположные тенденции. Когда он ставит вопросы истории в методологической плоскости, для него понятна узость идеалистического подхода к историческим фактам и необходимость материалистического об'яснения явлений общественной жизни. Но, рассматривая процесс в целом, Чернышевский превращается в идеалиста, «просветителя», ставящего в основу развития не факты, а идеи.

---

[1]) Собрание сочинений, т. III, 849.

[2]) Там же 850.

Для характеристики методологических построений Чернышевского чрезвычайно важна его статья о Т. Н. Грановском, помещенная в шестом номере «Современника» за 1856 год. С разбора этой статьи удобнее всего начать рассмотрение его исторических взглядов.

Характеризуя современное ему состояние исторической науки, Чернышевский отмечает, что «История принадлежит к числу тех наук, быстрым усовершенствованием которых гордятся новейшие времена» [1]). Однако общее положение истории достаточно печально. Главная причина неудовлетворительности истории заключается, по мнению Чернышевского, в «недостаточности общего плана, односторонности и неполноте воззрения на жизнь человечества» [2]).

Историческая наука замкнулась в слишком узких пределах. В состав рассказа о жизни людей патентованные историки включают только немногие элементы человеческой жизни. «Так называемая политическая история, т.-е. рассказ о войнах и других громких событиях, до сих пор преобладает в рассказе историков, между тем как на деле она имеет для жизни человеческого рода только второстепенную важность. История умственной жизни, да и то только в тесном кругу немногозначительных классов, принимающих деятельное участие в развитии наук и литературы, одна только разделяет с политическою историей право на внимание автора—да и только в немногих сочинениях, до сих пор остающихся редкими исключениями в массе исторических книг: да и тут она играет второстепенную роль. История нравов обращает на себя еще гораздо менее внимания. О материальных условиях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину почти всех явлений и в других высших сферах жизни, едва упоминается» [3]).

Исходя из этого основного положения, Чернышевский считает, что история только в том случае сможет удовлетворительно разрешить стоящие перед нею задачи, если она вступит в союз с мощно развивающимися естественными науками, обогатив за их счет содержание и методы обработки материала. Поэтому он сочувственно цитирует речь Грановского «О современном состоянии и значении всеобщей истории», находя в этой речи подтверждение своих мыслей. «При той чрезвычайной важности, какую играет в жизни и должна приобресть

---

[1]) Собр. соч., т. II, 409.
[2]) Там же.
[3]) Там же. Разбивка моя. *Г. Л.*

в истории натуральная сторона человеческого быта, — пишет он, — понятно, что влияние естественных наук на историю должно со временем сделаться чрезвычайно сильным. В настоящее время еще очень немногие историки предчувствуют это. Грановский принадлежит к числу их» [1]).

В чем же конкретно, по мысли Чернышевского, должно выразиться влияние естественных наук на историю?

Ответ на этот вопрос дает разбор Чернышевским взглядов Грановского. Влияние естественных наук на историю, по мнению Чернышевского, должно заключаться, во-первых, в расширении содержания истории и, во-вторых, в изменении методов исторического исследования.

Выдержка, характеризующая взгляды Чернышевского по вопросу о включении в поле зрения истории новых элементов, главным образом «натурального» элемента, приведена выше. В этом вопросе Чернышевский очень близко подходит к правильному материалистическому взгляду на историю. Правда, в его представлении «материальные условия быта», «натуральная сторона жизни» недостаточно определенны. В вопросе о влиянии географических условий на человека он как будто склонен стать на точку зрения непосредственного воздействия природы на человеческую индивидуальность. Но во всяком случае приближение к материалистическим взглядам здесь определенное. Взять хотя бы то положение, что материальные условия быта, по его мнению, составляют «коренную причину почти всех явлений и в других высших сферах жизни». Здесь в достаточно отчетливой форме выражена мысль, что в основе общественных отношений лежат материальные условия производства. Эта основная идея материалистического понимания истории выражена у Чернышевского с гораздо большей решительностью и определенностью, нежели у Добролюбова, который в подобных случаях употребляет расплывчатое понятие «жизненных фактов».

Но Чернышевский не останавливается на правильном установлении соотношения между материальными условиями существования общества и идеологическими проявлениями общественной жизни. Он ставит и разрешает в положительном смысле вопрос о разделении общества на классы и материалистически об'ясняет причины этого разделения экономическим положением классов. Вот примеры.

---

[1]) Собрание соч., II, 410.

В статье «Национальная бестактность» Чернышевский доказывает русинским националистам (статья была направлена против издававшегося во Львове «Слова»), что основным вопросом современности является не национальный вопрос, а классовый («сословный» по терминологии Чернышевского). «Очень может быть, — пишет он, — что при точнейшем рассмотрении живых отношений львовское «Слово» увидело бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу,—вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той и на другой стороне и русинов и поляков—людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русских поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев: Если мы не ошибаемся, корень галицийского спора находится в сословных, а не племенных отношениях» [1]).

В «Очерках политической экономии» он выдвигает вполне материалистическое об'яснение механики классовой борьбы в буржуазном обществе. Он пишет: «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками. Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживает в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и работников, история страны получает главным содержанием борьбу среднего сословия с народом» [2]).

Чернышевский вполне четко ставит вопрос о зависимости между классовой принадлежностью и идеологией того или иного деятеля. Он пишет: «Политические теории да и всякие вообще философские учения создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ» [3]).

При рассмотрении конкретных исторических событий Чернышевский приходит к той совершенно правильной мысли, что по словам

---

[1]) Собр. соч., т. IV, 282—283.

[2]) Собр. соч., т. IV, 415.

[3]) „Антропологический принцип в философии", собр. соч., VI, 180.

и заявлениям нельзя судить о действительных причинах поведения партий и отдельных личностей. Наоборот, их сознание нужно вывести из их общественного положения и интересов. Так, в статье «Борьба партии во Франции при Людовике XVIII и Карле X» он высказывает такое замечание: «Изумительна податливость людей обманываться официальными словами. Еще изумительнее то, что словам, в которых нет ни капли искренности, верит вполне не только тот, для обольщения которого они придуманы, но часто и сам тот человек, кто их придумал с целью придать возвышенность и благовидность своим расчетам. Так случилось между прочим и во Франции при Бурбонах. Либералы от всей души воображали, что ратуют за свободу, роялисты не менее искренно были убеждены, что ратуют за престол. Но этими словами «свобода» и «престол» нимало не выражались их действительные стремления» [1])...

В чем же заключались действительные стремления партий? На этот вопрос Чернышевский отвечает так: «Они заботились об интересах гораздо более близких им, нежели престол или свобода. Люди, называвшиеся роялистами, просто хотели восстановить привиллегии, которыми до революции пользовалось дворянство и высшее духовенство, потому что сами эти люди были из высшего дворянства. Либеральную партию составляли люди среднего сословия: купцы, богатые промышленники, нотариусы, покупщики больших участков конфискованных имений—словом тот самый класс, который позднее сделался известен под именем буржуазии; революция, низвергнув аристократические привиллегии, оставила власть над обществом в его руках; он хотел сохранить власть» [2]).

Из приведенных выдержек видно, что Чернышевский ясно представлял основные пружины классовой борьбы в современном обществе. Впрочем, в этом вопросе он шел за французскими историками времен реставрации, которые отчетливо сформулировали учение о классовой борьбе. Чтобы стать на выдержанную материалистическую точку зрения, Чернышевскому недоставало понимания того, что классовые противоречия ведут вперед и классовая борьба является могучей силой, которая преобразует современное буржуазное общество в общество социалистическое. Но как раз особой роли пролетариата, класса, борющегося за социализм, он не понимал.

---

[1]) Собр. соч., т. IV, 161—162.
[2]) Там же, 163.

Вопрос о роли личности Чернышевский разрешал в материалистическом смысле. Исторические события обусловлены и закономерны. Историческая личность может лишь накладывать на события отпечаток своей индивидуальности, ускорять или замедлять их развертывание. «Совершение великих мировых событий,—писал Чернышевский.—не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столь же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершается оно—это зависит от обстоятельств, которых нельзя предвидеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств—появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход и сообщают своею преобладающею силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы» [1]).

В «Очерках гоголевского периода», говоря о роли Белинского в умственной жизни сороковых годов, Чернышевский делает такое замечание: «Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика гоголевского периода, ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от исторического нашего положения; если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другою фамилией, с другими чертами лица, но не с другим характером: историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду» [2]).

Как показывает сделанный выше разбор взглядов Чернышевского, в ряде вопросов он стоит на материалистической или близкой к материализму точке зрения. Однако общая историческая концепция Чернышевского идеалистическая. Взгляды его не согласованы; материалистические положения сталкиваются с идеалистическими, уступают им место.

Прежде всего, Чернышевский сторонник того вида идеализма, последователи которого об'ясняют нравственность людей стремлением к пользе. Всякий человек, по его мнению, стремится к удовольствию. Разница между эгоистическим и альтруистическим поступками только в

---

[1]) Собр. соч., III, статья о Лессинге.

[2]) Собр. соч., II, 165.

том, что в первом случае налицо примитивное, грубое понимание пользы, во втором—более правильный расчет. Вопрос не в качественной разнице поступков и стремлений, а в степени понимания большей или меньшей выгодности того или иного поступка.

Отсюда один шаг до идеалистического истолкования поступков масс и классов. И действительно, отбрасывая материалистические об'яснения, Чернышевский делает сознание причиной общественных изменений. Эксплоатацию он, например, об'ясняет неправильными взглядами людей на труд, как на нечто неприятное. «Сделаем, например, гипотезу, — пишет он, — что праздность приятна, а труд неприятен; если эта гипотеза станет господствующим мнением, каждый человек будет пользоваться всеми случаями, чтобы обеспечить себе праздную жизнь, заставив других работать на себя; из этого произойдут все виды порабощения и грабежа... Эта гипотеза действительно была сделана людьми, действительно стала господствующим мнением и действительно произвела немало страданий» [1]).

Далее, в статье «Кавеньяк» он так ставит вопрос о политических и общественных формах: «...Форма держится, пока есть мнение, что она приносит благо; она падает, как скоро распространяется мнение, что она существует только ради самой себя, не заботясь об удовлетворении сильнейших интересов общества. Форма падает не силою врагов, а единственно тогда, когда обнаруживается ее собственная бесплодность для общества» [2]).

Итак, миром правят мнения. Причины возникновения или уничтожения политических форм и общественных организаций—идеологии. Но существует ли какая-нибудь закономерность в возникновении и развитии идеологий? Какие силы двигают человеческое общество вперед? Прогрессивною силою, по мнению Чернышевского, является наука.

В статье «О причинах падения Рима» Чернышевский наиболее отчетливо сформулировал свои взгляды по вопросу о движущих силах истории, об историческом прогрессе. «Прогресс основывается, — пишет он в статье, — на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики со-

---

[1]) „Антропол. принцип", собр. соч., VI, 219.

[2]) Сочинения, IV, 3.

вершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д. Развивается химия; от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и, чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных,—тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела какие бы то ни было,—значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса—наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний» [1]).

Итак, основная движущая сила прогресса—наука. Это—та сила, которая преодолевает своекорыстные интересы тех или иных общественных групп и отдельных личностей и движет общество к улучшению. Впрочем, процесс улучшения, движения вперед совершается чрезвычайно медленно и извилистыми путями. Отчего это происходит? На этот вопрос Чернышевский отвечает так: «Нам представляется, что на ход исторических событий гораздо сильнейшее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные; что в истории гораздо сильнее были всегда рутина, апатия, невежество, недоразумение, ошибка, ослепление, дурные страсти, нежели здравые понятия о вещах, знание и стремление к истинным благам; что всегда прошевый результат достигался не иначе, как растратою миллионов; что путь, по которому несется колесница истории, чрезвычайно извилист и испещрен рытвинами, косогорами и болотами; что тысячи напрасных толчков перетерпит седок этой колесницы, человек, и сотни верст исколесит всегда для того, чтобы подвинуться на одну сажень ближе к прямой цели» [2]).

Становясь на идеалистическую точку зрения, Чернышевский позабывает о классовом разделении общества и ставит во главу угла отвлеченного человека, обладающего определенными природными качествами. Он странным образом не замечает, насколько положение о науке, как главной движущей силе прогресса, противоречит выдвинутому ранее утверждению, что материальные условия быта составляют основную причину почти всех явлений общественной жизни.

---

[1]) Сочинения, VIII, 158.

[2]) „Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X". Собр. соч., IV, 160—161.

Различием исторических взглядов Добролюбова и Чернышевского определяется и их различное отношение к народу и интеллигенции. Добролюбов высоко расценивал способность простонародья к активным действиям, противопоставляя ее «обломовщине» образованных классов.

Чернышевский, наоборот, пессимистически смотрит на народные массы по крайней мере в современный ему период исторической жизни. Только в будущем, в результате упорной работы людей науки, народ превратится из об'екта исторического процесса в деятеля истории. На людей науки, на интеллигенцию ложится большая историческая задача. «Те передовые люди, деятельностью которых развивается наука, ведут ее к тому, чтобы прониклась результатами ее жизнь всего народа. Люди отсталые, служащие только обременением для развития науки, не приносят никакой пользы и ее распространению в массе; они бесполезны во всех отношениях и во многих прямо вредны» [1]). В этих словах Чернышевского перед нами зародыш тех взглядов на интеллигенцию, которые легли в основу теории «критически-мыслящих личностей».

4. Д. И. Писарев

Д. И. Писарев по своим историческим воззрениям является соединительным звеном между шестидесятниками и теоретиками суб'ективной школы. Он отбрасывает почти целиком материалистические элементы исторической теории Чернышевского и делает крайне логические выводы из его идеалистических построений в области истолкования общественной жизни. Во взглядах Писарева уже даны основные положения теории Лаврова-Михайловского.

Эти положения заключаются главным образом в его методологических построениях. С методологических вопросов я и начну разбор исторической теории Писарева.

При изложении взглядов Писарева на историю необходимо отметить, что они далеко не тождественны на всем протяжении его публицистической деятельности. На первых порах Писарев резко противоставлял естествознание истории, утверждая, что лишь естествознание—наука, история же представляет из себя систему произвольных теоретических построений и художественных рассказов. Позднее же он пришел к той мысли, что история становится наукой в той мере, в какой она приходит к применению методов естествознания.

---

[1]) Чернышевский. Собр. соч., VI, 268. (Библиогр. заметка на книгу Новицкого о древних философских учениях.)

Наиболее резкая формулировка противоположности между естественными науками и историей дана Писаревым в статье «Процесс жизни», напечатанной в 1861 году.

«История, — утверждает он, — есть осмысление события с личной точки зрения автора; каждая политическая партия может иметь свою всемирную историю и действительно имеет ее, хотя, конечно, не все эти истории записаны, точно так же, как всякая философская школа имеет свой философский лексикон. История есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, составившихся путем жизни и имеющих свое положительное значение в настоящем. Об естественных науках этого, конечно, сказать нельзя; природе нет никакого дела, как вы о ней думаете... Изучая природу, вы имеете дело со слепыми силами, но с силами громадными, постоянно действующими, которые не поддадутся для вас ни вправо, ни влево. Управлять вы ими можете, но для этого вы должны знать их, а не составлять себе об них произвольные теоретические понятия» [1]).

Здесь надо отметить следующие моменты. Писарев считает, что история не только в настоящий момент представляет из себя систему «произвольных теоретических понятий», но и всегда будет тем, чем она является теперь. В дальнейшем Писарев выражался не так категорически, но во всяком случае сомнение в том, что история может быть превращена в подлинную науку, остается характерным для него на всем протяжении его публицистической деятельности. Далее Писарев противопоставляет историю естествознанию в том смысле, что «природе нет никакого дела, как вы о ней думаете», и управлять ею можно только зная законы, по которым совершаются явления природы. Это противопоставление на первый взгляд кажется нелогичным. Ведь и жизнь общества развивается по известным законам, и, чтобы воздействовать на нее, необходимо знать также и законы общественного развития. Не надо думать, что для Писарева в этот период остается неясным вопрос о закономерности исторического процесса и он противопоставляет закономерность природы произволу людских поступков. Дело лишь в том, что «история больше художественный рассказ и произвольное теоретическое построение», нежели наука в подлинном смысле этого слова. Вот вывод, к которому приходит Писарев в статье «Процесс жизни». И такое положение представляется ему вполне естественным и законным.

---

[1]) Сочинения Д. И. Писарева, 5-е изд. Ф. Павленкова. СПБ. т. I, 386.

Однако позже Писарев приходит к иным результатам. Он отказывается от противопоставления истории естествознанию и с удовлетворением констатирует намечающееся сближение между этими науками. Так в направленной против Щедрина статье «Цветы невинного юмора» (1864 г.) он пишет:

«Нас ограждает от пошлости не смех над пошлостью, а то внутреннее содержание, которое дает нам чтение и размышление... У нас есть теперь это содержание, и есть основание думать, что оно у нас с каждым годом будет увеличиваться; это содержание заключается в изучении природы и в изучении человека, как последнего звена длинной цепи органических существ. Мыслящие европейцы собрали и привели в порядок необозримую груду фактов, относящихся ко всем отраслям естествознания. В настоящее время история и политическая экономия прислоняются к изучению природы и постоянно очищаются от примеси тех фраз, гипотез и так называемых законов, которые не имеют для себя основания в видимых и осязаемых предметах» [1]).

Итак, то, что раньше представлялось вполне законным свойством истории, теперь выступает, как ее недостаток. История лишь постольку становится наукой, поскольку очищается от «фраз, гипотез и так называемых законов, которые не имеют для себя основания в видимых и осязаемых свойствах предметов». Писарев далек от отрицания важного значения исторических наук для человечества. Естествознание не может заменить истории. Так, в статье «Реалисты» он пишет:

«Но естественные науки при всем своем великом значении не исчерпывают собою всего круга предметов, о которых человеку необходимо составить себе понятие. Человек должен знать человека и общество. Физиология показывает нам различные отправления человеческого организма; сравнительная анатомия показывает нам различия между человеческими расами. Но обе эти науки не дают нам никакого понятия о том, как человек устраивает свою жизнь и как он постепенно подчиняет себе силы природы силой своего ума. Оба эти вопроса имеют для нас капитальную важность, но те отрасли знания, от которых мы должны ожидать себе на них ответа,—история и статистика,—до сих пор еще не достигли научной твердости и определенности. История до сих пор не что иное, как огромный арсенал, из которого каждая литературная партия выбирает себе годные аргументы

---

[1]) Сочинения, т. III, 273. Разбивка моя. *Г. Л.*

для поражения своих противников. Превратится ли история когда-нибудь в настоящую науку, это неизвестно и даже сомнительно» [1]).

В статье об исторических взглядах Огюста Конта Писарев считает главным недостатком исторической науки то обстоятельство, что историки замыкаются в узкую область историко-философских изысканий и не пытаются построить научную историю, опирающуюся на результаты смежных дисциплин. Он пишет: «Что человеческие общества живут и развиваются по законам—это мысль далеко не новая; нет того философствующего историка, который не повторял бы ее на разные лады; но нетрудно заметить, что почти у всех философствующих историков эта мысль остается мертвой буквой... Все их образование заключается в знании тех языков, на которых написаны летописи, грамоты и разные другие исторические документы. Вооружившись этими знаниями, они прямо приступают к чтению источников и вслед затем, разумеется, начинают излагать нам, под именем исторических законов, свои личные размышления, более или менее остроумные, но нисколько не опирающиеся ни на исследования коренных свойств человеческого организма, ни на основательное знание космических законов. Если бы философствующим историкам было какое-нибудь дело до космических законов, до человеческого организма и до рациональных методов научного исследования, то они понимали бы очень хорошо, что им невозможно обойтись ни без физиологии, ни без химии, ни даже без дифференциального исчисления» [2]).

Таким образом взгляды Писарева на методологию истории, в их наиболее законченном виде, могут быть сведены к следующим основным положениям. Только естественные науки, благодаря точным методам исследования, вполне удовлетворяют требованиям научности. История становится наукой лишь в той мере, насколько она от произвольных теоретических построений переходит к использованию материалов и методов естествознания. Станет ли история наукой в подлинном смысле этого слова—неизвестно. Поэтому взгляд на законы развития общества и законы прогресса приходится черпать не из изучения истории, которая представляет собрание фактов, поддающихся истолкованию в любом смысле, а из наблюдения над текущей жизнью.

В дальнейшем будет видно, что методологические построения Писарева являются исходным моментом для обоснования методологии

---

[1]) Сочинения, IV, 164.

[2]) „Исторические идеи Огюста Конта“, сочинения, V, 307.

истории суб'ективной школы. То, на чем остановился Писарев, с некоторыми изменениями, ложится в основу исторической теории Лаврова.

Изложение основных положений исторической теории Писарева, мне представляется, удобнее всего будет начать с характеристики общих черт его мировоззрения. Наиболее сжато и выпукло мировоззрение Писарева сформулировано им в следующем отрывке из статьи «Посмотрим», являющейся в некотором смысле программным изложением (на ряду с «Реалистами») взглядов передовой молодежи второй половины шестидесятых годов.

«Видите ли, сущность нашего направления заключает в себе две главные стороны, которые тесно связаны между собою, но которые, однако, могут быть рассматриваемы отдельно и обозначаемы различными терминами. Первая сторона состоит из наших взглядов на природу: тут мы принимаем в соображение только действительно существующие, р е а л ь н ы е, видимые и осязаемые явления или свойства предметов. Вторая сторона состоит из наших взглядов на общественную жизнь: тут мы принимаем в соображение только действительно-существующие, р е а л ь н ы е, видимые и осязаемые потребности человеческого организма» [1]).

Итак, исходя в области общефилософских вопросов из материалистического положения, Писарев ставит во главу угла исторического развития общества человеческую природу. Но невозможность удовлетворительного об'яснения истории с этой точки зрения приводит его, как это будет показано дальнейшим разбором, к признанию человеческого разума основной движущею силой истории, т.-е. к чисто идеалистическому истолкованию явлений общественной жизни.

Наблюдаемые нами в истории бесконечная смена лиц, событий, идей, политических систем имеет, по мнению Писарева, в своей основе развитие двух главных естественных потребностей человека: необходимости поддержания существования и потребности общения с себе подобными. Так или иначе, правильно или с уклонениями и извращениями, но эти потребности находят в большей или меньшей степени удовлетворение на протяжении всей истории человечества.

Чем же, однако, об'ясняется то обстоятельство, что история, вопреки существенным потребностям людей, наполнена угнетением одних групп людей другими, обманами, насилием, войнами? Все эти явления—отвечает Писарев—не что иное, как ненормальности, укло-

---

[1]) Сочинения, V, 155. Разбивка Писарева. *Г. Л.*

нения человечества от прямого пути развития. В основе этих ненормальностей лежит элемент эксплоатации. «Общественные аномалии всякого рода,—утверждает Писарев,—выросли из элемента присвоения чужого труда, а этот враждебный элемент возник в доисторические времена в семейном быту и из него раскинул свои ветки по всем отраслям человеческой деятельности» [1]).

Итак, причина исторических «аномалий»—элемент присвоения. Он породил классовые различия, государственные формы, национальные трения, войны. «Государственные формы, политический смысл и даже национальное чувство составляют прямое следствие элемента присвоения, т.-е. все эти вещи или произошли от присвоения или возникли, как отпор присвоению» [2]).

Приведенные соображения Писарева о ходе исторического развития на первый взгляд кажутся очень близкими к материалистическому пониманию истории. В самом деле, одно из основных положений исторического материализма гласит, что государственные формы, политическая борьба и т. д. являются следствием деления общества на эксплоататоров и эксплоатируемых и вся писаная история человечества есть история классовой борьбы. Но достаточно проследить исходный момент теоретических построений Писарева, чтобы убедиться, что он стоит на чисто идеалистической точке зрения. Исторический материализм выводит классовое деление общества и эксплоатацию из об'ективного момента—положения людей в производстве. Иначе ставит вопрос Писарев. Он говорит: «Элемент присвоения, конечно, составляет зло; можно сказать больше: он составляет источник и причину всякого зла, а между тем этот ядовитый элемент, этот Ариман человеческой природы сам вытекает из совершенно безвредного свойства нашего ума... Это свойство состоит в том, что ум наш всегда начинает свою деятельность с самых простых процессов мысли, и уже потом, укрепляясь и совершенствуясь, переходит к более сложным процессам, соображает вероятия и отдаленные последствия, рассматривает и обслуживает явления с разных стороны и точек зрения» [3]).

Таким образом, взаимоотношения людей, общественные группировки, нравственность, идеологии определяются не об'ективными условиями, не обстановкой, а степенью умственного развития. Сознание определяет бытие.

---

[1]) „Зарождение культуры", сочинения, II, 563.
[2]) Там же, 565.
[3]) Там же, 568.

«Нравственность людей вовсе не зависит от хороших качеств их сердца или их натуры, от обилия добродетелей и от отсутствия пороков. Все подобные слова не имеют никакого осязательного смысла. Нравственность того или другого общества зависит исключительно от того, насколько члены этого общества сознательно понимают свои выгоды» [1]).

«Всякое усовершенствование мозга дает себя чувствовать и в улучшении орудий, и в увеличении богатства, и в возвышении общественной нравственности. Но мозг совершенствуется чрезвычайно медленно, потому что вся жизнь дикаря проходит в постоянной заботе о пропитании и вся наличная мозговая сила тратится на приискание мелких средств, ведущих к мелким целям. Тут некогда припоминать и обобщать опыты, и потому знание увеличивается, и крут мыслей расширяется только тогда, когда опыт бьет в глаза и насильно втирается в сознание» [2]).

Писарев, как видно из последней выдержки, не считает причиною общественного развития саморазвивающееся сознание человека. Он ставит «усовершенствование мозга» в зависимость от опыта. Но это отнюдь не делает его теорию материалистической. Для него опыт— опыт вообще, а не специфически произведенный опыт («воздействуя на природу, человек изменяет собственную природу» — Маркс), и не опыт определенных групп и классов, а всех вообще людей. Отсюда основная пружина общественного развития—не формы производства, а изменение человеческого мозга, человеческих понятий.

Согласно проповедываемому Писаревым виду идеализма в с я к о е «усовершенствование ума» ведет к техническому прогрессу, к увеличению богатства, к улучшению нравственности. История говорит, что это не так.

Вот пример, который поможет разобраться в этом вопросе. Общеизвестен факт, что в древней Греции, начиная с V века (до начала нашей эры), в высших слоях общества, а затем и среди простонародья, устанавливается взгляд на физический труд ремесленника, как на презренное занятие, достойное только раба. Наиболее крупные писатели и философы этого периода (Ксенофонт, Платон, Аристотель) стоят на подобной точке зрения. Спрашивается, высокая степень умственного развития, на которой стояли господствующие классы греческого общества, способствовала ли техническому прогрессу? Наоборот.

---

[1]) Сочинения, II, 569.

[2]) Там же, 570

Известно также, что далеко не всякое изобретение вызывает переворот в технике. Наоборот, нужны определенные экономические условия, чтобы данное изобретение получило распространение и в свою очередь оказало воздействие на изменение производственных отношений. Примеров, подтверждающих это положение, сколько угодно.

Писарев вполне последователен, когда он, став на идеалистическую точку зрения, основной пружиной исторического процесса считает распространение знаний.

«Я и теперь, и прежде, и всегда был убежден,—пишет он в статье «Реалисты»,—в том, что мысль, и только мысль может переделать и обновить весь строй человеческой жизни» [1]).

И дальше:

«Есть в человечестве только одно зло—невежество; против этого зла есть только одно лекарство—наука; но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками» [2]).

Но взгляд на исторический прогресс, как на следствие распространения научных знаний, должен логически вести к приданию большего значения образованным слоям общества и особенно носителям научных знаний, т.-е. интеллигенций.

Раз сознание людей, их убеждение определяются не их общественным положением, а степенью их умственного развития, то совершенно естественно, что «образованные» классы—самая передовая часть общества. Сознание и нравственность среди интеллигенции выше, нежели среди других классов, и только с ее помощью народные массы могут выйти из угнетения и невежества. Таким путем у Писарева складывается теория «мыслящих реалистов». По сути дела основные положения этой теории были намечены уже Чернышевским. Писарев только более подробно развил их. «Мыслящие реалисты»—вот двигатели прогресса, увеличение их количества—основная задача момента.

Кто же такие эти «реалисты»?

«Реалист—мыслящий работник, с любовью занимающийся трудом. Из этого определения читатель видит ясно, что реалистами могут быть в настоящее время только представители умственного труда. Конечно, труд тех людей, которые кормят и одевают нас, в высшей степени полезен, но эти люди

---

[1]) Сочинения. IV, 109.

[2]) Там же, 128.

совсем не реалисты. При теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире, эти люди не что иное, как машины, отличающиеся от деревянных и железных машин невыгодными способностями чувствовать утомление, голод и боль. В настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидят свой труд и совсем не занимаются размышлениями. Они составляют пассивный материал, над которым друзьям человечества приходится много работать, но который сам помогает им очень мало и не принимает до сих пор никакой определенной формы» [1]).

Революции, конечно, бывали и возможны в будущем. Но они в значительной мере—результат чувства, порыва. Революция так же может иметь успех лишь в том случае, если во главе ее будут люди мысли. «Если даже чувства и энтузиазм,—говорит Писарев,—приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить. Стало быть, размножение мыслящих людей — вот альфа и омега всякого разумного общественного развития» [2]).

В другом месте он пишет: «... Вся надежда покоится на наших пролетариях, на тех людях, которые сами себя кормят, и из которых действительно сформировались первые и постоянно формируются новые представители базаровского типа» [3]).

Отсюда понятно также и то исключительное значение, которое придает Писарев естественным наукам. Естественные науки, во-первых, оказывают непосредственное воздействие на общественное развитие, являясь основою технического прогресса; во-вторых, они формируют мировоззрение передовых людей, мыслящих реалистов, являющихся творцами прогресса.

Необходимо оговориться, что здесь изложены исторические взгляды Писарева в том виде, как они оформились в его основных произведениях. В статьях, написанных незадолго до его трагической смерти, заметно некоторое изменение взглядов на теорию исторического процесса. Например, в статье «Исторические идеи Огюста Конта», написанной в 1865 году, он заявляет, что довольно трудно решить, идет ли впереди материальное или же умственное совершенствование [4]).

---

[1]) „Реалисты“, сочинения, IV, 68—69. Разбивка моя. *Г. Л.*

[2]) „Цветы невинного юмора“ соч., III, 276. Разбивка моя. *Г. Л.*

[3]) „Посмотрим“, сочинения, V, 169.

[4]) Сочинения, V, 343.

В этой же статье он выдвигает противоречащее привычным его воззрениям утверждение, что задачу «о голодных людях» должны разрешить непременно «те люди, которые в ее разумном решении находят свои личные выгоды», и что «решение задачи заключается не в возделывании личных добродетелей, а в перестройке общественных учреждений» [1]).

Эти заявления свидетельствуют о том, что Писарев не остановился на выработанных им воззрениях. Однако для характеристики его общественного значения они не имеют решающего значения. Общество знало и воспринимало «писаревщину» в том ее виде, как она изложена выше, в виде учения о «мыслящих реалистах» и о преобладающем значении естественных наук в развитии общественной жизни и в формировании взглядов передовых людей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛАВРОВА

I. Естествознание и история

В отличие от своих предшественников, которые интересовались историей лишь в качестве публицистов, Лавров много занимался вопросами истории и социологии и написал несколько исторических работ. Если Чернышевский и Писарев были больше публицистами, чем историками, то Лавров—больше историк и социолог, нежели публицист и политический деятель. Написать «историю мысли» было заветною мечтою Лаврова, мечтою, которую ему так и не удалось вполне осуществить. Лавров ставил и разрешал вопросы истории и социологии не как дилетант, а как исследователь. И в первую очередь ему принадлежит основательная разработка методологических проблем в истории.

Свои «Исторические письма» Лавров начинает с того, чем кончил Писарев—с уяснения взаимозависимости между естественными науками и историей. На вопрос—что важнее и ближе для современной жизни—история или естествознание?—представитель «мыслящих реалистов» Писарев дал ответ в пользу естествознания.

Это понятно. «Мыслящие реалисты» были предтечами народников. Им надо было расчистить почву от хлама традиций и предрассудков. Писарев в следующих выражениях сформулировал эту задачу:

---

[1]) Сочинения, V, 398.

«... Вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать, что выдержит удар, то и годится; что разлетится вдребезги, то хлам: во всяком случае бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» [1]). История, как наука, не годится для выполнения этой задачи, так как она является «арсеналом идей для всякой партии». Задачу отрицания, расчистки исторического мусора могло выполнить только естествознание.

«Мыслящие реалисты» не успокоились на голом отрицании. Писарев, как было показано выше, выдвинул необходимость разрешения задачи о «голодных и раздетых людях». Однако положительного решения он не нашел. Писарев не был социалистом, он скорее был представителем буржуазного радикализма. С этой стороны «писаревщина», превознесение естествознания и индивидуализма вполне увязываются с тем громадным значением, которое оказывают успехи естествознания и личная инициатива на развитие производительных сил общества, поворачивающего от крепостничества к капитализму.

Поколение, выразителем стремлений и настроений которого сделался Лавров, было иным, выработало другие убеждения. Стадия чистого «отрицания» была оставлена этим поколением позади. Положительные, хотя и смутные, идеалы социализма были поставлены в порядок практической деятельности молодежи. Эти положительные идеалы в значительной мере обусловливались протестом мелкого производителя против развивавшихся в городе и деревне капиталистических форм хозяйства. Отсюда у интеллигентной молодежи упадок интереса к естествознанию, являвшемуся орудием буржуазного прогресса.

Поэтому идеолог нового поколения—Лавров—вопрос о сравнительной важности изучения естествознания и истории решает в пользу истории. Он говорит: «Естествознание есть основание разумной жизни,—это бесспорно. Без ясного понимания его требований и основных законов человек слеп и глух к самым обыденным своим потребностям и к самым высоким своим целям. Строго говоря, человек, совершенно чуждый естествознанию, не имеет ни малейшего права на звание современно образованного человека. Но когда он однажды стал на эту точку зрения, спрашивается, что ближе всего к его жизненным интересам? Вопросы ли о размножении клеточек, о перерождении видов, о спектральном анализе, о двойных звездах? Или законы развития человеческого знания, столкновение начала общественной пользы с нача-

[1]) „Схоластика XIX века", сочин., I. 330.

лом справедливости, борьба между национальным об'единением и общечеловеческим единством, отношение экономических интересов голодающей массы к умственным интересам более обеспеченного меньшинства, связь между общественным развитием и формою государственного строя?.. Если поставить вопрос таким образом, то едва ли кто, кроме филистеров знания (а их немало), не признает, что последние вопросы ближе для человека, важнее для него, теснее связаны с его обыденною жизнью, чем первые» [1]).

Даже более того. Вопросы естествознания для образованного человека важны лишь постольку, поскольку помогают уяснению вопросов общественной жизни. Естествознание—только грамотность. Но грамотность нужна не сама по себе, а лишь как орудие для решения социальных задач.

Лавров предвидит возражение, сводящееся к тому, что история не может итти в сравнение с естествознанием, так как не обладает теми методами, которые применяются в точных науках, и едва ли может быть названа наукой в подлинном смысле этого слова.

По мнению Лаврова, подобное возражение неправильно и выводится из слишком узкого определения понятия «естественные науки». Обычно к ним относят геометрию, механику, физико-химические дисциплины, биологию. Но сюда же нужно отнести психологию, этику и социологию. Если включить эти последние науки в число естественных дисциплин (а это совершенно законно), то приведенное выше возражение отпадает. Обычные орудия исследования физики, химии и биологии в приложении к психологии, этике и особенно социологии мало действительны. Эти науки должны необходимо опираться на историю. Таким образом «для естествознания в его надлежащем смысле история составляет совершенно необходимый материал, и, лишь опираясь на исторические труды, естествоиспытатель может уяснить себе процессы и продукты умственной, нравственной и общественной жизни человека» [2]).

Вообще, по мнению Лаврова, недостаточность научных методов истории не может служить возражением против нее. Меньшая точность их должна иметь следствием не пренебрежительное отношение к истории, а, наоборот, повышенную работу в этой области для поднятия истории на высоту подлинно научной дисциплины.

---

[1]) „Исторические письма", 5-е изд. Петроград. 1917 г., стр 7.
[2]) Там же, 13.

2. Исторический процесс и задачи исторического познания

Рассмотрение вопроса о задачах исторического познания Лавров связывает с уяснением особенностей истории, как процесса.

«История, как процесс, история, как явление в ряду других явлений, должна иметь и действительно имеет свои особенности» [1],— говорит он.

Чтобы уяснить особенности истории, как процесса, и особенность исторической науки, необходимо обратиться к рассмотрению об'ектов и методов исследования естественных наук.

Материалом, над которым работает естествоиспытатель, являются повторяющиеся феномены и процессы. В этом особенность естествознания. Конечно, можно с известным правом утверждать, что нет двух вполне тождественных явлений или процессов, но исследователь при их изучении будет обращать внимание главным образом на то, что в них повторяется, что для них является общим. Те или иные исключения важны лишь как подтверждение общего правила. «Формы данного кристалла,—пишет Лавров,—интересуют лишь наблюдателя профана; минералог возводит уродливые, искаженные формы к неизменным типам, подчиненным строгим геометрическим законам. Данная анатомическая аномалия есть лишь повод для анатома установить закон, который показал бы, между какими пределами отклонения колеблется нормальное устройство того или другого органа» [2]. Науки, предметом исследования которых служат повторяющиеся элементы явлений и процессов, суть науки феноменологические. К ним можно отнести: геометрию, механику, физико-химические науки, биологию, психологию, этику и социологию. Впрочем, в отношении социологии Лавров позже внес в свое первоначальное суждение значительные поправки.

Но уже среди естественных наук есть группы дисциплин, отличающихся своеобразием. Предметом изучения этих дисциплин является распределение об'ектов и форм в пространстве или во времени. К числу таких дисциплин относятся: в звездной астрономии—распределение светил, в геологии—напластование различных пород, в биологии—эволюция растительных и животных видов. Предметом исследования в данной группе наук являются неповторяющиеся феномены. Это—науки морфологические.

---

[1]) „Исторические письма", стр. 16.

[2]) Там же, 19.

История по своей логической структуре противоположна первой группе естественных наук и сходна со второй группой. Подобно морфологическим наукам, она изучает в жизни человечества неповторяющиеся элементы и сочетания элементов. «В жизни обществ, — говорит Лавров, — историк не записывает явлений, повторяющихся ежегодно с математической правильностью, но отмечает лишь то, что изменяется» [1]). Если для большинства естественных наук— наук феноменологических—имеют интерес повторяющиеся элементы явлений, то в истории находит отображение, напротив, случившееся один раз, индивидуальное, неповторяемое. «Во всех прочих процессах исследователь ищет закона, охватывающего явление во всех его повторениях,—только в историческом процессе представляет интерес не закон повторяющегося явления, а совершившееся изменение само по себе» [2]).

Конечно, факты общественной жизни могут рассматриваться как с точки зрения их индивидуальности, неповторяемости, так и с точки зрения того общего, повторяющегося, что в них содержится. В первом случае получится историческое их изображение, во втором— исследование войдет в круг естественных наук. «Насколько исторические явления представляют материал для установления постоянного закона психических явлений в личности, экономических явлений в собрании личностей, неизбежной смены политических форм или идеальных влечений в народах, настолько эти исторические явления представляют интерес для психологии, для социологии, для феноменологии личного и общественного духа. словом, для одного из отделов естествознания в его приложении к человеку. Но для историка они не экземпляры неизменного закона, а характеристические черты однажды происшедшего изменения» [3]).

Итак, уже по самому материалу, входящему в круг исследования истории, она коренным образом отличается от естествознания в узком смысле, т.-е. от наук феноменологических. Ее материалом являются последовательные во времени изменения. «История, как процесс, есть процесс развития, т.-е. неповторяющихся явлений...» [4]). Отсюда история, как наука, противопоставляется тем дисциплинам, предметом изучения которых являются повторяющиеся феномены, т.-е. наукам естественным. Этим самым не только устанавливается

---

[1]) „Исторические письма", стр. 16 — 17.
[2]) Там же, стр. 19.
[3]) Там же, стр. 21.
[4]) „Лавров о себе самом", „Вестн. Евр.", № 11, 1910 г., стр. 94.

область фактов, подлежащих историческому изучению и обработке, но и проводится разграничительная черта между историей и смежными дисциплинами—социологией и антропологией. История изучает то, что является индивидуальным, неповторяющимся в жизни человечества. Предметом социологии являются повторяющиеся факты и процессы человеческих обществ. Задача антропологии—изучение человека, как зоологической разновидности с точки зрения повторяющихся сознательных и бессознательных действий, имеющих целью приспособления к существующему, а не изменение его. Социология и антропология являются наиболее сложною, но и наиболее важною, для человека, частью естествознания.

Из установленной особенности того материала, на который обращается внимание историка, вытекают важные следствия для науки истории. Целью всякой науки является установление наиболее общих отношений между об'ектами и процессами—законов. Но здесь-то и проявляется различие между естественными науками (в узком смысле) и историей.

Согласно Лаврову, «...один и тот же термин — з а к о н — имеет различный смысл для области повторяющихся явлений и для области э в о л ю ц и и. Для первой найти закон явлений значит установить условия их повторяемости и отличить этот с у щ е с т в е н н ы й элемент от случайных видоизменений, которые встречаются исследователю. Для второй понятие о законе обозначает н о р м а л ь н ы й порядок последовательности фазисов эволюции...» [1]).

Стремление отыскать в истории законы, подобные законам наук феноменологических—неразрешимая задача. «Все попытки мыслителей, которые,подобно Вико, старались свести историю на процесс повторяющихся явлений, оказались весьма неудачны, как только дело дошло до сравнения двух периодов в частностях». Отсюда следует, что «...история представляет процесс, в котором требуется определить последовательную связь явлений, о д и н л и ш ь р а з представляющихся историку в данной совокупности, в каждый момент процесса» [2]).

Чтобы установить понятие закона в истории необходимо,—полагает Лавров,—обратиться к той группе естественных наук, которые имеют сходство с историей, т.-е. к рассмотрению наук морфологических. В этих науках дело идет о распределении форм, как, на-

---

[1]) С. С. Арнольди. „Задачи понимания истории". Изд. 2-ое. СПБ, 1903, стр. 15. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

[2]) „Истор. письма", 22. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

пример, в звездной астрономии или в систематике организмов. Понять закон распределения форм, значит установить генезис данных форм, установить, на основе каких повторяющихся процессов сложилась данное распределение форм. Для этого необходимо принять во внимание законы тех морфологических наук, которые определяют генезис исторических фактов, а именно—механики, химии, биологии, психологии, этики и социологии.

Однако не все перечисленные выше науки одновременно важны для понимания истории. Предмет истории—человек. Следовательно, при изучении истории во внимание должны быть приняты характеристические особенности человека. «Для всей группы наук, относящихся к человеку, критерий важнейшего должен прилагаться сообразно характеристическим особенностям человека» [1]). Но особенность человека—факты сознания. Факты же сознания могут оцениваться только суб'ективно, потому, что человек ни на минуту не может отрешиться от характерных для его существа процессов. Следовательно, при этом «волей-неволей приходится прилагать к процессу истории суб'ективную оценку, т.-е., усвоив по степени своего нравственного развития тот или другой нравственный идеал, расположить все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу, и на первый план истории выставить по важности те факты, в которых это содействие или противодействие выразилось с наибольшей яркостью» [2]).

Лавров проводит разграничение между об'ективным изображением фактов истории и суб'ективной оценкой их значения. В первом случае суб'ективизм историка недопустим, во втором—допустим и неизбежен. «Верующие и неверующие могут и обязаны совершенно одинаково констатировать фактическое содержание самих уважаемых текстов и их противоречия... Это—об'ективные требования, и отклонение от них было бы безусловно ненаучно. Но место, которое историк считал бы необходимым уделить в общей картине эпохи или в попытке ее научного уяснения словам той или другой проповеди сравнительно с падением Сеяна, с поэмой Лукреция или с работами Гиппарха, зависело бы от его понимания эпохи по суб'ективному развитию его, историка...» [3]).

Вне суб'ективной оценки исторических фактов нет возможности отделить в истории случайное от основного, здоровое от патологиче-

---

[1]) „Ист. письма", 26.

[2]) Там же, 31.

[3]) Арнольди. „Задачи пон. ист.", 81.

ского. Нет соответствующего об'ективного критерия. Таким критерием нельзя взять размеры распространения данного явления или оценку его современниками, потому что в первом случае «эпидемии пришлось бы признать более значительным историческим явлением, чем проповеди Виклифа и Яна Гуса, а романтизму, охватившему литературу значительного числа народов, дать в истории мысли гораздо большее место, чем системе Спинозы...». А во втором случае «Огюст Конт был бы совершенно маловажным явлением сравнительно с эклектизмом, крестовый поход Людовика IX в Африку имел бы несравненно более значения, чем разрушение провансальской цивилизации другими крестоносцами той же эпохи...» [1]).

Но дело не только в том, что, по мысли Лаврова, нет об'ективного критерия для группировки событий истории; его и не может быть, так как единственно законная точка зрения в истории—антропологическая. «...Вне человека,—пишет Лавров,—существуют только одновременные и последовательные сцепления фактов столь мелких и дробных, что человек едва ли может их и уловить во всей их мелкости и дробности» [2]). А поэтому «...различия важного и неважного, благодетельного и вредного, хорошего и дурного суть различия, существующие лишь для человека, а вовсе чуждые природе и вещам самим в себе...» [3]).

Таким образом, приложение в истории в известных целях суб'ективного метода совершенно необходимо и неизбежно. Историк устанавливает суб'ективный критерий оценки и группировки событий в виде «формулы прогресса», при помощи которой история из пестрого калейдоскопа событий превращается в стройную картину поступательного движения человечества.

Приложением суб'ективного метода к изучению истории ни в коей мере не ограничиваются права об'ективного исследования там, где последнее возможно. Суб'ективный метод исследования имеет ограниченные рамки и специфические задачи. «Научное приложение суб'ективных приемов мышления в истории обнаруживается преимущественно в трех задачах исторического понимания: в оценке сравнительной важности того или другого элемента культуры или той или другой отрасли работы мысли в определенную эпоху; в признании того или другого элемента культуры или работы мысли здоровым или патологическим

---

[1]) Там же, стр. 85.

[2]) „Историч. письма", 33 и сл. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

[3]) Там же, 32. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

для определенной эпохи; в допущении, что для той или другой группы явлений и событий существовала общая возможность иметь место в данную эпоху, хотя конкретные случайные распределения интеллектуальных и общественных сил и общий ход событий подорвали эту возможность»... [1]).

Таковы в основном методологические принципы исторической науки, выдвинутые П. Л. Лавровым. Источником его взглядов в этой области являются теоретические построения Канта. Из этого же источника, как известно, черпают свою историко-философскую мудрость Виндельбанд и Риккерт. Кант устанавливал различие между естествознанием и моральной философией, куда входит и историческая деятельность, и требовал их разграничения с точки зрения методологии. Суб'ективный же метод заимствован Лавровым у Конта.

Как и Лавров, Г. Риккерт (заимствовавший свои взгляды у Виндельбанда) противополагает естествознание истории. В естествознании процессы и явления рассматриваются с точки зрения того, что им обще. Метод естествознания генерализирующий. В истории, наоборот, мы имеем дело с индивидуальными изображениями. Метод истории индивидуализирующий.

Однако не все индивидуальное может быть воспроизведено в историческом описании. Историк нуждается в известном критерии для отбора важного и неважного. Этот критерий состоит в отнесении индивидуальных фактов к ценности. В истории получает место лишь то, что связано с ценностями.

Историческая наука имеет целью изобразить процесс развития. Но понятие развития характеризуется тем, что в нем предполагается известная цель. Поэтому при исследовании процесса развития должно быть принято во внимание понятие цели, т.-е. методом исследования исторических событий является телеология.

Общим критерием группировки событий в истории является категория прогресса. Понятие прогресса строится, как общезначимая категория, и задачи такого построения падают на философию истории.

Из этого очень краткого изложения сущности методологических принципов Риккерта видно, насколько сходны построения Лаврова и школы Виндельбанда-Риккерта.

Методология истории Лаврова (равно как и Виндельбанда-Риккерта) представляет собою по сути дела теоретическое оправдание того ненаучного состояния истории, в котором она находилась до

---

[1]) С. С. Арнольди. „Задачи понимания истории", 84.

обоснования материалистического метода и которое характерно для буржуазной историографии и посейчас.

Совершенно верно положение, что в основном естествознание имеет об'ектом исследования повторяющиеся факты и явления, а история по преимуществу занимается рассмотрением индивидуальных, неповторяющихся сочетаний и фактов. И тем не менее Лавров совершенно неправильно делает отсюда вывод, что «в историческом процессе представляет интерес не закон повторяющегося явления, а совершившееся изменение само по себе» [1]). История, как и всякая другая наука, не самоцель. Она лишь средство, орудие познания общественных отношений и их преобразования. И поэтому историка (подлинного ученого, т.-е. сторонника исторического материализма) интересует не совершившееся изменение само по себе, а о б'я с н е н и е совершившегося изменения посредством социологических законов, т.-е. уяснение необходимости изменения реальной основы общественного развития и сведение данного исторического факта или сочетания фактов к этой реальной основе. Научно познать то или иное историческое явление значит не просто изобразить его, а о б'я с н и т ь данное явление, т.-е. свести его индивидуальные черты к общим причинам, к реальной основе общественного развития.

Вопрос о группировке фактов, об отличии существенного и второстепенного с этой точки зрения получает совершенно иную трактовку.

Суб'ективные социологи полагали, что группировка событий, историческая перспектива могут быть только суб'ективными, что нет об'ективного критерия, позволяющего произвести подобного рода работу. Это совершенно неверно. Изучение социальных взаимоотношений ведет к установлению о б'е к т и в н о й тенденции развития. С точки зрения научно-познанных законов социологии и установленной тенденции развития понятно, какие факты являются важными, какие второстепенными.

Вот как говорит об этом Ленин:

«Эта теория (марксизм.—*Г. Л.*) выработала понятие о б щ е с т в е н н о-э к о н о м и ч е с к о й ф о р м а ц и и. Взявши за исходный пункт основной для всякого человеческого общежития факт—способ добывания средств к жизни, она поставила в связь с ним те отношения между людьми, которые складываются под влиянием данных способов добывания средств к жизни, и в системе этих отношений

---

[1]) „Историч. письма", 19.

(«производственных отношений» по терминологии Маркса) указала ту основу общества, которая облекается политико-юридическими формами и известными течениями общественной мысли. Каждая такая система производственных отношений является, по теории Маркса, особым социальным организмом, имеющим особые законы своего зарождения, функционирования и перехода в высшую форму, превращения в другой социальный организм. Этой теорией был применен к социальной науке тот об'ективный, общенаучный критерий повторяемости, возможность применения которого к социологии отрицали суб'ективисты» [1]).

Таким образом, только с точки зрения материалистического понимания истории получают удовлетворительное и об'ективное решение основные вопросы истории. Само собой разумеется, что история пишется людьми определенного класса, имеющими известные убеждения. Историк не может не вносить этих суб'ективных элементов в свои труды, но изображения взаимозависимости событий, тенденций развития исследуются им об'ективно. Суб'ективные элементы могут иметь при этом чисто практическое значение, ни в коей мере не затрагивающее об'ективизма историка и социолога, если он соблюдает методы научного исследования.

3. Научное понимание истории

В каждый данный момент в жизни человеческого общества можно различить самые разнообразные элементы, действующие во всех направлениях. Во-первых, каждая эпоха имеет свои присущие ей жизненные задачи, выражающиеся в постановке и достижении личностями определенных, совершенно необходимых целей. Далее, на ряду с этим наблюдается присутствие многочисленных остатков прошлого, переживаний, которые, вплетаясь в процесс общественной жизни, видоизменяют ее соответствующим образом. Наконец, в жизни общества имеются элементы, действительное значение которых выявится лишь в будущем. Они подготовляются самим ходом вещей. помимо сознания личностей.

Одна из основных задач научного понимания истории—анализ данной исторической эпохи с точки зрения выделения характеристических задач эпохи, переживаний прошлого и зародышей будущего. Только разложив запутанную комбинацию событий на эти простые элементы, можно понять данный исторический период.

---

[1]) „Экономич. сод. народничества", собр. соч., II, 73 — 74.

«... В каждую эпоху,—пишет Лавров,—формы жизни и приемы мысли живущего поколения обусловлены отчасти элементами, сохранившими свою жизненность, отчасти же пережиииваниями форм жизни и приемов мысли прежних поколений. Лишь эти влияния позволяют понять многое в том, что озабочивает людей в данной эпохе и составляет ее характеристические черты. К этим элементам присоединяется еще иной: каждое поколение не только сознательно идет к своим целям; оно еще полусознательно подготовляет будущее, которое для него вовсе не составляет сознанной цели, но и вырастает из прошлого с фатальной необходимостью» [1]).

Как идеалист, Лавров подходит ко всем историческим процессам с точки зрения тех данных сознания, какие наблюдаются в описываемую эпоху; предметом его изучения являются процессы, совершавшиеся в головах личностей, составлявших общества, двигавших события. Только оценка этих сознательных процессов принадлежит историку. при чем эта оценка вытекает из его суб'ективного развития. Лавров ни разу не ставит вопроса—можно ли из содержания сознания выводить об'ективную закономерность: для него такой об'ективной закономерности в истории не существует. Данные сознания—основной материал истории, как науки, и так как непосредственно в сознании личностей самые разнообразные идеи одинаково даны, одинаково реальны, то только благодаря построенному историком нравственному и умственному критерию, каким является понятие цели, к которой стремится человечество, историк может распределить идейные процессы, совершавшиеся в личностях, на характеристические для данной эпохи переживания прошлого и зародыши будущего.

Отсюда вытекает то обстоятельство, что для историка смысл явлений представляется совершенно иным, нежели для современников событий. Историк знает, какое значение позже получили те элементы эпохи, которые вырабатывались в совершенно иной связи и поэтому понимались современниками совершенно иначе.

В самых общих чертах борьба и взаимное влияние жизненных элементов, переживаний и зародышей будущего могут быть представлены, как борьба идей, воплотившихся в известные культурные формы, и критической мысли, стремящейся к изменению, переработке культурных форм.

Таким образом, мы подходим ко второй задаче научного понимания истории—к рассмотрению взаимодействия культуры и мысли.

---

1) С. С. Арнольди. „Задачи понимания истории", 22. Разбивка автора. *Г. Л.*

Лавров различает понятия «культуры» и «цивилизации». Культура—совокупность форм общежития и психических элементов в жизни человеческих обществ, имеющая тенденцию к неизменности, застою. Это консервативный элемент в жизни человечества. Культура превращается в цивилизацию, т.-е. в процесс прогрессивной смены форм, лишь под действием мысли.

Однако, несмотря на стремление к застою, культура все же изменяется. Только изменения эти происходят страшно медленно и почти бессознательно.

Причины этих изменений нужно видеть, во-первых, в потребностях личностей, составляющих общество, во-вторых, во влиянии на личности социальной среды. Потребности личности создают известные формы общежития. Но раз созданные формы общежития оказывают в свою очередь могущественное влияние на личность. Выступая, как об'ективный исторически развившийся факт, они поддерживают в личностях одни потребности, ослабляют или усиливают другие и создают новые потребности. «Взаимодействие личностей с их потребностями и общественных форм, создающих солидарность личностей, выступает, как один из самых существенных элементов истории» [1]).

Но потребности разнообразны по происхождению и особенно по значению для исторической жизни человечества. В общем потребности можно разделить на следующие группы: во-первых, основные потребности. Они идут далеко вглубь прошлого и унаследованы в значительной мере от зоологических предков человека. К ним относятся: потребность общежития, половой инстинкт, потребность питания, безопасности и нервного возбуждения. Особенно важное значение имеют три последние потребности. Они выступают в истории, как могучие двигатели эволюции человечества. По мнению Лаврова, различные течения в социологии зависят от того, насколько тот или иной социолог считает преобладающей в истории человечества одну из указанных потребностей. Исторические материалисты ставят во главу угла потребность питания, сторонники юридического понимания—потребность безопасности, и, наконец, сторонники идеалистических взглядов склоняются к преобладанию идей, возникающих в результате потребности нервного возбуждения.

Вторая группа—это потребности временные. Они возникают на почве основных потребностей и представляют из себя исторические категории. Подробное рассмотрение этих потребностей приводит

---

[1]) С. С. Арнольди. „Задачи понимания истории“, 25.

к заключению, что они представляют собою более сложные пути для удовлетворения основных потребностей. К этой группе потребностей применима нравственная оценка. Ко временным потребностям относятся: религия, формы семьи, частная собственность.

Наконец, особо Лавров выделяет потребность развития. Она возникает на основе потребности нервного возбуждения. Потребность развития имеет исключительно важное значение. «Она обусловила и первое проявление идейных интересов в истории, и их первое эпизодическое обнаружение, и их логически неизбежное усиление, несмотря на все стремления интересов экономических и политических преобладать в истории...» [1]).

Строго говоря, историческая жизнь народов начинается с того момента, когда внутри их вырабатывается интеллигенция, являющаяся носительницей мысли.

Взаимодействие, борьба между культурными формами и мыслью—основное содержание исторического процесса.

«Потребность солидарного общежития для успеха в борьбе за существование,—пишет П. Л. Лавров,—вызывает постоянно возникающее в обществах стремление к созданию таких форм общежития, которые представляли бы возможную прочность и возможно меньшую необходимость в изменениях и в переделках... Потребность расширения сознательных процессов в особи—или того, что здесь будет подразумеваться под термином работы мысли—ведет к столь же постоянно возникающей переработке обычая» [2]).

4. Философское понимание истории.

«... Философскою задачею исторического мышления,—пишет Лавров,—можно считать вопрос о том, насколько понимание исторического процесса... сможет быть соглашено с тем или другим общим миросозерцанием...» [3]).

Научная история, с этой точки зрения, является материалом для дальнейших обобщений, для построения теории, сочетающей элементы исторического познания и общего мировоззрения.

Одною из основных задач философского понимания истории, по Лаврову, является вопрос о роли личности в истории.

Процесс истории есть процесс переработки культуры мыслью. Культура — неподвижное, склонное к застою, начало истории; только

---

[1]) С. С. Арнольди. „Задачи понимания истории", 57.

[2]) „Задачи понимания истории", 32 и сл. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

критическая мысль является агентом движения прогресса. «Культура общества есть среда, данная историею для работы мысли... Мысль есть единственный деятель, сообщающий человеческое достоинство общественной культуре» [1]).

Но носителями мыслей являются личности. «Мысль реальна лишь в личности» [2]). Следовательно, общая формула процесса истории, как переработки культуры личностью, находит свое выражение в философском вопросе о роли личности.

Рассмотрение этого вопроса удобно—мне представляется—начать с выяснения довольно распространенного недоразумения, будто Лавров придавал исключительное значение личности, как двигателю исторического процесса [3]). Недоразумению этому дал повод сам Лавров. У него можно найти такие, например, выражения: «Личность, ясно понимающая минувшее и энергически желающая правды, есть по своей природе правомерный ценитель истинного опыта человечества, правомерный истолкователь истинного разума истории» [4]). «Личность, действующая на общество на основании научного убеждения о справедливейшем, есть источник истории» [5]).

И, однако, несмотря на подобные заявления, утверждение, что в основу своей теории Лавров ставит «одинокую борющуюся личность» неверно.

Движущею силою истории Лавров считает не отдельные изолированные личности, а интеллигенцию, об'единенную в крепкую партийную организацию и опирающуюся на известные (наиболее сознательные) слои угнетенных масс.

В «Исторических письмах» мы находим по этому вопросу следующие строки: «Но как же шла история?—спрашивает Лавров.—Кто ее двигал?—Одинокие борющиеся личности. Как же они достигли этого?—

---

[1]) П. Л. Лавров. „Историч. письма", 99.

[2]) Там же, 100.

[3]) Характеризуя учение Лаврова о личности, П. Струве, например, пишет: „С точки зрения автора „Истор. писем" творцом прогресса является критически мыслящая личность... Историю делали одинокие борющиеся личности" (П. Струве „Критические заметки", СПБ, 1894 г., стр. 5). Если бы Струве продолжил выписку, то убедился бы, что Лавров стоял далеко не на такой наивно-индивидуалистической точке зрения, как явствует из этой произвольно вырванной фразы. Выше я привожу это место из „Истор. писем" полностью.

[4]) П. Л. Лавров. „Историч. письма", 110.

[5]) П. Л. Лавров. Задачи позитивизма и их решение. Изд. „Р. Бог", СПБ, 1906, 73.

Они делались и должны были сделаться силою... Перед общественными формами личность, действительно, бессильна, однако борьба ее против них безумна лишь тогда, когда она силою сделаться не может» [1]).

Силою же личность делается, вступая в союз с единомышленниками. «Сделаться силою личность может лишь сделавшись членом группы, которая поставила бы себе одну общую цель, скрепилась бы солидарностью общего убеждения» [2]).

Итак, личности представляют из себя историческую силу лишь в том случае, если они организованы. Но организация интеллигенции в свою очередь должна опираться на угнетенные массы. Как же представляет Лавров партию и связанные с нею группы? «Зерно ее (партии.—*Г. Л.*) — небольшое число выработанных, обдуманных, энергических людей... Около них — люди интеллигенции, менее выработанные. Реальная же почва партии—в неизбежных союзниках, в общественных группах, страждущих от зла, для борьбы с которым организовалась партия» [3]).

Отдельные выражения, которые могли бы подать повод к заключению, будто Лавров стоит на точке зрения признания исключительной роли индивидуальной деятельности, об'ясняются его общим пониманием исторических об'ектов. Он считает, что единственная реальность истории—личность. Общество, группа, класс—логические понятия, понятия, созданные в целях более удобного рассмотрения явлений. В смысле же понимания реального содержания исторического процесса Лавров далек от узкого индивидуализма. «Ненаучно видеть в историческом процессе исключительно комбинацию личных аффектов и интересов, личного понимания событий и личного творчества социологических идей и общественных форм, комбинацию, как бы вполне зависящую от индивидуальных особенностей исторических героев. Но столь же ненаучно рассматривать этот исторический процесс, как безличный...» [4]).

Однако то обстоятельство, что личность, как таковая, бессильна перед общественными формами, отнюдь не говорит о невозможности выделения в истории времени от времени замечательных личностей, которые в силу известных обстоятельств становятся в центре собы-

[1]) Стр. 110. Разбивка первая—моя, вторая — Лаврова. *Г. Л.*

[2]) П. Л. Лавров. „Социальная революция и задачи нравственности". Изд. „Колос", Птгр., 1921 г., 30.

[3]) „Истор. письма", 119. Разбивка моя. *Г. Л.*

[4]) С. С. Арнольди. „Задачи пон. ист.", 106.

тий и могут оказывать на них большее влияние, чем другие личности. «Для обращения исторически возможного в действительно совершающееся трудно не признать преобладающую роль личностей, случайно поставленных в узле событий данной эпохи...» [1]).

В вопросе о том, насколько действия личностей обусловлены влиянием на них общественной среды, у Лаврова не только нет достаточной ясности, но порою встречаются прямые противоречия. Так, в одном месте он пишет: «... Самый талантливый деятель не может устраниться от влияния современных ему привычек, современной ему культуры, не может оторваться от истории, выработавшей эту культуру, не может удалить условий среды, при которых ему приходилось действовать» [2]). Это звучит почти по-марксистски, но беда в том, что подобные решительные заявления у Лаврова отнюдь не исключают иного мнения. В статье «Социальная революция и задачи нравственности», например, он пишет: «С пробуждением критической мысли является противоположение личности обществу... Герой, пророк, законодатель, мудрец, философ выступают из массы, подчиненной обычной жизни, вырабатывают в себе идеал исключительной нравственной жизни не только независимо от жизни обычной, но весьма часто прямо противоположной ее идеалам» [3]).

Это противоречие является следствием дуализма исходной позиции Лаврова. Наблюдая о б'е к т и в н ы й процесс истории, он вынужден признать обусловленность воззрений и действий личности влияниями окружающей среды. Как идеалист, ставящий в основу теории личное сознание, он скатывается к противопоставлению критически мыслящей личности инертной массе. Только понятие классовой борьбы устраняет видимое противоречие между обусловленностью общественным влиянием действий и идеалов личности и выделением групп, ведущих борьбу с общепризнанными воззрениями и жизненными формами. Но этого-то понятия в правильной постановке Лавров не мог усвоить до конца своей жизни.

Отсюда у Лаврова известные колебания в вопросе о детерминизме и о свободе воли. В ранних произведениях он констатировал противоречие между наблюдаемым во всех естественных процессах детерминизмом и неустранимым фактом сознания личностью свободы действий. При этом Лавров склонен был отбросить детерминизм, как «метафизи-

---

[1]) С. С. Арнольди. „Задачи пон. ист.“, стр. 335 и сл.
[2]) П. Л. Лавров. „Из ист. соц. учений“. Птгр. „Колос“, 1919 г., стр. 98.
[3]) Там же, стр. 24 и сл.

ку». Позднее он приходит к выводу, что свобода воли—иллюзия. Но с точки зрения личности она, тем не менее, неустранимый факт. Получается нечто вроде признания «двойственной истины»: с одной стороны, мы имеем детерминизм истории, как естественного процесса; с другой—для личности этого детерминизма не существует; она должна действовать, как бы ее поступки не были обусловлены. «Каков бы ни был настоящий источник наших представлений о целях, которые мы себе ставим, и о средствах, избираемых нами для достижения, мы не можем устранить признания их, как фактов нашего суб'ективного мира... Орудием детерминизма мы не в состоянии изучить разницу, которую мы сознаем между целью полезной и вредною, высшею и низшею...» [1]). А так как практическая деятельность индивидуума требует различения хороших и дурных целей, целесообразных и вредных средств, то их приходится изучать, как они даны нашему сознанию.

Для Лаврова закономерность в общественных явлениях, их детерминированность—фатализм. Лавров (как и все метафизики) не может понять, что обусловленность человеческих действий—это лишь достаточная причина для деятельности человека, что об'яснить человеческие действия это не значит их уничтожить. И поэтому исторический материализм, об'ясняя действия людей, вовсе этим не превращает деятельность человека в суб'ективную иллюзию.

И еще другой момент. Плеханов в «Монистическом взгляде» с поразительным блеском выяснил, что события общественной жизни фатальны (т.-е. недоступны воздействию) лишь до тех пор, пока не поняты законы общественных отношений. Открытие же законов, по которым развивается общество, дает возможность не только предвидеть результаты изменений, но и воздействовать на об'ективный ход вещей. Необходимость рождает свободу.

Но идеализм Лаврова мешает понять эти положения. Так, отправная точка его теоретических построений ведет к неустранимому дуализму детерминированности мирового процесса и свободы человеческого действия.

Основным орудием философского понимания истории является исследование исторического процесса при помощи понятия о прогрессе. Элементы исторического процесса должны быть, согласно Лаврову, выделены и сгруппированы с точки зрения нравственного идеала историка. Все, что приближается к этому идеалу,—прогрессивно, нравственно и разумно, и наоборот, все враждебное мировоззрению

---

[1]) С. С. Арнольди. „Задачи пон. ист.“, 103. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

историка — регрессивно и безнравственно. «В процессе истории, — пишет Лавров,—мы неизбежно видим прогресс. Если мы сторонники начала, торжествующего в наше время, то мы рассматриваем свою эпоху, как венец всего предыдущего. Если наши симпатии принадлежат тому, что очевидно ослабело, то мы верим, что наша эпоха критическая, переходная, патологическая, за которою последует эпоха торжества нашего идеала или в реальном мире, или в мифическом будущем, или в сознании лучших представителей человечества» [1]).

Понятие о прогрессе суб'ективно. Мы наблюдаем известные явления, которые признаем прогрессивными, и другие, признаваемые нами регрессивными. Но об'ективно установить необходимость развития тех или иных элементов нет средств. «Понятие о прогрессе и регрессе, заключая в себе понятие о лучшем и высшем, на почве исключительного детерминизма немыслимо, а потому самый вопрос о фатальности прогресса вообще есть вопрос, заключающий в себе логическое противоречие» [2]).

Понятие прогресса, стремление к его осуществлению для Лаврова, выражаясь языком Канта, «регулятивная идея». «Говоря о прогрессе, никому не следует думать, что он решает вопрос: как действительно совершается течение событий...» И дальше: «будет или не будет осуществлен прогресс в его окончательных задачах, это неизвестно...» [3]). Личность тем не менее нравственно обязана стремиться к его осуществлению; историк должен рассматривать исторический процесс с точки зрения усиления или ослабления в нем элементов прогресса.

В этих утверждениях Лаврова верно только то, что понятие прогресса—суб'ективное, человеческое. Но тем не менее в приложении к общественной жизни это понятие получает об'ективное значение, если оно основано на изучении подлинных тенденций общественного развития. Суб'ективисты строят понятие прогресса произвольно. Исторический материализм установил об'ективные тенденции развития, и при рассмотрении их с точки зрения определенного класса оказалось, что эти тенденции прогрессивны. Тут нет ничего фатального, на лицо лишь совпадение об'ективной тенденции и суб'ективных стремлений определенного класса.

Впервые наиболее определенно формула прогресса была сформулирована Лавровым в «Исторических письмах» (1869 г.). Прогресс, по

---

[1]) „Истор. письма", 233.

[2]) Там же, стр. 42, разбивка Лаврова. Г. *Л.*

[3]) Там же, стр. 233.

его мнению,—«развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости» [1]). В дальнейшем Лавров внес довольно крупные изменения в эту первоначальную формулу. Уже в статье «О теории и практике прогресса» (1881), помещенной в «Слове», он отмечает, что два начала, входящие в понятие прогресса—«развитие личности» и «воплощение в общественных формах истины»—противоречивы и при преобладании одного из них идеал прогресса не будет осуществляться. Преобладание начала «развития личности» может повести к безудержному индивидуализму, к образованию привилегированного меньшинства, способного жить и развиваться за счет большинства. С другой стороны, преобладание начала строительства справедливых общественных форм может повести к застою, к преобладанию культурных форм. Поэтому в «Задачах понимания истории» (1898) Лавров предложил новую формулу, измененную в том смысле, что оба процесса прогрессивны, поскольку они не препятствуют друг другу [2]).

Выше рассмотрены два основных вопроса философского понимания истории: роль личности и формула прогресса. Третьим вопросом философии истории Лаврова является проблема сведения исторического процесса к более элементарным областям знания, нежели социология и коллективная психология.

Сведение событий и явлений истории на факты личной психологии, по мнению Лаврова, может иметь место, но лишь в тех случаях, когда оно оказывается возможным на основании исторических документов. Во всех остальных случаях историк должен пользоваться более близкими истории науками (социология, коллективная психология).

Еще более ограничена возможность об'яснения исторических фактов с помощью более элементарных наук (напр., биологических). Это возможно только в исключительных случаях.

Гораздо более научно сведение известных исторических явлений на условия географической среды, передвижения населения, его плотность. Но, по мнению Лаврова, «об'яснение исторических событий влиянием распределения в пространстве и во времени предметов и явлений внешнего мира, правильное и научное в общих чертах, становится тем более сомнительным и тем менее научным, чем специальнее исторический вопрос, о котором идет речь» [3]).

---

[1]) П. Л. Лавров. „Историч. письма", стр. 42, разбивка Лаврова.

[2]) Там же, стр. 121.

[3]) „Задачи поним. ист.", 127.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛАВРОВА

1. Задачи и метод социологии

В отличие от истории, об'ектом исследования которой являются коллективные организмы, рассматриваемые в процессе развития, в процессе ряда последовательных изменений, социология этот же материал обрабатывает с точки зрения повторяемости тех или иных его элементов. Социология—наука о строении общества, о его развитии. Но что такое общество? Это не есть, по мнению Лаврова, нечто реальное. Это—известное логическое понятие—не больше. «Понятие об обществе, — пишет Лавров, — при внимательном рассмотрении его оказывается лишь удобною формулою для изучения единовременных психических процессов, совершающихся в большем или меньшем числе солидарных между собой личностей» [1]).

Следовательно, важно изучение не самого по себе общества, а тех процессов, которые совершаются в личностях, составляющих общество, сознания личностями своей солидарности.

«Социологию дозволительно понимать исключительно, как науку солидарности сознательных особей, в установлении, усилении, ослаблении и разрушении этой солидарности» [2]).

Социология—наука о повторяющихся явлениях и входит в круг естествознания. Казалось бы, что из этого обстоятельства вытекает необходимость открытия об'ективного закона развития общества. Однако исходные положения мировоззрения Лаврова не позволяют ему сделать этого напрашивающего само собой вывода. Он разлагает общественные явления на отдельные элементы и оценивает эти элементы с точки зрения усиления или ослабления общественной солидарности. Задача социологии состоит вовсе не в необходимости вскрыть об'ективную тенденцию развития (это, по мнению Лаврова, метафизика), а в том, чтобы из наиболее доброкачественных элементов составить наиболее совершенную комбинацию общественных отношений и стремиться к ее осуществлению, независимо от реальных тенденций. Отсюда об'ектом изучения социологии по Лаврову являются не только существующие формы человеческого общежития, но и желательные. Социология—наука не только о сущем, но и о желательном. Предме-

---

[1]) „Задачи пон. ист.“, стр. 119.

[2]) Там же.

том ее изучения являются процессы ослабления и усиления солидарности, как в существующих обществах, так и с точки зрения создания идеального общественного строя.

Суб'ективный метод, применяемый к построению истории, в значительной мере распространяется и на социологию. В свое первоначальное понимание социологии, как науки, совершенно тождественной наукам феноменологическим, Лавров внес поправку. Она сводится к тому, что в отличие от естественно-научных социологические факты усиления и ослабления солидарности являются в значительной мере историческими категориями. Вследствие особой сложности этого рода явлений только в исключительных случаях мыслимо возникновение тождественных сочетаний и сопровождающих их условий. Таким образом, повторяемость социологических элементов чисто теоретическая. На практике совершенно одинаковых фактов из этой области почти невозможно наблюдать. «Хотя... явления укрепления и ослабления солидарности изучаются, как бы они были явлениями повторяющимися, однако условия, при которых эти явления обнаруживаются, оказываются существенно различными для разных эпох» [1]).

Эти-то условия обнаружения социологических категорий и изменяют их значение, придавая им исторический характер.

Так, например, если взять частную собственность, то ее влияния на факты солидарности в эпоху распадения родового строя и замены его другим проявляются совершенно иначе, нежели в эпоху развития индустриального пролетариата.

Социолог должен понять различие условий проявления одних и тех же форм. Но правильное уяснение этого социологического различия зависит, главным образом, от суб'ективного развития исследователя. Этот факт «сбусловливает важную и неизбежную роль суб'ективных приемов мысли в социологии, насколько категории, в ней рассматриваемые, оказываются категориями историческими» [2]).

Логическим выводом из всех предыдущих положений является применение в социологии понятия прогресса. Прогресс есть «окончательный вопрос социологии». Построение научной социологии без теории прогресса невозможно. «Пока социолог не уяснил себе, в чем именно надо видеть прогресс, до тех пор отдельные части социологии отрывочны, их отношения неопределенны, и они едва ли могут итти далее собирания и группировки фактов, далее описания того, что было и что

---

[1]) С. С. Арнольди. „Задачи поним.“, 82.

[2]) Там же, стр. 83.

есть, далее получения кое-каких эмпирических законов, научный смысл которых остается неясным»[1]).

Таким образом и в социологии с некоторым видоизменением должны применяться те же методы исследования, что и в исторической науке.

2. Условия проявления, роста и ослабления солидарности

При рассмотрении исторической теории Лаврова мне мимоходом пришлось уже коснуться роли человеческих потребностей в истории. Теперь необходимо более подробно остановиться на этом вопросе с социологической стороны, т.-е. в том отношении, насколько различные потребности создают или разрушают формы солидарности.

Потребности человека, как было отмечено выше, делятся на две группы. Это, во-первых, основные потребности и, во-вторых, потребности временные. Основные потребности—категории естественные, для человека они раз навсегда данный факт, не подлежащий моральной оценке; временные потребности, наоборот,—исторические категории. Они могут быть здоровыми и патологическими, и в зависимости от этой суб'ективной оценки личности могут стремиться к их укреплению или уничтожению, замене другими.

Слой потребностей в их отношении к процессу проявления солидарности Лавров делит, в свою очередь, на две группы. В первую группу входят, удовольствие общежития, половой инстинкт и родительская привязанность; во вторую—потребность питания, безопасности и нервного возбуждения.

Рассматривая эти группы потребностей в их отношении к процессам солидарности и усиления сознания в личностях, Лавров приходит к заключению, что первая группа «оказалась... или весьма мало влиятельною по отношению к задачам солидарности и развития сознательных процессов, или даже влияла на этой почве скорее в неблагоприятном направлении»[2]). Так, удовольствие общежития не есть, во-первых, инстинкт самостоятельный, а вырабатывается под влиянием других мотивов, и, кроме того, этот инстинкт проявляется за счет развития сознательных процессов.

Половой инстинкт является важным источником выработки социальных чувств, но становится на дороге расширения общественной

[1]) П. Л. Лавров. „Формула прогресса Михайловского", 5 и сл.

[2]) „Задачи пон. истории", 36.

солидарности, способствуя замыканию личностей в кругу семьи. В том же направлении влияет и инстинкт родительской привязанности.

Наоборот, вторая группа потребностей способствовала выработке солидарности и усилению сознательных процессов. Потребность в пище легла в основание всей эволюции экономической жизни человечества. Эта потребность имеет весьма важное социологическое значение. Так, например, наслаждение общею едою легло в основу тех коллективных трапез, которые оказали влияние на выработку социальных чувств у дикарей; история городов Германии в эпоху перехода от средних веков к новому времени тесно связана с переходом большинства трудящихся от мясной пищи к растительной. «Едва ли нужно напоминать,—говорит Лавров,—что в дальнейших формах своей трансформации в потребность обеспечения себе запасов необходимого и привлекательного вся эволюция родовой, семейной, индивидуальной и государственной собственности, борьба классов в продолжение всей истории и борьба труда с капиталом в наше время оказываются в значительной мере в своем основании «вопросами желудка» и что огромная доля творчества художественного, философского, научного и нравственного уже теперь может быть отнесена к этому источнику» [1]).

Приведенная цитата характеризует не только место, уделяемое Лавровым потребности питания в «иерархии потребностей», но и в известной степени отношение самого Лаврова к материалистическому пониманию истории. Приведенное место взято из работы, написанной в 90 г.г., т.-е. в тот период, когда, по мнению некоторых исследователей, Лавров был уже почти что марксистом. Нетрудно видеть, что самое выведение роли «экономического фактора» из потребления доказывает, что Лавров не понял основных положений исторического материализма, хотя и усвоил в известной степени марксистскую терминологию.

Потребность в ограждении безопасности также сыграла большую роль в развитии солидарности. Она обусловила политическую жизнь человеческих обществ. За счет этой потребности надо отнести и развитие идей права, идеалов политической свободы и солидарности.

Наконец, третья потребность—потребность в нервном возбуждении—явилась могучим стимулом перехода «от неисторического строя мысли к историческому», т.-е. к критической мысли. На основе этой потребности выросло наслаждение критической мыслью, научным знанием, философией.

[1]) „Задачи пон. истории", 40.

Так как потребности первой группы не создали значительных проявлений солидарности, то социологу нет нужды подробно останавливаться на них. Наоборот, вторая группа потребностей подлежит подробному анализу.

По мысли Лаврова три потребности второй группы создали общественную жизнь человечества. Задача социологии — установить степень воздействия каждой из этих потребностей на социальную жизнь человечества.

При этом опять-таки необходимо помнить, что для Лаврова речь идет о потребностях лишь в смысле сознанных мотивов. Только в исключительных случаях историк может сводить исторические явления на об'ективные процессы личной психологии, биологии и т. д., в огромном же большинстве случаев «научное понимание остается в сфере коллективных интересов, аффектов, убеждений и преимущественно с о з н а т е л ь н ы х мотивов» [1]).

Таким образом, в качестве идеалиста, Лавров считает, что о бытии личностей и обществ следует судить по тому, как оно отражается в сознании личностей. Вернее, он отождествляет сознание личностей с их бытием.

Так как потребность в пище безусловно преобладает над другими потребностями, то, по крайней мере по отношению к прошедшему и настоящему времени, следует признать главенствующую роль этой потребности в ее воздействии на деятельность и работу мысли человека.

Гораздо слабее влияние потребности безопасности и потребности нервного возбуждения. В нашу и в предшествовавшие эпохи их проявления были эпизодическими и мало интенсивными, в особенности проявление последней потребности—потребности нервного возбуждения.

Таким образом, при научном об'яснении исторических фактов предшествовавших эпох следует в первую очередь предположить для них наличие экономических мотивов.

Но в это положение Лавров вносит две оговорки, спасающие его от «односторонности».

Оговорка первая. Наибольшее распространение господства «экономического фактора» приходится на новейшее время, или, по терминологии Лаврова, на «эпоху борьбы сознанных интересов». В более древнее время, «в эпоху господства обычая», экономические интересы имели меньшее значение. Вследствие неумения мыслить дикарь чаще

---

[1]) „Задачи пон. истории", 49, разбивка Лаврова. *Г. Л.*

следовал аффекту или привычному действию, нежели сознанному экономическому мотиву. Наконец, в будущем есть основание предположить господство идейных аффектов, преобладание мотивов нравственных.

Вот как характеризует Лавров смену этих периодов в жизни человечества: «Оставаясь в области сознанных явлений, мы имеем сначала безусловное господство обычая..., затем преобладающую борьбу интересов, которые в дальнейшем ходе событий и в дальнейшей работе мысли все более обнаруживают свою экономическую подкладку; наконец, с началом исторической жизни начинает проявляться и влияние нервных возбуждений идейного свойства» [1]). Таково существенное ограничение, которое вносится в изложенный выше тезис о преобладании экономических интересов над политическими и идейными.

Оговорка вторая. В одну и ту же эпоху следует допустить влияние различных факторов для разных классов. Низшие классы обычно подвержены влиянию привычек и экономического фактора. Интеллигенция же действовала под влиянием идейных факторов, увлекая при этом за собою частично и массы.

Вот сущность тех взглядов на движущие силы прогресса, которые сложились у автора «Исторических писем» ко второй половине семидесятых годов, когда он испытал влияние марксизма.

В «Исторических письмах» нет и следа влияния идей Маркса и Энгельса [2]). В них Лавров наиболее полно выявил идеалистические элементы своей теории. В эмиграции он подвергся влиянию могучего гения К. Маркса, но переработал элементы марксизма в духе субъективного идеализма. Приведенная выше схема показывает сущность «экономического материализма» Лаврова.

В системе Лаврова социология рассматривает потребности, главным образом, с точки зрения их влияния на проявления солидарности. В связи с этим необходимо отметить еще несколько положений.

Так как потребность развития в личности—явление сравнительно позднее, то естественно, что первые проявления солидарности в обществах должны были осуществиться без участия критической мысли и даже в известные моменты совершенно бессознательно.

---

[1]) „Задачи понимания истории", 55.

[2]) Речь идет о первоначальной редакции „Писем", как они были помещены в „Неделе" (1869 г.), и о первом их издании отдельной книжкой в 1870 г. Во втором издании (Париж, 1891 г.) была несколько изменена терминология и внесено место, говорящее о классовой борьбе.

Поэтому в истории развития явлений солидарности Лавров выделяет три периода. Сначала солидарность обнаруживается, как нечто неосознанное и совершенно необходимое. «В этом случае особи фатально солидарны между собой, так как не могут уклониться от этой солидарности и ее следствий» [1]). Второй период наступает, когда из фатальной солидарности вырастает солидарность общего аффективного настроения, помимо критического осмысления его.

Только на основе этих доисторических форм солидарности вырабатывается третья форма ее, солидарность историческая, сознанная, как чувство общности задач личной и коллективной жизни людей. Лишь эта форма солидарности становится двигателем прогресса в истории человеческих обществ.

Лавров дает разработанную в подробностях теорию возникновения различных областей мысли. Я остановлюсь здесь лишь на двух моментах, чрезвычайно характерных для развиваемых им взглядов.

Потребность развития выросла на основе потребности нервного возбуждения. Главные ее продукты выявились в форме развития различных областей мысли. «Каждая из этих областей, раз выработанная, стремилась воплотиться в жизнь, перейти в форму обычая, сделаться элементом более или менее прочной культуры и, тем самым, подверглась новой переработке вследствие потребности развития» [2]).

Отсюда следует, что оба элемента истории—культура и мысль—в своей основе едины. Это—известное состояние сознания. Различаются они лишь тенденциями, заложенными в них. Культура—мысль пассивная, привычная, повторяющаяся. Критическая мысль—активное психическое состояние, мысль живая, беспокойная, подвергающая все проверке. Выше уже было установлено, что история не что иное, как борьба критической мысли с наличными формами культуры.

Так как в те или иные периоды истории преобладает одно из борющихся начал — культура или мысль, — то постепенно чередуются, с одной стороны, фазисы попыток установления прочной культуры и, с другой—стремления ее переработать, изменить. Наблюдение истории показывает, что чем дальше, тем короче становятся периоды застоя и критические периоды. Их чередование становится с течением времени все быстрее.

Сознательно-нравственная мысль явилась как результат развития критической мысли. До появления критической мысли существовали лишь зародыши нравственности.

---

[1]) „Задачи поним. истории", 30, разбивка Лаврова. *Г. Л.*

[2]) Там же, 57.

В основе нравственности лежит понятие о человеческом достоинстве. «Внесение более развитыми людьми нравственного элемента в доисторическое представление о личном достоинстве, критическая выработка ими этого взгляда на достоинство человека, требование жизни по убеждению и социологическое развитие идеи справедливости составляли в продолжение всей исторической эволюции этики существенные мотивы этой эволюции» [1])...

Нравственная мысль выделяет развитую интеллигенцию, противопоставляя ее «дикарям высших культур», т.-е. той части привилегированного меньшинства, которое, пользуясь всеми благами культуры, тем не менее неспособно критически мыслить.

Нравственность, ее нормы, по Лаврову, вырабатывает сама критически мыслящая личность. И в то же время требования нравственности сознаются личностью, как нечто принудительное. Каким образом это получается? Ответа на этот вопрос Лавров не дает. Но ведь если личность—законодатель в области нравственных вопросов, тогда нет и не может быть никакой *общеобязательной нравственности, тогда нет* никакого критерия для нравственных суждений. Лавров чувствует это и выдвигает положение, что существует безусловная нравственность: «Идеал нравственности,—пишет он,—всегда заключался в том, чтобы выработать в себе практически возможно верное убеждение и неуклонно следовать этому убеждению в жизни» [2]).

Нетрудно видеть, что в данном суждении заключается только раскрытие значения слова «нравственность» *и не больше того. Это* суждение аналитическое, а не синтетическое. Оно ничего не прибавляет к понятию «нравственность», не раскрывает конкретного содержания этого понятия. Ведь, чтобы выработать верное нравственное убеждение, необходимо, чтобы оно соответствовало каким-то реальным отношениям вне личности.

Лавров пишет: «Различие нравственных идеалов нисколько не отрицает, что. при надлежащей критике и при надлежащем понимании, убеждения и понимание справедливости *не только* могли, но и должны были сделаться одинаковыми, *подобно* тому, как при надлежащем изучении свойств движения странные теории древних должны были притти к современной динамике» [3]).

Из этой цитаты ясно видна бесплодность исходных положений теории Лаврова. Наука могла притти к об'ективно установленным за-

---

[1]) „Задачи понимания истории", 74.

[2]) „Формула прогресса Н. К. Михайловского", 21 и сл.

[3]) Лавров. „Социальн. революция и задачи нравственности", 23 и сл. разбивка Лаврова. *Г. Л.*

конам только потому, что им соответствуют известные реальные отношения вне человека. Только при такой предпосылке могут существовать об'ективные нравственные положения. Но эту-то предпосылку и отверг Лавров в самом начале исследования.

Вопросы нравственности, по мнению Лаврова, имеют огромное значение как для историка, так и в особенности для «критически мыслящей личности», для политического деятеля.

Историк, недостаточно развитой в нравственном отношении, не может написать научной исторической работы, так же, примерно, как человек, плохо различающий цвета, не может сделаться талантливым художником.

Но еще большее значение имеют нравственные идеалы, высота нравственного развития на непосредственную политическую деятельность тех, кто выступает творцами теории, т.-е. интеллигентного меньшинства.

В «Исторических письмах», обращаясь к русской интеллигенции, Лавров исторически обосновывает обязанность ее выступить на борьбу за освобождение народных масс. Всегда в истории небольшая кучка людей могла освободиться, могла дойти до способности наслаждаться «критикой мысли» только благодаря безвыходному подневольному труду и страданиям народных масс. Интеллигенция выросла на основе эксплоатации, обмана, ограбления «пасынков цивилизации», тех, кто строил пирамиды, добывал хлеб и удобства для меньшинства, сражался и умирал в полчищах Тамерлана и Наполеона. Но теперешние поколения не виноваты в этом, потому что прошлого исправить нельзя. Их вина начинается с того момента, когда они, сознав положение свое и народных масс, не прилагают усилия к их освобождению.

Свой долг по отношению к угнетенным народным массам «критически мыслящие личности» могут возместить деятельностью, направленной на освобождение народа.

Участники движения семидесятых годов отмечают, что именно эта постановка вопроса имела огромное влияние на популярность теории Лаврова. Именно во имя «долга» перед народом шла молодежь «в народ», а позже на кровавую борьбу с самодержавием.

3. Развитие общественных форм

Исходным моментом развития человеческой мысли и деятельности, по мнению Лаврова, послужили две области мысли: мысль техническая и творчество общественных форм. Обе эти формы психической

деятельности унаследованы от наших животных предков и выработались, как орудия борьбы за существование.

На заре общественного развития цементом, связывавшим людей, явилось сознание необходимости держаться группою в целях защиты, общей деятельности и других выгод. Это была связь родственников—родовой союз. «Родовой союз в своем наиболее чистом типе представлял очень простую форму отношений между людьми: *с в о и* были связаны между собой до полного подавления индивидуальных мотивов мотивами коллективными; *ч у ж и е* были между собою безусловно враждебны» [1]).

Родовые союзы разного происхождения, поставленные в одинаковые климатические и географические условия, понемногу сближались, перенимали друг у друга психические и технические приемы, и, по прошествии известного периода, начинали сознавать себя принадлежащими к одной этнографической группе. «Общность языка, культуры и племенных преданий вырабатывала в группах... сознание единства» [2])... Сформировавшиеся таким путем национальности не только сознают начала, их об'единяющие, но и противопоставляют себя другим национальностям, вырабатывают стремление к защите национального существования и распространению своего влияния на инонациональные группы. Предшествовавшая форма общежития при этом распадается, уступая место более широкому об'единению, основанному не на сознании кровной связи и не на государственном начале, а на общности культуры и преданий.

Лавров решительно восстает против теоретиков, которые в известных национальностях видят носителей особых отвлеченных начал. «Метафизическую теорию предначертанной роли для них (национальностей. *Г. Л.*) в истории и как бы о разделении исторического труда между ними приходится считаться фантастической»,—заявляет он [3]). Единственным, весьма не идеальным стремлением всякой национальности является борьба за существование.

Этим самым, понятно, не отрицается тот факт, что на протяжении истории в определенные периоды отдельные народности играли роль двигателей прогресса. Национальная идея — это временная обобщающая формула цивилизации известной национальности. «На основании общих психических наклонностей и событий истории данная нацио-

---

[1]) А. Доленги „Важнейшие моменты в истории мысли", М. 1903 г., стр. 240. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

[2]) Там же, стр. 242.

[3]) Там же, стр. 346.

нальность в некоторую эпоху своего существования м о ж е т сделаться по характеру своей цивилизации заметным представителем той или другой идеи» [1]).

Национальность есть совершенно закономерный факт. Но идеал общечеловеческого прогресса выше идеала национального развития. И только тот человек достоин названия истинного патриота, кто употребляет все усилия, чтобы его национальность сделалась носительницей прогресса.

Распадение кровнородственного союза и образование национальности повели к важным последствиям. «Если особь и мелкую группу уже не поглощало кровное единство рода, то естественным процессом число лиц, охваченных новой связью, как «свои», должно было дойти до минимума, все более ограничиваясь лицами, которых связывал уже не только общий обычай, но и личные привычки и личные аффекты» [2]).

Таким образом, результатом распадения рода явилось формирование новой общественной ячейки—семьи. На первых порах семья способствует выработке альтруистических чувств и развитию процессов сознания. В дальнейшем семья является элементом классового разделения.

Теория государства обоснована Лавровым главным образом в книгах: «Государственный элемент в будущем обществе» и «Важнейшие моменты в истории мысли».

По Лаврову «государство есть общественный союз, в котором существует власть той или другой формы, власть, помощью которой одна доля населения делает решения, им принятые, о б я з а т е л ь н ы м и для остальной части, без возможности для последней уклониться от их исполнения, не разрушая самого союза [3]).

Основная причина образования государства — потребность в ограждении безопасности. Самый процесс образования государственного союза протекал в различных местах различно. Государственная власть зарождалась и развивалась то под влиянием внутренних причин, то под влиянием внешнего давления или же иных более сложных комбинаций. «Борьба за сознанные интересы между семьями, племенами, нациями, как внутри обособленных коллективностей, так и между последними, умножая опасность для личностей и для групп, становилась

---

[1]) Лавров. „Историч. письма“, 164.

[2]) Доленги. „Важнейшие моменты“, 245.

[3]) П. Л. Лавров. „Государств. элемент в будущем обществе“. Собр. соч., серия VI, вып. VII. Статьи соц.-политические, „Колос“, Птгр., 1920 г., стр. 27. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

побуждением к механической организации власти, к политическому обособлению групп, людей и к образованию союзов государственных» [1]).

Внутри первобытных обществ зародышем государственной власти явилось обособление в руках известных лиц суда и расправы. Внутри обществ, руководимых обычаями или религией, неизбежно должны были происходить столкновения. В связи с этим появилась необходимость в толковании обычая или религиозных предписаний. Таким образом, выделились люди, выполнявшие судейские обязанности. «Суд и расправа появились, как первая форма постоянного выделения одной личности или группы личностей из общества с тем, чтобы приговор этих личностей становился обязательным для всех и налагался принудительно на ослушных. Всюду, где одна и та же личность или одна и та же группа личностей... сохранила за собой функцию истолкования обычая или верования и применения его к частным случаям, образовалось прочное зерно государственной власти» [2]). Отсюда постепенно развивались светская власть. светский закон.

Другим моментом, способствовавшим выделению государственной власти, явилась борьба отдельных групп. Под давлением необходимости отстоять себя в борьбе с другими племенами данной группе часто приходилось сокращать территорию, необходимую для добывания средств к жизни, и, значит, переходить от скотоводства к земледелию. Такой переход, вследствие сопротивления многих членов группы, мог осуществиться только при условии создания крепкой государственной власти.

У некоторых групп «выделение власти и усиление ее было вызвано прямым развитием военной техники, введением нового улучшенного оружия, выбором новых мест жительства и их укреплением, общею организациею защиты общества, особенно же организациею нападения» [3]). В этом последнем случае образовались племена, которые жили нападениями и грабежами, что опять-таки разными путями вело к образованию государственной власти внутри групп. При этом могли быть самые разнообразные случаи. В одном случае в целях защиты известные общества принуждены были выделить военные сословия, к которым мало-помалу и перешла государственная власть; в других—воинственные группы покоряли соседей и порабощали их, делаясь у них господ-

---

[1]) Доленги. „Важнейшие моменты...“, 249, разбивка Лаврова. *Г. Л.*

[2]) „Госуд. эл.“, 33. Разбивка Лаврова. *Г. Л.*

[3]) Там же, стр. 35.

...вующим сословием; наконец, могли быть случаи, когда промышленные племена, будучи измучены постоянными набегами, добровольно, на более или менее тяжелых условиях, подчинялись власти грабителей.

Дальнейшие исторические условия вносили усложняющие моменты в первоначальный факт организации государственной власти. «Каждая из этих форм политического развития,—пишет Лавров,—усложнилась, комбинируя разные степени состояния барщинной податной обязанности, вызывая к жизни разные сословия полуполитического, полуэкономического характера» [2])...

Общим следствием всех этих форм возникновения государственной власти явилось резкое различие между господствующим классом и подчиненным. Обычно господствующий класс монополизировал занятие военным делом и защиту государства, в то время, как остальное население должно было заниматься производительным трудом. Производительный труд в этих случаях стал трудом бесправного подданного или раба.

В буржуазном обществе государственная власть перешла в руки экономически сильных классов и служит орудием для сохранения их привилегий. «Государство — орган всеобщей безопасности — выродилось в заговор немногих эксплоататоров против массы эксплоатируемых» [2]).

Оценивая значение государственного начала с точки зрения его влияния на развитие солидарности, Лавров приходит к выводу, что *государственное начало—начало принуждения. Прогрессивное движение* общества будет сопровождаться уменьшением государственного элемента вплоть до совершенного его уничтожения в социалистическом обществе.

Идеал будущего устройства — свободные союзы и соглашения самоуправляющихся общин, при отсутствии каких бы то ни было центральных учреждений. Однако государственная власть должна быть использована революционерами для осуществления социального переустройства, хотя при этом следует ограничиться минимумом принуждения.

Любопытен тот план государственной организации, который Лавровым предназначался к осуществлению «на другой день социальной революции» в России. Для всей территории, захваченной восставшими, по части революционеров организуется комитет, ведающий хозяй-

---

[1]) „Госуд. эл.", стр. 37.

[2]) Там же, стр. 54, разбивка Лаврова. *Г. Л.*

ственными делами,—«Комитет работ и продовольствия». Он распадается в свою очередь на «Земский Союз», играющий роль центрального учреждения, и местные группы. «Земский Союз» подразделяется на секции, связанные «распорядительным комитетом». По мере того, как революция укрепляется, состав «Комитета работы и продовольствия» расширяется до вхождения в него большинства рабочего населения. Остальные органы управления выбираются «Комитетом работ и продовольствия». На местах решение всех дел общины принадлежит «миру», общинному сходу. Для заведывания политическими делами общины образуют федерации с территориальными с'ездами или постоянными комитетами, которые в свою очередь выбирают «общую думу рабочей России» для решения общих дел и для выбора «наблюдательного комитета» при главнокомандующем армией. Разумеется, все эти органы являются временными, и мало-помалу страна переходит к свободным об'единениям самостоятельных общин.

В вопросе о государстве, главным образом, в вопросе об его происхождении, взгляды Лаврова подверглись известной эволюции.

В «Исторических письмах» Лавров выдвигал иную теорию происхождения государства. В основе государственного союза лежит действительный или фиктивный договор. Государство развилось из договорных отношений.

Первоначально договор являлся чисто экономическим фактом, но потом, в виду его выгоды, он получил большое распространение. Понятие договора подверглось ложной идеализации. Но по мере распространения договора стали учащаться его нарушения. Появилась необходимость в создании закона и принудительной власти, его охраняющей. Так возникла государственная власть.

При сравнении двух приведенных теорий возникновения государства бросается в глаза, что стоявший в «Исторических письмах» целиком на идеалистической точке зрения «договора» Лавров позже признал в образовании государства известную необходимость. Далее, в более поздней теории, Лавров признал, что государство из органа всеобщей безопасности превратилось в заговор против угнетенных. Здесь несомненно влияние исторического материализма. Понятно, что ни более ранняя идеалистическая теория происхождения государства, ни позднейшая эклектическая теория, придающая большое значение завоеванию, ни в коей мере не удовлетворительны с точки зрения марксизма. Достаточно указать на то обстоятельство, что у Лаврова государство предшествует классовому разделению и в известной мере создает такое разделение.

Теперь перехожу к вопросу о классах. Теория классового разделения была вдвинута Лавровым в его социологическую теорию под прямым воздействием исторического материализма. В «Исторических письмах» мы находим лишь неотчетливое противопоставление привилегированного меньшинства (из которого выделяется и интеллигенция) забитому и темному большинству. Позже Лавров выдвигает вопросы классовой борьбы. Но понятно, что и теорию классовой борьбы Лавров приспособил к общему стилю своей социологии.

Формы рода, семьи, государства—первоначальные общественные формы. На основе этих форм возникает классовое разделение. Разделение на классы было менее сознательным процессом, нежели творчество основных общественных форм, но и в нем роль сознания достаточно велика. «Под сознательным процессом творчества коллективных организмов... совершался еще гораздо менее сознательный, но имеющий громадную социологическую важность процесс разделения классов... мелкие семьи вошли во имя своих сознанных интересов в тот или другой из этих классов, в ту или другую из этих групп» [1]).

Приведением этой выписки, пожалуй, можно ограничиться. Она дает отчетливое представление не только о постановке Лавровым проблемы классового деления и классовой борьбы, но и о том, как он приспособлял элементы марксизма к своему идеалистическому мировоззрению. У Лаврова не различие в об'ективном положении различных частей общества порождает разделение на классы и классовое сознание, а, наоборот, сознание определяет вхождение людей в те или иные классы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СУБ'ЕКТИВНОЙ ТЕОРИИ

1. Теоретическая система Лаврова и ее место в истории общественной мысли

Установить историческую ценность той или иной теоретической системы—значит определить ее отношение к предыдущим явлениям общественной мысли, ее соответствие задачам данного исторического периода и указать степень ее влияния на дальнейшее развитие общественных идеологий.

Что теоретическая система Лаврова была неизбежным и чрезвычайно важным этапом в развитии нашей общественной мысли—в этом не может быть никакого сомнения. Доказательством этому является

[1]) Доленги. „Важн. моменты", 260.

тот факт, что уже Чернышевский и Писарев, как было показано выше, пришли к сходным результатам, и что в определенный исторический период идеи Лаврова и его ближайшего последователя Михайловского разделялись подавляющею частью передовых мыслящих людей. Марксизму пришлось с боем завоевывать себе подобающее место в умах русской интеллигенции.

Несомненно, что исторические идеи Добролюбова и особенно Чернышевского и Писарева поставили перед Лавровым основные вопросы теории, дали канву для его теоретических построений в области истории и социологии. Выше, при рассмотрении исторических взглядов шестидесятников, было выяснено, какие вопросы послужили исходным моментом для построения Лавровым его теории. Однако материал для своей теории Лавров получил не столько от русских предшественников, сколько от мыслителей Запада.

Факт заимствования идей одним мыслителем у другого не может об'яснить распространенности и жизненности данной идеологии. Наоборот, об'ективные условия должны об'яснять, почему данный мыслитель заимствует у своих предшественников те, а не иные теории. И из того обстоятельства, что Лавров и его предшественники заимствовали с Запада сходные идеи, явствует соответствие этих идей условиям момента.

В теоретической системе Лаврова, отличающейся громоздкостью и неслаженностью отдельных частей, легко отметить влияние ряда мыслителей Запада, принадлежащих к различным, порою противоположным лагерям.

На первое место в этом смысле необходимо поставить творца «позитивизма»—Огюста Конта. Основные моменты философских, исторических и социологических взглядов Лаврова или восприняты от Конта или же являются развитием высказанных им бегло замечаний.

Так, от него Лавров заимствовал взгляд на социологию, как на науку, к которой приложимы методы естественных наук. От Конта он воспринял и многие элементы социологии, как, напр., последовательную смену критических и органических эпох, три фазиса в развитии мысли—теологический, метафизический и позитивный.

Под непосредственным же влиянием контовского идеализма сложилась и основная формула философии истории Лаврова—переработка культуры мыслью. Наконец, мысль о суб'ективном методе в истории и социологии также разработана под влиянием Конта, хотя высказанная этим последним в «Позитивной политике» мысль о суб'ективном методе не характерна для его мировоззрения.

В смысле оформления социологических и историко-философских взглядов на Лаврова оказали влияние два противоположные по своим воззрениям теоретика—Прудон и Маркс.

Влияние Прудона сказалось на Лаврове, главным образом, в двух направлениях. Как и для Прудона, для Лаврова данный общественный строй представляет из себя не цельную формацию, в которой все элементы находятся в определенной связи, а известную комбинацию элементов, из которых можно выбрать наиболее соответствующие, способствующие солидарности, и перекомбинировать их совершенно иначе. Такое метафизическое рассмотрение общественных явлений, как отдельных застывших категорий, несомненно является следом влияния идей Прудона.

Хотя Лавров не был анархистом, но в его понимании социализма, как организации свободных местных групп, связанных только временными экономическими задачами, несомненно также отразилось влияние прудонизма. Как ни враждебно был настроен Лавров против русской разновидности прудонизма—«бакунистов», тем не менее он воспринял известные черты учения Прудона.

Слабее других сказалось на Лаврове влияние идей Маркса и Энгельса. Оно было в значительной мере внешним, не органическим. Лавров настолько усвоил терминологию марксизма, что иные фразы из его сочинений на первый взгляд могут дать повод рассматривать его, как марксиста. Но при ближайшем сопоставлении данного места с общим мировоззрением Лаврова всегда оказывается, что он в эти марксистски звучащие фразы вкладывал свое содержание.

Знакомство Лаврова с Марксом и западно-европейским рабочим движением относится к началу 70 г.г., когда он после бегства из места ссылки (Вологодская губ.) появился в Париже (март 1870 г.) и вскоре сделался свидетелем самых драматических событий в истории рабочего движения XIX столетия—восстания парижских рабочих в 1871 г. Этот момент был переломным в жизни Лаврова. До этого периода Лавров был умеренным социалистом, скорее даже радикалом. После Коммуны у него формируются определенные социалистические и революционные воззрения.

В «Исторических письмах» не чувствуется влияния марксизма. Все же последующие произведения, начиная с середины 70 г.г., имеют определенный отпечаток влияния Маркса. Но в чем выразилось это влияние? Конечно, Лавров не сделался марксистом. Он приспособил некоторые выводы материалистического понимания истории к своему идеалистическому взгляду на явления общественной жизни. Это

показывает предыдущее изложение исторических и социалистических идей Лаврова.

Лавров не понял марксизма. Он не понял, что эту теорию нужно или целиком принять, или отвергнуть. Он пытался ассимилировать некоторые положения марксизма, как составные части своей идеалистической теории. И здесь дело, конечно, не в личных только качествах Лаврова, а в его общественном положении. Он представлял общественную группу, которая в данный период, в данной исторической обстановке не могла усвоить марксизма.

Главное, что было воспринято Лавровым у Маркса и Энгельса, это—взгляд на историю, как на борьбу классов. Из предыдущего изложения видно, какие значительные «поправки» внес Лавров в теорию классовой борьбы. Не менее основательно проработал он и идею Маркса о формах производства, как реальной основе общественной жизни. Он свел эту глубокую идею к плоскому представлению о важности «экономического фактора» в наше время, в эпоху «господства сознанных интересов».

Историческая и социологическая теория проверяется двумя путями. Во-первых, тем, насколько она оказывается в состоянии построить удовлетворяющую нас картину прошлой жизни человечества; во-вторых, насколько исторические и социологические построения являются орудиями в политической борьбе, т.-е. позволяют правильно разбираться в настоящем и предвидеть будущее и, таким образом, воздействовать на действительность.

Народническая философия истории, обоснованная Лавровым, не выдержала исторической проверки. Она оказалась бесплодной, как в области более или менее удовлетворительного об'яснения прошлого человечества, так и в области практического действия.

Достаточно перелистать исторические работы Лаврова, чтобы убедиться в малой пригодности суб'ективного метода для понимания прошлого. Если у Лаврова есть исторические работы, заслуживающие внимания («Парижская Коммуна», «Народники-пропагандисты»), то они ценны лишь постольку, поскольку «суб'ективный метод» нашел в них наименее последовательное применение.

Если даже взять наиболее удачную историческую работу Лаврова, работу о «Парижской Коммуне», то и в ней отчетливо выступают недостатки суб'ективного метода. Правда, эта книга подкупает читателя свежестью революционного чувства автора, его горячей симпатией к делу парижского пролетариата. Но и в этой книге мы имеем преобладание описания, изображение поверхности явлений. В ней от-

сутствует анализ экономической базы Франции, которым определялись характеристические черты Парижской Коммуны 1871 года. Анализ реального классового значения социально-политических программ деятельности Коммуны заменен их суб'ективной оценкой.

Что касается проверки исторической и социологической теории Лаврова в области практического действия, в области политической борьбы, то здесь ярче всего сказался ее двойственный характер. В этой теории заключен, во-первых, ярко действенный момент. Во-вторых, в ней большое внимание отдается делу пропаганды, поднятия сознания порабощенных масс. Эти моменты являлись правильными и в известном смысле соответствующими об'ективному положению вещей в тогдашней России. В оценке роли теории, пропаганды, социологические построения Лаврова были, несомненно, выше, нежели широко распространенные бакунистские взгляды.

Но непонимание Лавровым и его последователями того факта, что общественное положение тех или иных групп населения определяет их идеологию и способность к организации и действию, приводило к обратным результатам, сводило на-нет революционные стороны теории. Работа сторонников теории Лаврова направлялась вследствие этого не в ту сторону, где она могла бы принести реальные результаты. Крестьянская революция, если б она даже и разразилась (что было вполне возможно), не только не могла быть «социальной», но она не могла быть и победоносной буржуазной революцией, вследствие невозможности сорганизовать крестьянство. Не тонкий слой интеллигенции, а масса пролетариата могла повести крестьянство на штурм самодержавия.

Таким образом, и в области практического действия теоретическая система Лаврова обладала недостатками, которые парализовали ее положительные стороны.

Влияние Лаврова на дальнейшее развитие общественной и исторической мысли в России довольно значительно. Он, как известно, сделался родоначальником так называемой русской суб'ективной школы. Его наиболее известные последователи — Н. К. Михайловский и Н. И. Кареев.

Я здесь не могу поставить себе задачи подробно рассмотреть взгляды названных деятелей. Ограничусь несколькими краткими замечаниями.

Н. К. Михайловский не удовлетворился теоретическими построениями Лаврова. Он сделал попытку подвести под них базу биологических наук. Применение суб'ективного метода находит у него более

широкие размеры. Вместе с тем Михайловский проповедует более последовательно индивидуализм и права личности, нежели Лавров.

В лице Кареева мы имеем не публициста и общественного деятеля, а ученого. На его исторических работах легче всего проследить недостатки суб'ективного метода в социологии. Он, подобно Лаврову, строго разграничивает две стороны исторического исследования. Факты, политические учреждения, действия личностей подлежат об'ективному исследованию. Идеологии, вопрос о прогрессе оцениваются суб'ективно с точки зрения нравственного идеала историка. В исторических работах Кареева преобладают описание различных сторон исторической жизни и попытка установить «взаимодействие» их. Научное достоинство их не в анализе и об'яснении исторической закономерности, а в разработке материалов.

Подведя итоги, можно сказать, что в общем и целом теоретические построения, развитые Лавровом, были шагом назад по сравнению с воззрениями Герцена, Добролюбова, Чернышевского. Герцен, Добролюбов и Чернышевский сделали много, чтобы выработать мировоззрение, основанное на современном им состоянии научных знаний. Они развивались от идеализма к материализму, хотя и не докончили своей эволюции. Они смотрели далеко вперед, потому что были головою выше окружавших их.

В теориях Лаврова мы видим движение назад, возрождение идеализма, притом в самой грубой и непоследовательной его интерпретации. Но это попятное движение мысли сопровождалось расцветом революционного действия; отсталая теория Лаврова явилась знаменем и оружием в руках революционного народничества. Этот парадокс истории получился вследствие того, что класс, который мог воспринять передовую теорию и сделать ее орудием революционных действий, находился еще в периоде формирования, и, наоборот, группы интеллигенции, вышедшие на борьбу, в силу исторических условий и классового положения, могли выдвинуть лишь эклектический идеализм, носивший в себе, на ряду с некоторыми положительными качествами, зачатки реакционности.

2. Социальное значение теории Лаврова.

На вопрос—чьи взгляды, интересы, иллюзии нашли выражение в теоретических построениях Лаврова?—ответ в общей форме может быть таков: Лавров—идеолог интеллигенции. Выдвинутая им теория «критически мыслящих личностей», которые могут перестроить общество вне зависимости от об'ективного хода революции,—иллюзия,

являющаяся отражением общественного бытия интеллигенции, которая во главу угла естественно ставит работу мысли, мозговую работу, и эта мозговая деятельность представляется ей рычагом, перевертывающим мир.

Но такой ответ в силу своей общности недостаточен. Необходимо его конкретизировать, рассмотреть в исторической перспективе. Ведь и взгляды ближайших предшественников Лаврова—Добролюбова, Чернышевского, Писарева—несомненно отражали общественное бытие интеллигенции. Однако, несмотря на известные общие стороны их мировоззрения, разница в их взглядах достаточно велика. Только обратившись к истории, можно уяснить причины своеобразия идеологии передовой интеллигенции в каждый данный период.

Добролюбов и Чернышевский выступили на арену публицистической деятельности (а это в то время была единственная форма политической деятельности) в переломный момент. Главная особенность этого момента—переход от крепостничества к капитализму. Но свойственная тогдашнему историческому моменту запутанность, неясность социальных взаимоотношений мешали русской интеллигенции понять подлинный смысл исторической ломки. Передовые люди видели только две борющиеся стороны: крепостников-помещиков и крестьянство. Их сочувствие, понятно, целиком было на стороне крестьянства. С точки зрения его интересов передовые вожди интеллигенции вели борьбу против крепостничества. Наиболее подходящим орудием в этой борьбе для них являлись материалистические взгляды Фейербаха. Исторические воззрения Добролюбова и Чернышевского тесно связаны с фейербахианством в общефилософской области. Та материалистическая струя, которая характерна для их исторических воззрений, тесно связана с материалистическими воззрениями знаменитого немецкого философа. Но в пределах одного и того же исторического момента Чернышевский и Добролюбов выражают различные тенденции в среде интеллигенции. Добролюбов отражает мещанскую, плебейскую струю в среде интеллигенции. Он близок к народу, любит и идеализирует крестьянство. Он пропитан ненавистью к фразе. Его знаменитое «В настоящее время, когда...», его борьба с общими благодушными рассуждениями о прогрессе и обличениями мелких взяточников—все это дышит действительностью и отвращением к пустым словоизлияниям, к «обломовщине». «Настоящий день» придет тогда, когда у нас появятся не люди фразы, а люди дела, герои политического действия.

Чернышевский не таков. У него барская мягкость и раздвоенность. С одной стороны, он ругает интеллигента («Русский человек на

rendez-vous»), с другой—отводит интеллигенции почетное место в исторических переменах. В народ он не верит и далек от идеализации крестьянства. Чернышевский представляет аристократическую часть интеллигенции, «образованных людей». В связи с этим и его политические воззрения далеки от радикализма.

В ближайшие годы после реформы положение изменяется. Для интеллигенции открывается отдушина в смысле возможности применения своих в качестве врачей, учителей, адвокатов, пишущей *братии*. В связи с этим в известных слоях интеллигенции усиливаются буржуазные настроения. Об'ективная потребность развивающегося (хотя и медленно) капитализма требует перенесения к нам результатов развития естественно-научных знаний на Западе. В среде интеллигенции усиливается интерес к вопросам естествознания.

Эту полосу в развитии «образованных людей» наиболее полно отразил Писарев. В этом смысле характерны поворот от материализма Фейербаха к «позитивизму» Конта и повальное увлечение естествознанием. Для Писарева естественные науки не революционное оружие, а средство для буржуазного развития страны. Писарев отнюдь не чурается буржуазности (как Добролюбов и Чернышевский), а, наоборот, склонен приветствовать капиталистическое развитие, как прогресс. Отсюда и проповедь индивидуализма.

Выступление Лаврова, а затем Михайловского выражают протест против крепостничества и в то же время против буржуазности.

Развитию капиталистических отношений реформа 1861 года поставила очень узкие рамки. В то же время пореформенный период был периодом небывалого до того времени роста интеллигенции. Кризис мелкого дворянского землевладения привел к увеличению количества молодежи, стремящейся в город. Одним из результатов этого явился быстрый рост городов. Сюда переселялись оскудевшие дворяне, дети духовенства, лишенные земли дворовые и вообще самые разнообразные элементы деревень и мелких городов. Вся эта масса беглецов из захолустий оседала в крупных городах, главным образом в качестве учащихся, служащих, литераторов и, в небольшой части, лиц, обслуживающих капиталистическую промышленность. Здесь был целый ряд различных прослоек, начиная от детей дьячков и крестьян, кончая выходцами из дворянской среды, порвавшими со своими привилегированным положением, но в значительной степени перенесшими в новую среду свои навыки, идеи. Если наиболее плебейская часть интеллигентной молодежи совершенно ничего не имела, то многие выходцы из дворянства и из среды крупных чиновников сохранили связи,

знакомства и часто возможность пользоваться материальной поддержкой близких или знакомых.

Из этой разнородной массы учащейся молодежи и интеллигенции и рекрутировалась живая сила народничества. В разнородности тогдашней интеллигенции заключена реальная подоснова деления народников на «бакунистов» и «лавристов». «Бакунисты»—это в общем наиболее пролетарская, вышедшая из низов (дети мелкого чиновничества, духовенство, крестьяне) часть интеллигенции. Для них чужда идея нравственной ответственности за развитие. Они рассматривают крестьян не как инертную массу, а как бунтарей. «Не учить крестьян, а бунтовать их»—вот лозунг демократической мелкобуржуазной интеллигенции. «Бунтари»—анархисты. Они резко и ярко отражают враждебность крестьянина к государственной власти.

Иное дело—«лавристы». Они сторонники индивидуальной подготовки революционера и пропаганды. Несомненно, что «лавристы» более верили в силу «пропаганды» и более склонны были к мирным действиям, нежели «бакунисты».

Если поставить вопрос, в каких слоях интеллигенции должно наблюдаться преувеличение силы пропаганды и склонность к компромиссам—в тех ли, которые вышли из низов, или в выходцах из высших классов, то ответ будет ясен: «лавристы» больше удалены от народа, нежели «бунтари». Совершенно не случайно, что именно «лавристы» вели пропаганду среди рабочих. Это об'ясняется не только тем, что они были ближе к марксизму, но возможностью для них скорее установить с рабочими общий язык, в силу большего развития, интеллигентности верхушечных слоев рабочих.

Лавров—идеолог интеллигенции, вышедший из рядов господствующего класса, порвавшего с ним, но не смогшего совлечь с себя «ветхого Адама». Это об'ясняет нам характеристические черты мировоззрения П. Л. Лаврова. Выше уже было указано, что, несомненно, в том преувеличенном значении, которое придавалось Лавровым п о д г о т о в к е революции путем пропаганды, сказывается склонность Лаврова к мирному, нереволюционному решению вопроса. Впрочем, в его произведениях многие места прямо свидетельствуют об этом.

Чрезвычайно показательным для Лаврова, как для представителя аристократии в интеллигенции, является развитая им в «Исторических письмах» теория об ответственности интеллигенции перед народом. А что этот элемент не является индивидуальным, свидетельствует тот факт, что именно эта проповедь долга по отношению к народу увлекла чрезвычайно многих.

Лавров дальше от крестьянства, чем бунтари с их верой в революционный дух крестьянства; поэтому он отвергает анархизм, он выдвигает даже положение, что можно бороться за политическую свободу,—и это в то время, когда подобная постановка вопроса рассматривалась, как прямая измена социализму. В отношении Лаврова к народным массам, как к инертному началу, и в то же время преклонение перед ними во имя их страданий—*также черта не только интеллигента*, но и выходца из дворян.

Чрезвычайно интересно то обстоятельство, что наибольший успех идей Лаврова приходится на начало 70 г.г., т.-е. на тот период, когда в среде революционной молодежи было всего больше (по сравнению с другими периодами) выходцев из привилегированных классов. Это, конечно, отнюдь не случайно.

Однако в выдвигаемое мною положение, что Лавров—представитель определенной части интеллигенции, следует внести известное ограничение.

Данным определением характеризуется только основная особенность его мировоззрения, его теория. Если рассматривать вопрос с точки зрения соотношения классов, Лавров является представителем мелкого производителя, крестьянина. Интеллигенция социально слишком тонкая и несамостоятельная группа, чтобы не чувствовать необходимости в борьбе опираться на определенные классы.

Надо отметить при этом, что Лавров проделал в своих взглядах эволюцию вместе с определенною частью интеллигентной молодежи. В первый период публицистической деятельности он отдал большую дань индивидуализму. Масса, народ в первых его произведениях (напр., в «Исторических письмах») представляет неподвижный материал, который может быть обработан лишь усилием «критически мыслящих личностей». Позже, в полемике с ткачевистами, Лавров начинает более выдвигать вперед крестьянство, как основную силу революции. В этом проявляется реакция на индивидуализм и заговорщичество ткачевистов, а также известное влияние марксизма. Но в продолжение всей своей долгой деятельности роли интеллигенции в деле исторического развития он отводил почетное место.

В конечном счете в его теоретических построениях, как и во всей идеологии народничества, нашли отражение интересы крестьянства, но они преломлялись сквозь способ мышления людей, занимающихся мозговой работой, интеллигентов.